

НОВОБЫІ
МІР

7

НОВОБЫІ МІР

7



1950

1950

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 7

Июль 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФЕДОР ГЛАДКОВ — Вольница, повесть	3
ЮРИЙ ЕФРЕМОВ — Зодчий мира, стихотворение	105
М. ИСАКОВСКИЙ — Наташа, стихотворение	107
ПАВЕЛ ШЕБУНИН — Слыхавцы, повесть	108

Из поэтов советской Прибалтики

ДЕБОРА ВААРАНДИ — В прибрежном колхозе, Песня о болоте. Авторизованный перевод с эстонского В. Журавлёва	185
ВАЛИНС ЛУКС — Золотые яблоки. Перевод с латышского Вл. Лифшица.	
АНАТОЛЬ ИМЕРМАЙН — Капитан. Перевод с латышского В. Ала- тырцева	
ПЕТЕР СИЛС — Певец. Перевод с латышского В. Шефнера	
АНТАНАС ВЕНЦЛОВА — На берегу Дуная. Перевод с литовского Павла Антокольского	
ТЕОФИЛИС ТИЛЬВИТИС — Упыри. Перевод с литовского Павла Антокольского	

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. АРТИМЬЕВ — Чёрные рабы Америки	192
-----------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ — О советской лирической песне	211
АННА АНТОНОВСКАЯ — Эпоха в кривом зеркале (о романе К. Гамса- хурдиа «Давид Стронтель»)	231

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	243
А. Палладин. Наука и буржуазное общество. — З. Кедрина. Искусство простоты. — С. Ильичева. Роман о Невельском. — Кандидат исторических наук Б. Даюк. Правда истории и литературные стилизации. — И. Арами- лев. По просторам Родины. — Ю. Лукин. Творческий подвиг писателя.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>История. Международные отношения. Военная наука</i>	262
Доктор исторических наук А. Ерусалимский . Книга об исторических судьбах латышского и эстонского народов. — Р. Миллер-Будницкая . «Я обвиняю поджигателей войны». — Доктор экономических наук А. Шпирт . Борьба империалистических держав за нефть. — П. Крайнов . Возрождение фашизма и милитаризма в Японии. — Капитан 1-го ранга А. Баковиков . На морском охотнике	
<i>Право</i>	275
Кандидат юридических наук В. Тадевоян . Советское законодательство о браке и семье. — Кандидат юридических наук подполковник юстиции А. Полтораки . На верном пути.	
<i>Техника</i>	279
Профессор В. Кузнецов . Наука в помощь высотному строительству. — Кандидат биологических наук Ю. Миленушкин . Страница истории русской науки.	
<i>Филателия</i>	282
Кандидат технических наук Б. Кривцов . Маленькие документы большого значения.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Маг. июнь 1950 года)	285

ФЕДОР ГЛАДКОВ

★

ВОЛЬНИЦА

Повесть

С высокой скалой горы я увидел внизу, в широкой долине, сказочный мир — множество белых домов с зелёными и красными крышами, церкви с высокими колокольнями, прямые улицы в садах, а дальше — необъятный, сверкающий простор. Это был Саратов и Волга. Мать сидела на возу вместе со мною, но же не отрывала глаз от нарядного города.

— Матушка, домов-то какая тьма, церквей-то! Как это люди-то здесь живут? Чай, как в лесу заплутаешь и не выберешься. А река-то! Конца-краю не выдашь. С баушкой Натальей, покойницей, в Саратове я не была: мы всё больше по сёлам да маленьким городкам ходили. А она здесь жила в людях. Много рассказывала об этом Саратове, а я вот увидела — и в глазах всё кружится...

Глубоко внизу громоздились одинокие многоэтажные корпуса, за ними — куча деревянных изб, очень похожих на деревенские, а среди них тоже белые каменные дома. Поразили меня высоченные, выше колокольни, трубы, из которых чёрными облаками поднимался дым. Слева надвигались на город отвесными обрывами горы.

По зеркальному разливу Волги плыли огромные белые дома, а за ними — чёрные длинные амбары с домиками на крыше. Это было настоящее чудо. В первое мгновение мне показалось, что пароходы и баржи реют в воздухе, и было трудно поверить, что они плывут по реке. Мать тоже смотрела на них, как заворожённая.

Отец шёл с Николаем Подгорновым, склонив голову к плечу, и делал вид, что ничему не удивляется: ведь он уже был здесь зимою в извозе, и Саратов для него — не тёмный лес.

А Николай развязно говорил, как бывалый человек, с вывертами, с присвистом, с плутоватым примигиваньем и хохотком:

— Вот он, вольный городок Саратов! Нигде нет такой золотой роты и жуликов по Волге, как в Саратове. У меня дружки здесь есть — балык с мёдом! Я тут работал на паровой мельнице. И в Астрахани я свойский человек. Погуляем, Вася!

Но отец отводил глаза в сторону и недружелюбно ворчал:

— С голахами, с пропащими людьми, нам хлеб-соль не есть. Как кормились, так и будем кормиться честным трудом.

Николай презрительно пошлёпал его по спине.

— Эх ты, чучело огородное! Покатают тебя шариком да пустят кубарем, тогда и узнаешь, чего хочет хочет. Тут нашего брата, вахлака, учат буквально. Без обращения ты — чурбак. Это не деревня: тут народ вольный. И пробку выбьют, и водку выпьют. Слыхал пригудочку-то?

«Вольный город наш Саратов! Нет вольней там прокуратов». Возьмём билеты на пароход, на любой: на «Самолёт», на «Волжский», на «Зевеке» — и в трактир пойдём. Я к дружкам тебя поведу.

Отец смотрел в сторону и старался отделаться от Миколая шутками:

— По трактирам я не охотник ходить, в карты не играю, вина не пью. Иди — может, с дружками-то своими последний пятак пропьёшь.

Недружелюбные насмешки отца ещё, больше взбудоражили Миколая: он принял их, как завистливую похвалу, и, похохатывая, зачванился.

— У меня везде дружки по Волге: народ отпетый. Тут я — как рыба в воде. А в деревне — как рак в назъме. Сам наезжаю к родителям: по этапу-то заorno шататься. Эти чёртовы порядки — нож вострый. А баба что? Баба в городе обуза, чего ей в городе делать? Баб на мой скус в городе — хоть пруд пруди. Сейчас я с дружками так поверну, что никакая сила меня в деревню больше не затащит. Меня в Астрахани в сыщики зовут.

Отец опасливо оглядывал Миколая, но делал вид, что сочувствует ему.

— Что ж, игровое дело... ежели башку не сшибут.

Отец вскочил к нам на телегу и встревоженно пробормотал:

— Ну и балаболка, ну и жулик! Ни стыда, ни совести... безотцовщина. Отбилса от дома-то и в голахи попал. Сыщик! Трюпадёшь с ним ни за копейку.

Мать натянула платок на глаза и враждебно поглядела вслед Миколаю, который догонял свой воз.

— Уж как я боюсь-то его! И дома он, как пёс, на баб бросался...

Терентий, Парушин сын, который вёз нас на своём возу, таращил глаза на переднюю телегу и ворчал в густую бороду:

— Вот бы кого в волости-то выдрать, да при всём народе, бродягу! И стариков бросил, и женёнку с детишками. Отцу ни гроша не шлёт — детишки голы-босы, а сам при калошах, шляпка на башке, фу-ты, ну-ты — ноги гнуты.

Мы медленно спускались с пологой горы, а город поднимался и рос, громоздился передо мной каменными домами, вышками и церквами с золотыми и синими луковичами. И эти дома, похожие на дворцы, и даже деревянные избы казались огромными и загадочными. Телеги наши оглушительно грохотали по каменной мостовой бесконечной улицы, а навстречу нам плавно и мягко бежали чёрные, блестящие пролётки с толстыми кучерами. У ворот стояли бородатые мужики в белых фартуках — дворники. По тротуарам шли нарядные женщины и мужчины. Одеты они были странно, не по-нашему: мужчины — в кургуzych и длинных пиджаках, в чёрных и белых шляпах и белых рубашках, с чёрными платками на груди, завязанными в пышный узел. Но особенно поразили меня женщины: у них сзади под платьями тряслись какие-то пухлые подушки. Я засмеялся и крикнул, показывая рукой на этих невиданных уродин:

— Глядите-ка, вот чудо-то! Бабы-то... назади-то как у них трясётся! Это чего они такие?

Смеялись и отец с Терентием, а мать ахала, поражённая не меньше, чем я:

— А батюшки! а светыньки! Стыдобища-то какая! Неужто все бабы так ходят?

Отец авторитетно разъяснил:

— Это в городе гюрнюр называется. Все барыни так ходят.

Терентий захохотал и жвыкнул кнутом.

Мы долго ехали по каменной улице с высокими белыми домами, с садами во дворах. Нас перегоняли новенькие пролётки с аккуратненькими лошадами или верховые, тоже невиданные мною никогда: парни в лаковых сапожках и штанах в обтяжку, а девки в чёрных длинных юбках и шляпках плоской. На перекрёстках стояли белые городовые с оранжевыми шнурами от шеи до пояса.

Мать с лихорадочным возбуждением глядела во все стороны и не переставала ахать. А отец делал вид, что его ничто не удивляет, что на все эти чудеса ему наплевать. Он о чём-то калякал с Терентием, но я не слышал ни одного слова. Моё внимание привлекла высокая вышка, обитая досками, похожая на гриб. Наверху медленно ходил маленький человек и глядел на город. Проехали мимо большого сада, а потом стали спускаться вниз.

В конце улицы над домами опять засверкала необъятная река, а по ней в разные стороны плыли лодки с белыми парусами. Навстречу нам, напирая на жомуты и опустив головы, лошади с натугой тащили телеги, нагружённые мешками, ящиками, бочками, пузатыми плетушками и решётами. Сквозь дырявую материю видны были ядрёные кисти винограда и алые гониморы. По спуску мы съехали на широкий берег, тоже загромождённый ящиками, мешками, толстыми рогожными кулями и целыми кучами арбузов и дынь. С берега к огромной барже с домом наверху, похожим на букву «покой», поднимались дощатые настилы. Под домом толпился народ, а по настилам, сгибаясь под тяжестью страшных ящиков, тагали с пристани один за другим мужики в длинных холщёвых рубахах и в лаптях, а с берега на пристань тащили на спине по три тугих мешка. Где-то в стороне заревел пароход, визгливо откликнулся другой, а на соседней пристани уныло, со вздохами взывала толпа:

— И-йох, да и-йох!..

И воздух гремел железом, грохотом тяжестей о землю, криками, колокольным звоном. Пахло нефтью, дынями, пылью и гнилой рыбой. Этот гул, грохот и крики людей, как на сходе, ошарашили меня, и я долго не мог опомниться. Всё пугало, угнетало меня и привлекало жуткой суетой.

Было жарко, воздух горел солнцем, и жёлтая пыль дымной мутью окутывала весь берег. Волга сверкала ослепительной метелью солнечных вспышек, разливаясь до горизонта. Пристани одна за другой далеко тянулись вправо и влево. В стороне, тесно прижимаясь к барже, стоял розовый двухэтажный пароход с навесом наверху, и высоко, за красивой стеклянной будочкой, дымила труба. На боках розового парохода играли волнистые зайчики.

Мы остановились наподалёку от сходней и сбросили с телег наши узлы и сундучки. Терентий и Алексей как будто обрадовались, что свалили нас со своего воза: торопливо расцеловались с отцом и матерью, вскочили на телеги и поехали обратно в гору. Миколай сразу же убежал куда-то, весело крикнув на ходу:

— Ждите меня, не шевелитесь! Я сейчас узнаю, когда пароход прибежит. А то давай деньги, Вася, билеты куплю.

Но отец отмахнулся, а Миколай засмеялся и быстро зашагал по сходням.

— Ловкий какой! Деньги ему дай... Дурака нашёл. Сейчас же побежит к своим голахам и пропёт всё до копейки. Сразу видать, куда лыжи направил.

И в самом деле, Миколай пропадал до второго гудка.

Отец, как и всегда, форсисто и уверенно пошёл на пристань и не возвращался долго, а мы с матерью сидели на своих узлах и не скучили: она, как и я, смотрела на береговую суматоху, на реку, на толпы людей, и в глазах её светились тревожная радость и испуганное любопытство.

Подошёл к пристани белый, нарядный, с золотым блеском пароход. По сходням хлынула густая толпа народа с узлами, с сундучками, с чемоданами... На берег съехалось много пролёток и телег. Люди суетливо бросали на них свой багаж и уезжали по дороге в гору.

И вот мы на пароходе. Поместились на полу, у стенки машинного отделения, в свалке узлов. Люди сидели здесь плечом к плечу. Было душно, пахло нефтью, маслом, грязью, потом, арбузами и махоркой. За дощатой стенкой что-то пронзительно шипело, а рядом с нами стоял медный бак, который часто завывал и со свистом выбрасывал пар. За углом машинного отделения грузчики тащили что-то очень тяжёлое и ревели: «и-йох да и-йох!.. Да ещё-о.. да раззо-ок!..» Рядом с нами сидел сухонький старичок с жиденькой, словно выщипанной бородкой. Он ел арбуз с хлебом, усмехался и невнятно бормотал. Потом протянул мне красно-искристый ломоть и приветливо закивал головой, показывая жёлтые зубы.

— На, поешь арбузика, паренёк! Сладкий арбузик, сахарный... Я их без ошибочки беру: сам на бахчах летом греюсь.

Я нелюдимо отшатнулся от него.

— Не надо... не хочу я. У нас у самих есть арбуз-то...

— Негоже от угощенья отказываться: добра гнущаться — с людьми не зняться.

Отец с любопытством последил за стариком и поощрительно ткнул меня в бок.

— Возьми, коли дедушка даёт. Скажи: спаси Христос!

Я нерешительно взял ломоть из крючковатых пальцев старика и пробормотал: «Спаси Христос!» Арбуз был действительно сахарный и ароматный, и я ел его, захлёбываясь от обильного сладкого сока.

— Спаси-то спаси, да духа не гаси. А? — Он подмигнул и отрезал себе ещё ломоть. — Вот то-то, паренёк. Это запомни. Это — одна заповедь. И другую держи в памяти: есть один закон совершенный — закон свободы. Это апостол Яков сказал. Храни эти слова на многие дни. Потом взвесим, сказал дедушка Онисим. Это меня зовут Онисимом-то. Он поглядел на отца зоркими, обличающими глазами.

Отец подозрительно покосился на него, надвинул картуз на брови и стал ощупывать вещи.

Старик вдруг легко вскочил на ноги и засеменил по узкому проходу. Отец проводил его глазами и встревоженно проговорил:

— С вещичек-то глаз не сводите. Спать будем по череду. Старичишка невнятный. Бродяжка. Ишь, какой словоохотливый! Может, шайка у него... Не успеешь оглянуться — догола разденут.

С другой стороны от нас сидел лохматый и бородатый мужик с выпученными глазами, а рядом с ним — баба с грудным ребёнком — болезненная, морщинистая, с покорным лицом. Мужик резал на ломти красный арбуз и жадно поедал его, заливая соком бороду. Он отрезал большой ломоть и подал бабе, но она, с тупой болью в глазах, грызнула:

— Отстань ты от меня, Маркел, ради Христа! Сердце у меня почернело... с ума схожу... Сорвались сослепу. Не знай куда... на чужу сторону. Ведь и галка знает, куда летит и где сядет.

— А ты будя, Ульяна! — низким басом прогудел мужик. — Не пропадём! Везде люди, везде народ. Это трава по ветру летит и в буерак падает, а человек своё место ищет. — И он общительно обратился к отцу: — А ты, земляк, тоже с семейством-то за счастьем едешь?

Отец умственно закатил глаза под лоб, подумал, усмехнулся, самолюбиво подобрался и загадочно ответил:

— Счастье — не за горами, не за плечами, а там, где воля человеку. Ищите и обрящете, толцые и отверзится.

Мужик поднял густые брови и вытаращил глаза.

— Вот это по мне. А бабы этого не чувят. Бабы, что куры: ничего им не надо, окромя двора да нашести.

Опрятная старообразная женщина с седыми, гладко причёсанными волосами, со строгим недеревенским лицом, худым и бледным, сидела на чемодане за мужиком и читала какую-то толстую книгу. Она исподлобья поглядывала и на мужика, и на отца и прислушивалась к ним. Один раз она встретилась со мной глазами и улыбнулась. И от этой её улыбки мне стало почему-то очень приятно. После этого я долго не отрывал от неё глаз и ждал, когда она мне улыбнётся ещё раз. И она, действительно, ещё раз улыбнулась мне и поманила к себе тонким пальчиком.

— Ну-ка, мальчуган, иди сюда: я тебе покажу что-то интересное.

Но я застеснялся и стыдливо потупился.

— Ну, чего ты дичишься? Надо быть смелым и любопытным.

Мать засмеялась и виновато пояснила:

— Ещё не опомнился... ничего не видал... Всё ему ещё диво. А хороших людей и сроду не встречал.

Женщина с ласковой суровостью упрекнула её:

— Как это не встречал? Хороших людей везде много. Я слушаю вас и вижу: ведь вы тоже хорошие люди. Мечтаете о лучшей жизни. Народ наш — чудесный народ. Я с ним всю жизнь прожила, знаю его. Ну-ка, иди, иди сюда, молодой человек! Стесняться не надо: кто робеет, того бьют.

Отец, польщённый словами женщины, толкнул меня под бок.

— Ну иди! Съедят тебя, что ли?

И самодовольно, щёгольским тоном, похвалился:

— Он у нас грамотный. Гражданскую печать читает бойко.

Я неловко встал и почувствовал, что руки у меня лишние, а голова болтается беспомощно.

Женщина усадила меня рядом с собою и взъерошила мои волосы.

— Ишь, кудрявый какой! Весь в золотых колечках.

Мужик слушал женщину, широко ухмылялся и крутил лохматой головой. Даже по измученному лицу Ульяны прошла светлая волна. А мать забылась, как от хорошей песни. Отец с любопытством смотрел на женщину и соображал что-то, потом недоверчиво спросил:

— А ты, барыня, кто будешь-то? Едешь не с господами, а с просто-народьем. Чудно как-то.

Она с гордой скромностью ответила:

— Я, дорогой мой, не барыня, и с господами мне не по дороге. Я учительница, живу в деревне, в глуши. С молодости безвыездно в деревне. И ты напрасно надо мной смеёшься: народ наш хоть и грязный — в рабстве его держали, — зато душа у него чистая. Я от господ не часто слыхала такие слова, какие ты сейчас сказал: ищите и обрящете, толцые и отверзится.

Мужик словно услышал что-то очень забавное: он взмахнул руками и захохотал:

— Вот это грохнула! Как палкой по башке! Вовек не забуду... Как тебя звать-то, баушка, чтобы имечко в памяти держать?

Женщина отшутилась:

— Ну, зови хоть Варварой. Да и рано мне бабушкой быть: мне и сорока пяти нет. Вот твоей Ульяне, наверно, лет тридцать, а тоже постарела от трудной жизни.

Она развязала стопку книг, вынула нарядную книжку и сунула мне в руки. У меня закружилась голова от неожиданного счастья: таких нарядных книг я не видел никогда. «Руслан и Людмила» прочёл я и прижал книжку к груди.

— Ну-ка, прочитай немножко, а я послушаю: может быть, тебе эта книжечка не по зубам.

Угроза лишиться этой ослепительной книжки сразу воодушевила меня: я смело и самоуверенно раскрыл её и крикнул:

— Я и Псалтырь много раз читал, и Пролог, и Цветник! Про Кавказского пленника, «Песню про купца Калашникова» и Кольцова «Песни».

— О, да ты, оказывается, совсем начитанный! Ну-ка, ну-ка!

Хоть я и переживал в эти минуты прилив дерзкого желания доказать ей, что я — сильный в грамоте и всё отлично понимаю, но чёткие строчки книги расплывались, ускользали, я спотыкался, старался их поймать и собирал слова по буквам.

— Не торопись, голубчик. Поспешишь — людей насмешишь, и тебе будет стыдно. Надо каждое слово спокойно и осторожно глазом и умом вбирать в себя. Взял, втянул его, осмыслил — тогда и произноси уверенно. Так и людей постигай. Не суди о них с первого взгляда, а то впросак попадёшь, и будет нехорошо. Ну, иди, читай, а что не поймёшь — меня спроси.

Я, возбуждённый, вспотевший, возвратился на своё место. Мать, тоже взволнованная и счастливая, уткнулась вместе со мною в книгу.

А отец, считая себя выше побалушек, вдумчиво и умственно говорил о чём-то с мужиком. На учительницу он больше не обращал внимания, а может быть, по привычке хотел показать ей, что хоть она и образованная, но всё-таки — баба, а баба в мужских делах ничего не смыслит.

Ульяна раскачивалась с ребёнком у груди, и тёмное, измученное лицо её опять застыло в скорби.

Пароход дрожал от грохота и людского движения. Неподальёку от нас наверх шла лестница, и по ней поднимались и сходили хорошо одетые господа. Носильщики в белых фартуках тащили туда чемоданы и мешки, стянутые ремнями. Дамы в маленьких шляпках на лбу, потряхивая турнюрками, вели на цепочках беленьких собачек. Это были люди какого-то другого мира — странно приторного, чуждого, непонятного.

Где-то далеко играла гармония с колокольчиками и визгливо пели девки. Я стал перелистывать книжку и увидел картинки. Потрясённый ими, я весь ушёл в другую жизнь — в жизнь мечты и сказки. Мать прислонилась головой к моему плечу и тоже не отрывала глаз от картинок.

А на площадке палубы артель грузчиков дружно завывала с натугой и вздохами:

— И-йох! да и-йох!..

Я не заметил, как прибежал приткий старичок, только услышал его скрипучий голос и лукавый смех.

— Сколь ни толкуй, работнички, сколь своего житья-бытья ни обдумывай, а жизни не перегонишь — её не взнуздаешь. Песня-то что с людьми делает, ай-ай! Глядел не нагляделся. Тяжко им, пудов по со-

рок тянут. А вот песня чудо творит — как пёрышко. этот груз летит.. То же и на корме: поют, пляшут, веселятся. А за кормой, над пучиной, чайки летают, белые, как кипень. Слеза меня прошибла от такой благодати. Ах, как человек духом возносится! Сим человек светел, а мало кто сие приметил.

Ни отец, ни мужик, ни Ульяна не слушали его, не слушала, казалось, и учительница, но, не отрываясь от толстой книги, с затаённой улыбкой поглядывала на него исподлобья. Мать уставилась на него сияющими глазами и жадно слушала его.

— Гляжу я на тебя, дедушка, и думаю: везде-то ты был, весь-то свет исходил..

Старичок подмигнул ей, и бородёнка его затряслась от смеха.

— Мне вот шесть десятков, а ножки — крепенькие. Всю Россию исходил, все пути-дорожки измерил. И у моря холодного был, и в Сибири был, и горы Капказские измерил, и на море Хвальнское каждый годок, как птица, перелетаю. Человеку негоже к одному месту прикипать: у него дух крылат, он умом богат. Много ему на свете дано, а лет жизни мало: успеи, человек, всё переглядеть да передумать. Кто есть на земле счастливей человека? Никого.

Очевидно, он мог говорить, не умолкая, целый день, словно не в силах был сдержать своих волнений и удивления перед тем, что видел.

Отцу он не нравился, и недоверие к нему не угасало. А мужик глядел на Онисима и кричал от смутного беспокойства. Отец не вытерпел и язвительно спросил Онисима:

— А ты, дедушка, работал когда-нибудь, аль только одно и делал, что бродяжил?

Старичок не обиделся и охотно, доверчиво ответил:

— Без труда человек — не человек, а червь.

— А какое у тебя ремесло-то?

— Я, дружок мой, все ремёсла знаю, во всяком деле силы свои испробовал: и швец, и жнец, и на дуде игрец... А сейчас время припело — на рыбные ватаги плыву: икру готовить. Там я — икрыник, в полях — бахчевник, в городах — столяр, а в деревнях — шерстобит. Люблю поющую струну и волны морские.

Учительница отложила книгу и улыбнулась старику.

— Ты что же это, Онисим, и признавать меня не хочешь?

— Ай-яй-яй! Голубка моя сизокрылая! Варварушка! Как же это я, слепой сыч, не приметил тебя? Ай-яй, побелела-то как! Ведь я тебя, орлица моя, чай, годов десять не видал.

Он бойко вскочил и бросился к ней, досадливо качая жидковолосой головой и хлопая руками по бёдрам.

Но учительница спокойно, с насмешливой улыбкой осматривала его с головы до ног и журила:

— Не изменился ты, Онисим: такой же говорун и непоседа. За эти годы, должно быть, всю Россию изъездил.

— Я, Варварушка, и в могилу упаду походя. Некие люди совесть: «покой своей старости дай, Онисим!..» Человек, говорю, не чурбан, чтобы лежать да гнить. Он, человек-то, ещё в утробе матери беспокоен. Покой для покойников. А ведь я каждый день солнышко встречаю.

Учительница встала, и они пошли по узкому проходу, за вороха клади, оба сухонькие, маленькие, странные.

Мужик захохотал.

— Чудеса в решете... Народ-то какой распорядительный! Хозявы!

Отец авторитетно подтвердил:

— Незаконный народ. Он — еретик, всему отрицается, а она — среди людей чужая. Не иначе, барских кровей. От таких народов держись дальше да оглядывайся.

— Заковыристый народ, верно, — поразился мужик и опять захотал.

Мать смотрела куда-то вдаль и будто думала вслух:

— Люди-то... как неправдашные... как с того света. И кто знает, что мы только с тобой, сыночек, увидим...

Оглушительный, до боли в ушах, до дрожи в теле, заревел гудок парохода — ревел долго, и этот рёв проглотил и грохот тяжестей, и крики людей, и шум суматохи.

И когда он умолк, сразу зазвенела в ушах тишина, и я некоторое время чувствовал себя в пустоте. Вдруг где-то недалеко завизжали девки, кто-то разудало закричал и заругался. И сразу же залилась звонким, чистым, разливным перебором гармония с колокольчиками.

Явился Миколай, хмельной, с задранном картузом, с осовелой ухмылкой. Пришёл он под руку с приземистым парнем с закрученными усишками, с маленькими колючими глазами. Грязная рубаха его была заправлена в брюки, а на ногах — опорки.

— Вася! — развязно закричал Миколай. — Пльви один, я здесь остаюсь. Где мои багажи? Дружков закадычных встретил — сто сот стоят. На мельницу Шмита поступаю, низовым. Работа чёртова: мешки таскать. Зато и заработаешь... Вот он, мой старый товарищ. Не гляди, что он малорослый: мешки, как варежки, бросает, а вино порет стаканами.

Они забрали сундучок и пузатый мешок Миколая и ушли, пьяно ухмыляясь. Отец встретил и проводил их молча, с холодным презрением в глазах.

— Пропащий народ. Шарлоты. Такие в два счёта карманы очистят. Им бы только трактир, да притон, да драки. Сразу видно, что дружок-то — золоторотец.

Мать радостно вздохнула.

— Вот уж добро какое — ушёл! Словно камень с плеч свалился.

Мужик гулко засмеялся.

— Бесшабашная братия! Доки! Завей горе верёвочкой... Бабу-то он в деревне бросил, что ли?

— А зачем ему баба? Этого добра и тут много.

Мужик крикнул и закрутил головой.

Я начал вслух читать свою нарядную книгу. Мать прильнула ко мне и стала слушать с изумлённой улыбкой.

2

В первые часы я не мог подняться с места: чувствовал себя ничтожной пылинкой в этой густой свалке узлов, тюков, ящиков и в людской суматохе. Люди сидели и лежали, срастаясь плечами, спинами, ногами, прибитые к своей рухляди. По узкому проходу между стенкой машинного отделения и служебными каютами непрерывно проходили один за другим и навстречу друг другу матросы в кожаных картузах, какое-то начальство в белых кителях, с сердитыми лицами, и пассажиры с жестяными чайниками в руках.

За стенкой грохотали и пыхтели машины, и с каждым их вздохом пароход тяжело и плавно толкала вперёд какая-то огромная сила. Он мне казался живым: он дышал, сопел, вздрагивал, напрягался и время от времени покрикивал кому-то: э-эй! Я отважился вскарабкаться на рогожный тюк и взглянуть в нутро машинного отделения, вцепившись

в медную решётку окна. Внизу, в огромной яме, взмахивали сверкающие серебром страшные, сокрушительно тяжёлые рычаги, похожие на богатырские руки с крепко сжатыми кулаками. Они вцепились в такие же блестящие и пугающе толстые валы и вертели их с грозным напряжением. Между ними тёрли ладонями стальные руки. И когда я увидел глубоко внизу малюсенького человечка в синей блузе, с паклей в руках, мне стало жутко: как он, такой беспомощный, может ходить спокойно среди этих страшилищ и не бояться их убийственных взмахов? Так стоял я долго, заколдованный горячим, невыносимо могучим движением, таким неотразимым и лёгким, не чувствуя себя, позабыв обо всём на свете. Это было чудо, прекрасное, подавляющее, пленительное и таинственное. Когда меня оторвал от этого зрелища отец, я сразу почувствовал себя изнурённым и разбитым.

— Пойдём, сынок, по пароходу прогуляемся. Волгу поглядим.

Мать вязала чулок и невнятно разговаривала с Ульяной, а Ульяна попрежнему качалась вперёд и назад с ребёнком на руках. Ребёнок иногда слабенько и жалобно покрикивал — вероятно, был болен.

Старичок свернулся калачиком и спал похрапывая. Жоричное обветренное лицо его и во сне усмехалось лукаво. Серая реденькая борода казалась лишней и смешной. Мужик тоже спал, уткнувшись лицом в свёрнутую поддёвку. Длинные ноги в лаптях он протянул через проход и, должно быть, не слышал, когда матросы пинали его сапогами. Учительница попрежнему сидела, низко склонившись над толстой книгой.

Мы прошли через просторную площадку, которую мыли матросы странными мётлами из целого снопа тоненьких верёвок. Они подходили к борту, бросали метлу на бечёвке в реку и вынимали её, жирную от воды. И опять шли мы по узенькому проходу. Но здесь люди уже не валялись на полу, а громоздились на двухэтажных нарах.

— Нам бы вот тут ехать-то, — робко сказал я отцу. — Тут хорошо, просторно. И столы есть.

Отец мягко и охотно разъяснил:

— Дурачок, это третий класс, а мы в четвёртом. Тут за места дороже платить надо. А первый да второй — наверху. Там господа едут, купцы да дворяне.

— А нам туда можно... погулять-то?

— Туда нас не пускают. Господа брезгают, когда к ним поднимается чернядь.

Это меня не удивило и не обидело — ведь и у нас в деревне так же: мужиков на барском дворе в дом не пускали, с ними разговаривали с крыльца, а мужики должны были стоять и в дождь и в снег перед крыльцом без шапок. Мы, мужики, «чернядь», обязаны знать своё место. Начальство в белых кителях может орать на нас, как на баранов. К этому мы привыкли и принимали за должное. Значит, везде одинаково: господа и богатеи — наверху. У них и одежда, и лица иные; это люди не нашей породы, как существа другой, неизвестной мне жизни — и тело другого цвета, и походка странная — зыбкая, кошачья, и речь особая, и пахнет от них приятным духом. Они вызывали во мне и страх, и жадное любопытство, и удивление, и бессознательную враждебность.

Хотя народу на корме тоже было много, здесь всё же открывалось воздушное приволье. Предвечернее небо дымилось лиловой пылью, а пепельные спокойные облачка далеко, над луговой стороной, над синими перелесками, длинные, разорванные по краям, казались усталыми и грустными. Над кормой, на короткой мачте, подвешена была белая

лодка вниз носом, и она казалась очень лёгкой и красивой. Река, разливная, широкая, блистала зеркалом, и низкий берег слева мерцал песком и яркой зеленью травы. А за кормой рыжей пеной кипели водовороты и уплывали назад, вздымаясь и ныряя в глубоких волнах. И вправо и влево эти волны широко и густо расходились во все стороны, блистали небом и тёмной глубиной. Высокие глинистые и известковые обрывы правого берега отражались в сияющей глади реки оранжевыми струями, а ближе и дальше рвались в плывущих к берегу волнах на пылающие клочья и вихри. Над пенистыми волнами летали розовыми вихрями чайки, падали на волны и, едва касаясь кипящей воды, трепетали крыльями, торопливо взлетали вверх с жалобными криками. Поражённый, я не отрывал глаз от этой невиданной красоты и забыл обо всём. Время от времени пароход раздольно вскрикивал встречному пароходу: э-эй!.. Этот задорный крик разносился всюду по широкому простору реки, и чудилось, что и высокие обрывы, и зелёные ущелья, и эти густые, маслянистые волны далеко за кормой поют протяжную и разлившую песню.

И песню эту, могучую и вольную, вдруг подхватила звонкая саратовская гармония, такая же разливная и молодая. Переборы играли причудливыми переливами, рассыпались серебром и колокольчиками. Потом гармония вздыхала густым напевом, в котором слышны были и слёзы тоски, и крики надежды, и бунт беспокойных желаний. Гармонист сидел на тугих рогожных тюках и со строгим раздумьем смотрел вдаль, на реку, а около него теснились парни, одетые по-городскому—в стареньких пиджаках и штиблетах, в дырявых шляпах, бритые и с пухом на щеках. Перед ними на полу стояла бутылка водки и валялись объедки воблы. Один из этих парней схватился за голову, закачался, вскрикнул в отчаянии и запел с рыданьем в голосе:

Сердце ноет... эх, счастья нету...
Ох, я поеду д'кругом свету..

Гармонист как будто не слышал тоскливой жалобы товарища: он застыл в суровой думе и изливал её в звенящих звуках и вздохах басов. А товарищ его горестно покачивался и после перебора опять вскрикнул и застонал в отчаянии:

Ах, догорай, моя лучина!
Улечу я д'на чужбину..

Все эти сбитые в кучи люди в кафтанах, в лаптях, в смятых картузах, босые и в лохмотьях, мужики и бабы, словно замороженные, смотрели на гармониста и его товарища и улыбались смущённо и растерянно. Только крупный старик в суконой поддёвке, с красным, потным лицом и окладистой бородой в рыжих и седых клочьях, старательно ел красные ломти арбуза и пронзительно тоненьким голоском вскрикивал:

— Он, господь-то, отец наш небесный, грозен и справедлив в гневе своём. Вот они, бездельные да неурядистые люди-то! Х-ха, глядите-ка! Винцо, гармошка, беструдые... Бродят шелопутами по свету, беспокоят хороших людей... Эх, без-за-конники!

Парень, который пел со слезами тоски в голосе, выпрямился и впился в старика злыми глазами.

— Ну, ты... живодёр! Сколько в Саратове краденого набрал? А сейчас в Царицыне упакуешь да в Астрахани на татарском базаре спустишь? Жри свой арбуз и молчи, а то за бортом поплывёшь..

Старик смущённо и плутовато усмехнулся и сокрушённо покачал головой.

— Рече безумний: несть бог. Зане рекомо бысть: не послушествоуй на друга своего свидетельства ложна. Все увязли в грехах, как в тине. И почто так много бродяжит вредных людей?

На него уже не обращали внимания, и гармонист вдруг сдвинул шляпу на затылок, оглядел народ озорными глазами и заиграл плясовую. Парень вскочил на ноги, вскинул руку, вцепился в шею, другою опёрся о бедро, гулко топнул рваным штиблетом и лихо взвизгнул:

— Эх, братцы, други вольные!.. Жизнь наша — копейка, а судьба — злодейка. Пляши — не тужи, дави живодёров!

И под рассыпчатые переливы гармонии и звон колокольчиков начал ловко оттопывать чёткую дробь своими штиблетами. Неожиданно вскочила молодая бабёнка с зовущими глазами и вызывающе уставилась на него и низким голосом крикнула:

— Эх, мальчишка милый! Пойдём, что ли, на зло праведникам!

За кормой бурлила вода и длинным следом в водоворотах и пенё уплывала назад, зыбкие волны расходились к берегам, играя ключьями неба и тьмы. Высокие красные обрывы в оползнях медленно плыли мимо, а направо река блистала пламенем и разливалась до горизонта. Там, очень далеко, чернела маленькая лодочка, а на ней стоял неподвижно человек. Под глинистой кручей у самой воды шли один за другим маленькие люди и тянули на верёвке лодку, а на лодке мужик в красной рубашке отталкивался длинным шестом. Далеко позади волны от нашего парохода выкатывались на берег снежными сугробами.

Наверху визгливо залаяла собачонка. За белой решёткой стоял толстый человек с узенькой бородкой и женщина с высоко взбитыми волосами. Она держала на цепочке белую, лохматую собачку с чёрным носиком. Собачка смотрела на плясунов, подпрыгивала и брезгливо лаяла.

Пароход крикнул раскатисто: э-эй!.. Где-то недалеко ответил ему другой, встречный пароход: у-ух!.. И немного погодя прошёл мимо нас розовый, гордый красавец, бурля красным колесом воду и отбрасывая назад всклокоченные волны. За розовой проволочной сеткой стояли и прохаживались господа. Две барыни махали белыми платочками. И опять — залиvistый крик нашего парохода, и опять ему откликнулся другой, и мы обогнали чёрные огромные баржи с домиками на палубе, с большущими рулями, похожими на ворота, а потом — длинный пароход с белым поясом на чёрной трубе. Он с натугой тянул на толстом канате эти баржи и изо всех сил шлёпал колесом по воде.

Меня потянул за рукав отец, и мы пошли обратно. На носу народу было меньше. Здесь сбились в кучи татары в тюбетейках и все вместе бормотали что-то, не слушая друг друга. Два старика с реденькими бородками стояли на коленях и покачивались, умываясь ладонями. Высокий матрос в кожаном картузе, похожий на дядю Ларивона, длинным шестом мерил глубину и мычал после каждого взмаха, вытаскивая шест из воды:

— Три-и!.. Два с по-ло-виной!.. Под табак!..

Волга вдали разливалась так, что не видно было низкого берега, только в туманце синели полоски лесных зарослей. А справа зеленели горы в ущельях и узких долинах и снова отвесные красные и известковые обрывы. И там, в мерцающем блистании реки, снова чернели толстобокие баржи и дымили трубы пароходов. Дул свежий ветер, свистел в ушах, и было приятно чувствовать его упругий напор: Пахло землёй,

травмами и рекой. У стенки борта четверо городских парней с угарными лицами играли в карты, а рядом с ними, закинув руки за голову и прислонившись к стенке, смуглый парень с чёрной шерстью на щеках и подбородке задумчиво пел вполголоса:

Отцовский дом спокинул я,
Травой он за-арастё-от...

Песня была печальная, и мне казалось, что парень вздыхает, тоскуя, и на глазах у него слёзы. Мне тоже стало грустно. Должно быть, этот парень пережил какое-то горе и уехал из родного дома куда глаза глядят. Может быть, и ему так же жалко было покидать родные места, как и мне свою деревню, где остались тётя Маша, Кузьярь, где лежит в могиле бабушка Наталья, где мерцает на солнце широкая лука и играет милая речка внизу, под глинистым обрывом.

В эти минуты я почувствовал отца маленьким и насторожённым до робости и как-то сразу заметил в нём новую, неожиданную черту: он мягко и ласково брал меня за плечо, прижимал к себе и говорил странным голосом — виноватым, улыбающимся. Мне было как-то неловко слушать его и ощущать прикосновение его руки: словно он, защищая меня от чужих людей, сам растерялся в этом людском месиве, вырванный из привычной деревенской жизни. Там были надёжные, обжитые устои, были родные поля, взгорья, буераки, лука, дороги и тропки, по которым твёрдо и уверенно шагали ноги даже в тёмные ночи, и шабры, которые были так же близки, как родня. Там прожитый день незаметно угасал в спокойном сне, а новый день был похож на минувшие, и в этой привычной смене дней все чувствовали себя спокойно и знали своё место и свой долг. А здесь, на палубе парохода, люди, выброшенные из сторонних деревень, покорно сбились в кучи, чужие друг другу, и плыли в неведомый край, на берега Каспия, искать удачи, не зная, что их ожидает в будущем. Но будущее — это надежда, которая всегда полна манящих обещаний.

Отец и с матерью стал держать себя иначе: он ни разу не прикрикнул на неё и не смотрел исподлобья, с гнетущей злобой в ожесточённых глазах, как это было в деревне. В голосе его зазвучала неслышанная раньше добродушная глухотца, лицо посветлело. Маму он уже не называл Настасьей, а звал легко и игриво: Настёнка.

— Настёнка, сейчас к пристани подходим. Пойдём, арбузик и дыньку купим, колбаски. А Федянька посидит здесь, покараулит. С места не сходи, сынок, да поглядывай, как бы не подошёл голах.

А когда они возвращались с покупками — с арбузом, с колбасой, с белым калачом, пахучим и ноздристо-пухлым — он первый кусок хлеба и колбасы протягивал матери.

— Держи, Настёнка!..

Ночью я сквозь сон видел, как он заботливо поправлял на ней одежку и, поднимаясь на локте, осматривался, всё ли в порядке.

Это было так ново и неожиданно для меня, что я сначала опешил и с боязливой недоверчивостью глазел на него, как на чужого. Он заметил моё изумление и смущённо засмеялся:

— Ты чего, сынок, уставился, как сыч? Чай, мы не дома: мы сейчас сами по себе, сами для себя.

А лицо матери совсем стало девичьим, и в глазах долго не угасала радостная растерянность. Страх перед отцом сохранился во мне, как инстинкт, и я никогда уже не мог его вытравить до конца. Попрежнему я бязливо молчал и ждал окрика или обычного шипка за волосы. Про

себя я объяснял эту странную перемену в отце тем, что мы — среди чужих людей и отец, как самолюбивый человек, хочет показать себя с лучшей стороны. Он, мол, не бирюк, а человек «урядистый».

Лицо матери зарумянилось, посвежело, глаза горячо заблестели, и в них засветилась своя, задорная мысль. Вероятно, душа её всегда пела, но песню давно придушили дедушка и отец, и она затаилась глубоко внутри. А сейчас на пароходе, от нечего делать вышивая по канве, мать пела вполголоса хорошие, задушевные песни. Характер у неё был лёгкий, общительный, и с первого же дня к ней прилепилась Ульяна. Угрюмое её лицо прояснилось и подобрело. Всё время они шушукались или болтали вполголоса о своих бабьих горестях. А Варварушка больше молчала, читала свою толстую книгу и что-то писала карандашом в тетради. Но вдруг захлопывала книгу и говорила с матерью и Ульяной тоже вполголоса, слушала их с задумчиво-строгим лицом.

Старичок где-то пропадал, а возвращался весело взволнованный, улыбающийся, ахал, удивлённо качал головой и садился на пол, чтобы только успокоиться. Но долго сидеть или лежать не мог; он прислушивался к гулу, к суматохе, к многолюдному говору и крикам, к потрясающей работе машин и, обеспокоенный, быстро вскакивал и семеня куда-то спорыми, прыткими шажками. Когда мы с отцом проходили по пароходу, я видел Онисима то на корме, то на носу, то на нарах третьего класса. Среди мужиков или мастеровых он разговаривал, посмеиваясь и покачивая головой. Должно быть, он успел уже ко всем присмотреться, ко всем подойти и узнать, кто куда едет, что оставил позади и чем озабочен. Однажды бородатый матрос с дерзкими глазами схватил его мимоходом за плечо и крикнул:

— Опять ты, Онисим, калика перехожая, сума перемётная, побрёл вниз по матушке по Волге? Грач ты перелётный. Сколь годов я уже плаваю с тобой?

Онисим засмеялся и открикнулся по-свойски:

— А ты, Кирюша, годы не считай, а радуйся, что мы с тобой в добром здоровье и благополучии. Течёт Волга неистошимо, как жизнь человеческая, и мы с тобой, Кирюша, — её дети родные. Таких, как мы с тобой, неувывных, она любит.

Матрос раскатисто хохотал.

— Когда ты, Онисим, угомонишься? В грехах покаешься?

— Человека угомон не берёт, Кирюша. Мне каяться не в чем: на мне нет грехов. Грехи, Кирюша, в духоте да сырости живут, как плесень, а плесень-то покрывает одни гнилушки.

— Люблю тебя, Онисим; от тебя и старость бежит, как от смутьяна.

— Живая-то душа не стареет, Кирюша.

Часто уходила с ним учительница и долго не возвращалась. Муж Ульяны — Маркел — кивал на них лохматой головой и усмеялся.

— Старичок-то всем кум и сват. А с учительницей, они, не иначе, фальшивые деньги делают.

Но мать следила за Онисимом с пристальным любопытством, и по глазам её я видел, что он ей нравится. А Онисим с ласковой улыбкой чаще говорил с ней, чем с мужиками.

— Приедешь в Астрахань, Настя, сейчас же на ватату нанимайся. Город Астрахань — грязный, неуютный, и деревенскому человеку там жить обидно: народ там колобродный, аховый, базарный, отчаянный. Ты с мужем-то на Каспий поезжай — к Гурьеву, к Эмбе, на промысла. Огро-омадные там ватати. Трудно там, работка тяжкая, зато — в артели: есть с кем и поплакать и поплясать. А на миру и горе в полáгоря,

и сердце с сердцем скапается. Труд-то ведь, Настя, везде для рабочего человека — не праздник: труд-то везде нам в убыток. Не на себя трудишься, а в чужую мощну слёзы льются.

Он вдруг постукал пальцем по книжке, которая лежала у меня на коленях, и с колючей насмешкой в прозрачных глазах неодобрительно проворчал:

— А ты всё читаешь да читаешь, малец? Х-м, млад годочками, а читает! Только ведь больше человеческой мудрости не вычитаешь. Читать-то читай, да не зачитывайся, а то забудешь о людях, оторвёшься, как телёнок от стада, и заплутаешься. Заплутаешься — и волки съедят. Походил бы по пароходу, послушал бы разных людей да Волгой любовался...

— Меня одного ходить не пускают, — с обидой пожаловался я ему. — А я уж не маленький — всё вижу и понимаю.

Мать встревожилась и ревниво обхватила меня рукой.

— Разве можно одному-то? Гляди-ка, что везде делается? Затопчут, в воду столкнут, а то тюками раздавят.

Варвара Петровна встала, взяла меня за руку и подняла с насиженного места.

— Мы пойдём с ним наверх, а здесь одурь берёт: и машины грохочут, и пар шипит, и духота.

Книжку я бережно положил матери на колени и, потрясённый нежданной радостью от того, что сейчас смогу подняться наверх, где гуляют господа, вскочил, задыхаясь от сердцебиения. Мать проводила меня с ласковой завистью в глаза: ей тоже хотелось пойти с нами наверх. Когда я встречал её взгляд — беспокойный, спрашивающий и покорный, — я всегда чувствовал жалость к ней: почему в глазах её, широко открытых, ожидающих, не угасает грусть? Они грустны даже тогда, когда она смеётся.

Варвара Петровна уверенно открыла дверь и толкнула меня вперёд. Я в страхе прижался к стенке, словно передо мной оказалась пропасть. Блестящие латунные перильца и молчаливая пустота наверху словно отшвырнули меня назад.

Мы поднялись наверх и очутились в ослепительно чистом коридоре с ковровыми дорожками, с блестящими стенками и дверями. Воздух здесь был лёгкий, ароматный, странно пустой. Эта пустая тишина и невиданная чистота и блеск как будто встретили меня с барским удивлением и настороженностью. Впереди, на носу, в открытую дверь виден был длинный стол под белоснежной скатертью, а на нём играли лучистыми переливами сказочно богатые, хрустальные кувшины, блюда, бокалы, и растения раскидывали в стороны огромные листья. Оттуда вышла женщина в белом фартуке и белой кружевной наклке. Она строго посмотрела на нас и лёгкой походкой пробежала мимо.

И вдруг я ощутил свои босые, грязные ноги, пропитанную потом пунцовую рубашку и бумазейные портчишки. Мне стало страшно: вот выйдет какая-нибудь барыня с турнюром и крикнет брезгливо: «Ты зачем сюда пришёл? Долой отсюда, вниз, к своим голахам!..»

— Отчего ты застыл, Федя? — улыбаясь, позвала меня Варвара Петровна. — Привыкай. Тебя никто не тронет. Выйдем сейчас на воздух и обойдём вокруг парохода. Вся Волга перед тобой откроется.

Я едва отодрал ноги от скользкого пола и пошёл рядом с Варварой Петровной, пришибленный и растерянный. Как-то вышло само собой: я вцепился в её пальцы и долго не выпускал их. А она, тощенькая, в поношенном городском платье, гладко причёсанная, с бледным лицом, с небоязливыми, задумчивыми глазами, шла смело, твёрдо, немного сутулясь.

— Какой ты дичок, Федя! Деревня твоя — далеко позади. Теперь у тебя новая жизнь. Надо её брать с бою, а не подставлять ей спину. Ты ведь не трусишка, вижу. А здесь некого бояться: тебя никто и не заметит. Внизу-то опаснее: там разный народ, и пьяные, и озорники.

Словно на крыльях взлетел я в воздушное царство. Меня ослепил свежий блеск парохода: стены, пол, сетчатый парапел сверкали на солнце зеркальными отблесками, а небесная гладь реки бежала очень далеко, к высоким красным обрывам и бархатно-зелёным ущельям, оползням и долинам, где ютились избушки с тесовыми крышами — маленькие, кукольные, точно сделанные из щепочек. На песчаной полоске прыгали крошечные ребятишки. Лошадка, похожая на жука, тянула по дороге тележку с бочкой, а мужик, меньше меня ростом, шёл рядом с вожжами в руках. От берега плыла лодка, и вёсла взмахивали, как ножки водолюба. И горы, и обрывы, и деревенька, и лодка медленно уплывали назад. Белые чайки вихрями носились над рекой и над нами, повизгивали надрывно, и я улавливал только трепет их крыльев. Гряда зыбких волн катилась к берегу, и далеко позади вскипала пенистыми гребнями. Лодка взлетала носом вверх, проваливалась, опять прыгала вверх, как цевка. Внизу под моими ногами глухо шлёпали колёса. Пароход был живой, горячий: он дышал и плыл по широкому разливу реки, как огромная белая птица. Впереди река безбрежно блестела вплоть до края неба, и там тоже дымили пароходы и чернели баржи, как плывучие хутора, а навстречу, разрезая воду и отбрасывая её в стороны пенистыми волнами, крылатый, играя колёсами, в каскадах брызг, нёсся навстречу такой же белый пароход. Он приветствовал нас весёлым криком «э-эй», и белый человек вышел на бортовой мостик и помахал флажком. Таким же раскатистым криком ответил ему и наш пароход. И от этих разливистых криков река казалась ещё величавее и раздольнее. Я чувствовал её живой, а себя — лёгким, как пылинка.

По палубе прохаживались или сидели на скамьях и в плетёных креслах господа, бегали в коротких портчишках наголо остриженные мальчишки и — в кургузых платишках — девчонки. Один парнишка размахивал верёвочкой и прыгал через неё, и это показалось мне дурацкой, не мальчишечьей игрой. Он вдруг наскочил на меня и, враждебно оглядывая, крикнул барским голосишком:

— Ты зачем сюда припёрся, дурак?

Варвара Петровна упрекнула его, качая головой:

— Ай-яй-яй! Какой невоспитанный мальчик!

— Убирайся отсюда, босяк! — заорал парнишка, но на него лениво прикрикнул господин в очках в соломенной шляпе:

— Отойди прочь, Вова!

Здесь, хоть и под защитой Варвары Петровны, я чувствовал себя так же, как на барском дворе или в дверях кладовой и на пороге лавки Стоднева. Как маленький мужичок, я нёс в себе ту же приниженность и боязнь перед господами и начальством, как и мой отец, как и любой наш шабёр. Поэтому окрик барчонка я воспринял, как естественное выражение господского презрения ко мне, мужичишке, который дерзко посмел выползти из смрадной гуши «черняди». Я прижимался к Варваре Петровне и не отпускал её руки. А она шла смело, не обращая внимания на бар, и ободряла меня:

— А ты не бойся! Чем ты хуже этих ребятишек? Вся разница в том, что ты из деревни, бедный, а они — городские и богатые. Зато ты хоть и малыш, а трудился, даром хлеб не ел. Подрастёшь, многому научишься, многое поймёшь и вспомнишь, о чём я тебе сейчас говорила.

Только о книжках не забывай: есть очень хорошие и умные книги. Я говорю это тебе потому, что ты любознательный, ты олытнее, чем эти барчата. Правда-то на твоей стороне.

Хотя сложные вопросы человеческих отношений были вне моего понимания, я чувствовал в словах Варвары Петровны что-то общее с поведенью Микитушки о правде.

— У нас Микитушка тоже о правде рассказывал. А Митрия Степаныча, мироеда, лжой обзывал. Митрий-то Степаныч и брательника в острог отправил: деньги фальшивые ему подбросил. Ну а Микитушку становой забрал. А Луконя-слепой от правды-то своей дурачком сделался.

Варвара Петровна с удивлением взглянула мне в лицо и растроганно засмеялась.

— А-а, вот ты до каких мыслей додумался! Деревенских парнишек рано жизнь уму-разуму учит.

Она говорила со мной, как с ровней, а не как с малолетком, и я радостно чувствовал себя рядом с нею старше своих лет. Свои мысли она высказывала так, как будто говорила вслух сама с собой, но я знал, что она беседует со мною. Так же, вероятно, разговаривала она и со своими учениками, когда бывала в их гурьбе. В ней я чувствовал что-то общее с бабушкой Натальей.

Снизу со звоном взвились рассыпчивые трели гармонии, и вслед за ними с разудалыми стопами и задушевной болью очень красиво запел низкий девичий голос. Несколько человек поднялись с диванчиков и пошли к корме.

Тот же гармонист сидел на ящике, окованном железом, и, закинув голову назад, как слепой, играл причудливые переборы. И та же молодая бабёнка с горящими глазами и скорбными морщинками над переносьем, но с задорной улыбкой пела, когда гармонист переходил к запевке:

Ах, Волга, Волга,
Ты плещешь вольно..
Ох, любила час я,
А сердцу больно..

Сидела она на тугом мешке из дерюги, закинув руки за голову. Из-под цветистого полущалка выбивались тёмные пряди взбитых волос. Круглое лицо её со вздёрнутым носом, румяное, умоляюще уставилось на гармониста. Те же парни в стареньких шляпах не обращали ни на кого внимания и оживлённо переговаривались. А когда гармонист опять заиграл запевку, бабёнка закачалась из стороны в сторону, закрыла глаза, и мне показалось, что лицо её побледнело.

Ах, только Волга разольётся..
Эх, Волга матушка-река-а!
Д'сердце радостью забьётся..
Эх, да за-аливает берега-а..

И вместе с перебором призывно закричала речитативом:

Ах, милый мой!
Ой, где ты, где ты?..
Ну, отзовись ты
Хоть с того света!..

Парни с отчаяньем людей, которым негде преклонить голову, пропели разудало:

Прощай, последний
Мой день ненастья!
Пойду с матаней
Искать я счастья...

Бабёнка смотрела на них пьяными глазами и дразнила их голосом, хватаящим за душу:

Ах, милый мой-да
Напьемся браги...
Бежим на Волгу,
Да на ватаги...

— Ах, как наш русский человек умеет петь!.. — вздохнула Варвара Петровна и со слезами на глазах поглядела вдаль, на широкий разлив реки. — И не просто поёт, а переживает: всю свою душу выкладывает.

Бородатый старик в распахнутом сюртуке, в картузе, с жирным красным лицом, с опухшими от перепоя глазами, прорычал:

— Эй, вы, безотцовщина! Ветрогоны! За то, что душу разбередили, хватайте!.. Нате вам, черти безродные!

Он бросил вниз несколько бумажек.

Гармонист и парень с молодухой не встали, а только взглянули наверх и вразной, неохотно крикнули:

— Покорнейше благодарим, Прокофий Иваныч!

— Узнали, черти перелётные, хо-хо?

— Да кто же вас не знает, Прокофий Иваныч? Самый первый ворота на Волге...

— Люблю их, голахов! Самый весёлый и душевный люд. Дерзкие умники! Ни с кем так не гулял я, как с такими шарлатанами. Ничего не признают: ни матери, ни отца, ни барина, ни купца. Пойду к ним — в Царицыне кутить будем.

Он, не стесняясь, грубо толкнул барыню, отшвырнул спиной господину в пенснэ и, рыхло переваливаясь, пошёл по палубе, поскрипывая дорогими сапогами.

— Это — Пустобаев... — почтительно забормотали около меня. — Рыбопромышленник. Несметно богат. Когда кутит, вся Астрахань ходуном ходит. Промысла у него по всей Волге и Каспию. Тысячи людей на него работают. Сам губернатор перед ним навьтяжку стоит.

Барыня, которую толкнул Пустобаев, злая от оскорбления, брезгливо бормотала:

— Это возмутительно!.. Пьяный дикарь! Безобразие!

Господин в пенснэ, нервно подхватывая чёрный шнурок, ехидно засмеялся:

— Ну а мы, благородная интеллигенция, не только его не осадили, а склонили перед ним выи.

— А почему? — вытаращив глаза, спросил его господин в чесучовом пиджаке и соломенной шляпе. — Почему, позвольте спросить? А потому, что он обязательно съездил бы меня по морде. Или схватил бы за шиворот и сбросил вниз...

— Нет-с, не потому, — весь вздрагивая от нервного возбуждения, перебил его господин в пенснэ. — Не поэтому, уверяю вас. Нет-с, это владыка нашего времени — господин капитал... Это так-с, так-с...

Варвара Петровна потянула меня за рукав, и мы пошли по другой стороне парохода — на нос. Дул прохладный встречный ветер и трепал

мои длинные кудри. Но на лёгкой зыби реки чётко и глубоко отражалось небо и белые рваные облака. Песчаная полоска берега мерцала так далеко, что сторожевой столб казался тоненькой палочкой. За зелёной бахромой лозняка синела на горизонте длинная полоса лесов. И чайки, которые сидели на песчаных отмелях и роились над берегом, чудились белыми пушинками одуванчика. Всё: и этот голубой разлив реки, и это небо, и дали, и пароход — казалось огромным, необъятным, воздушным, полным напряжённого движения. Это был новый мир, о котором я не читал ни в одной сказке и не слышал ни от бабушки Натальи, ни от Володимирыча. В их рассказах чужая сторона, большие дороги и сёла ничем не отличались от нашей деревни и столбовой дороги, по которой мы ехали на телеге в Саратов. И люди были такие же домашние, как и у нас в Чернавке. А здесь жизнь бурей вырвалась на волю и несётся куда-то в безвестную даль.

На правом берегу отвесные обрывы в оползнях и обвалах уходили назад, один другого выше. Потом они вдруг исчезали, и открывалась широкая зелёная долина в лесах и большое село с белой колокольней. На берегу маячила двухэтажная голубая пристань, а на её палубе волелись люди.

3

Вечером, когда тускло зажглись на стенке оранжевые спиральки в стеклянных пузырьках и многие пассажиры уже храпели, Варвара Петровна встала со своего чемодана и позвала мать:

— Пойдём-ка погуляем с тобой, Настя, наверху, а то ты совсем здесь увяла.

Отец сидел, обхватив колени, и разговаривал о деревенских делах с Маркелом, который лежал на спине рядом с Ульяной.

— Я похожу, Фомич, маненько, а то всю голову разломило.. — робко обратилась мать к отцу. Он недоверчиво смерил взглядом Варвару Петровну и неодобрительно покосился на мать.

— Иди.., только не задерживайся. Здесь — всякий народ.

— Да уж ты, Василий Фомич, доверь её мне, — пошутила Варвара Петровна. — Охраню её от всякой напасти. А уж ежели вы на ватаги едете, так ей придётся самой о себе заботиться, на своих ногах стоять. Артель робких не жалует.

Отец хотел показать себя перед нею учтивым, понимающим, как надо держать себя с образованными людьми: он потрянул кудрями, многозначительно усмехнулся и переливчатым голосом ответил:

— Мы сызмала привычны к толчкам да пинкам, Петровна. Хуже худого не будет, а хорошее в душе хороним и сберегаем себя от лукавого, от мирского греха.

— Со своей чашкой, Василий Фомич, далеко не уйдёшь. — Варвара Петровна засмеялась. — Разобьют её — обмирщишься.

— Я богу верю, а не зверю.

Маркел захохотал, встряхивая большое своё тело.

— Говорю! Верь-то верь, да на верии — дверь. Лезь в подворотню, Вася. Из подворотни ползти вольготней. У мужика — хребет крепкий: хоть трещит, да дюжит.

— Вот и я говорю, — подтвердила Варвара Петровна. — Не ползти, а на ногах держаться надо. Хоть лежачего и не бьют, зато мнут.

Она ласково провела ладонью по спине матери и подтолкнула её вперёд. А лицо матери улыбалось от смущённой радости, и глаза блестя. Пошла она очень легко, прихорашиваясь, ощипываясь, оглядывая себя, и видно было, что она стыдится своего деревенского вида.

А меня всё время привлекали невиданные пузырьки лампочек с раскалёнными завитыми проволочками: это было тоже чудо. Я знал только горящую лучину, восковую свечку, коптящий маргасик и керосиновую лампу, которая висела над столом в избе. Но красный накал тоненькой проволочки в стеклянном шарике — огонёк, который появился неизвестно откуда и неизвестно как, совсем околдовал меня. Я не отрывал от пузырька глаз и следил, как дрожит в нём красная, пушистая от огня ниточка.

Маркел поднялся на локте и поглядел вслед Варваре Петровне и матери. Отец тоже смотрел в их сторону: он был польщён участием учительницы.

— Ещё молода бабёнка-то моя, а на всю деревню отличалась. Другие, как колоды, а она — аккуратная, чистоплотная, говорит — как поёт. Да и в семье у нас все этикие урядистые.

Маркел пропустил слова отца мимо ушей и ткнул пальцем вслед женщинам.

— Барыня — не барыня, и на бабу несхожа. Ни пава, ни ворона. По умственности учёная, а по обычаю вроде как с чернядью. Словно как бы у народа в няньках живёт.

Он опять распластался на своём тряпье. Отец и тут хотел показать своё превосходство над Маркелом.

— Есть у нас такие чудаки-баре — в народ идут, народ жалеют. Для души. Вот рядом с нами — богатеющий помещик Ермолаев, Михайло Сергеич. Ни в чём мужику не отказывает, по избам ходит, и обращение ласковое: мужички! мужички! Не такой, как другие собаки. А то вон в Дубровке есть тоже Малышевы Сергей Андреич и Александра Семёновна... тоже баре. Только с мужиками и знают. За народ в Сибири страдали.

Маркел заколыхался от смеха.

— За народ!.. Милостыньки я им не подам и в батраки не пойду за земишник. Тут, голова, неспроста: не та собака злая, которая лает, а та, которая тишком да молчком за портки цапает. Они, ласковые-то баре, для души льстивые: не заметишь, как под шумок охомутают. У нас тоже такой благодетель оказался: земля — божья, мужички, труд — ваш, а нас уважь!.. Да так опутал, что из году в год полдеревни по миру ходит.

— Ну, Малышевы-баре не такие... — запротестовал отец и упрямо надулся. — Малышевы за мужика — горой, а Ермолаевы — не миродёды: всегда — по закону. Жаловаться на них грех.

— Ты, Вася, мне не перечь! — рассердился Маркел и даже сел от волнения. Он схватился за бороду, и в глазах его сверкнула злоба. — От эдаких ласковых бар я насилу ноги уволок. Всё под метлу вымели: и избу, и скотину продали, и из коробья всё выгребли...

Ульяна завозилась и заплакала.

— Будет тебе сердце-то надрывать, Маркел...

Маркел взмахнул рукой и ударил кулаком по коленке.

— Коли ты барин — бей в зубы. А об себе думать — моя забота. Не жалея меня, не причитай: мужичок-беднячок, несчастный дурачок! Этот жалельщик, как поп, проповедовал: на клочках своих вы, мужички, животы надорвали, и ни хозяину корка, ни коню солома. Вот вам мой угодень — берите их и пашите миром, и свои наделы — в один со мной удел. Всё — общее, и я вам — ровня. Плакал, плакал, жалел да жалобил, всем горы золотые сулил. На счётах щёлкал, целыми возами каждого счастьем наделял. Ну, и подсёк: ни земли, ни избы, ни скотины. Я-то, спасибо, убежал да ещё кое-кто подался, а там народ

сейчас за колья хватается — барина-то громить будут. Не сдобровать... Куда пойдёшь? Кому скажешь? Ты меня не жалея! — заорал он и опять сел с бешенством в глазах. — Ты меня, по своему положению, в харю бей. А я тебе сам могу ножку подставить и своё урвать. А то: мужичок-милачок! Да я не мужичок и не милачок, а рассукин сын комаринский мужик.

Он отмахнулся, завертел лохматой башкой и осторожно лёг рядом с Ульяной.

— Ну, молчок, Ульяна. Прорвало меня маленько. Будя! Лежи! Была бы сила да мощь у Маркела — он всегда у дела: он и плотник, и шорник, и друзьям угодник.

Отец молча, с опаской поглядывал на него и затаённо усмехался в бородку. Тяжёлый и сильный, Маркел стеснял его своим бунтом: отец не любил и сторонился опасных людей, словно они грозили зашибить его. Они слишком много занимали места и слишком много у них было размашистой силы. Маркел напоминал дядю Ларивона, а дядя Ларивон не щадил никого в минуты бешенства. Это были люди не сродные отцу: он и боялся, и презирал их. Тревожил его и Онисим — юркий старичок. Этот неугомонный непоседа жалил его своими пронзительными улыбочками и непрошенной словоохотливостью. Он поглядывал на отца вприщурочку, сбоку, по-птичь, тряс жиденькой бородкой и как будто издевался над ним: «Я, мол, насквозь вижу тебя, Вася, и с первого разу понял, какой ты есть человек. И по нраву твоему слова свои дарю — бери да помни». Мне занятно было наблюдать за искорками, играющими в его свинцовых глазках. Казалось, что вот он сейчас вскочит, и у него завилает сзади собачий хвостик, как у чёртика. Недоверчивый к людям, отец возненавидел Онисима: не потому ли, что этот старичок сразу разгадал его и каждый раз бесцеремонно, но ласково бередил его душу?

Он явился в тот момент, когда Маркел с бешенством рассказывал, как его обобрал барин. Очутился он около меня незаметно, словно выполз откуда-то из рухляди, из-за ящиков и тюков, которые громоздились вдоль стенки машинного отделения. Причмокивая, прикряхтывая, он вынул из мешочка недоеденный арбуз и, покачивая жидковолосой головой, ловко отрезал ломоть.

— Как от бездоля-то человек кружится! Ай-яй-яй! А ведь человек может гору сдвинуть — сила-то какая у него! И выходит, други мои, что нет разбегу человеку, ежели он даже ниточкой к приколу привязан. Глядит он на прикол и думает, бедняга, что вся сила — в этом прикол-лышке. Радоваться ты должен, Маркел, что с прикола с испугу сорвался: свободный стал и сила при себе. Оно верно, и со свободой совладать надо: свобода-то даром не даётся. Так-то, друг мой, комаринский мужик! А вот Вася легче тебя: отлягнулся — и поскакал играючи.

Отец огрызнулся, отводя от него глаза:

— Аль ты оракуль, что меня, как арбуз, взрезаешь?

Маркел, поражённый, сел и ошалело уставился на Онисима.

— Бьёт под самый пах, Вася. Гадай дальше, солон-волшебник!

Онисим с улыбочкой ел красный ломоть арбуза, выковыривая ножичком чёрные семечки и остренько поглядывая на отца и Маркела.

— А тут, Вася, и гадать нечего: по простоте своей вы оба на виду. Маркел, как лошадь, ташил свой воз безропотно. А сорвался с прикола — дальше хомута не уйдёт. А ты, Вася, кудрявенький, ходишь иноходчиком — шиковатисто: себя любишь показать, как богатенький. Ты — как колобок: я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл... побегу по свету за вольной жизнью. А что с колобком-то приключилось?

Отец пренебрежительно усмехнулся и разгладил пальцами свои кудри.

— Старый ты человек, а шутоломишь, как ряженный. При уме да сноровке — человеку везде место.

— Верно, Вася, жизнь наша такая: от сумы да от тюрьмы не откажешься. У всякого таракана своя щёлка есть. А вот ты в своей щёлке-то не усидел. И место-то как будто насиженное, от рождения данное. А выпрыгнул. Чего бы это?

Маркел почесал свою волосатую голову обеими руками и злобно засмеялся.

— И рад бы на родном месте сидеть, да вот чебурахнули. Куда только головой угодишь?..

Отец, обняв колени, покачивался вперёд и назад и, усмехаясь, отмалчивался.

— Вот оно как, — строго сказал Онисим, колюче поглядывая на отца и Маркела, точно заранее знал судьбу каждого из них и знал, что ожидает их в будущем. — Видали, сколь народу-то намело? И этак на каждом пароходе из года в год, изо дня в день... Выброски человека — богovy объедки. И каждый кричит и кружится по-своему: одни мычат, другие рычат, а всякие прочие и плачут и пляшут... Человек горем потаёт, бедой одевается. А я вот обмозолился, хожу наг и бос и не желаю ни дома ближнего, ни скота его, ни кнута его...

Отец покачивался, обхватив колени, и насмешливо отозвался:

— Бездольному псу и нищий — хозяин. А ты хоть и хвалишься вольностью, а батрачишь бесперечь. Тебе и покрасоваться-то нечем.

Маркел под говорок Онисима захрапел, обхватив огромной рукой Ульяну. Изнурённая больным ребёнком, она спала с открытым ртом, и старообразное лицо её, исполосованное скорбными морщинами, омертвело в глубоком сне. Ребёнок уже не плакал и лежал около неё неподвижно, завёрнутый в грязную рухлядь.

Глухо грохотали и чихали машины за стеной, всюду рокотали голоса, слышались пьяные выкрики и песни, трещал и барабанил потолок под шагами гуляющих на верхней палубе, и мне казалось, что красные спиральки лампочек дрожат от этих торопливых и весёлых шагов и от рыхлой поступи каких-то тяжёлых людей. Может быть, в топоте над моей головой слышны и шаги матери, и Варвары Петровны... Хорошо бы подняться к ним наверх и побежать навстречу ветру да смотреть в ночную даль, в безбрежный разлив речной тьмы, в россыпь красных, зелёных и жёлтых огоньков, в таинственную жизнь, полную неведомых чудес. Книжка лежала у меня на коленях, но я не читал её: я угорел и изнемог от пережитого. Я дремал, но не мог уснуть: меня тревожили, как бред, и сказочные видения «Руслана», и путаница новых впечатлений, и ощущение сильного движения парохода, и глубоко подомною, грохот и свист машин, волшебно живых и жутких.

Вернулась мать с Варварой Петровной — свежая, весёлая, румяная, словно в бане вымылась.

— Красота-то какая!.. раздолье-то!.. Так бы всю ночь там, наверху, и пробыла... Душа-то, как голубка воркует...

Варвара Петровна ласково засмеялась ей, как ребёнку.

— Трудно тебе, Настя, будет с такой нежной душой, а чувствую: не замрёшь ты, не отупеешь — пострадаешь, да в песне горе изольёшь...

Она вздохнула с грустной задумчивостью, пристально поглядела на мать и заключила словами песни:

Хорошо тому на свете жить,
 Кому горе-то — сполáгоря:
 Ведь тоска-то слезьми моется,
 Бедованье песней тешится...

В эту ночь я проснулся от причитаний Ульяны и какого-то гнетущего беспокойства. Было душно, пахло нефтью и сыростью, голова ныла от грохота машин и свиста пара. Люди лежали всюду кучами, в лохмотьях. И далеко и близко орали детишки.

Ульяна стояла на коленях и, рыдая, покачивалась вперёд и назад с ребёнком у груди. Мать уговаривала её и пыталась взять ребёнка, но она отталкивала её простоволосой головой.

— Не дам!.. Не трог меня, Христа ради!.. За какие грехи, господи, наказываешь?.. Всю жизнь мучилась — свету божьего не видела.. Ничего не осталось — пошли по чужбине горе мыкать... А тут и последнюю кровинку отнял господь...

Маркел сидел на корточках и глядел на неё кровавыми белками, не зная, что делать. Он крутил и трепал пальцами бороду, встряхивал взлохмаченной своей головой и, как виноватый, упрямо гудел:

— Чего же сделаешь, Ульяна!.. Воля божья... Куда же денешься?..

Отец спал или притворялся, что спит, чтобы не ввязываться в чужие дела. Впрочем, я заметил, как он украдкой дёрнул мать за сарафан и сердито кашлянул. Но она даже не оглянулась и что-то тихо бормотала Ульяне, обнимая её и прижимаясь щекой к её лицу. Варвара Петровна причёсывалась и со строгим спокойствием посматривала на Ульяну. Потом она связала свою постельку, затянула её ремнями, вернула книги в бумагу и завязала их верёвочкой. Она только один раз властно приказала Онисиму:

— Ты, Онисим, распорядись, как надо. Мы с тобой оба сойдём на берег. Я буду с Ульяной, а ты с Маркелом пойдёшь хлопотать... Ну, да не мне тебя учить — сам знаешь.

Онисим юрко вскочил на ноги и требовательно, без обычной улыбочки, заторопил Маркела:

— Ну-ка, ну-ка, мужик, сряжайся скорее! Сейчас к пристани причалим. Выйдем на берег и всё обрядим до другого парохода. Ну-ка, дай я тебе подсоблю...

И он начал распоряжаться, как хозяин, подталкивая Маркела кулаком в спину и в бок. Маркел послушно стал связывать свою рухлядь, кряхтя и вздыхая:

— Одна беда без другой не бывает: беда беду погоняет... Бог обидел, а чёрт верхом сел. Эх, житьё-бытьё! Продрал бельмы — и за вытьё.

Варвара Петровна шепнула что-то матери и поцеловала её. Мать села на своё место, обняла меня и, вздрагивая, крепко прижала к себе. Я шёпотом спросил её:

— Это что за беда у них?

Она лихорадочно прошептала мне в ухо:

— Ребёночек у Ульяны умер. Хоронить его надо — вот на берег и сходят. Ты молчи. Нельзя, чтобы люди узнали, а то взбулгачутся.

Отец лежал попрежнему безучастно и неподвижно, натянув поддёвку на голову.

Наверху, где-то далеко, разливно звенела гармония, с разудалым отчаянием заливались песни и глухо барабанил плясовой топот каблук.

Среди пассажиров, мужиков и каких-то голодранцев началась тревожная возня. Две старухи с монашескими лицами, в чёрных платках, сколотых булавкой под подбородком, с угрюмым страхом косились в нашу сторону и бормотали басовито и враждебно. Мужики спали, только двое поднялись один за другим, пошли босиком за нуждой, разморённые сном. Весь оборванный голах, с сизым, отёчным лицом, сел, опираясь на руку, и с безумными глазами пьяницы угрожающе прохрипел:

— Собирай монатки, борода, и — на берег!

Ульяна попрежнему стояла на коленях спиной к проходу и качала мёртвого ребёнка. Она уже не рыдала, а молча смотрела в одну точку и, должно быть, ничего не видела и не слышала. Маркел с остервенением захлёстывал верёвкой тюк, опираясь на него коленкой.

Мне было страшно — страшно мёртвого младенца на руках Ульяны, страшно какой-то зловещей тайны, которая ушибла людей, словно внезапно посетил нас невидимый призрак, которому нет имени. Я не отрываясь смотрел на Ульяну, и мне чудилось, что от неё исходит странная духота, которая проникает в самое сердце. И я видел, что и мать переживала то же угнетающее чувство: её лицо будто похудело и стало бледным, а глаза остановились на Ульяне в жутком ожидании. Но Варвара Петровна попрежнему сидела спокойно, задумчиво-строго и молчаливо. А Онисим с весёлой юркостью возился вместе с тяжёлым и растерянным Маркелом над его пожитками.

— Вот сейчас на пристань сойдём... А ночком опять сядем на пароход и побежим вниз... Была бы душа жива, да сила-здоровье. Хоть и спотыкается человек и падает, а всё-таки встанет и пойдёт своей путёй. Хоть и плутает во тьме, а к солнышку выйдет. Выйдет! И из родничка живой водицы напьётся.

— Эй, ты, старый козёл! — угрожающе крикнул голах. — Чего ты там сулишь... солнце в торбе да воду в решете?

Онисим оглянулся и просверлил его своими пронзительными глазами:

— Не тебе, дружок, не тебе — нету: ты и так богатый.

— Чем же это я богатый для тебя? — насмешливо придирался голах.

— А тем, дружок, что вору всё открыто — и карман и майдан, живи — не тужи, а умрёшь — не вздохнёшь.

— Пускай я для грабителей вор, а таким, как ты, сивый козёл, я полтинники под ноги бросаю, хо-хо!

— А кому ты мои полтинники бросал, Башкин, когда вытащил у меня сорок монет на фарфосе, на бережку, под весенним солнышком? Ну, и не обиждайся. Не касайся чужого горя: младенец-то сильнее тебя.

Варвара Петровна сурово прикрикнула на Онисима, глядя на него тёмными глазами:

— Онисим, замолчи! Ты сам тревожишь людей.

Онисим послушно сел на своё место и затряс бородёнкой от немногого смеха.

— Правды, Варварушка, не угомонишь, а душа — не курица: крылышки ей не свяжешь.

Голах долго и молча глядел на Онисима одурелыми глазами пьяницы, потом встал, разболтанно подошёл к старику и угрюмо прорычал: — Сорок твоих монет получишь. С пьяных глаз вышло. А сейчас поиграть с тобой захотел.

Онисим отмахнулся от него.

— Иди, иди, Башкин. Мне денег не надо. Меня ограбить нельзя,

я неразменным рублём живу. Иди-ка, иди, дружок, не мешай матери в её горести.

Маркел с безумными глазами рванулся к голаху и со всего плеча ударил его по уху. Голах грохнулся на пол. Пассажиры невозмутимо лежали на своих пожитках.

— Ты это что делаешь, Маркел? — вдруг властно крикнула Варвара Петровна. — В тюрьму захотел?

Маркел тяжело дышал, раздувая ноздри. Онисим подбежал к голаху, ощупал его грудь и лицо и, успокоенный, подхватил Маркела под руку и посадил его на пухлый узел, туго перевязанный верёвкой.

— Ничего... оглушил маленько. Сейчас очухается. Так вот сослепу и гибнет человек. Затмится ему, озвереет — и пропал...

Маркел молчал, ворочая белками, как не в своём уме. Варвара Петровна гневно посматривала то на лежащего голаху, то на Маркела. Мать в ужасе обхватила меня обеими руками, и я слышал, как у ней глухо стучало сердце. Голах поднялся на руки и отполз на своё место.

Этот маленький мертвец был наглухо завёрнут в лоскутную одеялку, а Ульяна прижимала его к груди, но он стоял перед моими глазами голенький, восковой, окоченевший.

В душевном угнетении я заснул бредовым сном и не слышал, как пароход причалил к пристани и как Онисим и Варвара Петровна сошли вместе с Ульяной и Маркелом на берег.

Проснулся я, как после угара: с головной болью, с тяжестью в теле, с беспокойством в сердце. Попрежнему грохотали и пыхтели машины и толкали пароход при каждом вздохе. Направо, сквозь чадный дым, врывалось на палубу солнце. Там слышно было бурное кипенье воды, всплески волн и визгливые крики чаек. Пассажиры хлопотливо ворошились среди своих пожитков — готовились к выходу и были взволнованы ожиданием. Вчерашний голах с сизым, опухшим лицом сидел на голом полу и тянул водку из горлышка бутылки. Мать как будто обрадовалась, что я проснулся, и улыбалась мне глазами. Отец надевал поддёвку и весело тропил меня:

— Вставай проворней, сынок, пойдём на пристань, купим чего-нибудь. А потом мы с матерью пройдемся. Сейчас к Царицыну причалим.

Он повёл меня к умывальнику на открытом борту и даже сам отвернул кран. Меня ошпарило, ослепило солнце. Вообще, отец стал относиться ко мне ласково и мягко, и я часто ловил на себе его зеленоватые, самоуверенные глаза. Но мне непонятна была перемена в поведении матери. Ни забитости, ни молчаливой обречённости уже не было в ней. Она будто выздоровела, а в глазах хоть и осталась дымка печали, но они блестели теперь нетерпеливым любопытством и мечтательным лукавством. Да и к отцу стала относиться без боязни. Вышивая по канве и тихонько напевая песенку без слов, она вдруг ни с того ни с сего посмеивалась и шутила:

— Купил бы ты мне, Фомич, яблочков на пристани... страсть поесть охота!

Он снисходительно ухмылялся и отшучивался:

— Не хочешь ли медку с калачом?

— Да и медку бы... Чай, я пять холстов Митрию Степанычу продала: ты, чай, богатый.

И когда пароход причаливал к пристани, отец, к моему изумлению, приносил в карманах красные яблоки и хвастливо бросал их в подол матери.

— На, держи! Пятак десяток. У нас такие гривенник мера. А медку уж в Царицыне куплю.

Мать растроганно упрекала его, краснея:

— Ну, чего ты, Фомич, деньги-то зря бросаешь? Чай, я нарочно...

А отец смеялся, довольный своей выходкой, и наслаждался смущением матери.

— Ну, ешь, лакомись! Не оглядывайся, не шурься — тятенька-то далеко остался. А то бы он за этот пятак шкуру мне спустил.

И самодовольно важничал:

— А теперь меня не достигнешь — отрезанный ломоть. Пускай сам с сыновьями спину гнёт да в извоз ездит. Вот в Астрахани в извозчики наймусь — как на картинке щеголять буду. А тебе платье с тюнрюром куплю.

Мать с весёлым негодованием отмахивалась от него.

— Уж сморозит, Фомич! Чего это я тюнрюром-то трясти буду? Чай, умру со стыда... Я лучше на ватагу поеду.

Отец поражал её, посмеиваясь над её ужасом:

— На ватаге-то все бабы в штанах в обтяжку ходят — вот красота-то!

Мать в притворном страхе махала на него руками и жалобно хныкала:

— Да не пугай ты меня, Фомич! Это, чай, охальницы какие-нибудь.

— Без штанов там нельзя, — авторитетно замечал отец. — По-едешь — и на тебя напялят.

Она тихо смеялась, закрывая лицо вышиваньем. Но я видел, что ей совсем не страшно, что ей эта диковинка занята, а с отцом она только играет.

В таком лёгком и беззаботном настроении плыли до самой Астрахани. Хотя мне и приятно было видеть отца и мать весёлыми, но я не доверял отцу: его недобрые глаза, упрямые шишки над бровями, привычная форсистость и любовование собою, как умственным и красивым мужиком, который может неожиданно, если не угодить ему, разозлиться и ударить мать, а меня схватить за волосы — всё это держало меня настороже, и я замыкался, молчал, смотрел на него исподтишка, уткнувшись в книжку, которую подарила мне Варвара Петровна. Я часто смотрел на чёткую надпись на чистом листе книги: «Читай, учись, Федя, будь честным, хорошим человеком, всегда стремись к знанию. Книга — лучший товарищ в борьбе за правду. Ищи и добивайся счастья, как Руслан. Не забывай меня». И эти красивые слова волновали меня до слёз. Когда я перечитывал их, мне казалось, что и сам я стал другим, не тем, каким был в деревне. В душе рождалось какое-то смутное беспокойство: невнятная мечта, немые порывы, и я слышал внутри себя мерцающее пение. А может быть, где-то далеко играла гармония и пели грустно-разгульные запевки те городские парни и озорная женщина, которых я видел на корме. Я нёс в себе давнишнюю любовь к музыкальным переживаниям, привитым мне и в моленной, и матерью с бабшкой Анной, и девичьими хороводами.

Эту песенность я и сейчас чувствовал в матери, в её опечаленных улыбчивых глазах, в её молоденькой хрупкой фигурке. Мне чудилось, что и думает она песнями и причитаниями но отец не слышит, не ощущает их и никогда не услышит. Перемена её была только пробуждением от кошмара, который давил её многие годы. Мне и теперь было жалко её: она и радоваться-то отвыкла, словно ещё была больна, и смех её был странно придавленный, как будто вынужденный. А когда она внезапно свежела и в глазах её сверкали прозрачные ручейки, она вздра-

гивала и озиралась. В ней ещё трепетал душевный надрыв, который ощущался и в дрожании рук, и в тревожной задумчивости.

Когда пароход подошёл к царицынской пристани, плотно сбитая толпа стояла на палубе и нетерпеливо напирала на перила. На неё орал матросы и отталкивали плечами тех, кто одурело рвался вперёд.

Сверху, с гармонистом и дерзкой бабёнкой, свалилась разудалая компания парней. Купец Пустобаев, высокий и жирный, с опухшим лицом, с растрёпанными полуседыми волосами, властно шагал на толпу. Не останавливаясь, он хрипло рявкнул:

— А ну-ка, Костя, гаркни!

И гармонист гаркнул во всю глотку:

— Расступись, сырая вобла, сам хозяин идёт! Шапки долой и башки подмышки!

И он оглушительно заиграл на гармонии, позванивая колокольчиками.

Толпу словно разрежало плетью, и она сразу отхлынула в обе стороны. Все эти чапанники, лапотники и лохмотники угодливо закланялись, заулыбались, покрикивая друг на друга:

— Подайся, ребята! Дай дорогу! Пошире, ребята!.. Сам идёт! Сколь тыщ народу кормит.

А Пустобаев вёл под руку весёлую бабёнку, шагая угнетающе-грузно, как владыка. На мостках он остановился, оттолкнул бабёнку и осовело оглядел сдавленных людей. Взвизгивали и плакали бабы, кричали младенцы. Пустобаев засунул руку в карман, вытащил горсть серебра и бросил вправо и влево на волосатые головы. Началась свалка: и мужики, и бабы, и парнишки, падая друг на друга, отшвыривая один другого, ползали по полу, вырывали добычу друг у друга. Валялись на полу мешки, сундучки, сумки, тюки, люди спотыкались, падали на них и опять вскакивали.

Пустобаев стоял на сходнях и, уткнув толстые руки в бёдра, широко разинув рот, трясся жирным телом.

— Ох, дураки дубовые!.. Ох, скотина безмозглая!.. Черви поганые! Вот так братья во Христе!

Хохотали и матросы у перил, хохотала толпа на пристани. Кто-то из стоявших позади людей крикнул, заикаясь от гнева:

— Эй, ты... боров жирный! Как не стыдно над людьми издеваться! Взбесился от жиру-то..

Пустобаев перестал смеяться и медленно повернулся на этот гневный голос. Его заплавшие глаза ещё смеялись, ноздри раздувались, но лицо потемнело.

— Это кто там лает из подворотни? Выходи! Говори прямо в лоб!

— У тебя, ваше степенство, лоб дубовый: его не пробьёшь словами.

— Выходи, не бойся, погляжу на тебя, как на диковину. Меня ещё никто не хлестал так смело. Выходи, полюбуюсь на тебя, обличителя.

Но тот же голос ехидно оборвал его:

— Из-за тебя, живоглота, не хочется в остроге сидеть. Ты ведь и губернаторов за шиворот хватаешь.

Мимо нас сердито прошёл высокий капитан во всём белом и, расталкивая людей, остановился перед Пустобаевым.

— Прошу вас, господин Пустобаев, не делать беспорядков на моём пароходе. Народ вам не забава. Будьте любезны удалиться на берег.

И, повернувшись спиной к Пустобаеву, строго набросился на какого-то черноусого человека в белом кителе:

— Вы кто здесь? Дежурный помощник? Как вы смели допустить этот кавардак? Да ещё зубы скалите? Матросы, пропускайте пассажи-

ров! Проходите на пристань, господин Пустобаев, на пароход вы не будете допущены.

— Тишка! — взвыл Пустобаев. — Кто тебя в люди вывел? Сколько лет ты у меня шестёркой был?

— Я вам не Тишка, господин Пустобаев! — спокойно, с гордым достоинством оборвал его капитан. — Я здесь командир парохода. А вы для меня такой же пассажир, как и другие.

Толпа ринулась вверх по сходням и вышвырнула Пустобаева с его парнями и бабёнкой на пристань. Скоро он появился на балконе второго этажа и зарычал оттуда, похохатывая:

— Тихон! Капитан! Люблю смелых людей. Молодец, капитан! Я тебя когда-то прогнал за твою дерзость... а знал: цены тебе нет. За твою правду я тебя в шею выгнал, потому правда мне твоя — во вред и убыток. Где честно, там тесно. Тебя и отсюда выгонят. Вот скажу кому надо, и — ффу! — нет тебя.

Капитан уже добродушно открикивался ему снизу:

— Вы до такого самоунижения не дойдёте, Прокофий Иванович. А за честность и правду вы меня уважаете.

— Держи про себя свою правду, капитан. Ты — слуга, а слуга не правде служит, а хозяину. Этой твоей правде грош цена, а она удавит тебя. Погибнешь, Тихон, лишний раз толкую тебе. Твоя правда — волчий билет.

— За правду напрасно не гибнут, Прокофий Иванович. Правда драку любит.

— А толк-от какой? Ни пользы, ни славы... Лучше уж турманом жизнь прочертить.

— Разгул, Прокофий Иванович, совести не убивает, только ум мутит, а с похмелья голова болит.

— Гуляй с нами, Тихон. Бабёнка тут под руку попалась... Эх, ядрёная змея!

— Не могу, Прокофий Иванович. Долг прежде всего: пароход без меня — сирота.

— Ух, будь всё, анафема, проклято! У тебя долг, а у меня что? У меня — почём селёдка и балык.

Больше я не слышал их голосов: мы с отцом вышли на пристань, а потом спустились по другим, очень длинным сходням на берег. Пассажиры с мешками на плечах, бабы с ребятишками, старики и старухи, похожие на странников, хорошо одетые господа, носильщики в белых фартуках — вся эта вереница людей торопилась на берег. А на высоком съезде, под крутым откосом с длинными лестницами стояли пролётки и фаэтоны. Извозчики в синих, пухлых поддёвках сидели на козлах и ласковым фальцетом покрикивали:

— Пожалте-с, пожалте-с! Прокатим с шиком. Прикажете-с!

И лихо подкатывали к господам. Баре садились важно, чопорно, а носильщики укладывали чемоданы и узлы на другую пролётку. Когда мы с отцом проходили по песчаному берегу к базару, где кучами лежали арбузы, а на лотках — огромные белые каравай, жареные куры, яйца, колбасы, огурцы и всякая всячина, я увидел, как несколько извозчиков с перепуганно-жадными лицами рванулись вперёд, нахлёстывая лошадей кнутами. Все они остановились и загалдели перед Пустобаевым, которого окружали парни с парохода. Он поднял бабёнку подмышки, бросил в фаэтон и сам легко вскочил вслед за нею. На два других фаэтона сели его собутыльники. Извозчики с треском поскакали вверх по булыжному съезду. Отец остановился и долго смотрел вслед извозчикам с завистливой улыбкой.

В Астрахани мы с матерью сидели на берегу, около пристани, на своих пожитках, а отец ушёл в город к какой-то Манюшке, искать у неё приют. Воздух горел солнцем, небо было синее, бархатно-мягкое, было жарко, знойно, душно, пахло воблой и нефтью. Волга показалась мне здесь безбрежной, ослепительно-зеркальной, и далеко, на той стороне, в туманце, сизые сарайные постройки будто потонули в воде. На реке по одной, по две чернели громады барж. По мерцающему разливу шустро бегали маленькие пароходики и взмахивали вёслами крошечные бударки. Белые паруса выпукло надувались и медленно плыли неизвестно куда. Всюду над рекою, трепеща крыльями, вихрями летали чайки и визгливо плакали. А над городом, на горе, головокруглительно вздымался ввысь, в горячую небесную синеву белый собор, сверкающий золотым куполом. Под жёлтой, зубчатой стеной толпились длинные каменные казармы, грязные лабазы, дощатые сараи и деревянные избы. Густо и глухо гудели колокола, и воздух дрожал от их разнотонного звона. На нашем белом пароходе заунывно выла толпа: «Йи-йо-ох, да и йо-х!». Грохотали по мостовой телеги, нагружённые рыхлыми ворохами серебристой воблы, бочками, ящиками и корзинами, зашитыми сверху белым полотном. По обе стороны и позади нас сидели на своих пожитках бабы и мужики, плакали младенцы и играли белоголовые ребятишки.

Матери было грустно сидеть среди чужих людей, таких же бездольных, выброшенных из деревни на неприветливую чужбину. Она молчала, опираясь подбородком на ладонь, и думала о чём-то тревожно и растерянно. Мне было скучно ждать отца и больно от какой-то смутной тоски. Думалось о деревне, где всё было близко, мило и привычно: она пела в душе, зеленела лукой, смеялась речкой, лепетавшей в разноцветных камешках, пахла свежей соломой на гумнах. Вспоминались проводы на меже — слёзы Маши и бабушки Анны, завистливые глаза Кати и Сыгнея и одиноко бегущий по полю Кузьярь. А здесь — неприветливая каменная мостовая, воняющая рыбой, оглушающий грохот телег и чуждое бормотанье татар в длинных балахонах и тюбетейках на бритых головах. Дальше — таинственный город, грязные лабазы и этот похоронный звон. Вот мы сидим здесь с матерью и молчим, ожидая неизвестного: куда мы пойдём? Где станем жить? Отец и мать будут уходить на работу, а я один затеряюсь среди чужих людей, в городской глухомани.

Вечером, когда Волга пылала пламенем заходящего солнца, а белый величавый собор раскалился докрасна, приехал отец на телеге, весёлый, довольный, хлопотливый. Он сразу начал хвастаться:

— Павел Иванович встретили меня, как родного. Будешь, говорит, ездить у меня на пролётке, а я по-стариковски — хозяйствовать. Семью Фомы Селивёрстыча уважаю: все — работники, все росли в старой вере, не избалованные. Такой, говорит, работник, как ты, мне позарез нужен. А здесь народ аховый, беспутный: всё норовит украсть, выручку в карман положить... пьяницы... хозяйское добро не хранят. Возьми, говорит, телегу, забирай жену и всю свою хурду-мурду, будешь жить во флигельке. Там одна старушонка живёт, рыбу вялит, провоняла весь двор. Выгоню её. А вы покамест с Манюшкой поживите. В тесноте, да не в обиде.

И, рассказывая, отец расторопно хватал то узел, то мешок и клал их на телегу. Мне понравилось, что он отстранил мать, когда она хотела помочь ему. Сначала он посадил на телегу её, а потом помог влезть и мне. Я никогда ещё не видел его таким великодушным и забот-

ливим. Посветлела и мать, поглядывая по сторонам. А на телеге я совсем успокоился: отец, как и в деревне, подгонял лошадь вожжой и чмокал губами. Телега трясла нас, похрамывая на колдобинах. Избы с конёчками, со ставнями и тесовыми крышами по обе стороны кочкастой улицы, с лужком и какой-то колючей, злой травой у дощатых заборов были такие же, как в деревне. Собор остался позади, но я даже спиной чувствовал его громаду и золотое сверкание его связанных вместе главок. На краю города избы были старенькие, приземистые, и везде на окнах висели занавесочки, а на подоконниках цветочки в плюшках. На одной из таких улиц из подворотен выскочили пёстрые собаки и с лаем и воем бросились на нашу телегу и на лошадь. Отец с весёлой злостью хлестал их ремненным кнутом и смеялся, когда удавалось ужалить особенно нахального пса. Я тоже смеялся. Так эти яростные стаи собак провожали нас до самого конца.

Мы остановились перед воротами маленького трёхконного домика. Отец скрылся за калиткой и загремел во дворе засовом. Я успел заметить справа за избами колокольню с синей луковицей, а в конце улицы, в мутной дали — чёрные, низкие сараи, крытые камышом. Над ними размытым облачком маячил бурый дым. Позже я узнал, что в этих сараях коптят рыбу.

Мать слезла с телеги и с оторопью пошла к калитке. На крыльце избы стоял бородатый мужик в синей вышитой рубахе, в жилетке, в сапогах. Рядом с ним стояла тощая женщина с жёлтым морщинистым лицом, тупым, застывшим, келейным. Кубовая юбка и холщёвый фартук показались мне грязными и очень поношенными. Налево в открытых воротах каретника виднелись оглобли и облучки двух пролёток. В глубине двора ушла в землю по самые оконца старенькая избушка. Сбоку, перед избушкой, на слегах бахромой висела рыба. Воздух был смрадный, протухлый, и мне сразу же стало тошно. Мужик сошёл с крыльца по-хозяйски степенно и остановился поодаль от телеги: Мать поклонилась ему и пропела:

— С добрым здоровьем, Павел Иваныч!

Потом обернулась к женщине и тоже низко поклонилась.

— Здорово, Офимья Васильевна! Низкий вам поклон от сродников.

Павел Иваныч не ответил на поклон, а только буркнул нехотя:

— Добро пожаловать!..

А женщина молча поклонилась и поднесла фартук к глазам.

— Ну, распрягай, Василий! — распорядился Павел Иванович. — Телегу поставь на место, за каретник, лошадь отведи в конюшню. Хурду свою отнесите во флигель. Потом приходите чай пить.

И он медленно пошагал к крыльцу, не оглядываясь.

Потом уже с крыльца спросил:

— Сколько лет парнишке-то?

— Десять годков, Павел Иваныч, — с услужливой торопливостью ответил отец.

— Ладно. И ему найдём работу.

Он сразу же мне не понравился: чем-то напоминал нашего старосту Пантелея. Особенно неприятны были жёсткие, как проволока, волосы в бороде, мясистые губы и маленькие недобрые глаза, спрятанные в опухших синих веках.

Мать застыла на месте и пугливо озиралась. Она, вероятно, тоже почувствовала хозяйскую неприветливость и жёсткий нрав Павла Ивановича.

Из избёнки с плаксивым криком выбежала маленькая женщина, а за ней — девочка моих лет.

— Милые вы мои!.. Сроднички дорогие! — с жалкой радостью кричала женщина. — Настенька! Вася! Радость-то какая!.. Дунярка, дочка, привечай гостей-то!..

Она бросилась на шею матери и заплакала. Заплакала и мать. А девочка обхватила меня за шею и стала целовать и в губы, и в щёки, и в глаза и тоже кричала причитая:

— Кудряшок-то какой! От тебя соломкой пахнет... Чай, мы тоже с тобой сроднички.

И так же бойко, с причитаньями, бросилась к матери:

— Здорово, тётушка Настя!.. Радость-то какая! А у маменьки сердце чуяло: вчера два раза ножик с вилкой нечаянно на пол роняла. Вот оно и есть нечаянные гости.

А Манюшка, низенькая, с крошечным лицом, как у ребёнка, просто-волосая, со слёзной улыбочкой, кидалась ко мне, потом опять к матери и задыхалась от счастья:

— Родные вы мои, сладкие вы мои! Как это вас господь надоумил к нам приехать? Тётушке-то Анне я ведь родная племянница. Как её здоровье-то? Дядюшка Фома, чай, такой же домовитый да рачительный. Как это он вас отпустил-то? Знать, не к добру да не к славе сейчас в деревне... Ах, ангел мой беленький! — вцепилась она в меня, истекая нежностью. — Кудёрышки-то как вьются! Вырос-то какой большой! Ну, идите, идите к нам в горницу! Настенька, давай, девынька, добро ваше в избёнку перетаскаем. Идите, идите в горенку! Дунярка, веди гостей-то!

Рыжеволосая, босоногая, Дунярка схватила меня за руку и потащила к своей избушке.

— У нас с мамынькой — вольготно. Мы с ней чужки крутим. Это воблу на них нанизывают и на вешела подвешивают. Крутим-крутим и песни поём.

Избушка была очень старенькая, с гнилой тесовой крышей. Маленькая дверь в сенцы тоже была гнилая и дырявая и пронзительно визжала в пеглях. В сенцах так смердило гнилой рыбой, что я задохнулся, и у меня закружилась голова. В полумраке гирляндами висела растерзанная рыба.

Мы вошли в маленькую, светлую и чистенькую комнатку. На белых стенах были приклеены бумажки от карамелек, фотографии в тоненьких рамочках. На передней стене, между окнами, висел длинный жгут из мочальных верёвочек, а на полу лежал ворох мочал, свёрнутых в толстые мотки. Налево, у стены, стояла старая деревянная кровать, покрытая лоскутным одеялом. У старинной иконы богородицы и большого медного осьмиконечного креста в переднем углу теплилась лампадка. В этом же углу был стол, покрытый серой деревенской скатертью, а на нём стояла посредине деревянная солонница в виде саней с причудливо вырезанной кареткой.

— Вот в какой горнице мы с мамынькой живём! — похвасталась Дунярка. — Страсть я люблю нашу комнату убирать! Погляди-ка, какие картинки. Это я всё по улицам насобираала.

Она взволнованно подбежала к кровати и над изголовьем её потрогала пальцами маленький колокольчик, привязанный к гвоздю. Колокольчик залился птичьими трелями.

— Видишь, какой звоночек миленький! Уж больно я люблю песни петь, а он мне подзванивает. Сроду ни у кого не найдёшь такой радости. Ты не приходи к нему, он чужих не любит. А привыкнет к тебе — и сам будешь играть с ним.

— Я тоже пою: в моленной пел и сам всякие песни знаю.

— Господи! — заликовала Дунярка. — Да ты и говоришь, как поёшь, и голосочек тоненький. Да мы с тобой бесперечь петь будем.

Она пристально уставилась на меня своими голубыми глазами и вдруг чихнула и крикнула: «ах!». Потом чужим голосом учтиво сказала:

— Чихирь в уста вашей милости!

И сразу же с улыбкой прозвенела, кланяясь и гибко приседая:

— Красота вашей чести!

Я очарованно смотрел на неё и смеялся. Она мне нравилась всё больше и больше.

В комнату ввалился отец с большим узлом, перетянутым верёвкой, потом мать с Манюшкой, которые внесли сундук. Манюшка юлой закрутилась по комнате и закудаhtала:

— Вот тут, направо, вы и устроитесь. Кроватки нету — на татарском купите, когда деньжонок накопите. А то, может, и Павел Иванович из сарая уболаготворит. — И она по секрету прошептала: — У него в сарае-то всякого добра очень даже много. Уж такой рачитель, да такой скупой, что мышь не проберётся и воробей ничего не выклюнет. Только лошади у него, как барыни: сытые, статные. Дома-то у него все в отрепьях ходят. А сын Триша совсем от дому отбился. С отцом на ножах.

Мать приложила конец платка ко рту и села на скамейку, как больная. Упавшим голосом она спросила:

— Чего это здесь у вас, тётя Маша, смрад какой? Тошно-то как!..

Отец помолился на икону, как полагается по обычаю, поклонился Манюшке, Дунярке и стенам и проговорил торжественно:

— Здорово живёте! Мир дому сему!

Манюшка тоже поклонилась ему и истово пропела:

— Подите-ка, гостенёчки дорогие! Не обессудьте! Чем богаты, тем и рады.

И уже обычной скороговоркой затараторила:

— Это тут — через сени — старушонка живёт. Рыбу вялит. Уж так-то всё сплошь провоняла — моченьки нет. Павел Иванович ругмя ругает её, всё выгнать грозитя, а спроть рубля с полтиной и его крутой характер смиряется. За копейку удавится. Лошадки-то гладки, а семья впроголодь мается. В моленной вздыхает, стихиры поёт, а за золото-серебро душу продаст и бога обманет.

И вдруг с испуганным лицом замахала руками и захныкала:

— Матушки мои, да чего же это я с ума-то схожу от радости? Дунярка, самовар ставь скорее да в лавочку беги — кренделей купи!

Отец щеголевато, как-то бочком, протянул к ней руку и с достоинством запротестовал:

— Ты, Марья Васильевна, не хлопочи: Павел Иванович сейчас на чай приглашал. Не траться зря. Мы и так стеснили тебя.

Манюшка изобразила ужас на лице, бросилась к нему и к матери и замахала руками.

— И думать не думайте! И в душе не держите! Да чтобы братец угощенье сделал — сроду не поверю. Васенька дорогой, Настенька! Ведь это он только так, для виду. И не ждите. А ежели позовёт, так от нечистого: сам же потом из твоего заработка высчитает. Сейчас он только и ждёт, что я его с Офимьей приглашу. За кусок сахару он у тебя голову отгрызёт. Берегись, Васенька, как бы он тебя не обидел. А приветил он тебя за простоту: от свежего человека, от деревенского, легче лёгкого клок оторвать. Работника-то своего он долго мытарил, да тот начал с ним — зуб за зуб. Ты сейчас ему в самый раз и попался.

Отец недоверчиво усмехнулся.

— Ну, что зря толкуешь, Марья Васильевна. Меня никаким пóбытом не проведёшь: я всякие виды выдывал. Это он для негожих людей прижимистый, а я — работник по чести.

Манюшка огорчённо качала головой и охала.

— Ох, Васенька, Васенька! Вот он тебя почистит... Кто-кто, а я-то уж его лучше всех знаю. Нет у него ни милости, ни благодати.

Мать со страхом смотрела на отца и на Манюшку и тревожно лепетала:

— Не ошибись, Фомич, не заставь маяться. Тётя Маша от сердца слово молвит. Как бы слёзы лить не пришлось.

Отец самолюбиво надвинул на лоб картуз и вышел из комнаты.

Манюшка села рядом с матерью, прижалась к ней плечом и показала мне совсем малюткой — не больше Дунярки. Она стала расспрашивать мать о сродниках в деревне: о нашей семье, о шабрах, о том, чьи девки замуж вышли, чьи бабы родили, кто — дома, кто уехал на сторону. А когда мать с грустью и вздохами рассказывала о смерти Агафьи Калягановой, о неизлечимой болезни Олёны Юлёнковой, Манюшка заплакала, затосковала, но я чувствовал, что она плачет с удовольствием и поражается новостями неискренно — не потому, что она больно переживает эти события, а потому, что любит по-деревенски поскорбеть и украсить себя слезами. Матери хотелось повопить; но она не решалась: ежели Манюшка не завопила, значит в Астрахани это не принято. Когда же мать рассказала о смерти бабушки Натальи и сама заплакала, Манюшка стала причитать:

— Господи, господи! Пресвятая владычица! Бесчастливая какая Натальюшка-то! всю-то жизнь маялась, радости не знала и сиротой с душенькой рассталась. Уж такая она была ласковая да сердцем к людям приветливая — такой и на свете не сыщешь. А вот мучилась, и проводить было некому... Чай, сердце у тебя, Настенька, на клочки изорвалось... Ларизон, братец-то, один у вас с Машаркой утешитель: у него ведь тоже сердце бабье.

Но когда мать осудительно заметила, что он когда-то продал её как овцу, а сейчас пропил и Машу Максиму Сусину за Фильку, Манюшка с изумлённым негодованием закачалась, схватившись пальцами за край скамьи:

— Ах, злодей, ах, душегуб! Всегда-то он был зверь лесной: не щадил ни отца, ни матери... А по шабрам стон стоял от него, от разбойника окаянного. Машарка-то, чай, ума лишилась... Ну-ка, в какую семью попала! Максим свою бабу досмерти затерзал, и её загубит...

Оказалось, что у Манюшки все — сродники в деревне, и о каждой избе она знала всю подноготную.

Дунярка проворно выхватила из-за печки маленький красный самовар и засемила к двери. В сумеречных сенях нас проводила глазами зловещая старуха и глухим басом пробормотала:

— Мало одной крысы, явился ещё голашонок. Кто у меня рыбу песком забросал, Дуняшка? погоди, подкараулю — ноги тебе переломлю.

Дунярка дерзко огрызнулась:

— Ты меня не трог, чтоб не каяться...

— Вот терплю-терплю, Душка, да и пушу на тебя порчу-корчу... — грозно пробурчала старуха, и мне почудилось, что у неё вспыхнули глаза, как у кошки. Она напомнила мне сказочную Бабу-ягу.

Дунярка вызывающе засмеялась и выбежала во двор. Смрад мутил

меня до дурноты. Почему эта жуткая старуха возится с такой отравной тухлятиной? Неужели ей самой не противна её работа?

Двор был небольшой, длинный и узкий. В задней части, за флигелем, чернели кучи навоза, заросшие лопухами и колючками. Напротив — деревянная конюшня, а перед ней — плоская телега, на которой мы приехали. Дальше каретник. А между хозяйским домом и флигелем голый пустырёк с развешенными на верёвках рубахами и подштанниками. В каретнике гудел угрюмый голос хозяина, а ему угодливо отвечал голос отца.

— Работника-то я выгнал, — сердито басил хозяин. — Вор! Гляди, ежели ты хоть гривенник утаишь — раздену и на улицу выброшу.

— У меня этого не будет, Павел Иванович, — обидчиво и учтиво запротестовал отец. — Мы в семье росли в благочестии.

— Благочестие... Знаю я, какое благочестие. Фома-то ваш редкий извоз не мошенничал.

— Извоз-то, Павел Иванович, и довёл батюшку до нетей. А у меня этой весной лошади пали от голодухи.

— Толкуй с досады на все Исады! Иди, лошадей почисти! Помой да продери щётками, да опять помой.

Отец засуетился:

— Я сейчас, Павел Иванович, всё сделаю: и лошадей вычищу, и пролётки помою. Меня понукать не придётся: я — сам хозяин.

— Хозяин... Вы — хозяева под арапником. Не запиваешь?

— У нас в семье сроду этого не было, Павел Иванович.

— Знаю. Да сейчас дети-то пошли неслухи да своевольники. А я вот болею — запоем мучаюсь. Поработай с недельку, поездий — красненькую дам на обзаведенье.

Дунярка стояла у самовара и с любопытством прислушивалась к голосам в каретнике. Она раза два погрозила мне пальчиком, и лицо у неё стало острое и зоркое, как у кошки, которая подстерегает мышь. На улице заныл унылый голос, словно человек плакал в горести:

— Эд-да-а!.. у-ы, эд-да-а!..

Голос медленно приближался и задыхался от отчаяния. Дунярка испуганно ахнула, взмахнула руками и бросилась в сени. Она выскочила оттуда с двумя ведрами, сунула одно мне в руку и со всех ног побежала к воротам.

— Беги, беги за мной! Не отставай! А то уедет — без воды останемся.

Я пустился вслед за нею, погромыхивая ведром. Нечаянно я налетел на хозяина и уткнулся ему в живот головой. Он охнул и рывкнул.

— Чёрт те дерёт! Чей это парнишка-то? Сейчас же высеку!

Отец вытаращил глаза и рванулся ко мне, чтобы схватить за волосы.

— Ить, дьяволёнок! Виски выдеру. Взбесился, что ли?

Но я опрометью ринулся в сторону.

Дунярка ждала меня у калитки и заливалась хохотом.

— Как ты его головой-то!.. Ой, умру со смеху! — И вдруг с комической ненавистью в глазах прошипела: — Так ему и надо, жирному борову! Он и работника заездил, и тётеньку Офимью...

На улице уже близко ныл водовоз:

— Эй, во-оды-ы, во-оды-ы!.. Ба-бы, выходите... с ведром, с корчагой.. по одной да ватагой... Во-оды-ы!..

Недалеко на кочкастой дороге стояла лошадь, запряжённая в одноколку с пузатой мокрой бочкой. Седой маленький старик суетился позади неё и шутил с бабами, которые толпились, погромыхивая ведрами.

Они тараторили и смеялись. Из калиток трёхконных домишек торопливо выбегали девчата, женщины и парнишки. Улица гремела и визжала ведрами. Дунярка подбодряла меня:

— Ты не отставай! Я сразу проскочу вперёд, а ты — за мной. Ругаться будут — не бойся. Я их всех переору, а локти у меня — острые. Я спорить не люблю, а смелостью беру. Меня никто ещё не переохалил.

Она юркнула в толпу и потащила меня за собою. Женщины и девчата закричали, затолкали её и больно сдавили меня своими бёдрами. Кто-то шлёпнул её по голове, а мне досталось несколько толчков в спину. Но Дунярка пронзительно открикивалась:

— Я раньше вас дожидалась! Вы ещё дома возились, а я уже с ведром бежала. Я свою череду никому не уступлю...

В этой суматохе кто-то пролез вперёд, кого-то оттолкнули назад и забыли о нас. Дунярка подставила своё ведро под тугую, хрустальную струю воды из бочки и вырвала у меня ведро. А старик хитренько ухмылялся, подмигивая, и бормотал, покачивая головой:

— Эх, бабы, бабы! Народ вы сполошный! Всех напою, всем хватит. Волга-то вон какая большая! Я — богатый, богаче всех. Я — как Мосей-пророк: рванул затычку, и живая вода серебром льётся. Подставляй ведёрко, водичка запоёт с присвистом, с поговоркой.

Он балагурил с бабами добродушно и бойко, и его молодые глаза под седыми бровями хитренько посмеивались. А Дунярка быстро делала своё дело: она налила до краёв оба ведра, сунула в руку старика медяшку и подтолкнула меня:

— Бери! Тащи скорее! И с притворной лаской пропищала: — Ты, дедушка, бородой-то, как святой — вылитый домовый.

Бабы и девки смеялись. Вероятно, здесь, на улице, встреча с водовозом была для них желанным развлечением в их серой и скудной жизни.

Все хохотали, озоровали словами, вода прозрачной струёй лилась в ведро и тоже смеялась.

Когда мы несли полные ведра, Дунярка плутовски поглядывала на меня.

— Я сроду череды не жду. Хоть сто баб будь — всех обману и раскидаю, всех прошью, как иголка. Гляди, Федяшка, да у меня учись. Будешь стыдиться да робеть — затуркают, да тебя же, дурачка, и засмеют. Гляжу я на тебя, и зло берёт: больно уж ты смиренный, словно боишься, что тебя выпорют...

Необъятный гул, печальный и мягкий, наполнил улицу и воздух до самого неба, и земля под моими ногами задрожала медленно замирающей волной. Я невольно поставил ведро на землю, и меня будто подхватило, как пушинку, и легко понесло куда-то вверх, к небу, в лиловый вечерний простор. Опустила своё ведро и Дунярка. И опять гулко и необъятно прокатилась новая глубокая волна.

— Это ударили в монастыре, — задумчиво сказала она и показала на синюю колокольную, которая виднелась над крышами домов. Туда же оглянулись и женщины, стоящие около водовоза. Некоторые из них торопливо тыкали себя щепотью в переносье и в грудь.

Дунярка вдруг спохватилась и подняла ведро.

— Скорей, скорей, Федя! Самовар надо ставить да на стол собирать, — с ласковой тревогой крикнула она и быстро зашагала к воротам, отгибаясь вбок от тяжести ведра. Я старался идти спокойно и ровно, чтобы показать, что я — сильный и привычный к тяжёлой работе.

Покрывая звон, запел высокий голос протяжно, с переливами, с улыбочкой и молодой грустью:

— Кре-энде-ли виту-ушкии... рассы-ыпчатые су-ушки-и... продаю-ю по полушке!..

Дунярка опрومتью бросилась навстречу этому голосу с криком:

— Погоди, Федя, я кренделей куплю.

Из-за угла вышел высокий парень в белом фартуке, с корзинкой на голове, полной кренделей. Несколько женщин из толпы тоже заторопились к нему. А он, будто не замечая их, шёл зыбко и пел красиво, с удвоением:

— Кре-ендели-и... виту-ушки!

Манюшка была права: хозяин сам пришёл к нам в комнатку со своей Офимьей. Чёрный платок туго стянут был у неё под подбородком и скотол булавкой. Она похожа была на убогую келейницу. Сначала она показала мне дурочкой, забитой и отупевшей. Но потом я заметил, что хозяин поглядывал на неё с опаской и отворачивался. Офимья была сестра Манюшки, но на неё совсем не похожая. Манюшка звала её сестрицей, а Павла Иваныча братцем и постоянно льстила им, ухаживая за ними с притворной преданностью.

Заходило солнце, и в открытые окна видны были вытянутые облачка, пепельные сверху и ослепительно-золотые снизу, а воздух во дворе — лиловый. На столе, покрытом белой скатертью, выбрасывая пар, кипел красный самоварчик с маленьким чайничком на камфорке. Посредине стола кучкой лежали жёлтые крендели, в стаканах вкусно желтел прозрачный чай, рядом с блюдечком лежали снежно-белые кусочки сахара. Павел Иваныч, с жирно причёсанными волосами, с жёсткой, пёстрой бородой, в красной рубашке и синей жилетке, сидел в переднем углу. Рядом с ним на узком краю — Офимья, а по другую сторону от Павла Иваныча — отец, тоже в жилетке поверх такой же красной рубашки, кудрявый, с учтивой улыбочкой на обветренном лице. Бороду он расчесал в разные стороны, думая, вероятно, что от этого будет приглядным и почтенным. Манюшка без платка, с узелком волос на затылке, одетая по-городски, хлопотала у самовара, беспокойная, гостеприимно-счастливая. Рядом с нею сидела мать в полушалке, повязанном на волоснике и скотолом булавкой под девичью, пухлым подбородком. Она надела белую кофту-разлетаюку с нарядно вышитыми рукавами. Мы с Дуняркой устроились как раз перед самоваром на узком конце стола, и я жадно пил пахучий чай из блюдечка, посасывая сахар и обжигая губы и язык. Я был счастлив, что нет дедушки, что мне уже нечего бояться его окриков и грозной ложки в его жилистой руке. Здесь, в опрятной горенке, мать чувствует себя вольготно, и чистота Манюшкиной квартирки ей нравится.

Павел Иваныч из деревни уехал давно. Три «крепости» он был конюхом на барском дворе, остался там и после «воли». Он любил лошадей, знал их породы и умел укрощать и объезжать их без кнута. Лошади привязывались к нему и откликались на его голос. Он нежно ласкал их, любовно разговаривал с ними, недоброе лицо его улыбалось им. В деревне прозвали его Жеребком. Когда барское хозяйство пришло в упадок и управляющий стал разгонять дворовых, Жеребок с барского двора уехал в Астрахань. Здесь, в калмыцких степях, он купил лошадь, а у казаков — дроги, и стал работать на пристанях. Манюшка потом сплетничала, будто он прикопил деньгу нечистыми делами: крал рыбу, икру и всякую всячину и сбывал краденое на базаре. Через несколько лет Павел Иваныч разжился: купил этот дом, приобрёл хороших лошадей, три пролётки и стал вместе с работниками выезжать «на биржу». Одно время он размахнулся — сделался «лихачом» и обслуживал купечество. Астраханские кутилы не обходились без него, и он при-

страстился к вину. Зарабатывал он много и набивал карман ассигнациями. Потом он стал пить запоем целыми неделями. Другие лихачи отгеснили Павла Ивановича, и его стали забывать. Если бы не Офимья, он пропил бы и лошадей, и пролётки, и всё хозяйство. Когда он буйствовал, она связывала его верёвками, поила всякими настоями, держала взаперти, доводила его до истощения. Потом отвозила в баню, парила его до потери сознания и дома отпаивала квасом.

Жеребок сидел за столом трезвый, опухший, с угоревшими глазами, и приглядывался к отцу, будто изучал его, как новую лошадь. На остальных он не обращал внимания.

— Фома — старик крепкий, хозяйственный. Он за семью держится. Сына, да ещё большака, зря не отпустил бы. Чего это ты из дому удрал? Аль спроть отца бунт поднял?

Отец с тонкой улыбкой, потирая глаза, почтительно ответил:

— Нё при чем жить, Павел Иваныч. На осминнике не прокормишься: на один ломоть десять ртов. Ты сам хорошо знаешь. А в извозе и лошадь надрывается, и убытки...

— Лошадь кормить да холить надо! — назидательно проворчал Жеребок. — А вы, черти назёмные, шкуру с неё дерёте. Лошадь лучше человека. Мне и работник такой нужен.. чтобы он лошади был ровня. Лошадь мне верная слуга. А люди, работники мои, норовят залезть мне в карман, а к лошади — в кормушку. И выходит: кто есть человек? Вор.

— Господи, страхоту какую говоришь ты, братец! — пропела Машенька, всплеснув руками. — Чай, обидно, братец. Сердце даже заходитя...

Павел Иваныч искоса взглянул на неё заплывшими глазами, подняв одну бровь, и отвернулся с презрительным равнодушием.

— Все — воры, — с угрюмым упорством повторил он и уткнулся бородой в отца, который слушал его молчаливо. — Каждый человек — вор. Сын ворует у отца, отец — у купца, а прислуга — друг у друга. Молимся: господи, благослови! А в мыслях: что плохо лежит — лови. Знаю, и ты, Василий, вор, ну, только держись: замечу — башку оторву. Ты ещё молокосос: по крошке клевать будешь, чтоб с голоду не сдохнуть. Да я тебя вышколю, я тебе заместо отца буду.

Офимья вдруг подняла голову, повязанную кокошником, и повернула мёртвое лицо на мужа.

— Будет тебе грешить-то, Иваныч! — сказала она с монашеским смиреннем. — Не успел человек во двор войти, а ты уж — вор. Так убить человека можно. Ты сам норовишь с человека десять шкур сорвать. А сына на улицу выгнал.

Жеребок поёжился и крикнул, но не разгневался, а только угрюмо огрызнулся:

— Пускай сам себе жратво добывает. У меня у самого сума кусочка просит.

Отец, красный от стыда и обиды, обливаясь потом, с занозой в горле пробормотал:

— Я, Павел Иваныч, никогда не был вором. Мы в строгости жили. А ежели бы рука соблазнилась, топором бы её отрубил.

— Толкуй с досады на все Исады! Я сам под баринским жил, сам с мужиками бородой связан. Знаю, каким крестом крестишься. Хорошо, что от тебя не ладаном, а назёмом воняет. Такой ты мне и нужен. Машарка! — вдруг крикнул он с свирепым удалством, вскидывая пёструю бороду и сверкнув звериными глазами. — Машарка! Посылай Душку за полштофом!..

Манюшка подобострастно вскочила, ахнула от испуганной радости и лихорадочно стала рыться у себя в карманах.

— Дунярка, беги, милка! Одна нога здесь, другая там. Скажи Ермилычу, чтобы в долг полштофа дал. Ах, господи, владычица, и где это у меня гривенник-то запропастился?

— На мой счёт, — рывкнул Павел Иванович. — Скажи: Павел Иванович велел.

Дунярка бойко вскочила и плутовато уставилась на Манюшку.

— Я всё скажу, мамынька, я сумею...

И она бросилась к двери.

Офимья выпрямилась, и скорбный голос её простонал угрожающе:

— Машка! Не смей! С глаз прогоню!

Манюшка заметалась, замахала сухими ручками, как курица крыльями, и захныкала:

— Да я всей душой, сестрица... Гостенёчки-то у меня какие! Чай, сердце повеселиться хочет. Аль беда какая? Уж не обессудь, братец: сестрица не велит.

Павел Иванович отвернулся, закричал и стал тереть ладонью грудь. Отец отмахнулся и встревоженно запротестовал:

— Я этого не примаю, Павел Иванович: не по нутру мне.

— Для тебя я, что ли? — хрипло засмеялся Павел Иванович. — Эх ты, корыто не мыто! Я сам своё брюхо улещаю. Хочу угощаю, хочу на пол лью...

А Офимья спокойно, не поворачивая к Манюшке головы, с прежней суровой скорбью проворчала:

— Знаю, Марья, какое у тебя сердце весёлое. Плясать любишь. Допляшешься...

— Сестрица милая! — запричитала Манюшка с восторженными порывами. — Офимьюшка родная!.. Аль мы не дети одной матери? Аль ты не знаешь, какая у меня душенька светлая? Для сродничков-то я — как голубка сизокрылая.

— Голубка... Душенька... — с угрюмым смирением упрекнула её Офимья. — Я знаю, как голубка сизокрылая за штофами да полштофами летает. А я только горе мыкаю. погоди, я тебе крылья-то твои обломаю...

Павел Иванович схватил отца за кудри и повернул его лицом к себе.

— Бабы — куры-дуры. А я тебя испытать хотел, Василий. Не примаешь вина — хвалю. Значит, меньше красть будешь и больше хозяина почитать. А по выручке увижу, какой ты есть добытчик.

Он толкнул его плечом и, промычав: «ну-ка, пусти!», вышел из-за стола.

Тяжёлый, рыхлый, но богатырски сильный, он, не оглядываясь, вышел за дверь и грозно зарычал в сенях:

— Ты у меня весь двор провоняла! Лошади и пролётки смердят. Седоки нос воротят, говорят: на пролётке вы мертвяков возите. Долой со двора с твоей падалью! Чтобы завтра же тебя не было!..

Старуха бормотала что-то непокорно и зло. Только одно слово ворвалось в комнатку: «живодёр!». И от этого в комнатке стало будто темнее.

Отец молча надел картуз и вышел.

Женщины начали говорить о деревне: спрашивали мать о бабах, о старухах, а мать оживилась, охотно передавала все мелочи нашей недавней деревенской жизни. Лицо её раскраснелось, глаза засияли, и голос звенел и вздыхал, словно она причитала без напева. Офимья молчала и тупо смотрела в стену, словно в столбняке, а Манюшка опять

ахала, охала, всплѣскивала руками, покачивала головой, вытирала слѣзы, с жадным любопытством смотрела матери в глаза и улыбалась.

А я сидел перед самоваром и с наслаждением пил жѣлтый чай из бюлечка, посасывая кусочек сахара. Дунярка толкала меня ногой и локтем, поглядывала на меня с лукавой насмешкой и шептала:

— Ну, дорвался до чая... кутѣнок курносый! Не пил, что ли, этого добра? Уж два стакана выдул... вот умора-то!.. Пойдѣм на двор, поиграем.

В открытые окна густыми волнами вливались стоны церковных колоколов.

5

Наша улица на окраине города была похожа на деревенскую: те же деревянные избы с карнизами, с резными наличниками, с воротами под двускатным навесиком. Дошчатые заборы были высокие, с шипами из гвоздей. В каждом дворе лаяли цепные псы: на ночь их спускали против воров. Здесь жили дрогалья, легковые извозчики, мелкие лавочки и ютились в мазанках и стареньких флигелях рабочие местных ватаг, грузчики, лотошники, швейки, подѣнщики — местная и сезонная голытьба. Улица была широкая, злая от зарослей колючей травы, с узенькими — в две доски — тротуарчиками. В дождливые дни земля превращалась в грязное, бурое месиво, непрохожее и непроезжее. Даже женщины носили сапоги, чтобы одолеть переходы через улицу и переулки. А в знойное время земля засыхала каменно-твѣрдymi кочками, седыми от налѣтов соли, и казалась покрытой инеем. Это был унылый, неприятный посѣлок, пропахший гнилой рыбой, отбросами и дымом копильных заводов. И ни одного деревца, ни одного палисадничка не зеленело в серой мути улицы и угрюмо однообразного ряда старых изб. Днѣм улица была пустынной, безлюдной, а ночью погружалась в сон. Фонари стояли только на углах переулков, и по вечерам я видел, как в один и тот же час шѣл с лестницей на плече серобородый кривой старичок. Он приставлял лестницу к фонарю, прочищал пузырь волосатым пыжом и зажигал лампу. Еѣ огонек одиноко и скучно теплился за мутным стеклом фонаря и не отбрасывал никакого света. И мне казалось, что этому сиротливому огоньку страшно среди глухой вечерней мглы. Когда я прислушивался к городу, мне чудился невнятный шум, похожий на далѣкий ливень. Только гулко мычали гудки пароходов где-то очень далеко.

Отец каждое утро, ещѣ затемно, уезжал на блестящей пролѣтке и возвращался ночью. В длинном, пухлом кучерском армяке, с широкими плечами и задом в сборках, в чѣрной шапочке банкой, он сидел на облучке чужой и важный, вытянув руки и делая вид, что натягивает ремѣнные вожжи, чтобы сдержать горячего бегуна. Но лошадь была смиренная, похожая на Офимью, и совсем не думала рваться вперед. Отцу нравилось ездить на пролѣтке, и он держался на облучке форсисто: расчѣсывал бородку на две стороны, сидел напряжѣнно, понукал лошадь пронзительным чмоканьем, а сдерживал ласковой фистулой: трр!.. Хозяин провожал каждый его выезд, стоя на крыльце, и одобрительно мычал, упирая на «о»:

— Хорош! Добро! Только лошадь не загни. Ты больно-то не форси, не старайся: бери двугривенный, а вези на пятак. Только славу соблюдай: седок любит, чтобы извозчик на червонного вала смахивал. Работник-то до тебя был рохля, вахлак, пьянчужка: никогда больше трѣшницы не привозил, а тебе и пятишны мало. Ежели так будешь работать, опять рысака заведу — в лихачах будешь. В Астрахани Павла Плотова всѣ купечество знает.

Отец, польщённый, усмехался и хвастался перед хозяином:

— Я, Павел Иванович, на свадьбе аль на масленице красивше всех в поездах ездил: весь народ любовался. И лошадь меня любит, так и веселится, так и прядёт ушами. А едешь — селезёнка у ней так и ёкает.

— Толкуй с досады на все Исады! Езжай с богом!..

Хозяин позёвывал, лениво сходил с крыльца и отворял ворота. Отец истоиво крестился и выезжал на улицу. Павел Иванович запирает ворота длинным засовом и, сутулясь, уходил опять в горницу.

Несколько раз являлся уволенный им работник, который до отца ездил на пролётке. Это был низкорослый, волосатый, в рваном пиджаке, в залапанных брюках, весь пропылённый человек с угарным красным лицом, с грязной бородой. Он подходил к крыльцу и требовательно тянул:

— Эй, ты, хозяин! Павел Иванов! Покажись, что ли! Где ты там спрятался? Эй, мужик!

Выходила Офимья и бесстрастно спрашивала:

— Ты что это людей тревожишь, Евсей? Аль душа не на месте?

— Офимья Васильевна! Ведь без ножа вы меня зарезали... За три месяца не заплатили. И на меня же начёт вышел. А я ли не работал вам?

— Ничего я не знаю, Евсей-батюшка, — уныло отвечала Офимья. — Не это у меня на уме. Ты уж с самим считайся. Богу бы молился, а не шатался бы, не грешил бы зря.

Евсей срывал бесцветный и пропотевший картуз с головы и жаловался:

— Офимья Васильевна, ты женщина правдивая. Сло́ва от тебя дурного не слыхал. А кровь-то мою зачем пьёшь? Три месяца трудился. Куском хлеба корили... и зажилили мои трудовые. Да сундучок мой в залог задержали. Мне молиться нечего: я чужого не брал. А вы раздели меня, обездолили.

— Не грехи на меня, Евсей! — равнодушно гудела Офимья и пристально смотрела на него бездумными глазами. — И так греха много. Замучились от грехов-то. Не знаю, как отмолить их. И ты вот... Голод-то голод, а выпимши.

— С горя, Офимья Васильевна, от обиды... Отдайте, Офимья Васильевна, мои кровные—тринадцать целковых! Не отдадите, новому работнику мослы поломаю, а то... Ну да попомните меня!

Выходил Жеребок с поленом в руке и молча спускался с крыльца, угрюмый, тяжёлый, с дикими глазами. Евсей юрко кружился около Жеребка, хитро скалил зубы и нахально покрикивал:

— Какой ты хозяин, Павел Иванов? Ты середь дня людей раздеваешь. Где мои кровные денежки? Ты не махай поленом-то — всё равно не попадётся... а полену о двух концах. Поленом не отделаешься. Жив не буду, а своё выдеру! Гляди, Павел Иванов, как бы не покался...

Он ловко отстранялся от взмаха хозяина и смеялся ему в лицо. Потом расторопно бросился к калитке и быстро захлопнул её за собой. Хозяин, озверевший, тяжело и грузно шагал обратно к крыльцу.

А на улице мстительно орал Евсей:

— Грабители! Кровопийцы! Одна богу молится, а другой с чертями водится. Жеребок! Не забывай, как ты артельщика-то напоил да ограбил его, пьяного... да как артельщик через тебя удавился. Не миновать тебе подлой смерти, Жеребок!

Офимья крестилась широким крестом и уходила в горницу. В открытые оконца флигелька высовывались Манюшка и мать и с любопытством следили за скандалом.

Мать испуганно звала меня домой, но мне было очень интересно наблюдать за взрослыми людьми, и я притворялся, что не слышу её голоса. Вот и здесь, в Астрахани, такие же люди, как и в деревне: и здесь люди обижают друг друга, и здесь они делают какие-то страшные дела. И мне слышались стоны бабушки Анны: «со знатными не тянись, с богатыми не борись». Силу богатых я уже достаточно видел и чувствовал: она — беспощадна. Жеребок выгнал за ворота Евсея, голого, босого, и прикарманил у него заработанные деньги и последнюю рубашку. Евсей же только попусту орёт на улице и грозит Жеребку отомстить, а Жеребок спокойно уходит в горницу, зная, что голаху Евсею ничего не остаётся, как беситься и орать. Я тоже возненавидел хозяина — возненавидел ещё с того часа, когда он за столом у Манюшки обидно говорил с отцом, называл его вором и страдал содрать с него шкуру. А сейчас я уже твёрдо знал, что не Евсей был вором, а сам Жеребок, что, несомненно, он ограбил какого-то артельщика.

Дунярка, весёлая после одного из таких скандалов, подпрыгивая, бежала ко мне с растрёпанными волосами.

— Иди-ка, Федяшка, что я тебе скажу... Пойдём за конюшню, там у меня своя фатерка есть.

И она потащила меня на заднюю часть двора — за конюшню. В углу, у сизого забора, в зарослях колючек и рогатого дурмана, лежали на земле примятые мочала, а на деревянной стене и на досках забора приклеены были разноцветные бумажки от конфеток и этикетки от винных бутылок. В самом углу стоял ящик, покрытый газетой, а на нём красиво расставлены были фарфоровые осколки чайных чашек и самый настоящий маленький самоварчик. Над столиком висел осколок лампадки на зелёной медной цепочке, надетой на палочку.

— Видишь, какая у меня горенка! Я до тебя жила здесь одна — богу молилась да танцевала. А сейчас я тебя потчевать буду. Чихни! — приказала она.

Я чихнул. Она сделала замысловатый поклон и пропела:

— Чихирь в уста вашей милости!..

Я сконфуженно молчал. Она топнула босой ногой и строго сдвинула брови.

— Ну, отвечай! Как надо говорить? Поклонись, прижми руку к груди и обходительно скажи мне: «Красота вашей чести!..»

Мне не понравилось это кривлянье: оно было непонятно и фальшиво. Что такое «чихирь»? То, что чихается? Почему этот «чихирь» в уста, а не в нос? И почему я должен обязательно сказать: «Красота вашей чести»? Что это за «красота» и какой «чести»? Я чувствовал себя одураченным и смешным. И в тот момент, когда я увидел в её глазах озорную насмешку, я взбесился и перевернул ногою ящик с осколками посуды.

— Ер-рун-да это у тебя... дураковина...

И пошёл обратно с достоинством серьёзного парня.

Дунярка закричала мне вслед:

— Ты это что наделал, а?.. Дурак!

Но я невозмутимо шагал к флигелю и делал вид, что мне наплевать на её возмущение. Она подскочила ко мне и впиалась в мою руку острыми ногтями.

— А ну-ка погоди! Ты чего это разбойничаешь? Я работала-работала, а ты смеёшься надо мной, как диварвар.

Лицо её побледнело, нос стал остреньким, а глаза жгучими.

Я отшиб её руку и пошёл дальше. Вдруг она с робкой лаской прижалась ко мне.

— Ты, Феденька, меня не обижай. Мы ведь с мамынькой-то сироточки, защитить нас некому. Чем это я тебе досадила? Ну, давай помиримся. Пускай наши и не думают, что мы с тобой поругались.

Глаза её заливались слезами. Я был обезоружен, и мне стало её жалко.

— Давай, Феденька, не разлучаться. Вместе, бок о бок, чалки сушить будем и песни петь. Я много песен знаю. А потом с тобой по городу гулять будем: я всю Астрахань вдоль и поперёк исходила... И по Кутуму пройдем, по Большим Исадам, по главной улице... Персияне там курагой торгуют. У собора татар много. В Александровский сад пойдем — к пристаням. Вечером там музыка играет.

Она растрогала меня и жалобным голосом, и ласковой доверчивостью, и просьбой не разлучаться с нею. И совсем покорила меня своими умоляющими глазами, которые улыбались сквозь слёзы.

— Мы с мамынькой очень несчастные, — дрожащим голосом сообщила она. — Да ведь и вы несчастные, Феденька. А как же? Мамынька говорит: от счастья не бегут, а счастье догоняют.

Она говорила, как взрослая, много пережившая, много видевшая женщина, говорила убеждающе, с грустным раздумьем. В эти минуты она была очень похожа на свою мать: и голос был такой же надрывный, и такая же дрожащая улыбка, и та же нетерпеливая готовность исполнить всё, что от неё хотят.

С раннего утра, после того, как отец уезжал на «биржу», мы крутили чалки. На полу лежали две кучи жёлтых мочал: одна — наша, другая — Манюшкина. И крутили мы попарно: я с матерью, а Манюшка с Дуняркой. У каждого из нас был свой крючок в стене и счёт чалок был свой. Мы вытягивали из атласно-жёлтого жгута длинные мочалки и вешали их пучком на гвоздь, а потом снимали по одной ленточке, надевали на крючок и сучили то одну, то другую половинку и быстро свивали их верёвочкой. Работали мы посотенно: пятак за сотню.

Мне эта работа была не в диковинку: ещё в деревне я часто сучил суровую дратву для подшивки валенок и привык крутить её быстро и прочно. Но делать дратву сложнее: надо скрутить нитки, сделать ровную верёвочку, прогладить её, просмолить, а потом хорошо провощить — сделать гладкой и скользкой. Крутить же чалки было легко, приятно, весело. Стояли жаркие прозрачные дни сентября, и мочалки в пыльных лучах солнца искрились шёлком. Я стоял рядом с матерью и старался изо всех сил перегнуть и её и Дунярку.

— Не торопись, сынок, а то устанешь, — уговаривала мать и поглядывала на меня с довольной улыбкой.

— Ничего не устану, — с досадой протестовал я и ревниво следил за Дуняркой, за её ловкими руками и танцующими движениями.

Манюшка восторженно-плачущим голосом мурлыкала:

— Помощничек-то какой расторопный у мамыньки! Светленький-то какой да горяченький!

И её нос краснел от умиления, а зоркие и кроткие глаза ласкали меня.

Дунярка заботливо предостерегала:

— Ты, Феденька, не труди ладошки-то. Не накидывайся, не жадничай, а то занозишь их — и мозоли будут. — И с упрёком вскидывала лицо на Манюшку. — Зачем ты его, маменька, подмасливаешь? Ему исподволь привыкать надо. Ведь у него и сноровки-то нет.

И она легко, по-птичьи, подлетала ко мне, как-то неощутимо вырвала из моих рук мочалки и показывала, как надо осторожно сучить их ладонями, чтобы не натереть мозолей.

И всё-таки в первый же день я больно натрудил себе ладони. Кожа горела, как от ожогов, и покрылась водянистыми пузырьками. Но я был очень доволен: мы с матерью за весь день навили шестьсот чалок. Значит, мы заработали с нею по пятиалтынному.

— Уж какой ты ловкий да переимчивый, Феденька! — охала Манюшка. — Ведь вот вы какие гамаюны с мамынькой.

Она подошла к куче наших чалок и ревниво стала перебирать их.

— Шесть сотен ведь — мало ли! И это в первый же день! Дунярка, гляди, как бы они не перегнали нас.

Я хотел тоже порыться в их чалках, чтобы сравнить, кто навил больше и лучше. Но Манюшка заслонила их собой и повернула меня за плечи.

— Чужое считать грех, Феденька.

— А ты зачем, тётя Маня, у нас пересчитала? Может, это ты меня сглазила, может, я руки-то намозолил от завидующих глаз.

Мать испуганно схватила мои руки и наклонилась над воспалёнными мозолями.

— Ну, зачем ты надрываешься? — с печальным укором сказала она, и в глазах её я увидел боль. — Ведь я же унимала тебя... Как ты завтра работать будешь?

Сначала я хотел похвастаться своими мозолями, но когда встретил насмешливое сболезнование в глазах Дунярки и опечаленное лицо матери, я вырвал руки и спрятал их за спину.

— Вот ещё... невидаль какая! Чай, дома скольких этих мозолей было!..

Я заметил, что Манюшка с Дуняркой насучили больше нас, и мне было обидно и непонятно, зачем Манюшка старается скрыть свой ворох чалок: она торопливо и как бы невзначай набросила на них старенький платок. А Дунярка подцепила меня под руку и потащила из комнаты.

— Пойдём на дворе поиграем, а то замучились. Я тебе руки рыбьим жиром натру, у Степаниды-яги возьму.

Но я вырвал руку и враждебно осадил её.

— А ты зачем таишься, сколько вы чалок насучили? Мы свои чалки не закрывали. Наши-то пересчитали, а свои прячете. Аль боитесь, что я украду у вас? Я не вор, а вор тот, кто скрытничает да таится.

Я так возмутился, что задохнулся от сердцебиения. Это недоверие к нам с матерью оскорбило не столько меня, сколько мать. Ни её, ни меня никто ещё так не обижал в деревне. Пусть нас били, пусть мать доводили до «порчи», но никто и никогда не прятал от нас своего добра и не считал нас нечестными на руку. Впервые я переживал этот внезапный взрыв внутренней бури. Дунярка побледнела от испуга и смотрела на меня широко открытыми глазами, а Манюшка взмахивала руками и, поражённая, кричала что-то плачущим голосом. Мать рванула меня назад и повернула к себе. Её лицо застыло от изумления, и она пристально ощупывала меня потемневшими глазами.

— Осатанел, ты, что ли, сын? — тревожно спросила она, словно я не буйствовал, а опасно заболел. — Что же мне делать-то с тобой?

За спиной плаксиво, как нищенка, причитала Манюшка:

— Да что это такое? Владычица! Ведь ребёнок ещё, а карахтерный какой! Наставлять надо его, Настенька. Надо, чтобы он обходительный был. Ты, миленький, среди чужих людей живёшь, надо кланяться им да почитать. Вон моя Дунярка с людьми-то, как пчёлка, ласковая. А ты с

твоим характером, Феденька, пропадёшь. Тут с тобой сразу тесно стало. А надо так, чтобы людям от тебя приятно было, чтоб тебя не замечали, а услужливость видели. Будь подрушничком — будет и подружье. Обиды с улыбочкой сноси, а гордыню под ножки клади. У нас нет голоса: мы подголоски.

Мать, расстроенная, толкнула меня в плечо:

— Слышишь, что ли, как тебя тётя Маня уму-разуму учит?

— Слышу, — буркнул я угрюмо.

— Ну, так иди к ней и покайся. Ведь она нас приютила. Нам надо в ножки ей поклониться.

— Не пойду!

Я рванулся к двери и выбежал на двор. Под вешелами Степанида-яга тяжело шоркала своими разбухшими ногами в высоких резиновых калошах. Как всегда, она басовито бормотала что-то сама с собою. Из открытых окон комнаты причитал голосок Манюшки, а кроткий голос матери виновато оправдывался. Дунярка надорванно крикнула: «Мамынька, милая, не казись!..» И вдруг отвердевший голос матери решительно прозвенел: «Нет, Марья Васильевна, бить я его не буду... Мы и так биты-шиты да стёганы...»

Я обошёл вешелá и на другой стороне, у навозника, лицом к лицу встретился со старухой. Она стояла в рыбьей гуще и улыбалась мне полынными глазами. Две седые косички, связанные тряпочкой, свешивались на плечи. Парусиновый фартук был густо пропитан жиром и рассоллом, и в разных местах соль шершавилась рыжими пятнами. Я уже привык к смраду, и Степанида не казалась мне такой зловещей ягой, как в первые дни.

— Ну что, мышонок? Замяукала кошка, а ты наутёк? Храбрый-то какой!

— А мне нечего перед ней каяться, — враждебно надулся я. — Пищит, как нищенка, и всё прячет да таится...

Старуха пристально смотрела на меня и слушала внимательно, растирая усмешку изуродованными, в болячках, пальцами.

— Вот ведь беда какая! А ты и расстроился? Долго ли обидеть человека-то... — У ней что-то забурчало и захрипело в горле. Она смеялась. — Взъерепенился! Заноровился! Обиделся! Тушкан тоже, должно, сбижается, ежели за ним собака гонится. Худо, паренёк, худо! Не обижаться надо, а так расплачиваться, чтобы на душе вольготно было.

— Воровать, что ли? Аль тоже в ихних вещичках копать? Скажешь тоже!

Лицо её оживилось, а глаза весело озлились, и она поманила меня искалеченным пальцем.

— Ну-ка, ступай сюда! Не съем. Не бойся, я добрая, даром что уродина. — И хрипло закашляла от смеха. — Это меня черти в аду такой красавицей жаряли. Вот работища-то чего с человеком делает! — Она потрепала меня по плечу. — Хитрить умеешь? Нет? А в дураках оставлять? Тоже нет? Ну, вот и улепётываешь в обиде. Я ведь и сама такая была: обижалась-обижалась, плакала-плакала, а когда за ум взялась, было уж немогогу — калекой стала. Ты её, Машку-то, разок-другой перехитри — она сама хитрая, — чтобы она дурочкой себя увидала, ну и скиснет. Ты у Душки поучись, она всякого вокруг пальца обведёт.

Говорила она необычно — не так, как говорили другие женщины. Её голос и слова дышали мстительной злобой, но в грубом и дряблом голосе слышалось раздумье. Удивила она меня своей словоохотливостью. Встречал я её каждый день, но она держалась обособленно, враждебно

и всегда что-то невнятно бормотала. Мы часто видели её в тёмных сенях, где густо висела разделанная рыба, но видели только её спину в грязной рубаше без рукавов и две седые косички, связанные тряпчочкой. Манюшка и Дунярка называли её «ягой» и «ведьмой» и боязливо шептали: «Так и ждётся, так и дрожишь от страха: того и гляди сглазит, аль порчу наслёт...» Но сейчас она оказалась не такой жуткой, какой чудилась раньше. Передо мной была не забитая и отверженная старуха, а упрямый, отстаивающий право на жизнь человек. В ней чувствовалась сила и оскорблённая гордость, поэтому, вероятно, и к людям в нашем дворе она относилась с высокомерием.

— Тятяшка-то у тебя фертиком ходит, как в зеркало глядится. Таких нет удачи. А мать — ушибленная. Должно, били её кому не лень...

Я с охотой сообщил ей:

— Она мёртвенького скинула и стала беситься. В семье она за всех ворочала. Отец-то всё на ней вымещал.

Степанида покачала головой и погрозила пальцем:

— А ты не хвались материнной бедой. Не тот хорош, кого бьют, а тот, кто сдачи даёт. Будь я сейчас молодой, уж я показала бы себя. Мать-то, верно, на ватагу поедет? Замордуют её такую. Я двадцать лет там маялась. И вот — без рук и без ног. А за милостыней не пойду. Меня рыба-то и до могилы не оставит. Я мастерица. Рыба меня любит.

Она захрипела от смеха и с натугой пошла от меня в гущу висевшей рыбы.

После этой встречи со Степанидой совсем иными стали казаться мне и Манюшка, и Дунярка — маленькими, ничтожными. Их торопливая суета, певуче-вкрадчивые слова и ласковые улыбки были неприятно-приторные, наигранные. Манюшка не только не сердилась на меня, а встретила нежным кудахтаньем. Она сидела за столом и вышивала разноцветным шёлком бархатный подрушник. За этой работой она сидела каждый день — готовила подарок «часовенной общине». Дунярка сидела рядом с ней и бисером шила лестовку. Она стала, как взрослая девка, и улынулась мне, как ребёнку. Мать продолжала сучить чалки, и по её согнутой спине и судорожным движениям рук видно было, что она утомилась. Я взял её руку и посмотрел на ладонь. Она была кроваво-красная, покрытая серой чешуёй.

— Больше не надо, мама. Наработалась. Без рук останешься.

Она растроганно посмотрела на меня и виновато запротестовала:

— Нельзя, милый: завтра надо отнести урок-то. Не отнесу — работу потеряем.

— Бросай, и всё! — настойчиво крикнул я. Мне было больно видеть, как она трёт обожжёнными ладонями шершавую мочалку. — Бросай! Завтра я чуть свет встану и докручу.

— А у самого мозоли-то какие! Ты уж не крути, а то кожу до крови сдерёшь.

Манюшка заахала:

— Ах, батюшки-светы! Сыночек какой заботливый! Как мамыньку-то свою жалеет!

Мать встряхнула своими ладонями и подула на них.

— Вот гляжу я на вас с Дуняркой, тётя Маша, и вспоминаю, как мы с матушкой-покойницей по чужой стороне да по людям скитались. А ничего — жили, работали, не гневил бога. Были люди и плохие, были и хорошие. Хоть бы ещё так-то пожить! Плохое забывается, как пыль сбивается, а хорошее всю жизнь в сердце светится. — Она села на лавку и устало прислонилась к стене. Глаза её стали глубокими и лучистыми. — Вот и сейчас... не знай, что будет и что станет... Может, и не-

вмоготу придётся. А всё-таки — вольные птицы. Нет уж кнута батюшки-свёкора, нет над тобой его власти. Словно крылья выросли, и хочется подняться и полететь.

Манюшка расчувствовалась.

— Тётушку-то Наталью я, Настенька, страсть любила. Поговоришь с ней — как на солнышке погреешься. Когда я овдовела, она же меня сюда в Астрахань проводила. И я вот... не каюсь, что из деревни улетила. И воробей не живёт без людей. Хоть он и по зёрнышку клюёт, а сыт бывает и не жалуется. Спроть ласки да услужливости, Настенька, и злодей не устоит.

Мать сидела неподвижно. Может быть, она думала о прожитой жизни, а может, мечтала о несбыточных радостях или о близких днях желанных перемен.

— Нет, Марья Васильевна, — грустно отозвалась она на житейскую мудрость Манюшки. — Нет, не к сердцу это мне. Устала я от ласки да от услужливости, истосковалась от покорности. Хочется так пожить, чтобы не пропала зря моя молодость. Пускай слезами изольюсь, да зато душа взовьётся в раздолье.

— Дай тебе, господи, Настенька! — прохныкала Манюшка, склонившись над шитьём. — Только счастье-то да радость мошками перед тобой летают. Хочешь — лови их, как ласточка, а то грызи свою косточку.

Мать не ответила: кажется, она и не слышала, что говорила Манюшка.

6

Утром вставали мы затемно. Пока мать ставила самовар, варила на очаге картошку и готовила помидоры и огурцы для стола, отец давал корму лошадям, подмазывал пролётку и чистил свой кучерской армяк. По деревенской привычке я тоже вставал вместе с отцом и матерью. Манюшка с Дуняркой ещё не жились на своей скрипучей деревянной кровати: им нечего было торопиться — свой урок с чалками они выполняли без надсады. Лёжа на постели, Манюшка любила рассказывать сны. Она и сны свои рассказывала так же словоохотливо, как говорила целый день о всяких пустяках. Отец относился к ней шуточно и недоверчиво, как к дурочке, и это ей нравилось.

Часто отец прокатывал нас с матерью по городу до Исад. Мы выходили раньше минут на десять и ждали его квартала за два в переулке, чтобы не увидел хозяин и не вычел за наш проезд лишний двугривенный из жалованья отца. Мы зыбко покачивались на рессорах, и я испытывал ненасытное блаженство всю дорогу до Кутума. Мать замирала от наслаждения, и на лице у неё не угасала улыбка.

Когда улица полого спускалась вниз, лошадь бежала рысью, а отец сдерживал её тоненькой фистулой: «трр, дурак!..» А когда поднимались вверх, колёса вязли в песке, и лошадь выгибала спину от натуги. Домишки мне казались очень уютными, обжитыми, безмятежно спокойными, и мне хотелось зайти в эти надёжно огороженные дворы, в эти дома и посмотреть, какая там скрывается насиженная жизнь. В оконцах мелькали лампадки перед иконами — красные, зелёные, синие, — и мне казалось, что эти лампадки неугасимо теплятся уже многие, многие годы. На всех оконцах висели занавесочки, и на них появлялись и исчезали пепельные тени. По деревянным тротуарчикам торопливо шли женщины с корзинками — все в одну сторону — на рынок, на Исады. Знакомый парень-крендельщик в белом фартуке, с большой корзиной на голове, шагал навстречу по доскам тротуара и заливался утренным петухом: «Крендели, витушки... свежие. горячие...»

Звонили по всему городу колокола — пели, выли, стонали печально, уныло, а на них задорно покрикивали издали гудки пароходов. Впереди огромно и легко взлетала к небесной синеве прозрачно-белая башня собора с букетом главок, и оттуда плыл, потрясая воздух, густой, вздыхающий гул.

По грязной набережной Кутума шли женщины с корзинками, рабочие в бахилах и какие-то голодранцы с опухшими лицами, трещали и скрипели телеги, нагруженные ящиками, ленивой трусцой бежали скучные лошадки, запряжённые в старенькие пролётки. На гнилой заводи Кутума стояли борт к борту лодки, баркасы с тонкими мачтами. На том берегу перед чёрной пастью крытого рынка кишела густая толпа.

Отец останавливался около мостика через Кутум, и мы с сожалением прыгивали с пролётки. Спрятанный в широком и длинном армяке, странно чужой, он вынимал из кармана серебрушки и медяки и молча совал их в руки матери. Пронзительно чмокая, он шлёпал вожжами по крупу лошади и, не оглядываясь, уезжал на «биржу».

Это был уже центр города. Здесь все дома были кирпичные или каменные — одноэтажные, двухэтажные, длинные, грязные, прижатые друг к другу. Много было безоконных лабазов, с огромными замками на дверях, окованных железом. Много было лавок, трактиров. Особенно поражали меня открытые лавки с выставленными наружу горками ящиков, набитых курагой, кишмишом, черносливом, инжиром. А внутри каждой лавки сидел бесстрастный персиянин в чёрной феске, с коричневой бородой и кирпично-красными ногтями. На тротуарах толпились татары в тюбетейках и быстро тараторили все вместе.

На набережной длинным рядом стояли ларьки «обжорки», где дымились железные печки, а на них клокотали огромные кастрюли с кипящим борщом, рубцами и кишками. Толстые бабы в засаленных фартуках, с красными лицами, с нахальными глазами, орала во всё горло: — Вот рубцы, сычуги, щи наварные! Щи — пятак, гусёк — три копейки!

За столами сидели и голодранцы, и извозчики, и татары. Тут же бродили мужики со сбитнем и пирожники, от которых очень вкусно пахло жареным постным маслом. Я брал у матери семишник и покупал горячую, пропитанную маслом, ноздристую лепёшку и поедал её с наслаждением. На этот семишник я имел право, потому что он был заработан мною. Мы ходили внутри рынка, душного, бурлящего толпами женщин. Шорох ног, крики, чавканье топоров по костям, звяканье весов, удушливый запах мяса, зелени, помидоров, рыбы — всё это ошеломяло меня, и я очень боялся потеряться в густом людском месиве. Но мать ловко пробиралась к прилавку, бойко покупала кусок мяса или живого судака, быстро перебежала к зеленым рядам, брала помидоры, огурцы, картошку, расторопно перебежала к хлебному ряду и клала в корзинку полкаравая ноздристого белого калача. У неё возбуждённо блестели глаза, лицо румянилось, и она чувствовала здесь себя, как в праздничном хороводе.

Я впервые был в такой огромной толпе. Она ворошилась и кипела, как рожь на рассевах, душила, затягивала в самую гущу и отрывала меня от матери. Женщины с озабоченными лицами толкались плечами, а мужчины с праздным любопытством искали что-то по сторонам, пятились или оттиралась куда-то вбок и исчезали, втянутые в людоворот. Все как будто топталось на месте, но я с ужасом чувствовал себя затерянным, проглоченным этой удушливой кипящей массой. У меня кружилась голова, и казалось, что мы никогда не выберемся из этого омота. Высоко, за переплётами металлических перекрытий, синела стек-

лянная крыша, и стаи голубей, хлопая крыльями, летали под стёклами, садились на клетки перекрытий и ворковали. Роями проносились воробы, шараясь во все стороны.

Обратно мы шли другой дорогой: переходили мостик через Кутум выше Исад. Там было тихо и пустынно. Было ещё рано, и люди на нарядных улицах, с кудрявыми деревьями вдоль тротуаров, встречались редко. Богатые особняки, белые, опрятные, с тюлевыми занавесками, казались необитаемыми. Только дворники в холщёвых фартуках, с бляхой на груди, размашисто подметали мётлами булыжную мостовую перед своими домами. Всюду дымила рыжая пыль. Звон колоколов волнами плыл по городу. Для меня всё было ново, интересно и таинственно-чуждо. И здесь пели крендельщики с корзинами на головах, проезжал с мокрой бочкой, грохоча колёсами по мостовой, старик-водовоз и выл жалобно: «воды-ы, воды-ы!..» Один раз мы встретили здесь нашу старуху Степаниду. Она тяжело передвигала свои разбухшие ноги и глухо басила: «рыбы, рыбы, балыку!..» На нас она даже не взглянула.

Итти по пустым улицам, где наши шаги отзывались эхом, было приятно. За каменными и дощатыми заборами густо зеленели сады и оттуда пахло цветами. Навстречу нам по одному, по два быстро шагали рабочие, пропахшие рыбой. Мать обычно наряжалась во всё праздничное. Правда, и юбка, и кофта, и полушалок у ней были деревенские, но она умела одеться как-то приглядно, красиво, со вкусом. Лицо у неё становилось не обычным, не будничным, а светилось затаённой улыбкой. Она будто любовалась собою и знала, что миловидна, что походка у неё лёгкая и мягкая.

Я любил ходить по этим тихим утренним улицам, которые полого спускались в низину и поднимались на песчаные бугры, любил встречать людей, торопливо идущих на работу с узелками в руках, любил обгонять весёлого крендельщика с корзиной на голове. Занятно было перекинуться озорными словечками с подростками, гурьбой бегущими на работу. Они угрожающе таращили на меня глаза и кричали, посмеиваясь:

— Эй ты, Ванька-малой, деревенщина!.. Мамкин хвост!.. Рви ему, ребята, кудри патлаты!

А я враждебно открикивался:

— Голахи! Шарлоты!

Но никак я не мог привыкнуть к барыням, которые, семена, тащили в руке длинные подола своих платьев. Крошечные шляпки на высоко-взбитых волосах так были нелепы, что я всегда фыркал от смеха. Я видел, что матери приятно было итти свободно под зелёными шапками подстриженных тополей, мимо богатых и нарядных особняков с большими зеркальными окнами и кисейными занавесками. И когда мы шли по пыльной и угрюмой улице мимо деревянных домишек, на нас лаяли собаки из подворотен.

Однажды, когда мы проезжали через базар, на подножку пролётки вскочил высокий парень в чёрной шляпе, надвинутой на ухо, с квадратным, костистым лицом, пыльно-бледным, с острыми скулами и весёлыми глазами. Мы с матерью испуганно шарахнулись от него, а он засмеялся. Отец тоже испугался и угрожающе поднял кнут.

— Ну, чего струсил? Неужели я такой страшный? — спросил парень посмеиваясь.

Отец сконфуженно засмеялся.

— Вот шайтан, — пошутил он смущённо. — Ты, как вор, из-за угла, словно оглушить норовишь. — И он пояснил матери, указывая на парня: — Это Триша. Трифон Павлыч, сын хозяйский.

— Блудный сын родителя-грабителя, — смеялся парень, — лишённый наследства и проклятый в сем веке и в будущем. Давайте познакомимся. Я свободный мальчик и люблю якшаться с людьми, с такими особенно, с которыми сердцем столкнуться можно. Человек я весёлый, живу холостяком, с хлеба на квас, а грешу для своего удовольствия. Ну-ка, Вася, подъезжай к моему шалашу. Я ждал тебя: захвачу вещички, и ты подвезёшь меня до Кутума.

Отец поёжился и, подозрительно озираясь, с натугой пошутил:

— С тобой ещё греха не оберёшься...

— Это почему же, Вася? Разве я на преступника похож?

— Узнает Павел Иванович — беда будет.

— А тебе какое дело до твоего седока? Мало ли кого ты возишь! Может, каждый день доставляешь грабителей и убийц на мокрые дела... А я, будто, до сих пор считался сыном твоего хозяина... и как-никак тоже власть над тобой имею, а? Вот то-то же, знай наших! — И он опять засмеялся. — Но папашу своего я с удовольствием отвёз бы на Балду и свалил в омут.

Отец сердито огрызнулся:

— Ты хоть при парнишке-то зря не трепал бы языком...

— Ничего, пускай учится ценить людей по достоинству. Да ведь он и без меня, должно быть, знает, какой негодяй твой хозяин. По глазам его вижу.

Мать съёжилась и отвернулась от него. А мне было интересно слушать: он мне нравился своим злобным отношением к нашему хозяину.

— Он, старый чёрт, не чует, что я богаче его в миллион раз, — с весёлой ненавистью говорил Триша. — Я живу своим трудом: я — наборщик, в типографии работаю. У меня друзей-товарищей — не пересчитать. А он деньги и дом грабежом нажил. Одно хорошее дело сделал — меня выгнал из дому. Да я и сам от стыда давно от дому отбился. Ведь наша улица всю подноготную про соседей знает. Ну, и просветили меня.

Он опять засмеялся и с неожиданным добродушием пошутил с матерью:

— Ты чего скорчилась. Настя? Не бойся: я парень свойский. Приглядишься ко мне — полюбишь. Я иногда к Манюшке, к святой кошке, захожу. Она любит с девчатами и молодыми бабёнками похороводиться. Вот я при первом же случае и нагряну к вам в гости. Преподобная грешница... Её вся Астрахань знает: все дома облазила. И то хорошо, что её за копейку купить можно — с охотой навредит и услужит.

Мы остановились перед маленьким деревянным домиком с воротами под тесовым козырьком. Триша спрыгнул на ходу с подножки и скрылся за калиткой. Мне бросилась в глаза длинноногая, сутулая фигура в очень поношенном пиджачишке, кургузом для его роста, в узеньких брючках и стоптанных штиблетах. Но что-то в этом парне было привлекательное, жгучее и приятное, и я уже крепко был уверен, что он правдивый, прямой, открытый и хочет дружить с нами.

Отец обернулся к нам и предупредил:

— Ежели кто из вас сболтнёт, что я к нему заезжал, языки вырву... Связал меня чёрт с ним. Прямо за горло схватил. Не знаю, как отбиться. Буду по другим улицам ездить.

Мать робко, со страхом, пролепетала:

— Он какой-то злой, Фомич. Чего-то у него сердце горит.

Отец со свистом плюнул на землю, щёлкнул кнутом по колесу и прикрикнул на мать, как кричал бывало в деревне:

— Молчи, дура! Без тебя не знает. — И неожиданно решил: — На вагату поедешь. Здесь тебе болтаться нечего. А чалки да мочалки — это от безделья рукоделье.

Отец сидел на козлах толстый, в кучёрском армяке, а голова маленькая и смешная в жёсткой шапочке. Он смотрел в репицу лошади и говорил неприветливо и повелительно, как в деревне. Я наблюдал за матерью и не мог разгадать её: в лице застыло покорное отчаяние, но в глазах вспыхивала радостная надежда.

Триша выбежал из калитки с толстой церковной книгой и иконой в фольговой ризе, плохо завёрнутыми в газету. Он бесцеремонно толкнул меня с места и сел рядом с матерью, положив книгу и икону на свои острые колени.

— А ты, молодой человек, примостись у меня в ногах: ты, как таракан, можешь устроиться в любой щёлке. Привыкай передвигаться в любом положении и в любых условиях — пригодится. Трогай, Вася!

Отец с удивлением поглядел на необычные вещи Триши и на него самого и задёргал вожжами. Я присел на корточки в ногах у матери. Когда лошадь привычной ленивой рысью затрусила по улице, отец обернулся к Трише и с уважением пощупал глазами толстую книгу в кожаном переплёте с деревянными крышками и нарядную икону.

— Это чего у тебя, Триша? Аль писание читаешь?

— Хорошая книга, Вася, ценная, — сердито ответил Триша. — Пролог. Ей двести лет. Рукописная, лицевая. И икона древняя, только риза новая. Это родовое. Мамаша меня благословила, для души спасения. Куда везу-то? Не твоё дело. Ты не сыщик, а извозчик. Впрочем, так и быть, откроюсь: сейчас эти старинные книги и иконы полиция отбирает, а моленные закрывают. Вот для сохранности книги и прячу.

Отец, не оборачиваясь, подтвердил:

— У нас тоже в деревне моленную закрыли. Только книги-то да иконы из запечатанной избы вытащили. Начальство чуть умом не рехнулось. Ничего нигде не тронуту, а когда сняли печати, отперли — остались одни голые стены.

Он засмеялся, с удовольствием вспоминая эту проделку мужиков.

— Ловко провели начальство, молодцы! — похвалил Триша.

Он подхватил меня подмышки и широко улыбнулся, пытливо вглядываясь в мои глаза. В горле у него хрипело и булькало, и дышал он тяжело, утомлённо, со свистом. Глаза его были серебристо-серые, с насмешливой искоркой, пронзительно-умные. Эта его улыбка как будто говорила мне: а ну-ка, дай я тебя проверю, что ты есть за человек?

Он спрятал ношу под ноги, а меня толкнул к себе на колени. Они были костлявые и острые, и сидеть на них было неудобно. Вдруг он с приятельским добродушием наклонился к матери и ласково сказал:

— Очень он на тебя похож, Настя: такой же запуганный.

Мать вздрогнула от этой неожиданной его задущевности.

— А ты не ворожи — молод ещё ворожить-то. Кто тебя знает, что ты за человек: на тебя дома-то, как на ворога, глядят.

— Да я и есть для дома враг. А как же быть-то? Отца я ненавижу, и дом его ненавижу. Ты мне об отце-матери не говори, а то рассержусь. Весь город на крови стоит и кровью обжирается. Я как-нибудь расскажу вам, чем здесь люди живут и как человечинной промышляют.

Мы выехали на набережную Кутума и повернули не к тому мосту, на котором обычно высаживал нас отец, а налево, куда молча и требовательно указал Триша. По самому краю тянулся обжорный ряд, и бабы, красные от огня мангалов, с уполовниками в руках, зазывали

толпящихся прохожих. Густой частокол мачт, похожих на веретёна, едва заметно шевелился на фоне горящих облаков. Пахло щами, рыбой, помидорами и варёными кишками.

— Стой, Вася! — с дружеской теплотой сказал Триша и поманил рукой крупного краснобородого человека в длинной парусиновой рубашке и высоких сапогах. Соскочив с пролётки, он ткнул рукой в книгу с иконой. Человек взял их, и оба они пошли вниз по сходням к бударке. Отец чмокнул губами и ударил лошадь кнутом. Она рванулась, но отец озлобленно задергал вожжами, и лошадь круто повернула назад. Отец погнал её вдоль улицы.

— Шарлот! — пробормотал он: — Жулик! Пропадёшь с ним. Не иначе, как в шайке работает. Я уж который раз отвожу его с багажом: то чемодан, то детский гробик, а то вот книга эта, да икона... Надо хозяйину сказать, а то свяжут.

Мать вдруг выпрямилась и с необычной горячностью устремилась к отцу.

— И не моги, Фомич! Не бери греха на душу! Сразу же нас хозяин на улицу выбросит. Ничего ты не знаешь и ведать не ведаешь. А то ещё полиция нагрянет... затаскают. Да как бы ещё Тришины-то дружки тебе не отомстили. Лучше другой стороной езд.

Отец воткнул в неё злые глаза, и я в ужасе увидел, как он взмахнул кнутом, чтобы ударить мать. Но кнут тихо опустился, и отец глухо, с хрипотцой, выругался.

— По другим улицам буду ездить. Отважу его, шарлота.

Каждый день с раннего утра мы с матерью крутили чалки, но догнать Манюшку с Дуняркой так и не сумели. Они вдвоём зарабатывали полтинник, а мы — только копейки тридцать. Мне казалось, что мы не оставляли от них, что Манюшка работает медленнее матери. Она несколько раз бросала работу и убегала к Офимье помочь по кухне. Часто я встречал лукавую улыбку в глазах Дунярки и слышал её злорадный голос: она трунила надо мной озорной песенкой:

Что ты, милый мой, не весел —
Крендель на ухо повесил?
Не будь, милый, дурачком
Протри глазки кулачком.

Она весело издевалась надо мною. Это меня очень злило, и я однажды бросился на неё с кулаками. Но мать схватила меня за руку и прошептала в ужасе:

— Да ты что это... с ума сошёл? И пальцем не моги её тронуть!..

Дунярка сказала с задорным смехом в глазах:

— Ежели бы мамынька не пожалела вас, вы бы в сарайшке ютились. А вы у нас полкомнаты заняли. На ширмачка-то всякий горазд. Ну, да мы своё возьмём — не мытьём, так катаньем.

Мать покраснела и виновато посмотрела на неё.

— Хорошо, что сказала, Дунюшка, а я и не догадывалась. Что у большого на уме, у малого на языке. Мы уж заплатим вам. А поживём недолго: на ватагу поедем. Отец-то наш где-нибудь уголок найдёт.

Я кипел от возмущения, и сердце колотилось в груди так, что в ушах звенело. Я впервые слышал, как Дунярка нагло унижала нас, словно мы были нищие бездомники. В деревне не только девчонки, но и парни не смели сказать старшим ни одного грубого слова: они должны были покорно молчать и не перечить им, и никому из нас в голову не приходило огрызаться на людей старше нас годами. Дунярка ошарашила меня, и я стоял, как дурачок. Я чувствовал, что лицо у меня судорожно кривится и покрывается липкой паутиной.

И вдруг я с острой болью в сердце почувствовал, что здесь — другой мир, другая жизнь, другие люди, не такие, как в деревне, что я здесь чужой, незащищённый, и простота моя, как и неопытность и простодушие матери, — смешна.

Вот Дунярке хоть и десять лет, а она не только со мной, но и с матерью моей держится независимо и считает себя умнее и опытнее нас. И я решил отомстить ей при первом же случае.

Мать замолчала на целый день и, как больная, крутила чалки со слёзной печалью в глазах. А обед варила во дворе, на мангале, как-то боязливо, с оглядкой. Когда она выходила из комнаты, то звала меня с собой: должно быть, опасалась оставить меня с глазу на глаз с Дуняркой, чтобы я не отколотил её. Я чистил картошку, резал капусту, но больше сидел без дела рядом с матерью и скучал. Однажды я не вытерпел и пошёл в комнату. Мать с испугом окликнула меня:

— Куда ты? Не ходи! Греха ещё натворишь. Она ведь ядочка: чего-нибудь небедокурит, а на тебя свалит. Я боюсь её больше Манюшки.

— Не бойся, мама, — успокоил я её. — Меня сейчас не проведёшь. Мы больше их чалок-то вьём. Это она у нас их крадёт. С этого дня я глаз с неё не спущу. Ничего. Я пойду чалки вить.

Но в комнату я так и не попал: хозяин рычал с крыльца:

— Парнишка! Ты! Дармоед! Иди сюда!

Я понял, что он зовёт меня, но хотел юркнуть в сени. Мать в ужасе крикнула:

— Аль не слышишь? Беги к нему скорее!

Ноги у меня стали тяжёлыми, и всё тело пронизали жгучие иголки. Я боялся хозяина и ненавидел его. Его сила и власть казались мне чудовищными: он мог мгновенно схватить меня и раздавить в своём кулаке или походя растоптать сапогом. Он смотрел на меня тяжёлым леденящим взглядом.

— Не пойду я, — лепетал я. — Не хочу. Он пьяный, удушит меня...

— Стой! — хозяин крепко зажал свою бороду в огромной пятерне. — Стой, мальчишка! Иди сюда! Я с тобой разговаривать желаю.

— Не пойду! — в отчаянии крикнул я: — К тебе я не нанимался.

Около меня очутилась мать. Она вздрагивала, задыхалась и шептала:

— Не беги, сынок, а то он взбесится!

Хозяин грозным шагом подошёл к нам и уставился на меня осовевшими глазами. Но в глубине зрачков играл смех.

— А ну-ка, какие это слова ты мне сказал? Не нанимался, говоришь? Это ты смело сказал. А кому ты сказал? Мне — хозяину. Ты ещё щенок, а уже стреляешь дерзкими словами. Щенку вырасти надо, чтобы барбосом быть, а барбоса, и того на цепь сажают. А тебя ещё мать под юбку хочет спрятать. Давай ухо — драть буду.

Его рука неотразимо потянулась ко мне. Я отпрянул назад.

Вероятно, в глазах у меня он увидел не только страх, но и ненависть: он пристально рассматривал меня, поднимая то левую, то правую бровь, и забавлялся моей мальчишечьей строптивостью. Он тербил пальцами пёструю бороду и шевелил длинными косицами усов. И когда я увидел бледное лицо матери с умоляющими глазами, я бессознательно бросился к ней и заслонил её собою.

— Уйди, мама, уйди отсюда! — задыхаясь, крикнул я со злым отчаянием. — Он ещё убьёт тебя...

— Так, правильно! — хрипел хозяин с пьяным упрямством. — Двое дерутся, третий не лезь. А уши я тебе должен нарвать обязательно. Хозяину дерзить не моги! Раз твой отец у меня в батраках, ты тоже

мой слуга. А вот ей — матери твоёй — велю пятки мне чесать — и будет чесать. Раз отец твой в вольницу пошёл, он мне весь до требухи предался. У вольницы нет своей воли. Я вас в свой двор загнал, хомут надел — значит, вы в моей власти.

Я схватил мать за руку и рванул её за собой. Она, вероятно, сама обезумела от ужаса — и побежала к флигелю рука в руку со мною. Хозяин рычал, как зверь, и топал вслед за нами своими сапогами. С порога я на мгновение увидел, как Офимья пятилась перед хозяином в нашу сторону, высоко поднимала руку с двуперстием и укрощала его плавными взмахами. В комнате мать упала на скамью, откинулась к стене и, с посиневшим лицом, судорожно затряслась.

В этот момент неожиданно вошла соседка-старуха. Грязная, вся в лохмотьях, пропитанных жиром и солью, она улыбалась необычно мягко, по-бабьи жалостно. Она подошла к матери и стала молча гладить её по голове, по плечам, по спине.

— Ты не пугайся, милка: он сюда не придёт — меня боится. Ишь ты, как зашлась-то! Сердце-то как бьётся! Я все его грехи знаю. Сейчас черти душу его полосуют... вот он и бесится, и дуреет от запоя. Одна у него защитница — Офимья: она крестом да молитвою его обмывает, а он весь просолённый злодействами-то. Соль-то постоянно и проступает... Сын от него отступился, врагом стал, а я вот живу бок о бок с ним и терзаю его, проклятого. Он давно бы убил меня, да совесть не убьёшь. Вот он на свеженьких-то, на беззащитных и набрасывается, как беззубый волк.

Она, не переставая, поглаживала мать своей изуродованной рукой, и лицо бабы-яги таяло, нежнело, а в тусклых глазах светилась ласковая теплота.

Эта старуха как-то незаметно покорила меня: я, не отрываясь, смотрел на неё и слушал её голос. В ней чувствовал я большую силу и знал уже, что она никого не боится, ничему не удивляется.

На дворе пискливо повизгивала Манюшка, брехала и гремела цепью собака и буянил хозяин.

Офимья не опускала двуперстия и плавно делала широкий крест. Жёлтая, сухая, она молча наступала на мужа, молитвенно-сосредоточенная, строгая.

Степанида зашаркала рваными калошами по полу. С порога она обернулась к матери и требовательно махнула рукой.

— Ты, Настя, ко мне приходи: я тебя вылечу. Никого и ничего не бойся. Со зверями жить — клыки точить, а не скулить.

— Не могу я, тётушка. Не такая уродилась...

— Моги! — хрипло прикрикнула на неё старуха. — Ты не в гости сюда приехала, а продаваться богачам. Тут умеют рыбу ловить: далеко да глубоко невод забрасывают. Попадёшь сдуру в сети — одна у рыбы судьба: на плот и под нож. А в вольницу пошла — умеи воли своей хозяйкой быть. Я цену-то этой воли знаю: гляди, какая я стала. Вот она, наука-то какая!.. Кромешная здесь жизнь: ходи да оглядывайся. Без меня к подрядчицам не суйся — закабалят и не распутаешься.

7

Отец приезжал с «биржи» поздно. Он выпрягал лошадь, задавал ей корму в конюшне и при тусклом фонарике мыл пролётку. Потом входил к хозяевам и отдавал выручку Офимье. Домой он приходил усталый, молчаливый, ужинал угрюмо.

Я уже знал, что отец замыкался в таком гнетущем молчании только после унижительных обид. Значит, у него были какие-то неприятности

с хозяевами. Рядом, за другим столиком, сидели Манюшка и Дунярка и, по обыкновению, вышивали нарядные коврики и полотенца и нанизывали бисер на бахромки и кисточки. Обе они, как всегда, были лёгкие характером, жизнерадостные и говорливые, и отец никак не расстраивал их своей тяжёлой нелюдимостью. Не стесняясь, они тихонько напевали любимую песенку: «На берегу сидит девица, она шелками платок шьёт...» Или вперебой безмятежно выкладывали друг дружке впечатления дня, смеялись и над хозяином, и над соседками, которые сосорились около водовоза. Дунярка с весёлым простодушием хвасталась, как она смело и храбро брала в лавке хлеб, чай и сахар в долг: ответит ей хозяйин, а она заберёт с прилавка и, уходя, крикнет: «Завтра расплачусь — нам тоже должны». Манюшка рассказывала о том, как её любят и привечают в «хороших домах», как барыни без неё не могут обходиться и тоскуют по ней и как она развлекает их своими разговорами.

— Им ведь, барыням-то да купчихам, не то дорого, что дорого, а что любо. Скучно им, сердечным: делать-то нечего, торопиться некуда. Сидят себе, как клушки на яйцах, и томятся. Конфетки да варенье приелись, собачки да книжки надоели, в гости ездить лень... Ну, и не находят места от тоски... А я уж знаю, в какой час к какой голубушке явиться. Придётся, запоешь ей про красоту её да про то, чего не бывает, да чего ей нехватает, она и разнежится. «Манюшка, говорит, милая, какая ты счастливая! От тебя так и пышет радостью. Ты, говорит, как птичка вольная, в солнышке купаешься». А я говорю: «Чужа ласка — сироте пасха, милая барыня. Бедный человек и солнышку рад. Нам с дочкой ничего не надо, опричь вашей милости. А вы, говорю, барыня, — красавица, в счастье да довольстве, как в саду цветёте. И скатерть у вас самобранка, и всё-то у вас исполняется, как по шучьему веленью». А уж она стонет, она жалобится: «Не в богатстве счастье, а в исполнении желанья...» — «А вы, говорю, пожелайте — и исполнится. И нет ничего, говорю, приятней и радостней, как любовь. На вас все заматриваются, и не одно сердце тоскует. И знаю я, кто по вас страдает да сохнет..» Ну, и начнёшь ей мечтанья наводить. Глядишь, она, милая, без меня уж шагу шагнуть не хочет. То туда меня, то сюда — с записочками, с порученьцами — к артистам, к купчихам, к художникам.

Дунярка слушала мать с жадными глазами и не дышала.

Отец брезгливо косился на Манюшку и угрюмо шептал матери:

— А ты слушай её больше: она наболтает с три короба. Пропадёшь с ней... Набор на ватаги начинается — готовься. Я здесь останусь, а ты с парнишкой уедешь на сезон — до лета.

Я уже не раз замечал, что Манюшка посматривает на него исподтишка быстрыми опасливыми взглядами хитрых глаз. Но в этих её притворно-умильных глазах поблёскивали колючие искорки. На насмешки отца она не обижалась, а делала вид, что ей приятны его шутки.

— Я божья вдова, Вася. У меня и душа — голубка легкокрылая. И людям приятно, и мне радостно. Я ведь к людям-то страсть какая прилипчивая!

Отец усмехался.

— Чего и говорить, доходная статья. Тумана напускать на людей — нелёгкое дело. А лучше тебя на этот счёт — мастерицы нет.

Манюшка восторженно пела своим нежным, сердечным голосом:

— И какой ты, Васенька, умный да доходчивый! Мне одна купчиха-пароходчица часто говорит: «Ты, Манюшка, жизнь мою украшаешь: живой водой меня поишь, а я словно пьянею». Я к ней очень даже

вхожа: от тоски её лечу. А грусть-тоску прогнать—это, Васенька, не всякому дано. Меня богородица на это таланом наградила.

И этот её «талан» очень тревожил отца: он опасался за мать. Его насмешки и шутки были враждебно-едки и обидны. Но Манюшка льстила ему:

— Уж какой ты, Васенька, умственный да правдивый! Да таких и людей на свете мало! Счастливее Настеньки и женщины нет: муж-то какой дорогой — и не пьёт, и не балуется, и о семье заботливый, и в людях-то разборчивый...

Отец смешно подтягивался, закатывал глаза под лоб и самодовольно улыбался. Забывая о своей вражде и презрении к Манюшке, он хвастался:

— У нас в роду нет уродов: красивше наших парней в округе нет. А здесь, в Астрахани, никто из извозчиков чище да подбористее меня не ездит. Торговый народ меня уж хорошо знает и прямо зовёт: «Фомич, подавай!» А ежели за извозчиком парнишек присылают, так парнишки-то прямо ко мне садятся. «Фомич, гони! За тобой хозяин прислал». Я больше всех зарабатываю. И мне завидуют.

Манюшка ахала, всплёскивала руками:

— Ах, матушки! Какой ты, Васенька, удачливый! Ты, чай, и себя не забываяй: прикопишь — свою пролётку заведёшь. Умному человеку бог помогает.

Но отец высоко тарачил брови и с обиженным достоинством обрывал её.

— Я от хозяина деньги не таю: отчитываюсь до копейки. Павел Иванович даже в удивленье входит: «Ты у меня, Василий, фармазонный рубль: из гроша алтын выжимаешь. Другие работники половину не зарабатывали. А всё оттого, что ты лошадь да чистоту блюдёшь. А чего своруешь — тому меру знаешь». Ну, я, конечно, встаю и режу ему: «Я, Павел Иванович, в жизнь ничего чужого не брал, а у тебя — на жаловани. И заповедь соблюдаю: не пожелаю елика суть ближнего твоего...» А он орёт на меня: «Толкуй с досады на все Исады! Я сам был вор. Воруй в обычае, с умом, чтобы другим не в убыток. А ежели в убыток — сумей концы прятать». Чудной человек: никаким побытом не верит, обы люди не крали.

И он смеялся над упрямством хозяина.

Манюшка поощряла его:

— Павел-то ведь жадный, Васенька: он и у самого себя норовит подмётки рвать. Своё-то всякому дорого: с походом не взвешивают, а без натяжки и аршином не меряют. Павел сам тебе свои карты в руки даёт. Уж помяни моё слово: через годик в смазных сапогах да при ка-лошах щеголять будешь. Астрахань, Васенька, смелыми да дошлыми живёт.

Тонкая, хитрая, пронырливая, Манюшка хорошо знала людей и умела играть на их слабостях и страстях. Дуреющие от безделья и скуки барыни и купчихи нуждались в шутках, в живых и расторопных сводницах, в пряных грешках и блудных забавах. И Манюшка была самой необходимой принадлежностью в этих «хороших домах». В этой своей роли она не видела ничего зазорного и унижительного: словно она родилась для этого и находила в этом единственную радость и смысл своей жизни. Отец не огорчал её своим тяжёлым характером: она очень быстро поняла его слабости и своим льстивым восхищением его честностью, умом, степенностью и «подбористым» видом подхлёстывала его самолюбие и всегда приводила в благодушное настроение.

Мать благодарно говорила ей по утрам:

— Уж не знаю, как за тебя молиться, Марья Васильевна, какую свечку богу ставить. Чудом ты каким-то Фомича исцеляешь.

А Манюшка кудахтала, растроганная и счастливая:

— Человеку-то ведь, Настенька, немножко надо: возвеличь его — он воскреснет и сам лучше станет. А Васенька-то любит погордиться да почваниться. Хоть за душой у него и нет ничего, а принарядить её охота. Зачем же ему в добром слове отказывать? Ведь всякому человеку хочется перед людьми чем-нибудь отличиться. А радости-то у людей очень даже мало, Настенька. Нет радости — так надо её выдумать. Выдумать-то её совсем легко, только сердце для этого нужно лёгкое да приветливое.

Должно быть, ей доставляло большое удовольствие выдумывать радости для людей.

8

Однажды в воскресенье к нам во флигель пришли приятельницы Манюшки: Раиса, Мара и Люба. Мара и Люба — девушки, а Раиса — замужняя. Она была высокая, крупная, держалась уверенно и гордо. Лицо у неё было белое, с густыми бровями и тонким носом с горбинкой. Она поразила меня сразу же, как появилась с подругами у нас в комнате. Вошла она, как хозяйка, зорко оглядела всех, небрежно толкнула губами Манюшку и Дунярку, а мне подала руку.

— Здравствуйте, отрок!

А на мать посмотрела пристально, вопросительно и молчаливо, словно опасалась обидеть её. Потом заявила решительно:

— К тётушке Степаниде пройду — слабость к ней имею. Мудрая старушка. Хоть и смрад разводит, а душа — сад ароматный.

Такое сравнение показалось мне нелепым, и я засмеялся, не сводя с неё глаз. Она удивлённо подняла брови, потом строго сдвинула их к переносью.

— Что смешного я сказала, отрок? — И вдруг сама усмехнулась, прикладывая пальцы к губам. — А пожалуй, верно — смешно: в душе — аромат, а разводит смрад. Но ты, родной отрок, поживи, узнай людей — и не такие смешные слова услышишь.

И она ушла, красивая и статная.

Манюшка с упоением ставила на стол крендели, колбасу, белый кач, пирожки с картошкой, а Дунярка с новой красной ленточкой в косичке, в шёлковой юбке и батистовой кофточке, звенела чайной посудой и расставляла её по краям стола. Она любовалась ослепительно вычищенным медным подносом, мечтательно брала с подоконника плоски с цветами и, как святыню, ставила их на середину стола. Она так была занята этим серьёзным делом, заботливо поджимая губы, что её веснушки, казалось, шевелились и ползали на лице, растревоженные её волнением.

А Манюшка нежно кудахтала:

— Гостенёчки дорогие! Милые вы мои! Люблю-то я как вас! Молодые-то вы какие! Радость-то вы какую приносите! Словно солнышко в комнатке у нас играет. — И с огорчением и тоской в лице жаловалась: — Только вот сестрица Офимья страмит меня за это удовольствие: «Я вот молюсь, говорит, смерть у меня в доме-то, а у тебя — пляс да веселье. Лестовка у меня из рук валится, и злоблюсь я, грех ещё больше на душу мне наводишь. Нет чтобы вместе со мной канун отстоять богородице... Гляди, Марья, беда-то ведь не дремлет...» — «Меня, говорю, Офимьюшка, богородица простит: она ведь тоже радость любит. Не-

спроста мы ей молитву творим: «Богородица-дево, радуйся... благословенна ты в жёнах...»

Гости смеялись.

Мара, чёрненькая, маленькая, с завитым чубиком, с горячими карими глазами и вздёрнутым носом, вертелась по комнатке, поправляла волосы и говорила грудным, задорным голосом, широко и звучно упирая на «а»:

— Афимья — карга. И Жеребок и она друг другу подстать: он волк и алкоголик, а она ханжа. Вот и сын от чухотки помирает. Не семья, а чума. Этот дом все на версту обходят. Ох, и хочется это чёртово гнездо раскидать.. или сжечь дотла!..

Манюшка в ужасе взмахивала руками.

— Да что это ты, Марочка! Да как это у тебя язык-то поворачивается? Да у меня сердце обмирает от такой страхоты. Милая ты моя, птичка золотая! Ведь у тебя карахтер-то лёгонький: ты как чаечка на солнышке летаешь, а такие чёрные мысли в голове носишь.. И не говори мне этого — с ума сойду.

Мать сидела в сторонке отчуждённо, застенчиво, наблюдала за гостями с растерянной, застывшей улыбкой и не знала, что делать — не то уйти из комнаты, чтобы не мешать компании, не то помогать Манюшке в её гостеприимных хлопотах. А я сидел в заднем углу на кипе мочал и перечитывал любимую мою нарядную книжку «Руслан и Людмила». Почему-то мне хотелось её читать по праздникам, под звон колоколов. В будни я прятал её, а читал растрёпанные книжки без начала и конца. Эти книжки я покупал у краснолицего и краснобородого лавочника за семишник. У него на прилавке они лежали беспорядочной кучей. Он отрывал из книжек листы и делал из них фунтики. Тут были повести о разбойниках, о каких-то заморских рыцарях, о дурацких похождениях пошехонцев. Хоть я и хохотал над их глупостью, но мне было обидно за мужиков, которые в этой книжке изображались безнадёжными остолопами.

Раиса очень понравилась мне своей гордой повадкой, и я был уверен, что она никого не боится и никогда не даст себя в обиду.

Мара же совсем не замечала ни меня, ни матери. Она казалась мне не настоящей, как и её странное имя. И смеялась она без охоты.

Люба, молоденькая, щекастая и губастая, с большим узлом золотых волос на затылке, с зелёными глазами, вся цветастая, в бесчисленных сборках, лоскутках и брыжжах на юбке и на кофточке, всё время готова была захохотать. Её глаза ловили каждое движение и Манюшки, и Дунярки, и Мары и искали в них что-то смешное и забавное. Пухлая грудь её колыхалась от нетерпения. Когда Манюшка в ужасе от слов Мары села на лавку, сложив руки ладошками, Люба залиvisto захохотала и долго не могла успокоиться. Но ей хотелось ещё смеяться, словно смех для неё был неутолимой потребностью. Мара лизнула свой палец и поднесла его к её лицу.

— На, потешься над этим смеюнчиком.

И Люба действительно смеялась над ним до слёз. Но её хохот был так хорош и пронзителен, что его сначала подхватила Дунярка и дёрнула свой колокольчик, который залился весело и раскатисто. Люба взвизгнула от изумления, вытаращила глаза и беспомощно откинулась к стенке. Лицо её страдальчески исказилось. Захохотала и Мара, не отрывая от неё глаз, смеялась и Манюшка, сложив крестиком руки на груди. Мать тоже смеялась. Она конфузливо закрывалась концом полушалка. Когда все прохохотались, Мара с мокрыми глазами серьёзно прикрикнула:

— Замуж тебе надо, Любава, а то бурлишь зря, как самовар.

Потом она нацелилась на мать и, с озорным блеском в глазах, подошла к ней. Пристально, с лукавым удивлением, осмотрела её голову и ткнула пальцем в рубец от повойника.

— Зачем у тебя эта шишка? У нас здесь такой хомут не носят. Засупонили тебя, а ты терпишь, дурёха. Ну-ка, я приведу тебя в чelовеческий вид.

Она хотела снять с головы матери платок, но мать в ужасе откинулась к стене и отбросила руки Мары.

— Да разве можно? — залепетала она: — Да, чай, меня Фомич-то убьёт.. Разве бабе хорошо без волосника ходить?

— Вот так дурёха! — изумилась Мара и схватилась за голову. — Такой дурёхи я ещё не встречала. Эх ты, Маланья — голова баранья! Люба всплеснула руками и опять залилась хохотом.

Но Мара уже не смеялась, а отвернулась, обозлённая.

Манюшка вскочила со скамьи и ласково погладила Мару по плечу.

— Ты, Марочка, не конфузь Настеньку: она ещё не огляделась, не свыклась с нашим народом. В деревне строгости: женщине там ходу нет. Там её за человека не считают. Так она и сжилась и с кулаком, и с волосником. Ты уж, Марочка, пожалей её да приласкай: ведь бабы-то ласки там не видят.

И, как опытная и находчивая хозяйка, просеменила к матери и обняла её.

— А ты, Настенька, не расстраивайся: женщины наши — хорошие. Они по себе знают, как людям жить трудно, как они мучаются. Они трудом живут, а каждая копейка у них слезой моется. Хоть с виду-то они и вольные, да вольность у них мозольная. Ну, озорничают немножко и грубиянят. Без этого здесь затопчут, затуркают. Марочка к тебе не со зла, а от сердца подошла.

Мара поправила причёску у зеркала.

— Мы хорошие, когда пляшем да плачем. Без вольности и не пляешься, а драться каждый день с подлецами надо. Повойник с бабочки я сдору: он душу у меня выворачивает. Собака на цепи — не зверь, а баба в повойнике — не женщина.

Эта Мара казалась мне жгучей, как крапива. Она жалила каждым словом и каждым взглядом. Её развязность и порывистые движения, самоуверенность и напористость подавляли мать, а меня как будто забивали в угол. Я возненавидел эту Мару, которая распоряжалась здесь размашисто, самоуверенно, как у себя дома. Манюшка рядом с ней казалась смешной и жалкой: хотя она и гостеприимно хлопотала и вся пылала от праздничной радости, но совсем не похожа была на хозяйку. Только Дунярка не отрывала от Мары восторженных глаз. Я видел, что ей самой хочется быть такой же: она невольно делала озорное лицо и тёрлась около неё, повторяя её движения. А когда Мара заметила, как Дунярка влюблённо следит за нею, она засмеялась и прижала её к себе.

— Ну что, Душка-полушка, нравлюсь я тебе?

— Ух, Марочка! — задыхаясь, взвизгнула Дунярка. — И сказать не могу.. Страсть нравишься! Уж такая ты интересная, такая шикавая! Прямо — красота вашей чести!

Но Мара с шутливым недовольством оттолкнула её.

— Ну, тебе ещё рано завидовать. Ты ещё от горшка два вершка. Тебе ещё расти да расти.. Ты вот лучше похочочи вместе с Любавкой. Покажи ей пальчик.

Люба как будто ждала этого момента: она вся затряслась от хохота.

— Видишь, какая это заводная машинка? Она хохочет и тогда, когда слёзы льёт. Сидит в ней чёртик и щекочет её.

Этот беспричинный хохот Любы и страдальческое её лицо, красное от напряжения, тревожили меня странным беспокойством. Вероятно, она была порченная: этот мучительный хохот потрясал её, как судорога.

Мы сидели с матерью в заднем углу, как чужие в своём жилье. В пухлой деревенской юбке, в белой кофте-разлетайке, в шерстяном цветистом полушалке, повязанном на повойнике в виде кокошника, мать чувствовала себя одинокой, беспомощной, отверженной. Я же с обидой чувствовал, что над нами потешаются, что Люба хохочет, видно, не потому, что ей пальцы показывают, а потому, что мы с матерью кажемся ей смешными своей деревенской нелюдимостью и дикостью. После того как Мара наскочила на мать, она уже больше не замечала её. И Дунярка тоже не желала видеть меня, словно стыдилась, что в их чистенькой комнатке сидит деревенский вахлачок. А мне хотелось вскочить и крикнуть им:

— Чего вы охальничаете? Хуже мы вас, что ли? Мы у себя дома, а вы в угол нас загнали. Вы не гости, а бесчинницы.

Я и мучился от нашего отчуждения и переживал неиспытанные волнения. Эти новые люди ворвались к нам так беззастенчиво, что я сразу был захвачен их смелостью и размахистой вольностью. Я никогда ещё не видел таких напористых девчат и такой женщины, как Раиса, — уверенной в себе, сильной и знающей себе цену. И я чувствовал, что мать переживает то же самое: ей было тягостно от своей привычной бабьей пришибленности, но к этим людям влекло её острое любопытство.

Вошла Раиса с кипящим самоварчиком, поставила его на медный поднос. Самовар клокотал, пыхтел, шипел, выбрасывал пар кверху и в стороны и выплёскивал воду из-под крышки. Манюшка в ужасе бросилась к нему с чайником и горестно закричала:

— Дунярка, дочка, что же это ты самовар-то преглядела? Раисочку заставила трудиться.

Но Раиса спокойно и твёрдо отстранила её, взяла у неё чайник и заварила чай.

— Сейчас — я хозяйка, тётя Маша. Рассаживайтесь, где вам нравится. Мара, на место! Не красуйся перед зеркалом, краше не будешь, так и останешься чёрненькой. И не озоруй. Вижу, опять выкинула какой-нибудь фортель. А Люба знает своё дело — хохотать: ишь, как развезло её!

Люба зашлась хохотом, отмахиваясь от Раисы обеими руками. Но Раиса строго уставилась на неё.

— Ну-ка, замолчать!

И, к моему удивлению, Люба сразу же оборвала хохот и сконфузилась. Но лицо её всё ещё дрожало от мучительной судороги.

Раиса подошла к матери и осторожно взяла её за руки. Она улыбнулась ей тепло, дружески, зная, что мать тоже улыбнётся и доверчиво подчинится ей. Красивая фигура её, в пышной серой юбке, очень длинной — до самого пола, в снежно-белой кофте с крылышками, была гибкая, сильная, властная.

— Пойдём-ка, Настя, к столу, сядешь вместе со мной. Не стесняйся: ведь ты у себя дома, а на девчат не обижайся. Они не лучше тебя, а кой в чём и хуже. Знаю, что Мара тебя немножко потревожила. Она озорует не со зла, а от тяжёлой молодости. Она на форпосте работает,

на селёдке. Гнёт спину целую неделю, а в воскресенье хочется повольничать — своё взять, себя показать.

Мать робко, с надломом в голосе сказала:

— Да я ничего... Она — девушка: поиграть охота.

Раиса кивнула головой на Мару.

— А ты видела, какие у ней руки-то? Просолённые, в ранках. А Люба девушка безобидная. Она однажды вместе с воблой в чану искупалась и с тех пор хохочет. Может, это и хорошо, что хохочет. Она сейчас дома работает — швейка: на плот больше не ходит, боится. Ну вот, люби их и жалуй. А о себе не буду говорить — самая простая баба... правда, с характером немножко. Не даю себя в обиду, и люблю себя больше всего на свете. Впрочем, и хорошую работу люблю, когда душа поёт.

Не переставая говорить, она подвела мать к столу, села у самовара и посадила её рядом с собой. Мать как будто проснулась от нудного сна, и лицо её посвежело, а в глазах заиграли огоньки. Она подняла голову и засмеялась:

— Как чудно-то: словно я с тобой всю жизнь — подруга. Сразу сердцем скипелась.

— Вот и хорошо, — согласилась Раиса и стала разливать чай. — Верь мне, не обманешься. Вот тоже тётка Степанида — вернее и правдивее человека нет. — Раиса повернулась ко мне и удивлённо подняла шёлковые брови. — А ты чего в угол забился, отрок? Читать сейчас не время: люди занятнее, чем книжка. Не хмурься. Иди-ка сюда: я ведь знаю, что я тебе нравлюсь.

Она так была красива, что я не мог оторвать от неё глаз. Про неё так и хотелось сказать: «А сама-то величава — выступает будто пава...» Должно быть, таких женщин, как она, в песне называют «белыми лебёдушками». Она не рисовалась, не играла, не кичилась, а вся была тёплая, ясная, пригожая и очень простая, словно не собою гордилась, а всеми нами, как старшая сестра. Мне всё в ней нравилось: и белое лицо, и голубые глаза, умные и пронизательные, в длинных ресницах, и густые брови, точно вышитые гладью, и точёный нос, и упрямые губы, которые дрожали от улыбки, и открытая высокая шея, которая ни перед кем не согнётся... Её проникновенный и задушевный взгляд был неотразим. Но странно, он не смущал, не подавлял, а привлекал к себе, и мне хотелось с радостью смотреть в её милые глаза. Впервые я ощутил в сердце сладкую боль и непонятную печаль, и мне почему-то хотелось заплакать. Я послушно встал и, не отрывая глаз от Раисы, подошёл к ней с книжкой в руках.

Она положила свою руку на моё плечо и всмотрелась в меня.

— Не родись счастливым, а родись кудрявым. Какие золотые у тебя стружки! И глаза, как у младенца. Толстогубенький, курносенький. Значит, красоту любишь, отрок. А таких и я люблю. Будем друзьями. Я тоже книжками увлекаюсь. Что это у тебя?

Я растерялся и выпалил слова, которые я часто повторял про себя:

— Людмила... моя прекрасная Людмила! Руслан и Карла Черно-мор...

Должно быть, это вышло у меня неожиданно забавно, потому что все засмеялись очень весело, от души. Но я не смеялся, не смеялась и Раиса и смотрела на меня пытливо, понимающе. Она взяла у меня книгу и полюбовалась ею и вблизи и издали, потом открыла её и прочитала надпись Варвары Петровны.

— Какая хорошая женщина писала! Слова-то какие! Эту книжечку ты храни, отрок, до возраста лет. У меня тоже книжки есть. А муж

мой — машинист на пароходе. Он раньше во флоте служил. У него много разных альбомов, всякие страны и люди. А книжку твою я тоже читала. Скажи-ка по правде, — лукаво прищурилась она, — кого это ты Людмилой-то назвал? Уж не меня ли?

Я храбро поднял голову, но промолчал.

Мара встряхнула своим чубиком и возмущённо крикнула:

— Бормочут там какую-то чепуху. Брось, Раиса, с парнишкой возиться! Совсем даже не интересно. Бери гитару — споём.

Но Раиса вздохнула и поставила передо мной чашку чаю.

— Что же... верно, пожалуй, отрок. Все мы Людмилы, пленницы... Рвёмся на волю... Может, и вырвемся когда-нибудь. Надо только, товарищи, драться, чтоб не мордовали и душу не уродовали всякие черноморы.

Она встала из-за стола, взяла гитару с кровати Манюшки и села на табуретку посередине комнаты. Лицо её стало строгим и задумчивым. Она глядела в окно невидящими глазами и провела пальцами по струнам. Бархатно вздохнул грустный звон. Запели высокие струны, застонали басы, и нежным перезвонном затрепетал печальный напев. Все замолчали. Кто-то вздохнул, а Люба надорванно ахнула. Мать изумлённо раскрыла глаза, и у неё задрожал подбородок. Мне показало, что она сейчас заплачет, но лицо её застыло в мерцающей улыбке. Манюшка склонила голову и подставила кулачок под подбородок. Дунярка с лукавым смехом в глазах подмигнула мне и непоседливо заволилась на месте, уткнув руки в бока: погоди-ка, мол, скоро плясать будем... Но мне была противна её нетерпеливая возня, и я был доволен, когда Мара стукнула её пальцем по лбу и прошептала: «не егози, коза!» Глаза у Мары с мольбой смотрели на Раису. Я же сразу замер и только чувствовал, как по телу струилась приятная истома, а сердце сжималось от желанной печали. Такой музыки я ещё не слышал никогда, и нение гитары охватило меня, как неожиданное счастье. Звон струн был туманный, нежный, вздыхающий: звуки порхали, переплетались, стонали, смеялись и плакали, и мне чудилось, что всё пело — и стены, и солнечный воздух за окнами, и посуда на столе, и все лица, и весь я до самых глубин, которых до сих пор никогда ещё не ощущал в себе.

Раиса сидела суровая, с горячими глазами, и белое лицо её, казалось, побледнело ещё больше. Голова её, увенчанная золотыми косами, завязанными в плотный узел наверху, немного откинулась назад, а сильная фигура застыла во властном спокойствии. И вдруг, подавшись вперёд, она оглядела всех ласково-строгими глазами, сияющими из-под длинных ресниц, и запела низким, очень тихим голосом, глубоким и сердечным:

Что так жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?

Мара положила голову на руки и грустно вторила ей:

Или сердце забило тревогу,
Что лицо твоё вспыхнуло вдруг?

Раиса переглянулась с ней, кивнула головой и сдвинула брови. Её голос взволнованно вздохнул:

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..

И взмахнула правой рукой, требуя, чтобы пели все, но крикнула Маре угрожающе:

— Сердцем, сердцем, Мара!.. Счастье почуяло сердце...
 А Мара откинулась назад и закрыла глаза.
 Люба вся устремилась к Раисе, и глаза её утонули в слезах. Дрожавшим голосом она вторила Маре:

На тебя заглядеться не диво...

Дунярка с весёлым задором закричала, покрывая голоса:

Полюбить тебя всякий непрочь...

— Дунярка! — в тревоге прикрикнула на неё Раиса, словно Дунярка оскорбила её своим весёлым голосишком. — Не смей шалить! Ты ещё куклёнок... Молода!

И в раздумье, как будто раскрыла свою душу, вздыхала:

Поживёшь и попразднуешь вволю,
 Будет жизнь и полна и легка...

Мара опять уронила голову на руки и закачалась из стороны в сторону, а Люба словно плакала:

Да не то тебе пало на долю:
 За неряху пойдёшь мужика...

Струны гитары вздрагивали и плакали под пальцами Раисы, а она поднимала и опускала голову, словно сама изливалась в звоне струн.

— Эх, Раиса! — крикнула вдруг Мара и ударила ладонью по столу. — Пускай жизнь наша — мачеха, пускай она терзает нас... чёрт с ней!.. а я своё возьму... Молодость свою собакам не отдам... Кровью изойду, а счастье своё найду...

Раиса оборвала игру и положила руку на струны. Они задрезжали и задохнулись.

— Ах, Мара, дорогая, где оно, это счастье? И кто может сказать, что такое счастье? Оно тройкой пролетело мимо...

Мара с злым убеждением и жгучими огоньками в глазах рванулась к ней.

— Это ты... ты можешь сказать. Ты — умная и сильная. Тебя не сломит ни вражда, ни нужда. Ты не дашь себя связать и растоптать. Ничего и никого ты не боишься. Ты молодая, красивая, а всё вынесла — и сиротство, и ватаги, и беззащитность, и мужское разбойство, а стала ещё сильнее да краше. Вот оно, счастье-то! Да рядом с тобой, родная моя, я словно заново родилась... а ведь чуть было не умерла...

Раиса улыбнулась про себя и медленно повернула голову к Маре.

— Что такое счастье для женщины, Мара? Ничего ей не дано, и нет у ней своей дороги. Любовь? Семья? И в любви она — пленница, и в семье — раба. Во всём она беззащитна. Вот Настя из деревни приехала в волоснике, а бабий волосник — это значит: ты подвластна мужу и чужой семье, и с тобой что хотят, то и делают. А у нас в городе лучше, что ли? Нет у нас ни воли, ни голоса — в плену, в кандалах. И на каждом шагу стерегут тебя волки: ты только ихняя добыча. Сожрут тебя или искалечат, ты же и будешь виновата. И остаётся только кричать: будьте вы прокляты и будь проклята ваша жизнь!

Она ударила по струнам, и они зазвенели с гневом и болью. Глаза её оледенели и стали недобрыми.

— Да, я умная. Знаю. И в этом моя беда. Дураку и в каторге спится, а умному и на воле ад. Одно надо: стоять крепко на своих ногах, быть настороже с дубинкой в руках и не давать себя в обиду, хоть бы

это стоило жизни. Ненавидеть! Драться!.. А радость искать в работе — в работе по душе. Она, работа-то, одна даёт силу. Тогда и песня поётся хорошо.

— У тебя — муж... любит тебя, — с завистью простонала Мара. — Он — друг дорогой... и я тебя люблю и умереть за тебя готова... И уважение у всех к тебе... и боятся тебя...

Манюшка слушала, умильно улыбаясь и подпирая подбородок кулачком.

— Милые вы мои! Красавицы вы мои! Да кто вас не любит-то? Все в вас души не чают.

— Не любят! — крикнула Мара и опять стукнула ладонью о стол. — Никто не любит, тётя Маша, а боятся... Раисы боятся.

Мать не отрывала глаз от Раисы, словно приворожённая, и думала о чём-то мучительно и трудно.

Дунярка непоседливо вертелась на месте и хлебала чай. Но вдруг крикнула обиженно:

— Ну, пейте чай-то, родненькие, да танцевать будем!

Но и на этот крик не обратили внимания.

Раиса засмеялась ярко, сочно и показала белые зубы.

— Вот это самое и есть, Марочка. Заставит себя бояться — и есть наша сила. — И вздохнула. Лицо её стало жёстким. — А добиться этого очень тяжело. Надо муштроваться, характер свой закалять. И ночи бессонные, и слёзы в три ручья... Заставь себя не плакать, а ненавидеть. Ты говоришь: муж — друг. Нет, Мара, редко у женщины бывает муж-друг.

И она опять стала перебирать струны гитары. Они запели нежно и бархатно.

— А как же, Раисанька, ненавидеть-то?.. — притворно изумилась Манюшка. — Нам жить бы надо кротко, ласково. Надо бы помягче да податливей. Может, ненависть — нож для нашего сердца?

— Ответила бы я тебе, Машенька, да лучше меня ответ тебе даст вот он, наш дорогой Трифон.

И она кивнула головой на входящего Тришу. Её лицо вспыхнуло, а глаза сверкнули радостью. Триша вошёл так же независимо и неестественно, как и она, и ярко улыбнулся. Он повесил чёрную шляпу на гвоздь и приветственно потряс руками. Одет он был в серый костюм, хоть и поношенный, но хорошо проглаженный. Под широким, чисто выбритым подбородком пухлым узлом был завязан чёрный платок. Но лицо было костлявое, серое, болезненное, а глаза горели лихорадочно, взволнованно, словно он только что пережил какое-то потрясение.

— О чём идёт спор? — спросил он, пытливо оглядывая всех горячими глазами. — Впрочем, краем уха слышал. Тётя Маня, как ей полагаётся, проповедует кротость, смирение и собачью покорность. Она и умрёт ласковой кошкой. А нам выпало на долю драться. Вот и дети растут: они должны жить не так, как их отцы и матери. Теперь без драки и по улице не пройдёшь.

Манюшка трусливо съёжилась и стала как будто ещё меньше: Триша, вероятно, давил её своим прямым и непримиримым характером. Он говорил весело, добродушно, но в его глуховатом, вздыхающем голосе чувствовалась насмешливая злость. Он сел на край скамейки, рядом с Раисой, и быстро обменялся с ней горячим взглядом.

— Эх, хорошо выпить чайку, Раиса, из твоих рук. Ты умеешь меня потчевать.

— Я люблю тебя потчевать, Трифон, — каким-то новым, звенящим голосом сказала Раиса. — Ты ведь кровный мой друг навсегда.

Он засмеялся и, принимая от неё стакан чаю, пропел тихонько:

Распашу я, молода-младенька,
Землицы маленько —
Я посею, молода-младенька,
Цветику аленька...

— Гока пашется да сеется — и песня лучше поётся, и легче дышится. — Ся сказал эти загадочные слова с шутливой беззаботностью, но тихо, себе под нос. Раиса строго взглянула на него и улыбнулась вздыхая.

— Да, каждый несёт свой крест...

Триша дружелюбно посмотрел на девиц и пошутил:

— Ну, а ты, Марочка, всё ещё продолжаешь видеть волшебные сны?

— Не твоё дело, — отрезнулась она и обожгла его своими чёрными глазами.

— А мне хочется, девочка, чтобы сны-то твои наяву были. Раиса на этот счёт волшебница.

Мара почему-то озлилась.

— Ах, какой хороший! Мне сны-то, может, дороже всего. А Раиса мне милее такая, какая есть.

Триша опять засмеялся.

— Чего же ты, Люба, не хохочешь? Смотри, какие штуки откалывает Мара-то?

Но Люба не смеялась: должно быть, она боялась Триши. Она густо покраснела и с натугой ответила:

— Мара хорошая. А с тобой я только кадрили умею танцевать, а не разговаривать.

— Ну что ж, потанцуем, Люба.

Манюшка пищала умоляюще:

— Да ты кушай, Тришенька. Вот пирожков возьми, варёница... Ведь ты гостенёчек всем нам дорогой.

Триша шутил:

— Ты, тётя Маня, всех одинаково ласкаешь — и купца, и моего отца. И всем одни и те же песенки поёшь. Жизнь ты свою проживёшь легко, без зазрения совести.

— Я всем, Тришенька, приятная. Никто меня не корит, и для всех у меня доброе слово найдётся.

— Да и я тебя не корю, тётя Маня. Чтобы так жить, как ты, надо уметь. Ты большая искусница. — Он оторвался от чая и выпрямился с озабоченным лицом. — Сейчас у биржи и у рыболовецких контор — страшные толпы. Кажется, никогда ещё в Астрахани не было столько народу. Каждый пароход выбрасывает сотни семей. И всё мужики. Бегут из деревень. Наши рыбники и подрядчики руки потирают: задаром люди нанимаются, и каторга их не страшит. А сколько народу остаётся без работы! Как цыганы, таборами сидят на своих лохмотьях — и на берегу, и на улицах, и на пустырях. Много больных. Боюсь, как бы холеры не было. Здесь она постоянная гостья.

Раиса с тревогой взглянула на мать и строго сказала:

— Вот и Настю муж на ватагу отправляет. Не на радость едет.

Люба вдруг в ужасе устремилась к матери.

— И не езд, и не моги, Настя! Пропадёшь. Я вся дрожу, когда думаю о ватаге.

— Да, радости мало... — раздумчиво сказал Триша: — Уж раз попал

в этот ад, считай, что человек изуродован. Каждый, кто завербован туда, уж себе не принадлежит: раб, жертва...

Мара встряхнулась и покраснела от возмущения.

— Какого чёрта вы панихиду поёте! Не бойся, Настя! Везде хорошо. Я тоже — на плоту. Один чёрт, что на море, что на Балде. Вот они, мои девичьи руки!

И она протянула красные, дублёные руки в язвах.

— А я вот не хочу, чтобы меня изуродовали, как Степаниду. Я уж и так стала волчихой.

Триша пристально поглядел на её руки, и в глазах его вспыхнули жгучие искорки.

— Волчиха-то волчиха.. а вот руками-то жалуешься. Клыки надо показывать, а не раны на руках. Таких рук много, не удивишь. Мне бы ещё своей чахоткой похвалиться! Каждый день двенадцать часов свинцом отравлялся.. с четырнадцати лет.. да побои, да надсада, да голоданье. Кому и что мы можем доказать? Драться надо. Ненавидеть и драться! И не затравленными волками, а скопом — плотной стеной.

Раиса спокойно, даже как-то равнодушно сказала:

— Мы только что об этом говорили, Трифон...

— Говорить — мало, надо делать...

— А я баб бунтую, — зло откликнулась Мара.

— Я как-нибудь к вам в гости на плот приду, — пообещал Триша с той же затаённой усмешкой.

Мать сидела испуганная, растерянная, словно эти люди оглушили её.

Манюшка и тут забеспокоилась, как сердобольная утешительница:

— А ты не убивайся, Настенька. Будешь с людьми ласковой — люди-то пожалеют. А перед лаской и демоны, как воск, тают.

Триша с серьёзным лицом подтвердил:

— Тётя Маня и сатану умеет заставить голубем ворковать. — И обратился к матери, как близкий знакомый, который хорошо знает её характер. — Верно, не пугайся, Настя. В деревне тебе жилось тоже не сладко. Ты только забита немножко, а нрав у тебя живой. На ватаге тебе, может быть, будет свободней: народу много — свой брат, рабочий. И помогут в трудный час, и защитят от обиды. Народ наш хороший. Хоть и злой, и отчаянный — вольница, а за товарища горой стоят. Да и полезно тебе там пожить и поработать: конечно, помучишься, да кой-чему и поучишься. Только приглядывайся да смелее будь. В обиду себя не давай. Я бывал там... и бываю иногда... Очень интересные люди.

Мать вдруг встрепенулась и с неожиданным возбуждением и яркой надеждой в глазах засмеялась.

— А я ничего не боюсь. Хуже-то ведь не будет. И работы я не страшусь. По чужой стороне мы с матушкой-покойницей много походили да потрудились. А на ватаге-то хоть вольной птицей поживу...

Раиса погладила её по плечу и со строгим лицом похвалила:

— Ну, Настенька, я за тебя спокойна. Не пропадёшь. Только не забывай, что сказал Трифон. Он очень славный парень. Я ведь тоже на ватагах бывала, да по моему характеру ужиться там не могла. Перед отъездом я тебе ватажную одежду скрою. Ну, а теперь давайте-ка кадрить станцуем. Дунярка совсем стосковалась.

— Наконец-то! — сердито засмеялась Мара. — Тут хочется побеситься, а Трифон душу за загринок хватает.

Триша потрянул головой и весело засмеялся.

— Дай тебе волю, Марочка, — ты сама в загринок вцепишься.

Дунярка выскочила из-за стола, залетала по комнате и начала бойко

отставлять в углы табуретки, а когда мы встали со скамьи, мигом отодвинула её к задней стенке, к куче мочал.

— Танцевать, танцевать, танцевать!.. — кричала она от радости. — Уж как я люблю танцевать-то — страсть! Нас шестеро, я — в кавалерах, а мамынька — дама...

— Не шестеро, а четверо, — распорядилась Мара. — Как же без музыки? Раиса будет играть на гитаре. Дамы — Люба с Дуняркой, а кавалеры — я с Трифсоном.

Раиса так же, как и раньше, заиграла на гитаре, как будто для себя: она ни на кого не глядела, а сидела, строго задумавшись. Пары стали одна против другой и с озабоченными лицами зыбко, на дыбышках, подбежали друг к другу, а потом опять попятились назад. Потом кавалеры схватили дам и начали вертеться, потом закружились, сцепившись руками, потом менялись местами. Дунярка старалась больше всех и даже подпевала: «Светит месяц над рекою...» Триша изгибался, подтопывал, щёлкал пальцами и повелительно бормотал какие-то непонятные мне слова. Его с охотой слушались. Люба уже не хотела смеяться, а с тревогой в глазах следила за другими, и мне казалось, что она очень боялась ошибиться. Мара стала похожа на Раису: сразу как-то выросла, гордо закинула черноволосую голову назад и смотрела на всех высокомерно.

Манюшка, должно быть, тоже была охотница потанцевать: она всё время улыбалась, непоседливо возилась на месте, делала ручками какие-то узоры и причитала:

— Милые вы мои!.. Красота-то какая!.. Как ласточки порхают... Господи, хорошо-то как!..

А мать сидела, замороженная, с широко открытыми, изумлёнными глазами, и вся светилась. Я никогда не видел, чтобы так красиво танцевали люди: в их упругих и плавных движениях была невиданная мягкость, словно люди плавали по воздуху и кружились попарно, и переплетались руками в хороводе, и приближались, и удалялись, и пролетали мимо друг друга, и взмахивали руками, как крыльями. Колоколом развевались длинные и широкие платья в бесчисленных сборках, а ноги рисовали на полу сложные узоры.

Когда протанцевали несколько фигур, Триша отошёл в сторону и закашлял. Он повернулся к нам спиной и кашлял с одышкой, сплёвывая в платок. Раиса смотрела на него с гневным состраданием, а Мара с виноватой усмешкой. Люба испуганно села к столу и в ужасе шептала:

— Ему не надо танцевать... нельзя ему танцевать... Я знаю... он задохнётся...

И вдруг плаксиво засмеялась.

— Ну-с, конец танцам! — заявила Раиса и встала, положив гитару на кровать.

Но Триша быстро повернулся и с мучительной улыбкой, горячей и задорной, запротестовал:

— Почему же, Раиса? Мы ещё потанцуем. Я отдыхаю с вами, и мне очень радостно. Впрочем, выйдем-ка на минутку: мне надо сказать тебе кое-что... Да и нехорошо здесь — смердит.

Раиса с прежней строгостью объявила:

— Нет, нет, Трифон. Тебе здесь нельзя оставаться. Я провожу тебя. Она подала ему шляпу, накинула на плечи себе пелеринку и взяла его под руку.

— Пройдёмся и поговорим по дороге. А вы, девочки, меня не ждите. Можете оставаться или уходить. Захвати гитару, Марочка. К вечерку придёте ко мне. Спасибо, тётя Маня, за гостеприимство.

И Раиса с Тришей вышли из комнаты. Когда они проходили мимо окон, я видел, как Раиса прижимала к себе руку Триши, и он говорил ей что-то с жёстким лицом, торопливо и настойчиво.

Мара с угрюмой усмешкой запела тихонько:

Сегодня в час разлуки
С тобой, мой дорогой...

— Ну, поехали с орехами, Любава!.. Пойдём на Волгу — на лодке покатаемся.

Манюшка в панике закудаhtала:

— Да что же это... девчатки?.. Да куда же вы?.. Так мы и не потанцуем? А уж как хочется мне повеселиться-то с вами, милуши мои!..

Мара зло засмеялась.

— Двое приходят на свиданье... не то на любовное, не то на секретное. А мы для них покрывашкой служим. Ах, для Раисы я на всё пойду! А Трифон — хитрый, скрытный: не знаешь, о чём он думает.

Люба возмутилась и густо покраснела.

— Триша очень даже хороший человек. Я знаю, о чём он думает... и жизни не жалеет...

Они расцеловались с нами и ушли. В комнатке стало вдруг пусто и скучно.

9

Как-то вечером отец вошёл в комнату в своём толстозадом кучерском кафтане и, раздеваясь, сообщил с довольной усмешкой:

— Ну, Настёнка, подписал контракт на девять месяцев. Шестьдесят рублей в срок. Поедешь в море — на Жилую Косу. Завтра отвезу тебя к подрядчице. Она скажет, когда поплывёте. На большие промысла нанял, на Пустобаевские. Это того купца, который деньги в народ бросал.

— Господи, в море! Даль-то какая! — ужаснулась мать. — Аль поближе-то нельзя?

— На ерека на зиму не нанимают. Я нынче как раз подрядчицу прокатил. Она тоже меня выбирает. Ещё издали орёт: «Фомич, подавай!..» — Он засмеялся, вешая на стену балахон. — Толстуха, как бочка, а дерёт глотку на всю улицу: «Фомич, катай меня по городу во весь дух, чтобы барыни глядели да от зависти лопались! А прикатишь чёртом к конторе, подпишешь контракт на свою бабу». Я и постарался. Вся лошадь в мыле — легко ли такую бочару катать!

Мать слушала его со страхом и с непонятной мне радостью в глазах. Ей, должно быть, жутко было ехать одной куда-то в море, на какую-то Жилую Косу, пугало её и незнакомое слово «контрак», словно отец продал её чёрту и подписал этот таинственный «контрак» своей кровью как в сказке. Но вспышки радости мне были тоже понятны: она вырвалась из деревенской неволи, из-под гнёта дедовой семьи и живёт новой жизнью, встречается с новыми людьми, которые сами устраивают свою судьбу, а сейчас и она будет вольная. Хоть отец и не бьёт её теперь, но случись с ним какая-нибудь поруха — он взбесится и сорвёт на ней свою злость. И я всегда смутно сознавал, что она не любит его и готова уехать на какую угодно каторгу, лишь бы отдохнуть от этого человека.

Она молча слушала его, молча его кормила, а он был доволен. Он, повидимому, думал, что ей трудно расставаться с ним, что она боится ехать одна в неизвесную даль, но ведь его воля — закон, который должен выполняться покорно и безгласно. Он не спрашивал её, хочет

ли она, неопытная, беззаботная, закабалиться на какую-то ватагу, у чёрта на куличках, и не боится ли она пропасть на чужой стороне вместе со мною. Это было не в обычае мужика: испокон веку положено ему распоряжаться жизнью жены и детей. Кто же считается с бабой, и где это видано, чтобы у бабы была своя воля? Зачем же тогда бабе надели волосник? Его, самосильного мужика, дедушка держал в подчинении — не терпел никакого своеволия и не давал слова сказать поперёк. Отец сам страдал от этого унижительного бесправия. Он не вынес этого угнетения и бежал из деревни. Но он ведь мужик — у него свой нор. А жизнь теперь иная: теперь человек волен распоряжаться сам собою и жить так, как он находит для себя выгодным и необходимым. Теперь в деревне тесно и неудобно и на каждом шагу можно споткнуться и запутаться в тенётах, как Ларивон или Юлёнков, или сломать хребет, как Серёга Каляганов. Но отцу и в голову не приходило, что у матери может быть свой ум, свои мечты, свои желанья. Если он и допускал, что есть бабы умные и крепкие характером, как Паруша, то считал их уродливым исключением: значит, муж дурак и тряпка — не сумел взять бабу в руки. Он был убеждён, что умнее и «учётистее» его нет никого в деревне, да и здесь, в городе, едва ли кто-нибудь сравняется с ним по разуму. А мать он считал не выше ребёнка и совсем не слушал, когда она осмеливалась что-нибудь сказать.

— А чалки больше не крути! — приказал он и покосился на угол, где лежала куча мочал и свёрнутые в жгуты чалки. — Мочала передай Марье Васильевне.

— Чай, я сам докручу, — обидчиво напомнил я о себе. — Я в день этот урок сделаю.

Мать благодарно улыбнулась мне, а отец, задумчиво пощипывая бородку, не ответил на мой возглас, а обратился к Манюшке, высоко поднимая брови:

— Я тебя не стесню, Марья Васильевна: только ночевать буду, а обедать — в харчевне.

Манюшка поджала губы и жалобно запела:

— Я очень даже радозна к людям, Васенька. А Настенька такая душенька, такая услужливая, что на ладошке носить её хочется. Только ведь я женщина, Васенька, а ты мужчина. Что люди-то говорить будут об нас с тобой? Я вдова и, как голубка, чистая.

Отец закатил глаза под лоб и усмехнулся.

— Чай, голубка-то высоко летает да крылышками хлопает, Марья Васильевна. Сколь в неё грязью ни бросай — не достанешь. А она знай себе воркует...

— У тебя, Вася, и на извет есть ответ. Ежели, Вася, слава какая будет, уж пожалей — защити меня.

Отец таял от её ласковых слов.

— Ведь про тебя, Марья Васильевна, и так слава идёт по городу: перед тобой все двери открыты. Все купчихи тебя на руках носят. Уж ежели насчёт защиты — не у меня, а у тебя её просить надо.

Рано утром мать уехала с отцом и не возвращалась целый день. Манюшка тоже исчезла куда-то, принарядившись по-праздничному. Я крутил чалки до вечера и был очень доволен, что выполнил весь урок. Мне хотелось встретить радостное удивление в глазах матери. Дунярка крутила свои чалки, не отставая от меня, и посматривала в мою сторону с насмешливой злостью. Я не ел — работал без перерыва: ещё вечером я решил сам перевить все чалки. Мочалки жгутиками лежали в углу и в первые часы как будто не убывали. Я повесил два мотка на гвоздь и без перерыва вил чалки одну за другой. К обеду пучки уба-

вились наполовину, и мне стало почему-то работать легче. Я был рад, что мать не приходила и, охваченный бурным воодушевлением, без устали крутил золотые верёвочки несколькими взмахами рук. Дунярка сварливо ворчала что-то, пела песенки, но я не слушал её. Она не выдержала и выбежала из комнаты. А когда я закончил работу и связывал чалки в пучки, она ревниво жаловалась:

— Ну, и окаянный ты, Федяшка! Хотела я тебя перегнать, да замаялась. Ты лучше и притче меня стал крутить. Гляди-ка, и свой и материн урок сделал! Хотела я с тобой днём по Астрахани погулять, да ты меня разозлил: дай, думаю, его до надсады доведу... А ты, как на крыльях, летел. Ну-ка, ладони-то, чай, в мозолях.

Но мозолей у меня не было: я уже научился крутить легко и удобно, да и руки у меня были грубее, чем у Дунярки — деревенские руки.

Она смешно присела, подняла юбочку пальцами и тонким голоском жеманно пропела:

— Чихирь в уста вашей милости!..

И сейчас же ответила другим, вкрадчивым голосом, тоже приседая:

— Красота вашей чести!

Я смеялся: очень у ней выходило всё легко и занятно, словно не играла она, а делала так, как надо. Лицо у неё было серьёзно, руками взмахивала красиво, а в голосе было что-то «благородное», как у наших барчат.

Завизжала калитка, и впорхнула Манюшка во всё чёрном, как монашка. Даже лицо своё она сделала благочестивым и сладким. Должно быть, она была у кого-то из настоятелей или у «часовенных» попов: к купчихам она ходила в дарёных обносках.

— Мы, мамынька, с Федяшкой гулять сейчас пойдём — на пристани, в сад.

— Душенька, а как же с шитьём-то? Завтра я посулила отнести лестовки-то.

— Я и так целый день работала, — откликнулась Дунярка. — Сколь мозолей натрудила! Шей сама, ежели тебе надо, а я отдыхать хочу. Я на твоих попов не подряжалась работать.

— Душка, Душка! — в ужасе захныкала Манюшка. — Это матери-то! Да у меня и иголка из рук выпадет..

— Скажи Настеньке, чтобы не беспокоилась, — с прежней независимостью говорила Дунярка. — Я гривенник взяла: может, куплю чего. Музыка пойдём слушать, пароходы поглядим. Я уж и так из-за чалок да шитья света божьего не вижу.

Этот бунт Дунярки мне понравился: она не слепо подчиняется своей матери, а умеет пользоваться свободой. Сейчас она даже сильнее Манюшки — не потому, что озорует и хочет от рук отбиться, а потому, что работает не меньше и не хуже матери, что знает себе цену и имеет право распоряжаться своим отдыхом, как ей угодно.

Дунярка с тем же решительным и строгим лицом и сдвинутыми бровями махнула мне рукой и повелительно крикнула:

— Пошли, Федяшка! Чего стоишь?

Я подчинился ей с удовольствием: в эту минуту она показалась мне сильной и самостоятельной девчонкой, которая знает город и нигде не потеряется. Она была налегке, в одном стареньком платьишке, голенастая, а я — в деревенской рубашке и босой.

На крыльцо вышла скорбно-угрюмая Офимья, с жёлтым лицом и ожесточёнными глазами.

— За что наказуешь, господи? За какие грехи казнишь?.. Хоть бы знаменье какое явил, господи!.. А ты всё бродишь, Машка, подолом

трясёшь. Хоть бы сестру-то пожалела. Зачтёт, зачтёт это тебе богородица! Иди, беспутная, помолимся, хоть по лестовке отстоим. Да пойдём с тобой Павла-то мушиным настоем напоим: хоть нутро-то его продерёт.

Мы с Дуняркой выскользнули из калитки и пошли не по тем улицам, по которым ходил я с матерью, а свернули направо, в переулок, и очутились на задворках, где широко и далеко расстилался песчаный безлюдный пустырь, заросший колючками и дурманом. Вдали густо зеленели сады и виноградники, а над садами взлетала белая колокольня. Там глухо и печально гудел большой колокол. К церкви, скрытой в садах, прыгал на костылях вдоль виноградников одноногий человек.

— Это — кладбище, — пояснила Дунярка. — Туда только одни нищие да старушонки ходят. А поп там старенький, да ещё хромой и кривой. А дьячок пьяница и с нищих по пятаку собирает.

Она и этот забытый угол хорошо знала.

— Я с этим дьячком полаялась. Очень я сады да зелень уважаю: по могилкам люблю прогуливаться. У паперти только одни нищенки да уроды толкаются и ругаются бесперечь. А мне страсть интересно, когда они друг дружку охалют. Смехота! Подходит ко мне дьячок-то — этакий козёл пьяный — и мычит: давай пятак, нищенка, на ширмака у меня не постоишь! А я ему кукиш в нос. Ты, говорю, сам хуже нищего, медяки с убогих собираешь. Он — за мной, а я виляю меж нищими. Смехота! Наскочил он на одну старушонку, и оба растянулись. Власть я тогда нахохоталась.

Шла она по зарослям колючек и дурмана, по волнистому песку уверенно: должно быть, привыкла шататься по этим местам, как по своему двору. Она стала ещё живее, наслаждаясь свободой.

— А ежели здесь озорники нападут? — забеспокоился я, вспоминая, как опасно было мне ходить одному по деревне.

Но она беспечно отмахнулась и затанцевала по песку.

— Аль боишься? — насмешливо упрекнула она меня и самодовольно подмигнула. — Меня тут никто не тронет: свои своих не обижают. Однаво хотели на меня наброситься, да я им оплеух надавала. Только ведь все мальчишки-то — по людям. А в праздники они дома отсыпаются, аль на Кутуме пропадают, на Балде тоже — чилим собирают. Мы пойдём с тобой к кремлю, а потом в городской сад: там люди нарядные и музыка. Душа моя — нарядные люди! Там — танцы. Сразу человек сто танцуют. А у музыкантов трубы золотые, как жар горят.

Далеко по пепельному песку тянулись один за другим грязно-рыжие верблюды, задирая кверху маленькие головы на индюшиных шеях. Шагали они тяжело, медленно, грузно. Этих верблюдов я встречал и на набережных Кутума, важных, но покорных, и они всегда казались мне смешными своею чопорностью и задумчивой невозмутимостью.

Задворками и колючими переулками мы неожиданно вышли на грязную улицу. Здесь были только длинные лабазы и каменные стены. Меня оглушил грохот тяжёлых телег по булыжной мостовой.

Они ехали навстречу друг другу — и пустые, и нагружённые ящиками, рогожными тюками, бочками, пузатыми плетушками и серебрястыми ворохами сухой воблы. Широкие двери лабазов были открыты, и около них толпились люди. Грузчики носили на спинах по несколько ящиков и рогожных кулей и в лабазы, и из лабазов. Всюду орал дробящий, и по-хозяйски покрикивали юркие распорядители в пиджаках, в шляпах, с бумажками в руках. Дунярка чувствовала себя уверенно и свободно: она, должно быть, часто бывала в этих местах и знала здесь каждую улицу и переулок. Я с оторопью озирался по сторонам,

жался к стене от напиравших на тротуар лошадей и от ломовых извозчиков в длинных холщёвых рубахах без пояса. Дунярка, вероятно, нарочно повела меня по этим смрадным теснинам, загромождённым возами, лошадьми и татарами, чтобы полюбоваться, как я буду ошарашен этой толчеей. И я видел, что она была довольна. Казалось, что из этого грохота и гвалта невозможно было выбраться.

— Ну и завела тоже! Возов я, что ли, не видал? — запротестовал я и невольно схватил её за руку. А ей было приятно, что я у неё ищу защиты: она задорно поглядывала на меня и посмеивалась.

— Аль боишься? Здесь всегда так, с утра до ночи. Татары только кричат да лают, а хорошие люди и рзбятишек не обижают.

Дунярка небоязливо шла по узенькому тротуарчику и, не выпуская моей руки, ловко пробиралась через толпу грузчиков и ломовиков у открытых ворот лабазов, чувствуя себя свободно и уверенно, словно на своей улице.

— Эх, ты... а ещё парень! — насмешничала она надо мною. — Это тебе — не деревня: тут гляди да гляди..

Я опомнился и забунтовал:

— Я, чай, не слепой. Аль лошади-то мне в диковинку? Только татары-то у нас кошек дают да шкуру с дохлых лошадей сдирают.

Дунярка рассердилась:

— Ваши-то татары — бродяги, а эти работают. Лучше наших татар нет работников. А марушки — бабы ихние — приветливые: угощать любят. Мы с мамынькой к ним на Ямгурчев в гости ходим.

На этой каменной, тесной улице стоял тяжёлый запах навоза, конского пота, шерсти, гнилых фруктов, вяленой рыбы и селёдки. Казалось, что и грязные стены пропитались этим смрадом. Небо над нами было мутное, ржавое: должно быть, над городом плавала пыль, красная от заходящего солнца. Мне было душно в этом каменном городском ущелье, в лошадиной и людской толкучке, и чудилось, что я попал в страшную ловушку, из которой выбраться трудно. Здесь всё было для меня ново, неприятно и враждебно. Что ожидает нас в будущем? В какие трущобы попадём мы с матерью на неизвестных морских берегах?

Дунярка дёрнула меня за руку и бойко свернула за угол кирпичного лабаза. И сразу передо мной распахнулся необъятный простор Волги. Я даже остановился, ослеплённый оранжевым пламенем, полыхающим на безбрежном разливе реки. Другого берега не было видно, только очень далеко темнели в тумане крыши каких-то сараев и деревянных домиков. А по огненному простору в разных местах стояли огромные чёрные баржи с домиками на палубах, бегали маленькие пароходики. И всюду летали чайки, падали в воду и опять взвивались вверх. Здесь, у берега, у грязных пристаней стояли двухэтажные нарядные пароходы и выбрасывали из широких, скошенных назад труб ленивый дым. Дунярка стояла, приплясывая, и нетерпеливо махала мне рукой.

— Ты чего это разомлел-то? Слово тебя побанили. А я люблю по городу ходить. Мне очень даже нравится, где люди суетятся да где артелями работают. Сердце радуется, словно на игрище.

Но тяжёлая работа грузчиков и ломовиков совсем не была похожа на игрище: они таскали на спине огромные тюки, опоясанные железными полосами, пузатые огромные кули и, сгибаясь под их тяжестью, с налитыми кровью лицами и выпученными глазами, шагали неустойчиво, словно по узкой и зыбкой доске. Правда, те, которые возвращались за новым грузом, обливаясь потом и тяжело дыша, переругивались и шутили с товарищами, но веселья у них я не замечал. Одно меня

захватило — этот артельный дух: каждый из них как будто старался перегнать друг друга, показать, что он сильнее и ловче других, что он не боится любой тяжести и знает, как с ней обращаться, чтобы не надсадить себя.

Так мы долго стояли у причала одной пристани. К ней прижимался розовый пароход. Он словно отдыхал от многодневного пути. По длинным пологим сходам, широким, как улица, вереницей сходили крючники с такими большими ящиками, что под их тяжестью они казались карликами. Ящики покачивались на их спинах и медленно плыли вниз, на булыжную площадь. Навстречу шагали вверх, перегоняя друг друга, «порожние» грузчики с заспинниками. Волосы и бороды у них были растрёпаны, дышали они запалённо и перекликались друг с другом. Один из них, лохматый и бородатый, шёл неустойчиво, как пьяный, встряхивал головой, сбивая пот с лица и бороды, а товарищи его хохотали и хлопали его по спине. Один грузчик, молодой, весь коричневый от загара, с нахальными глазами, орал во всё горло:

— Ну, мужик! Развезло, как мёртвого... Это, брат, тебе не поле пахать, не рожь молотить... Ребята! Штоф водки на стол: деревня город угощает. Помаялся, а в трактире в науку возьмём: наука даром не даётся. Он пузом берёт, а кости — вразброд.

Мужик не обращал на него внимания и шёл тяжело, как больной. Это был Маркел, с которым мы ехали на пароходе. Должно быть, он только что вошёл в артель крючников, но без привычки, не зная, как носить тяжести, ослабел и упал духом. Это забавляло грузчиков, и они трунили над ним с добродушной жестокостью.

Утрюмый бородач, с выпученными белками, прохрипел что-то молодому и взял под руку Маркела. Дунярка потянула меня за рубашку.

— Этот мужик — наш знакомый, — сказал я, отшибая её руку. — Мы вместе с ним из Саратова ехали. У него ребёнок умер на пароходе.

— Аль мало таких людей-то? — фыркнула она. — На всех не наглядисься. Чего тебе от него надо? Шагай, а то одна уйду. Чего ты без меня делать-то будешь?

Её угроза укротила меня, и я неохотно поплёлся на площадь, оглядываясь, не идёт ли Маркел с грузом на спине.

— Ох, и людей тут надорвалось!.. — поучала она меня. — Без привычки начнут горячиться — ну и сломают хребет-то. Ведь без сноровки и курицу не унесёшь. А эти, другие-то, богатыри, что ли? С грыжами ходят, а ноги, как брёвна. Нет хуже этой работы: не доживя веку, умирают.

Она всё знала и всё видела. Я удивлялся её опытности, самостоятельности и смелости: она ничего не боится и не опасается, что её могут обидеть какие-нибудь озорники.

Через каменные переулки, мимо вонючих лабазов и трактиров мы вышли на толкучий базар перед старинной стеной кремля. Собор за стеною взлетал недостижимо высоко, и золотые его главки сверкали в закатных лучах невидимого солнца, как свечи. Я задираю голову, ловил в мерцающей вышине эти главки, и у меня начинала кружиться голова. Чудилось: сказочно высокая башня падает на меня гнетуще и плавно.

На базаре лениво толкался народ. Тут были и рабочие, и оборванцы, и мужики с бабами деревенского вида. Юрко бегали парнишки, пыльные, с обветренными лицами. Никто ничего не покупал, но все озабоченно высматривали всякую дребедень, рассыпанную на парусине: ржавые замки, дверные ручки, гвозди, чайную посуду, старенькие самоваришки, ржавые топоришки и молотки, кучи медных крестиков, пучки разноцветных ленточек, верёвки, иконки, изношенные пиджаки и штаны, кучи кар-

тузов, сапог и штиблет. В толкучке продавали одежду, рубахи, ремни и кошёлки из чакана. И люди щупали эти обноски, приценивались, перебирали рухлядь на песке, торговались, спорили и переругивались. Стоял мутный гомон и шорох. И мне казалось странным, зачем бездельно и бесцельно толчётся здесь народ, прислушивается, приглядывается ко всему и с любопытством сбивается в плотные кучи.

Привлекла меня серебряная гайка, которая лежала у моих ног, поодаль от кучи гвоздей, шурупов, винтов и всякой ржавой мелочи. Старый татарин с жиденькой седой бородёнкой, в тубетейке, сидел, поджав ноги калачиком, и сонно качался вперёд и назад, сипло напевая песенку. Около меня толкался народ, и песок кипел от множества сапог, опорков и лаптей. Дунярка стояла рядом со мною, словно охраняла меня от этой душевной толпы, которая шевелилась, кишела, но как будто оставалась на месте. И это ленивое, бесцельное топтанье расслабляло меня. Сверкающая гайка привораживала, словно играла со мною. Я бессознательно наклонился, взял её и зажал в руке. Татарин попрежнему качался и пел свою песенку с закрытыми глазами, а мне совсем не думалось, что меня могли схватить за шиворот и избить, как воришку. Дунярка вытащила меня из толпы и на песчаном бугре перед облезлой стеной кремля лукаво улыбнулась.

— А ну-ка покажи, Феденька, чего это ты в кулаке-то зажал..

Я разжал пальцы, и шестигранная гайка засверкала серебром.

— Ведь вот ты какой ловкий-то! Хорошо, что татарин не хватился, а то бы нас с тобой пошлёпали. И как это ты решился?

Она с жадными глазами выхватила у меня гайку и, любуясь ею, стала перекачивать с ладони на ладонь, словно она обжигала ей руки.

— Красивая какая, словно камень драгоценный!

А я стоял перед нею, замирая от ужаса: её обличающая улыбка и ехидно-ласковый голос ошарашили меня. Только в этот момент я почувствовал, что я — вор. Я никогда не воровал, никогда ничего не брал тайком: в нашей семье, строгой и благочестивой, воровство и всякая утайка считались тяжким грехом.

А я вот стащил у татарина-старьёвщика гайку — взял её потому, что она приманчиво сверкала своими отполированными гранями. Я не хотел украсть, а схватил её бессознательно, как игрушку, не таясь, словно малый ребёнок.

Мимо лениво проходили по лиловым песчаным буграм мужики и бабы, оборванные и беззаботные. Прошла ватага парнишек, но нас они даже и не заметили. На колокольне прозвонил маленький колокол, и я почему-то вспомнил, что он звонил уже не один раз. Чёрные окна колокольни смотрели на меня мрачно и пристально, как будто спрашивали грозно: «ты зачем это сделал?» Мне трудно будет вынести глаза матери, полные печального упрёка...

Дунярка перекачивала гайку с руки на руку и не отрывала от неё глаз.

— Ты чего с ней делать-то будешь? — спросила она завистливо. — На что она тебе?

Я чувствовал, как лицо моё плаксиво улыбалось.

— Пойдём назад — я брошу её татарину. На кой она мне?

Дунярка испуганно шагнула от меня и спрятала руки за спиной. Глаза её стали колючими.

— Да ты с ума спятил, Федяшка? Разве это можно? Ведь он с тебя шкуру сдерёт. И думать не думай. Крикнет татарин-то: «вор, вор! держи его!» От тебя и косточек не останется. А она, гайка-то, и копейки не стоит. Татарину и в ум не придёт, что гайка у него пропала. — И с умо-

ляющей ласковостью пропищала: — Ты её мне подари, Феденька: я её на свой столик поставлю. Это солоничка будет.

С освобождающей радостью я вздохнул:

— На кой она мне? Возьми! Только спрячь её, чтобы я совсем её не видал.

— Не дорог подарок — дорога любовь!.. — крикнула Дунярка и неожиданно поцеловала меня. — Ведь и я люблю тебя, Феденька, и буду любить веки вечные. Уедешь ты на ватагу, а я тосковать буду, да только об тебе и думать.

А в сердце у меня была тоска, и мне чудилось, что Дунярка издевается надо мною и дразнит меня: вор! вор!.. Словно нарочно, она поглядывает на гайку и перекачивает её на ладошке. И люди, которые идут по песчаному взгорью, подозрительно оглядывают меня и угрюмо бормочут. Два мужика и баба, пьяненькие, одетые в лохмотья, с безнадежной беззаботностью кричали, не слушая друг друга, обнимались, целовались и растроганно стонали:

— Ежели пропадать, Тимоша... ежели пропадать — так всем вместе пропадать...

— Не хочу пропадать, кум! И воры живут... Везде воры... Хоть неводом их лови...

Я похолодел, у меня зазвенело в голове. От страха я судорожно схватил за руку Дунярку.

— Пойдём скорее, а то я один убегу...

Огромный удар большого колокола в соборе встряхнул землю и будто подбросил меня в воздух. Не помня себя, я побежал по пустырю. Далеко, где-то впереди, над крышами домов глухо простонал другой огромный колокол. В красном огне заката и небо и воздух душно дымилась пылью. Где-то очень далеко загудел пароход. И опять потряс воздух удар соборного колокола. Дунярка вцепилась мне в плечо и крикнула:

— Ну, куда ты сорвался? Взбесился, что ли? Погоди-ка!

Она выскочила вперёд и загродила мне дорогу: острые, знающие глаза её смеялись.

— Эка невидаль какая — гайку у татарина стащил! Да она, может, сама ему надоела. Я что хошь могу украсть. У лавочника я и конфетки, и айву краду. Я одна связку кренделей стащила.

— Я не вор, — задыхаясь, бунтовал я, отталкивая её. — И не думал воровать... А ты и у нас чалки крада.

Она смеялась, потешаясь надо мною, и пристально колола меня озорными глазами, словно впервые увидела во мне что-то потешное.

— Да ты куда приехал-то? Деревенщина! Тут все воруют. Хозяин наш, Жеребок, — из воров вор. Чай, все знают, как он артельщика обобрал. А работников своих как обдирает! Видал, как Евсей его на всю улицу охалил? Он и отца твоего до ниточки обдерёт. А купцы-то... только кровь и выжимают. Поедете с матерью на ватагу — голы-босы вернётесь. Степаниду вон извели: всю жизнь работала, а хуже нищенки. Да ежели бы мы с мамынькой не клянчили да не воровали, мы давно бы околели.

Звон колоколов, густой, необъятный, волнами плыл по городу, и я всем телом ощущал струнную их дрожь. Сиреневые облачка низко над Волгой ослепительно горели снизу оранжевым огнём, а над ними небо было синее, мягкое и тёплое. Верхушки высокой башни собора и могучей колокольни раскалились докрасна. Видно было, как в сводчатой звоннице под тяжёлым растробом колокола медленно раскачивалась чёрная дубина языка.

Дунярка порывисто отвернулась от меня и, щеголяя, гибко пошла по песчаной площади к улице, кудрявой от зелени. Домов за деревьями не было видно.

— В сад пойдём гулять! — крикнула Дунярка. — Иди рядом со мной да улыбайся...

Но на душе у меня было тягостно, и голос Дунярки казался противным. А она как нарочно подбрасывала сверкающую гайку и ловила её то одной, то другой рукой. Косичка её с красной тряпочкой елозила по шее, как живая. Мне уже не хотелось идти в сад: как-то вдруг я почувствовал, что я очень устал. Мне было грустно, и тянуло домой. Сейчас мать ждёт меня и беспокоится, как бы со мной чего не случилось в городе: ведь я ушёл один впервые со двора, а Дунярка, хоть и разбитная девчонка, от озорников первая убежит.

10

В саду по аллеям бродили говорливые ватаги парней и девчат. Медленно прохаживались барыни с собачками на цепочках, гуляли или сидели на скамьях парочки. На взбитых волосах у барынь крошечные шляпки торчали у самого лба. Парни тоже были в разноцветных шляпах и одеты в пиджаки и в какие-то кургузые курточки. Шагали и мужики с бабами и детишками за руку. На площадке, с большой клумбой цветов посередине, толпилась молодёжь около крикливых девчат, которые продавали цветы. За клумбой стояла высокая клетка, и там на стульях сняли золотом большие и маленькие трубы. Дунярка нырнула в тесную толчею около цветочницы, худенькой, большеглазой девушки, которая металась то к одному, то к другому покупателю и щебетала, сверкая зубами. Парочки отходили с розочками или гвездичками и, улыбаясь, нюхали их. Дунярка потолкалась немножко в говорливой толпе и выскользнула с цветком в руке. Хаотливо усмехаясь, она небоязливо помахивала им перед своим носом.

— Вот и я с розочкой, — зачванилась она и, подражая девчатам, зашагала как-то вертляво и гибко. — Страсть люблю с цветами прогуливаться! Ах, какой аромат!

Я угрюмо спросил её:

— Это ты купила цветков-то?

— Ах, Федяшка... Какой ты христосик! С тобой и гулять-то стыдно. Ты сам бы мне цветочек достал, как кавалер. А ты виньгаешь. Не ругайся со мной: в саду это неприлично.

И, обмахиваясь розочкой, гордо дёрнула головой и отвернулась. А я приставал к ней:

— Значит, украли? Говори: украли?

— Отстань от меня! — озлилась она, и лицо её стало острым. — Я гулять с тобой не желаю. Ты верблюды. Я богаче тебя: я с деньгами.

Она юркнула в густую толпу, которая сгрудилась около карусели. Поблёскивая, переливаясь искрами, карусель крутилась под музыку шарманки. Девчата, парни и мальчишки сидели на раскрашенных конях и с одурелыми улыбками проносились перед толпою. Я бросился за Дуняркой, но она мгновенно исчезла в человеческой тесноте.

Проскальзывая между туго сбитыми людьми, я не замечал ни толчков, ни пинков. Я пробрался к самой карусели и на минуту застыл, ослеплённый блеском и переливами искр на летающих тряпках и захваченный быстрым круговоротом коней с седоками. Шарманка курлыкала глухо и устало, и музыка была совсем не весёлой.

Дунярка нигде не было, и мне стало страшно: она бросила меня,

я один в этих незнакомых местах, среди чужих людей. Я даже не знаю, как называется та часть города, где мы живём.

Стало смеркаться, небо на западе заметно помутнело и стало похоже на далёкое зарево. Покрикивали пароходы на Волге — и близко и далеко. Гул колоколов замолк, и я слышал только неясный говор гуляющих, смех девчат и шорох шагов. Не то от страха перед неведомыми дебрями города, не то от бессознательного стремления к самозащите, я торопливо выбрался из толпы и, озираясь, с крепко сжатыми кулаками, побежал по аллее назад к выходу. Дунярки и здесь не было. Я оглянулся, и мне показалось, что она пробежала через аллею. Я остановился и поискал её глазами, но она не появлялась, и я решил, что она мне только померещилась. Я ненавидел её в этот миг, а если бы она подбежала ко мне, я надавал бы ей тумаков. Я знал, что наша улица находится в восточной стороне города, на самой окраине, но где она, эта окраина, — я не мог указать: город весь уходил от Волги на восток. В саду грянула музыка, и фиолетовый воздух, и дома в зелени, и люди, которые шли парами и группами к воротам сада, — всё как будто вздрогнуло и встряхнулось. Пролетела через площадь густая стая галок, шарахнулась к собору и растаяла. Я впервые услышал такую музыку, металлически звенящую, как будто заиграл весь город, с глухими вздохами и буханьем, и почувствовал себя малюсеньким, как муравей. Казалось, что она подбросила меня в воздух, меня подхватила могучий вихрь и понёс куда-то ввысь, вдаль, и вдруг я опять почувствовал, что стою на ногах и меня толкают упругие волны, мягко и гулко, словно подо мною колыхалась земля. Сколько времени я стоял, потрясённый музыкой, — я не знал: я забыл, что нахожусь один в незнакомом месте, среди чужих людей, что мне надо бежать — спастись из этого нагромождения домов и лабиринта улиц. Очнулся я в тот момент, когда на меня напрыгнула шайка босоногих чумазных парнишек и с насмешливым любопытством окружила меня со всех сторон. Кто-то ущипнул мне руку, кто-то дёрнул за волосы, кто-то ткнул кулаком в бок. Я замер от ужаса.

— Ой, гляди, какой лохматый барбосик! — засмеялся один, а другой деловито предложил:

— Давай, ребята, окрестим его в нашу веру.

Мальчишка без передних верхних зубов схватил меня за рубашку на груди. Я отшиб его руку и надрывно крикнул:

— Не лезь, шарлот, я тебя не трогаю!

— Бей его, ребята! — весело закричали другие, и кто-то оглушил меня кулаком по голове.

Но вдруг все парнишки шарахнулись в стороны, а худощавый парень в шляпе смеялся глазами и махал на них палкой.

— Ах вы, негодяи! Зачем вы на него напали? Ишь, герои какие! Оравой на одного шиша...

Он подошёл ко мне и взял меня за плечо.

— Почему ты один? Заблудился, что ли?

— Я с девчонкой пришёл, а она меня здесь бросила.

Парень возмущённо покачал головой, но глаза его смеялись.

— Ведь вот какой неверный народ эти девчонки! Сначала заманила, а потом бросила. Где ты живёшь-то?

— И знать не знаю.

— Вот тебе раз! Ну хоть укажи рукой, откуда пришёл-то.

Я показал прямо перед собою и вдруг вспомнил о кладбище и о Балде.

— Ага! — обрадовался парень. — Это уже лучше. Но ведь кладбище и Балда не там, куда ты указывал, а левее. От кладбища до Балды далеко.

Он взял меня за руку и повёл по площади, потом остановился и, наклонившись к моему плечу, показал палочкой налево.

— Вот иди сначала по этой улице, а потом у церкви свернёшь направо. Там спросишь, где к кладбищу пройти. Валяй! Не бойсья? Не робей, держись смелее! Из деревни, что ли, приехал?

— Саратовские мы...

— Ага, земляк мой, значит, — засмеялся парень. — Ну, ежели ты саратовский, значит не пропадёшь. Где это саратовские пропадали? Сколько тебе лет-то?

— Десять.

— Ого, самостоятельный парень. Держи кулаки наготове — пробьёшься куда хочешь. Главное, не робей. А встретишь вот такую ватагу, как эта шантрапа, прямо держи голову и требуй: вы здесь дома, а я приезжий. Помогайте мне хоромы мои найти! Храбро валяй, кудряш!

Он потрепал меня по плечу и опять засмеялся.

— Ну, прощайте! — благодарно сказал я, ободрённый его участием.

— Прощай, прощай, саратовский!

Я побежал по дороге, оглядываясь на моего неожиданного покровителя. Он смотрел мне вслед, взмахивал палочкой и ободряюще кивал головой.

По улице шли навстречу парни с девушками, скороговоркой болтали и смеялись. С лестницей на плече лениво прошагал старик-фонарщик, попались одна за другой две женщины с мокрыми вёдрами на коромысле. Смеркалось, воздух был синий и прозрачный. На улице было тихо и сонно. Кое-где у калиток сидели на скамейках женщины с усталыми лицами и задумчиво разговаривали. Они провожали меня равнодушными глазами, но, кажется, не видели меня. В трёхконных деревянных домиках вспыхивали огоньки. На Волге время от времени неохотно гудели пароходы. На углу стояла низкая колокольня со множеством серых колоколов в широких проёмах. Эти чёрные проёмы похожи были на широко разинутые рты с оскаленными большими и маленькими зубами. На углу, у каменного столба ограды я остановился и оглянулся назад, и мне опять почудилось, что недалеко промелькнула Дунярка. Я хотел было побежать ей навстречу, но она исчезла. Завернув за угол, я очутился в пустынной улице, которая уходила куда-то в бесконечную вечернюю мглу. В разных местах сонно тьякали собаки. Мне стало жутко в этой пустой, как будто нежилой улице, и я больно почувствовал себя одиноким и покинутым. Шёл я долго, не встречая ни одного человека, и всё время ожидал, что из подворотни выскочат злые псы и загрызут меня, и никто не выйдет, чтобы спасти меня от собак. Но псы, вероятно, тоже спали, а те, которые тьякали, не желали подниматься и тратить время на преследование одинокого парнишки.

Я торопился, иногда бежал, спотыкаясь о гнилые обломки досок на тротуаре: улица была глухая, заросшая колючками. На углу одного переулка играли вперегонки несколько мальчишек и девчонок, мои ровесники. Они звонко кричали и смеялись. На меня они и внимания не обратили. Парнишки были в рубашках без пояса, девчонки — в одних балахончиках. Из раскрытого чёрного окна пронзительно кричала женщина:

— Агашка, иди домой, непутёвая! Сейчас же, а то отец ремнём пригонит.

— Сейча-ас! — беззаботно откликнулась одна из девчонок и продолжала бегать.

На меня налетела, задыхаясь, патлатая девчонка, а её с разбегу облапил парнишка. Они хохотали и дышали запалённо. Вдруг они оба устали на меня и враждебно шагнули назад.

— Ты откуда пришёл? Чего здесь тебе надо?

Я дружелюбно ухмыльнулся и робко спросил:

— Мне к кладбищу надо... живу там...

— Это на кладбище-то, — в ужасе взвизгнула девочка, а парнишка прохрипел, как простуженный:

— На кладбище только мертвецы живут. Сгинь-пропади, нечистая сила!

К нам подбежали и другие мальчишки и девчонки. Одни сгрудились поодаль и недоброжелательно оглядывали меня, как неожиданного чужака, другие с озорным любопытством скалили зубы.

Вихрастый парнишка, засунув руки в карманы штанов, враждебно толкнул меня плечом.

— Ты откуда взялся? Кто тебя просил ходить по нашей улице?

Первый парнишка срывающимся голосом прохрипел:

— Он с кладбища... к мертвецам идёт... может, он сам мертвец...

Я миролюбиво улыбался.

— Потерялся я. Мне домой надо, а дороги не знаю.

— Не знаешь дороги — так не ходи. Прочитать тебя надо. Давайте, ребята, дадим ему взбучку.

Он угрожающе сдвинул брови, вырвал руки из карманов, поплевал в ладони и сжал кулаки. Глазастая девочка с косичкой хвостиком, в короткой юбчонке, оттолкнула локтем косоного, шлёпнула другого парнишку и по-хозяйски крикнула:

— Не лезьте, дураки! Видите, мальчишка заплутался. Он вас просит выручить его из беды, а вы, как собаки, на него набросились.

Но косой подскочил ко мне и ткнул меня кулаком в грудь. Я схватил его руку и его же кулаком ударил его по лицу.

— Не трогай меня, — разозлился я. — Я на кулачках умею драться: зашибу.

Косой с растерянным изумлением ухмыльнулся, вытер рукавом нос и посмотрел на рубаху, нет ли на ней крови.

Девчонка подхватила меня под руку и, расталкивая ребятшек, повела дальше по дощатому тротуару. Косой хрипло погрозил сзади:

— Ну, помни, бродяга: появишься здесь — живым не уйдёшь.

А девчонка обернулась и сердито откликнулась:

— Тебе самому сопатку расквасили. Грозить-то и дурак умеет, а ты сумей человеку в беде помочь.

Должно быть, девочка была самостоятельная и опытная — такая же, как Дунярка, и в голосе чувствовалась умная воля, уверенность в себе и знание жизни. Конечно, у себя дома она — тоже сила и не хуже матери справляется с хозяйством. Из открытого окна опять крикнул нетерпеливый голос женщины:

— Агашка, тебе говорят — иди домой! Сколько раз тебя звать надо?

— Сейчас! Иду! — открикнулась моя провожатая и засмеялась. — Ужинать мать зовёт. Она без меня и на стол не соберёт. Больная. А папаша меня и пальцем не трогает. Он на мамку рукой махнул: на меня только и надеется. Ну, так вот, сокол: иди по этой улице до конца, упрётся она в монастырь, ты у монастыря-то сверни налево. А там иди — и выйдешь на пустырь. За пустырём и будет кладбище. — Она

протянула мне руку и опять засмеялась. — Прощай! А здорово ты нашему косому нос утёр.

Я пожал ей руку и растроганно пробормотал:

— Спасёт тебя христос... Я сроду тебя не забуду...

— Да ты чего? — захохотала она. — Монах ты, что ли? Христа-то зачем впутал? У меня папаша говорит, что христом-то обманщики да пройдохи промышляют. Надо говорить: спасибо!

— Ну, спасибо. Только у нас в деревне так не говорят: спасибо — к бесу.

Поражённая, она шлёпнула ладошками и захохотала.

— Потешный ты какой! Тебя и слушать-то интересно. Ежели у нас здесь будешь, спроси Агашу Щукину, меня все здесь знают. В гости приходи.

Я уже знал дорогу к дому: мы не раз ходили с матерью по улице, где тянулась длинная стена монастыря. Синяя колокольня была видна из нашей улицы.

Теперь я шёл уже уверенно и бойко и чувствовал себя вольготно, словно выбрался из густого леса после долгого блуждания. Казалось, что за это время я стал старше, сильнее и смелее. Теперь я уже не пропаду, в городе, и он уже не страшен своей громадой, запутанными улицами и жуткими расстояниями. Я уже твёрдо знал, что где бы ни очутился — всё равно найду дорогу. Здесь тоже есть задиристые парнишки, которые нахально лезут драться, но они уже казались мне смешными: не нужно только робеть и показывать свою беспомощность, а дерзко наступать на них и держать кулаки наготове. И вспоминая о последней встрече с ватагой ребят, я смеялся: как я ловко смазал этого забияку его же кулаком! В городе, оказывается, есть и хорошие люди. Парень в шляпе — добрый и весёлый, похожий на Тришу. Он, должно быть, любит петь песни, а в сад шёл, чтобы потанцевать под музыку. А вот Агашка сразу вошла в душу, как родная. Она не бросила бы меня, как Дунярка: увидела, что я один и беззащитен, что я плутаю по незнакомым улицам, где на меня могут напасть драчуны; и сразу же кинулась мне на помощь. Если бы я попросил проводить меня до самого нашего двора, она пошла бы со мной охотно, несмотря на крики матери. А Дунярка думает только о себе и любит себя собою. Она извивается змейкой и усмехается ядовито-ласково. Зачем она скрылась от меня? Должно быть, хотела отомстить — наказать меня за то, что я напал на неё за цветок, который она украла у цветочницы. А может быть, она стеснялась ходить со мной в саду? Ведь она была городская, а я — вахлак деревенский; она вертелась, ломалась, вскидывала голову и нюхала розочку, как барышня, а я глазел на всё, как простачок, да и одет был по-деревенски — в пунцовой поношенной рубашке с поясом из мочалы, в портках, а волосы острижены в кружок. Она привередливо посматривала на меня в саду, фыркала и учила, как надо ходить, как разговаривать, как обращаться с ней, а я злился, мне было противно её кривлянье. Ясно, что она хотела поиздеваться надо мною — пускай, мол, поплутает по городу, пускай, мол, один добирается до дому, ежели не хочет слушаться.

Но я в этот день открыл одну важную для себя истину: хотя город и большой и много в нём улиц и переулков, где можно легко заблудиться, хотя людей тут — тьма тьмушая, и все они чужие, неизвестные и не похожие на мужиков, но они как будто не видят друга друга, и в то же время им приятно гулять толпами. Парни не цапали девок, а они не визжали и не корчились в их руках. Здесь, в саду, каждый как будто старался быть пригляднее и лучше, и толпы шли

вереницами навстречу друг другу, своей сторонкой, не толкаясь, не озорничая, а если люди задевали плечами один другого — извинялись и даже кланялись друг другу. Правда, парнишки и здесь враждебно задирали новичков, как меня, но в саду и они были смирные и переставали замечать друг друга. В деревне парни и мужики любили натравливать ребятшек на драку и любовались их возней. А здесь совсем чужой человек разогнал ораву озорников и участливо разговаривал со мною, да ещё рассказал мне, как найти дорогу к тому месту, где я живу.

Когда я свернул на свою улицу и в фиолетовых сумерках увидел свои ворота с двускатным козырьком, неожиданно обняла меня за шею Дунярка. Она радостно засмеялась.

— А я, Федяшка, нарочно от тебя скрылась-то. Не от сердца, не со зла, а чтобы поглядеть, какой ты в беде гораздый.

Я сбросил с себя её руки и оттолкнул её.

— Не подходи ко мне, трещотка! Я с тобой больше не дружу. Я тебе не кутёнок, чтоб ты мордовала меня.

Но она не обиделась и смотрела на меня с лукавой игрой в глазах.

— Да чего ты злишься-то, Федя? Я тебя сейчас ещё больше полюбила и прямо за тебя в огонь и в воду полезу. Ежели бы ты голову-то потерял да заметался от страха, я сразу бы к тебе бросилась.

Я мстительно усмехнулся и съязвил:

— Да на кой ты мне нужна-то? Ты только прыгала всю дорогу, как собачонка. А я не маленький и не в лесу: у меня и глаза, и кулаки, и язык есть. Эка, подумаешь, беда какая! Заведи меня куда хошь — я дорогу найду и никого не боюсь. А ты ещё куклами тешишься.

И я победоносно пошёл через дорогу к воротам, форсисто склонив голову к плечу, как отец.

Дунярка подбежала ко мне и, задыхаясь, схватила меня за руку.

— Ой, Феденька, как я прогадала-то!.. — виновато затараторила она. — Не сердись ты на меня, размиленький. Будешь сердце на меня иметь — несчастная буду и исплачусь вся. Чай, я это любя сделала. Думала: вот, мол, он упадёт духом, позовёт меня — а я тут как тут перед ним. А ты вон какой! И с озорниками сладил, и с людьюми общёлся... И шёл-то как резво, словно червонный валет! А я в дурах осталась. Давай, миленький, помиримся.

Я великодушно улыбнулся.

— Ну пускай... чего мне с тебя взять-то? И чего это вы, бабы, такие неурядистые?

11

Никогда ещё я не видел мать такой весёлой, беспокойной и хлопотливой. Глаза её стали ещё круглее, в них играла затаённая радость и что-то похожее на переливы воды в родничке. Утром она нарядилась и, прихорашиваясь, бегущей походкой ушла в город. А мы с Дуняркой сидели за каретником, и я учил её читать. Она необычно робко и виновато слушала, как я называл буквы, тыкая в них пальцем, и строго приказывал ей повторять их за мною. Когда она ошибалась и забывала их, я сердился, и она в отчаянии лепетала:

— Беспонятная я какая! Буквы-то у меня, как мухи летают, и ни одну не поймашь. А ты их, как бисер, перебираешь и слова говоришь. Чудо-то какое!

Я видел, что Дунярке скучно, что ей хочется играть и выдумывать что-то новое, интересное, и беспокойное. Она непоседа, лисбит толкаться среди людей, горячо хватается за работу и соревнуется в быстроте и со мною, и со взрослыми. Она жадно слушает рассказы Манюшки и очень

живо изображает барынь и купчих и передразнивает их, как будто не мать, а она проводила с ними время. И это выходило у неё так хорошо, что мы покатывались со смеху, а Манюшка кудахтала:

— Актёрка ты, Душка, чистая актёрка. Ну прямо они у тебя всамделешные! Ежели бы они увидали... ух, в обморок бы упали! — И с приторным недовольством совестила её: — Не делай этого... не грехи, Дунярка. Они благо нам делают, а ты их насмех поднимаешь.

И я удивлялся, почему Дунярка запоминает всякую чепуху, замечает в людях их смешные и забавные стороны и в танцах сразу подхватывает самые сложные движения, а ни одна буква не держится у неё в голове.

Мать пришла с покупками, весёлая, праздничная, и похвалилась мне:

— Всё купила, что надо: и коленкору, и бумазеи. И тебя наряжу. Отец сам выбирал и денег не жалел. К Раисе пойдём.

Я даже подпрыгнул от радости.

— Нынче же пойдём... сейчас же...

Из-под вешелов вышла Степанида, тяжело волоча больные ноги, и с угрюмой усмешкой ткнула в бумажный свёрток кривыми пальцами в шрамах.

— Ну, вот и кандалы себе купила. Ты бы крылышки-то не распускала, голуба, а то и пёрышки общипают, и косточки поломают.

Мать беззаботно засмеялась:

— А я, тётушка Степанида, и думать не думаю. Хуже не будет. Я — как лозинка: гнуть гнули, а не сломали. Я все невзгоды вынесу, никакой работы не боюсь, всякие беды переживу, зато на вольной волошке, сама за себя в ответе.

— Эта вольная-то волошка вот до чего меня довела! — прогудела Степанида и шлёпнула себя ладонью по лицу и по ноге. — А была не хуже тебя — красивая девка и плясала разудало. Я к чему тебе говорю? К тому, чтобы ты ощетинилась, чтоб ко всякому лиху готова была. Ежели бы ты хвост поджала да захныкала, я бы тебе и слова не сказала. Поезжай! Без страха поезжай, только держись крепче и обиду никому не спускай. Пореветь захочется — озорничай, помыкать будут — на рожон лезь. К артели будь поближе. Там озорников да озорниц любят. Раиса тебе тоже добрый совет даст. Сейчас люди по-новому думают. Она вон красоту-то сберегла. Умная, крепкая бабёнка. Она и Тришу в люди вывела: голахом был — спасла. А сейчас он души в ней не чаёт.

У матери дрогнуло лицо, и глаза помутнели от слёз. Она рванулась к Степаниде и неожиданно поцеловала её.

— Ты, как мать, мне, тётушка Степанида: и приветила, и позаботилась. Век тебя не забуду.

Степанида улыбнулась, но веки у неё набухли.

— А ты, Настя, сердцу своему воли не давай. Деревню-то свою забудь. Тут такие мухи, как ты, сами к паукам в тенёты летят. Целоваться не лезь — губы вырвут и зубы выбьют.

— Уж не ты ли, тётушка Степанида? — растроганно засмеялась мать. А Степанида пошлёпала её по спине и сразу же оттолкнула от себя.

— Парнишку вот своего береги!.. — сердито пробасила она. — Он такой же, как ты, доверчивый. Его вон и Душка вокруг пальца обводит.

— А я, тётка Степанида, и тебя обведу, — откликнулась Дунярка из своего уголка и хвастливо захохотала.

— Знаю. Хоть и хвалю за характер, а под руку попадѣшься — не помилую.

После обеда мы с матерью пошли к Раисе. Она жила недалеко от Волги, в деревянном доме на высоком кирпичном фундаменте, с красивыми, вырезными наличниками. Во дворе был настоящий сад. Яблони были осыпаны восковыми яблоками, маслянисто синели сливы, покрытые седой пылью. По обе стороны высокого крыльца на клумбах перед окнами пылали цветы. Развѣртывались тугие розы — красные, белые, розовые... Пахло пьянще приятно. В саду, в холодке, на скамейках сидели женщины с младенцами, а на дорожке перед ними играли хорошо одетые мальчики и девочки. В открытое окно высунулась из-за кружевной занавески гладко причѣсанная Раиса.

— А-а, Настя пришла... и ты, отрок! Ну, ну, пожалуйста в горницу!

Она в окне показалась мне такой же гордой, как и у нас в комнате. Пока мы поднимались на крыльцо, она сама вышла навстречу.

— Ну как, отрок? Нравится тебе наш двор?

— Цветов-то! — поражѣнный, крикнул я, не отрывая глаз от клумбы. — Я сроду этого не видал.

— Благодать-то какая! — пропела мать вздыхая. — Словно в раю.

Раиса, довольная, с наслаждением оглядывала и сад, и цветы.

— Люблю жизнь украшать. Я и квартиру себе нарочно такую выбрала. Долго искала. И на хозяйна такого напала — на садовода. Цветники я сама сделала. Лучше цветов нет ничего на свете: они как музыка для души, как сказка для глаз. И каждый цветок смеѣтся по-своему. Как ты думаешь, отрок? В садах Черномора было хуже, чем здесь. Там хоть и пышно и волшебно, но сердцу не мило. В неволе и цветы не веселят. А здесь хоть и маленький уголок, простенький, тиконький, да на свободе.

В широком цветистом капоте, подпоясанная шёлковой верѣвочкой с кистями, Раиса взяла мать под руку и повела в комнату. Тяжёлая корона волос на голове переливалась золотом. Нет, она не была похожа на Людмилу: это была Царевна-Лебедь.

Комната была просторная и светлая, оклеенная розовыми обоями. Всюду — и на окнах, и на скамеечках — стояли в плошках и зелёных кадучечках цветы и настоящие деревца с крупными восковыми листьями. Дверь в другую комнату завешена длинной лиловой занавеской, с бахромой, сияющей, как ковыль. На стенах висели картины в рамах. Одна из них большая: по широкой реке плывѣт нарядная лодка, впереди гребут вѣслами мужики, а посередине, развалившись, сидит богато одетый человек. Он задумался: должно быть, тоскует. Перед ним полужелит красивая девушка с длинными косами, в широких штанах до самых щиколоток.

— Это Стенька Разин с персидской царевной, — объяснила Раиса. — Слышал ты когда-нибудь о Стеньке Разине, отрок?

— У нас о Стеньке рассказывали, — похвалился я. — Это — разбойник. Купцов на Волге грабил.

— А вот и нет, отрок, — строго оборвала меня Раиса. — Степан Разин за народ с барамы дрался. Он мужиков поднимал, и народ шѣл с ним против помещиков, чтобы землю у них отобрать и крепость уничтожить. А разбойником помещики его называли. Здесь, на картине, он бездельником и кутилой нарисован. Он не такой был: он был простой, бесстрашный человек и свободу любил. Он и жизни своей не пожалел, чтобы свободы добиться.

И она вдруг хорошо улыбнулась матери.

— Знаю, знаю, зачем пришла. Садись к столу и выкладывай своё

добро. Ты не стесняйся, душа моя: ты — у своих людей, а не у богатых родственников. Люди-то близки по труду да по чувствам, а не по крови. Я ведь тоже с детских лет и день и ночь в работе была: и в няньках, и в мастерских, и на ватагах... Знаю, чего стоит слеза и кусок хлеба.

— А ведь как себя выдержала да охранила! — с недоверием и изумлением вздохнула мать. Она несмело опустилась на стул около стола, покрытого блестящей клеёнкой, и положила свёрток на колени. — Ты как-то и непохожа на простую женщину. А в селе у нас тебя за барыню бы посчитали.

— Да чем я хуже барыни? А чем любая барыня лучше тебя? Надо, Настя, уважать себя и знать, что ты своим трудом живёшь и этих барынь кормишь. Ты богаче их всех. Знаешь поговорку? Один с сошкой, а семеро с ложкой. Ну, давай развёртывай своё добро.

Она спохватилась и виновато взглянула на меня. С простенькой этажерки она взяла очень большую книгу и положила на диванчик.

— Иди-ка, отрок, посмотри этот альбом: тут много всякой всячины — разные страны, города и люди. Это муж мой, когда на военном корабле плавал, всякие фотографии да картинки собирал.

Я сел на диванчик и приятно закачался на пружинках. На таких диванчиках я ещё ни разу не сидел — и в первые минуты почувствовал себя так же неловко, как на верхней палубе парохода, когда я очутился там вместе с Варварой Петровной. Здесь всё блестело чистотой, и вся комната кудрявилась зеленью и цветами. Воздух был лёгкий и пахучий. Жёлтые гнутые стулья с плетёными сиденьями, как решето, искрились золотом, на стенах висели фотографии и картины в нарядных рамах. На большой этажерке стояло много книг и толстых и тоненьких, а рядом с ней висела на синей ленте знакомая гитара. Мне даже почувдилось, что она едва слышно прозвенела своими струнами. Вся эта чистота и приятный уют были для меня новы, но очень приятны, потому что это была комната Раисы — такая же светлая, простая, красивая и гордая. Я привык жить в душной грязной избе, с телятами и ягнятами, а у Манюшки — в свалках мочал и чалок, в рухляди постелей и одежды, хотя и у неё было опрятнее, чем в нашей деревенской избе, но смрад гнилой рыбы пропитал и вещи и нас самих. А вот здесь я сразу почувствовал, что люди могут жить чисто, радостно, окружать себя цветами, играть на гитаре, быть красивыми и не бояться господ, а Раиса сама похожа на благородную и не уступит барыням ни видом, ни разговором. Мне хотелось, не отрываясь, смотреть на неё и любоваться ею, как сказочной Василисой Премудрой: у ней и волосы, как золотая корона, и фигура её — высокая, стройная, гибкая, и лицо — белое, с восковой прозрачностью, и шёлковые брови, и умные, проникновенные глаза в лучах чёрных ресниц. И я украдкой поглядывал на неё, когда она плавными движениями рук раскидывала на столе белое полотно и изучала взглядом рост матери. И опять, как и в тот день, когда я увидел её впервые, мне было и радостно, и грустно смотреть на неё.

— Ну, отрок, нравится тебе наш альбом?

Я сконфузился и пробормотал:

— А я ещё не глядел...

— А ты погляди, потом поговорим. Увидишь, какие есть замечательные места на земле, какие странные люди...

У матери горели щёки, а глаза переливались горячей влагой. Она пылко вскрикнула:

— Гляжу я на тебя, Раисанька, и в ум не возьму, как это ты красоту свою соблюла.

Раиса усмехнулась и, не отвечая, прошла в другую комнату лёгкими шагами молодой девушки. Мать смотрела ей вслед завистливо и уважительно. Я перелистывал альбом, как слепой: ни одной фотографии не видел и не помнил, какие картинки открывались передо мною. Перед глазами у меня стояла Раиса, и я ждал, когда она опять появится из-за занавески. Я не утерпел и прошептал:

— Какая она... Раиса-то!..

Мать рассеянно обернулась ко мне и вздохнула. Она едва ли слышала мой восхищённый шёпот.

Раиса, бело-розовая, появилась с ножницами в руке, и комната стала как будто ещё светлее. Певучим, глубоким голосом она проговорила:

— А всё дело в том, Настя, что надо бороться за своё достоинство. Как бы это сказать тебе получше? Ну, вот у вас в деревне бары да богачи считают народ чернядью — людьми, которые на них должны работать, а они — властвовать да наслаждаться, потому что у них знания и деньги. А мужики живут, как скоты, во тьме, в грязи. У нас, в городе, тоже не лучше: и голодные, и без работы часто маются, а кто работает — света божьего не видит. Женщины совсем уж несчастные — и под мужем ходят, и под хозяином. Нас с детства к такой доле приучали. Я ведь тоже горя намыкалась, пока выросла. Мать у меня на вагаге умерла. А отец стал пьянствовать, с работы его прогнали... так и потерялся в босой команде. Мне уж самой пришлось за жизнь драться да счастья искать. И я тоже чуть не пропала. Да вог своим умом дошла, и хорошие люди помогли. Благородство-то не в том, что ты барствуешь да в золоте купаешься, а в том, что ты трудисься. Всё в жизни делается трудом — всё, до чего ни коснись. Вот мне и помогли понять, что я-то — не хуже, а лучше любой барыни да жгрной купчихи. Я и решила, что я хозяйка в жизни, что не они, а я должна гордиться собой, что правда-то на моей стороне. Вот эта правда очень мне по характеру пришлась. Я вольницей жила, бездомницей и очень дерзко с людьми вела себя. Мне и небо в овчинку было. Ну, а тебе вст трудно придётся: ты больно смиренная, приучили тебя к послушанию, и боишься всех. До того тебя довели, что страшно тебе и волосник снять. Мне Мара рассказывала, как ты чуть в обморок не упала, когда она руку протянула к твоему волоснику. Ты думаешь, что бабе на руду написано рабой быть — всем служить, ходить под кулаком и молчать до гроба. А я по-другому научилась думать. Нам, бабам, должна быть особая честь. Мы — не только работницы, но и матери. Ох, сколько я тебе наговорила!.. Ежели ты хоть чуточку поняла меня, и то уж хорошо. Поживёшь, пострадаешь — сама многое узнаешь и вспомнишь, что я сказывала... Ты со Степанидушкой калякала?

— Строгая она, да и говорит больно страшно.

— А как же? Старушка много страшного пережила, поэтому и говорит страшно. А на вагагу не отговаривала тебя ехать?

— Посылает: обязательно, говорит, поезжай! Только, говорит, умей за себя постоять... А чего я могу, чего смею? Смей, говорит.

— Правильно говорит Степанидушка — знаю её.

— И вот к тебе послала она: Раиса-го, говорит, лучше меня на путь наставит. Я, говорит, урод, а она, Раиса-то, по-новому думает.

Раиса звонко рассмеялась.

— Ой, хитрая какая да довитая!.. Ишь ведь как над нами, молодыми, потешается! Ты её не знаешь, Настя. Она такая умная да быва-

лая — любо-дорого поговорить с нею. Каждого человека насквозь видит. Ведь это она меня на ноги поставила и уму-разуму научила: она меня ещё девчонкой за волосы схватила да из трущобы вытащила. Я с ней и на ватагах была, и жила вместе с ней. Для меня она — вторая мать. И в школу меня отдала, кормила-поила, ремеслу выучила. А уж гордая какая! Хотела я её к себе взять, а она ногами на меня затопала: «Не смей, говорит, меня за нищую считать! Я сроду, говорит, на чужой шее не сидела...» Она и Тришу из ночлежки вызволила и к труду приспособила.

Мать слушала её с жадным любопытством, словно Раиса открывала перед нею новый мир.

— А Степанида сказала, что это ты Тришу-то спасла.

Раиса спокойно и серьёзно согласилась:

— И я поработала над ним: мы вместе росли. Но без Степаниды я ничего бы не сделала. Она нас обоих опекала. А теперь он мастер хороший в типографии. И в газете пишет. Его все боятся и готовы со свету сжить. А это ему нравится: чем ни больше бесятся и рычат на него, тем он веселее становится.

— Да как же это? — ужаснулась мать. — Да ежели заушат? Ведь не доживя веку гибнет.

Я оторвался от альбома и подхватил слова матери:

— У нас в селе Петрушу Стоднева ни за что в каторгу угнали, а Микитушку избил всего и тоже в Сибирь услали. И ни слуху об них ни духу. Оба за правду стояли. Как их ни мучили — ни один не отступился.

Раиса с удивлением раскрыла глаза и уставилась на меня, позвякивая ножницами.

— Да ты, отрок, оказывается, и об этих делах можешь рассуждать...

Я обидчиво возразил:

— Маленький я, что ли? Я дома-то всякую работу делал. И знаю, как у нас в селе люди живут.

Раиса засмеялась и опять пристально поглядела на меня.

— А мне и невдомёк. Сидит мальчик и альбом перелистывает. Думала занять его картинками, чтобы не скучно было. Оказывается, он со мной тоже беседует да ещё выражает совсем недетские мысли. А теперь — уговор, мой дорогой отрок: ежели кто-нибудь у тебя спросит обо мне или о Трише — ни слова, а то... видишь эти ножницы?.. обязательно отрежу язык. Я злая и мстительная.

Но я уже был счастлив, что она говорила со мной, и весь загорелся от волнения. Мать сердито мигала мне, чтобы я замолчал, но я даже вскочил с дивана и решительно проговорил:

— Я сам знаю, тётя Раиса. Ты мне не грози: ножницами-то полотно режут, а не языки. А за тебя я в огонь и в воду полезу.

Она ахнула, уронила ножницы и подбежала ко мне, раскинув руки. Мне почудилось, что я ослеп от блеска её чудесных глаз. Она обняла меня и поцеловала. От неё пахнуло тёплым ароматом.

— Милый ты мой, свежий ты мой мальчик! Ты прости меня за глупые слова... Верно, по-дурацки у меня вышло с ножницами...

Она звонко засмеялась и кинулась к матери.

— Настя, гляди-ка, сын-то твой... ведь он влюбился в меня...

Мать, польщённая, смотрела на меня растерянно и тоже смеялась.

Моя вспышка угасла сразу: мне показалось, что Раиса надо мной смеётся, что она смотрит на меня, как на дурачка. Но мне было хоро-

шо на душе и почему-то хотелось заплакать. Я сел опять на диван и уткнулся в альбом.

— Ты не обижайся на меня, отрок. Я просто не знаю деревенских ребят. Они, оказывается, взрослее и зреее наших городских подростков. Спасибо за науку. Хорошо, если бы тебя в школу определить. Может, на ватаге и удастся. На Жилой Косе промысла большие. Школа там есть, знаю. Ты уж позаботься о нём, Настя. — Она внимательно оглядела меня и опять засмеялась. — Ну, так что же такое — эта правда-то? — спросила она с лукавой игрой в глазах.

Я никогда не забывал ни о Микитушке, ни о Петруше Стоднее. Они жили совестливо и не боялись ни барина, ни мироеда Митрия, ни начальства. Они хотели, чтобы всем было хорошо. А за это их скрутили и заковали в кандалы. Я ненавидел станового, старосту Пантелея, попа, барчат, и они до сих пор снились мне в страшных снах. Я уже понимал, почему погиб Серёга Каляганов, почему пил и буйствовал дядя Ларивон и почему издевались сельские власти над бабушкой Натальей. Всё это совершалось на моих глазах, я сам переживал эти события. И вот сейчас, когда Раиса спросила меня о правде, забавляясь моими недетскими словами, я с обидой пробормотал, чувствуя, как давит меня её ласковая сила:

— Ты сама знаешь... а надо мной смеёшься...

— Милый! — сказала она с упрёком в голосе. — Я и не думала над тобой смеяться. Верно, и я знаю, какой правды люди хотят. Ты ещё мал: многого не понимаешь. Вырастешь — сам увидишь, где правда находится и как её добыть.

Альбом был большой, толстый, и на каждом листе его с обеих сторон наклеены были фотографии и цветные картинки. Тут стояли матросы на борту корабля, матросы на берегу, какие-то города, морской прибой, голые чернокожие люди, незнакомые деревья, какие-то города с огромными домами, которые громоздились один выше другого. На берегу моря — гора, и из вершины её поднимается дым, как из трубы. А тут — как застывшее море — пески, и среди них шагают один за другим верблюды. Какие-то каменные шалаши, как горы, подымаются ввысь из этих увалов песку, и у такого же каменного полкана с бабьей головой в платке стоят малюсенькие матросы и скалят зубы. И везде среди этих разных людей, чужих по облику, и голых, и в длинных рубахах без порток, красуется бравый, горбоносый матрос с чёрными усами, закрученными колечками, и густыми бровями, которые срослись у переносья. Он улыбается, смотрит на меня, как будто хвастаясь: «вот я где побывал, вот какие чудеса видел!».

Я перелистывал альбом и с начала и с конца — и не мог насмотреться. Передо мною открывался огромный, волшебный мир, который не мерещился мне даже в сказках. Земля, оказывается, бесконечно велика: и моря, и снеговые горы в облаках, и безбрежные пески; и неожиданные города с церквями, похожими на надетые друг на друга колокола, с деревьями, как высокие папоротники; и люди, чёрные, как вымазанные сажей, голые, страшные, как черти, и плосколицые, с крошечными глазками, в балахонах, в шлыках, с длинными косами; и женщины, закутанные в белые холсты с головы до ног; а рядом с лошадьми — длинноухие полулошадки-полутелята, и слоны с будками на спинах...

Это был какой-то ненастоящий, выдуманный мир, далёкий, мерцающий, как мечта, как нарядный сон. Но бравый матрос с усиками стоит твёрдо в своей полосатой рубашке, в бескозырке, в широких штанах и, опираясь рукою на огромного идола, бесшабашно улыбается. Сказочные

видения блёкнут и превращаются в самую обычную людскую суету. Китайцы с косами, в длинных кофтах, — такие же смешные, как на чайных коробках Перлова, которые рядком стояли на подоконнике у Манюшки.

— Муж мой редко бывает дома, — услышал я опять голос Раисы. Звякали ножницы, разрезая материю, шуршал коленкор, и белые руки Раисы плавно, быстро, уверенно летали над столом. — Он всё время проводит на пароходе. Приходит домой на сутки, на двое, когда возвращается из рейса. Как видишь, удобный муж. Мы не мешаем жить друг другу. Человек он хороший, заботливый, не грубиянит, любит меня и холит, и я его очень уважаю. Одна у него беда — пьёт. Раньше отбоя не было от его дружков. Надоело мне это, я и сказала: «Больше этого безобразия, Матвей, не будет. Ни одной капли не выпьешь, пока ты дома. Эти дни ты со мной должен проводить и слушаться меня. А если не посчитаешься со мной, уйду от тебя — и поминай, как звали». Он у меня кроткий, послушный, и всё готов для меня сделать. Ну, и вожу его всюду — и в театр, и в цирк, и в сад, и играю ему на гитаре. Приглашу Мару, Любу, Трифона — поём, танцуем; глядишь — разойдётся, размахнётся и сам в разных фокусах себя показывает. И только иной раз поклянчит: «Раисочка, дай одну рюмочку — душа горит». А я его лаской казню: «Значит, ты меня, Матвей, не любишь? Крепкое слово — это душа, Матвей».

Я слушал её спокойный, певучий голос сильной женщины — и представлял себе, как большой матрос с усиками робко просит её дать ему рюмочку водки и смотрит на жену с боязливым ожиданием. Мне и смешно было слушать эти откровенные слова Раисы, и обидно за неё: зачем она вышла замуж за пьяницу? Ведь она не любит этого матроса — чувствую, знаю, что не любит... Её ведь некому было выдать насильно за немилого, как мою мать или тётю Машу? Значит, она сама вышла за него. Если она его не любит — значит, обвенчалась с ним, чтобы найти спокойный угол и спрятаться за спиной матроса. Мне было грустно, и ныло сердце от недоброго чувства к ней: она как будто обманула меня. И я уже ненавидел этого развязного матроса с самодовольной улыбкой, который стоял перед моими глазами, расставив ноги в широких штанах и прислонившись спиной к ногам страшного идола.

Как будто отвечая моему настроению, мать простодушно удивилась:

— Ты — вольная, сама себе хозяйка, Раисанька, а вот не нашла себе человека по сердцу... Ведь тебя за косы за него не тащили...

Раиса выпрямилась, и брови её сурово сдвинулись к переносью.

— Он — хороший человек, никому не делает зла, верный товарищ. Я его очень уважаю. У всех ведь есть слабости. Сошлась я с ним по доброй воле и по охоте. Если бы я не вышла за него, он, может, и пропал бы. А сейчас я из него человека сделала.

Она бросила ножницы, и они сердито звякнули, потом быстро свернула коленкор и обрезки и подвинула к матери.

— Вот и всё. Сошьёшь сама — работа небольшая. А теперь идите, ко мне сейчас люди придут.

Она подошла к этажерке и стала сосредоточенно перебирать книжки. Её лицо вдруг повеселело, глаза заулыбались.

— Я сделаю тебе подарок, отрок. Будешь читать эту книжечку и вспоминать обо мне. Я люблю, когда обо мне хорошо помнят. Вот. «Робинзон Крузо» называется. Человек непобедим в своём труде, он делает чудеса и нигде не пропадёт со своим умом и руками. Читай и

учись у этого Робинзона, как быть сильным, упористым и добиваться всего, что тебе дорого.

Я жадно схватил книжку, перелистал её и увидел картинки. Потрясённый, я ткнулся лицом в капот Раисы и пробормотал сквозь слёзы:

— Спасибо, тётя Раиса!.. Я никогда тебя не забуду.

Она засмеялась, взяла меня за голову и поцеловала.

— Любишь меня?

— Да ещё как!..

— Знаю, что любишь. Меня не любить нельзя. Меня или любят или ненавидят. Серединки нет. Будешь писать мне письма с ватаги?

— Я адреса не знаю.

— Надо говорить: адрес. Я тебе свой адрес на книжке напишу.

Она выдвинула ящик у стола, вынула несколько конвертов и тоненькую пачку бумаги и вложила в книжку. Настроила карандашом на книжке несколько слов и карандашик сунула мне в руку. Потом подошла к матери и поцеловала её.

— Ну, Настя, не робей!.. Найдёшь время, приходи проститься. На ватаге держись поближе к хорошим людям — в обиду тебя не дадут. Только от деревенских привычек тебе придётся отстать: и волосник снимешь, и бессловесную бабью покорность стряхнёшь. Ну, прощай! Давай руку, отрок!

До самой калитки я шёл, непрерывно оглядываясь на Раису. Она стояла на крыльце, высокая, сильная, гордая, и улыбалась. На улице у ворот мы столкнулись с Тришей и с каким-то угрюмым парнем. Триша толкнул парня в калитку, а сам задержался, зорко оглядывая улицу из-под полей шляпы. Мать поздоровалась с ним. Он сначала не узнал её, а потом обрадовался, схватил её за руку и засмеялся:

— А-а, Настя! Значит, на ватагу собралась? Может быть, и я на Жилую Косу приеду. Иногда бываю там.

Он юркнул в калитку и со всего размаху захлопнул её.

12

На стареньком грязном пароходике, густо набитом народом, нас перевезли на огромную баржу, которая стояла на середине Волги, глубоко погружаясь в струистое марево реки. На барже стоял серо-голубой домик. Толстенная мачта была складная, и верхняя её половина лежала на выпуклой крыше домика. Когда наш пароход пришвартовался к барже, её просмолённая горбатая палуба в пузырях, прошитая трещинами, оказалась ниже палубы парохода, и люди с узлами и сундучками спускались по крутым сходням осторожно и боязливо. Борозатые матросы на пароходе скалили зубы и подбадривали нас:

— Шагай веселей, народ! Не гляди по сторонам! Там, на ватаге-то, заставят и по водам ходить.

Я уже привык к этим угрозам: они казались мне такими же обычными, как присловья и ругательства. Мать, согнувшись под тяжёлым тюком на спине, с узлами в руках, бойко сбежала со сходней. Я, тоже с узлом на спине, семенил за нею, и мне было смешно смотреть на неё, как она ловко и юрко обгоняла других баб и мужиков, неуклюже и боязливо, словно ощупью, спускающихся вниз по скрипучим доскам. Бабы, навьюченные поклажей, повизгивали, а мужики, подгибая колени, шагали неохотно, натужливо, как будто их насильно гнали, как арестантов. Их встречал краснобородый мужик в сапогах с широченными голенищами, завернутыми вниз, и в кожаном картузе. Загоревший, с сизым облупленным носом, он шурил свои маленькие глазки и хрипло покрякивал, махая то одной, то другой рукой:

— Держи на корму! Шагай на нос!

Он задержал прищуренные глаза на матери и строго буркнул:

— Одна, что ли?

— Одна... с парнишкой вот.

— Клади багаж здесь вот, у каюты. Стряпать умеешь?

— Я всё умею... и стряпать, и стирать, и песни петь...

Он почему-то надвинул кожаный картуз на брови. Его глаза хоть и спряганы были в прищурке, но почудились острыми и ледяными.

— Как звать-то? Настасьей, говоришь? Эх, Настасья, ты Настасья, отворяй-ка ворота! — Он оттолкнул мать к стене грязно-голубой избушки. — Нам будешь служить — команде. Я старшой здесь, лоцман. И стряпать будешь, и стирать, и песни играть. — И опять заорал свирепо: — Куда прѣшь? Держи на корму!

Худощавый парень с насупленными бровями, с чёрными усами, одетый по-городски, в пиджаке и брюках навыпуск, с гармонией подмышкой, вёл под руку молоденькую красивую женщину, чисто одетую, с белым лицом и весело вздёрнутым носом. Позади них шла с тугим тюком в руке крупнотелая девка в белом платке, низко опущенном на глаза. Мне показалось, что она плакала. Парень подмигнул лоцману и, тихо разговаривая с женщиной, пошёл по палубе к носу, а девка шагала за ними тяжело, рыхло, как слепая.

Люди с пожитками всё ещё спускались со сходней и разбредались в разные стороны. Это были бородатые деревенские мужики с жёнами. Много было одиночек. Все были какие-то измятые, усталые — не то с дороги, не то от того, что долго томились на пристанях и на площадях города и толкались в толпах таких же безработных бедалаг перед конторами рыбопромышленников, где ловкие жулики — подрядчики и подрядчицы — терзали их изо дня в день посулами, отказами, предлагали гроши, а потом опять сбивали цены, потому что пароходы выбрасывали новые толпы. Но баржа была огромная, и люди как будто затерялись на ней. На носу народу было мало: должно быть, лоцман посылал туда по выбору. Но на широкой кормовой палубе люди сбились в сплошную груды. Они сидели на своих узлах, тюках и сундучках и уже ели арбузы, дыни и помидоры. Где-то ругались мужики и визжали бабы, где-то беззаботно хохотали девки, где-то выли песни пьяные голоса. Пахло нефтью и дынями, а от раскалённой смолистой палубы несло знойным жаром и горячей смолой. Мать, грустная и тревожная, сидела на толстом узле и молчала, думая о чём-то, подпирая лицо ладонями. У меня болела голова и сердце ныло от смутной тоски. Вот мы сидим сиротливо и не знаем, куда поплывём и что ожидает нас в будущем. Отец сбросил с пролётки узлы, растерянно ткнулся бородой в наши лица и опять вскочил на козлы: нельзя бросать лошадь одну. Он смущённо улыбнулся и крикнул с надломом в голосе:

— Ну, вы там... как-нибудь... приживётесь. Не ты первая, не ты последняя. Везде люди живут... Хуже не будет. Деньги зря не трать и себя берегай. Строго себя держи, чтобы у меня и в мыслях не было... И парнишку пристрой, чтобы не избаловался. Ну, с богом!

Он ударил лошадь кнутом, и пролётка задрезжала по камням мостовой. Какой-то толстый усатый человек в белом пиджаке, в белой шляпе, махнул палкой отцу.

— Извозчик! Подавай!

Не оглядываясь на нас, отец круто повернул к этому человеку и подобострастно пригласил его:

— Пожалте, барин! Куда прикажете?

Человек грузно влез на пролётку и упал на сиденье. Пролётка запрыгала на рессорах, и человек ткнул палкой вперёд. Мать смотрела вслед пролётке, и лицо её вздрагивало от сдавленных слёз. Она вздохнула, встретилась с моим взглядом и отвернулась, словно испугалась, что я догадаюсь о её тайных чувствах. И опять я понял, что она не любит отца и рада своей свободе, о которой она мечтала давно.

Лоцман на ходу распахнул дверь в избушку и глухо приказал:

— Тут будешь с парнишкой помещаться. Проворней очищай место.

И он ощупал мать жёсткими глазами. Я схватил её за руку и прошептал:

— Не входи туда, мама. Лучше пойдём к людям.

Она тоже была встревожена, но старалась бодриться.

— Ну, чего он нам сделает? Чай, он не зверь. Мы и так на людях.

А тут спокойнее: одни с тобой будем.

Она подхватила затянутый верёвкой узел и скрылась в тёмной пустоте комнаты. Так же бойко выбежала обратно и подхватила два других узла поменьше.

А я стоял с нудной болью в сердце и, сжимая зубы, изо всех сил старался сдержать слёзы. Эта чёрная пустота, зияющая в открытой двери, показала мне злозещей пастью, как на лубочных картинках, которые изображали адского дракона, пожирающего грешников. Стоял я, застывший от тоски, и голос матери чудился мне далёким и чужим. Должно быть, ей понравилось в избушке: когда она выбежала, чтобы подхватить остальные пожитки, лицо у неё довольно улыбалось. Она пытливо посмотрела на меня.

— Ты чего это столбом-то стал? Радоваться надо, что в хороший угол угодили, а ты, как отец, бирюком глядишь.

Она подтолкнула меня к двери, но я сам оттолкнул её руку, и должно быть, взглянул на неё как-то необычно: в глазах её мелькнул испуг и беспокойный вопрос.

Я не заметил, как отчалил пароход, как разошлись люди в разные стороны, а видел только широкую спину коренастого человека и красные космы его бороды. Зеркально-голубая ширь Волги густо струилась перед баржей в водоворотах и сплетающихся потоках. Весь разлив необъятной реки казался выпуклым и переливался радужными вспышками, как плёнка мыльного пузыря. Далеко у пристаней стояли белые и сиреневые пароходы, и из низких, широких труб их клубился бурый дым. Белый собор взлетал высоко над густой грудой домов, сверкающий букетом главок, гордо реял в воздухе, лёгкий, стройный, упругий, и казался чужим, случайным в этом грязном и смрадном городе. Налево жирно чернели нефтяные пристани в переплётах толстых трубопроводов. Всюду белыми вихрями кипели чайки. Но почему-то грустно было смотреть на эти крылатые вихри: казалось, что птицы были легче своих крыльев и изнывали от утомления, а крики их были похожи на стоны и плач.

Лоцман повернулся ко мне и усмехнулся в прищурке. Красно-кирпичное лицо его с раздутыми щеками вдруг подобрело, и он проурчал добродушно:

— Ну-ка, Настя, начинай кашеварить. Пришлю тебе сейчас человека — получишь у него продукты. — И цыкнул на меня, притопнув широченным сапогом: — А ты чего нос повесил? Пошёл в избу — матери помогай! Картошку чисти, посуду мой, пресную воду носить в кухню будешь. Ещё неграмотный, поди?

— Я книжки читаю... и гражданские, и божественные..

Он задрал брови на лоб и с удовольствием промычал:

— Вот это добро. Может, и мне что прочитаешь. Не для души спасения, а для потехи разума. В спасенье у меня нужды нет: я сам в силе.

Он взял меня за шиворот и толкнул в открытую дверь. Но рука его была не злая: я почувствовал не грубый толчок, а ласковую шутку. Он даже немного прижал меня к себе, а в комнате пошлёпал по спине.

— Ты, Настя, здесь, как дома располагайся. Работа немудрая — накормить троих мужиков. И сама с парнишкой сыта будешь. Ты бабёнка неиспорченная, скромная — вижу. И парнишка не балованный. Особливо хорошо — чтец. Я ловец по ремеслу, а ловцы — честный, правильный народ. Они как на войне: жизнь у них на ребро поставлена.

Он говорил словоохотливо, наставительно, и густой бас его гулко рокотал в каюте. Должно быть, ему было приятно говорить с молодой, неопытной и доверчивой женщиной, которая слушала его с почтительной готовностью. Это был уже другой человек — не тот страшный и грубый лоцман, который швырял людей направо и налево: в обветренном суровом лице его шевелились добрые морщинки и даже в свинцово-жестких глазах светились тёплые искорки.

— В море всяко бывает: оно и раздольем, и солнышком ласкает, а то и штормом казнит. Меня пять раз с друзьями по морю носило — в штормы, в пургу... А вот жив-здоров. Задумываться над своей судьбой надо. На моих глазах сколь моих товарищей погибло — и посуду разбивало, и льдины дробило. Об этом тоже целый роман написать можно. А я вот и смерть видел, и с бурями боролся, но только себя да людей лучше узнал, кровью плакал, и душа стала мягкосердой. Слезы и лошадь льёт, а жизни не жалеть за товарища, окромя человека, никто не может.

Мать не сводила с него глаз. Сначала она боязливо ёжилась, и у неё дрожали глаза, как в тот миг, когда отец замахивался на неё кулаком. Так же, как и я, она сначала увидела в нём свирепого распорядителя, который будет помыкать ею, как батрачкой. Я же возненавидел его с первого взгляда и с ужасом ждал, что он заперёт нас в этой клетке. И вдруг этот здоровенный, волосатый рыбак, такой страшный с виду, оказался простым и отечески заботливым человеком и как-то сразу раскрыл себя перед нами. Мать застыла от какого-то внутреннего удара, и у неё дрожал подбородок. Я рванулся к ней с судорогами в горле, но она рухнула на колени и поклонилась в ноги лоцману.

— Дай тебе, господи, доброго здоровья за приветливое слово, за добрую душу. Я этого и от родных людей не слыхала, кроме матери-покойницы...

Я был совсем ошарашен и стоял, не отрывая от неё глаз. Не поклон её потряс меня — она сделала это легко и привычно, как сбряд, — а необычная и внезапная встреча с лоцманом. Тревога и страх не угасали во мне: как-то не вязалась доброта лоцмана с его угрожающей внешностью. И мне было неприятно, когда мать поклонилась ему в ноги и растроганно благодарила его за приветливость. Я бросился к ней и подхватил подмышки, совсем не думая о том, хватит ли у меня сил поднять её.

— Не надо, мама! Вставай! Чай, мы не нищие...

— От хорошего человека, Феденька, доброе слово — дар, а в ножки ему за это поклониться не позор. Поклонись и ты.

Я угрюмо насупился и отошёл в сторону. Впервые я почувствовал мучительный стыд за мать. Доброта сильного, оказывается, очень дорого оплачивается: она требует унижения и покорности.

Лоцман покачал головой и пожурил мать, как ребёнка:

— Негоже, негоже делаешь, Настя. Мальчишка правильно говорит. Слово от сердца — не подаяние. Человек должен крепко на ногах стоять и не давать себя в обиду. Падать на колени легко, трудно встать. На ватагах людей не жалеют, а милости на коленях не вымолишь — раздавят. Там каждый сам за себя.

И он, тяжёлый и могучий, вышел из избышки легко и быстро, хотя ноги его в сапогах с широкими раструбами казались очень толстыми и неповоротливыми.

Мать, потрясённая какой-то мыслью, мяла свои дрожащие пальцы. Она смотрела в открытую дверь на густой разлив реки, на далёкие домики, лабазы и пристани, и я видел, как колыхались складки кофты на её груди. Потом она задумчиво подошла ко мне и прижала к себе.

— Вот мы, сынок, и одни... потерялись в чужих людях, как в дремучем лесу. Как жить-то будем? Совсем отрезаны от родных и сожителей. Вот и вольность пришла, а она страшнее беды: мы как птички в клетке. Воля-то сиротам — как неволя: без защиты, без родных людей. Всякий может обидеть. Только на себя надейся да берегись всяк час. И тебя потерять боюсь.

Я обхватил её за поясницу и, едва сдерживая слёзы, надрывно крикнул:

— Да ни за что мы не пропадём! Чай, нас не волкам бросили. Работать будем. Я тоже вместе с тобой буду работать. Мне только Раису жалко.. да Дунярку.. прямо сейчас бы убежал к ним..

А мать с грустной надеждой замечтала:

— А может, сынок, и счастье найдём. Ведь человек не знает, где счастье ему навстречу летит..

Она опаматовалась и всполошилась:

— Давай-ка, сынок, избу-то приберём, а то здесь, как в хлеву. Придёт сюда опять лоцман аль кто ещё — и скажет: «Что это вы прохлаждаетесь? Даром вас, что ли, в хоромы-то впустили?»

И она хлопотливо заметалась по комнате, засматривая во все углы. На бегу она подхватила веник, вынула из-за плиты грязные тряпки, ключья пакли, загремела ведром с длинной верёвкой. Её лицо оживилось, повеселело, глаза заиграли радостью.

— Батюшки, грязища-то какая! Чего они тут делают-то? Словно нарочно и сор и нечисть сюда тащут. Ах, мужики проклятые! Вот ба-сурманы-то!

Её страсть к чистоте доводила её до самозабвения: она могла целый день чистить, убирать, мыть, стирать пыль и уряжать избу неожиданно искусно: то, бывало, развесит полотенца с выкладью на косяках окон, то зимою над картинками и на зеркальце пристроит золотые веночки из соломы, а летом — пучки цветочков, которые походя соберёт на усадьбе и в загуменье. И когда изба как будто засветится, она станет посреди комнаты и, улыбаясь, тихонько запоёт песенку. Ничего сладостнее она не находила в своей ежедневной тяжёлой работе по дому, как горячие заботы о чистоте.

Вот и здесь, в этой избе с ворохами сора на полу, с корками арбуза и дыни, с рыбьими костями на длинном столе, с грязными чугунами и посудой на плите, мать живо забеспокоилась, заторопилась, заахала и, подоткнув подол юбки, бойко смела со стола объедки, мгновенно смахнула веником грязь с плиты и стала быстро подметать пол. Около топки лежали дрова, и она походя положила их в печку, нашла где-то спички и затопила плиту.

— Ах, беда-то какая! — воскликнула она. — Воды-то нет! Беги, сы-

нок, вытяни на верёвочке ведёрко. Нет, боюсь, упадешь через край-то. Сама сбегая. Воды бы нагреть, посуду вымыть, стол да скамьи пропарить, да ножиком проскрести, а то у нихросло на досках-то с полвершка.

Но я сам загорелся от волнения матери и уже бежал с ведром в руке на палубу, к борту баржи. Мне стало вдруг весело, и как-то поновому заиграл в струях и водоворотах безбрежный простор Волги. Как будто на огромных крыльях плыли по реке белопарусники. В синем небе реяли облачка — ковры-самолёты. И впервые я почувствовал, как поёт Волга: это был глубокий и раздольный гул, и в этом гуле стонали далёкие напевы больших толп: «О-йох, да и-йо-ох!..» Казалось, что эти стонущие напевы несёт в себе Волга, и они вырываются из мутной пучины в разливных водоворотах и в тяжёлом её течении. Словно она на своём бесконечном пути по России питала в себя и горе, и радости сёл и городов. Вот здесь, недалёко от моря, она, густая, как масло, медленно плывёт в дымную даль, сливаясь с мутным небом на горизонте, и не может вместить в себе всей громады течения: она разливается по песчаным степям, как море. Может быть, в этом бездонном гуле слышались печальные крики чаек, песни рыбаков на белопарусниках. И когда я бросил ведро на верёвке за борт, мне почудилось, что Волга сердито отшибла его в сторону, и оно тихо поплыло на боку вдоль просмолённого борта баржи. Я снова бросил ведро, но оно попрежнему кособоко колыхалось в водоворотах.

Большая волосатая рука, загорелая дочерна, вырвала у меня верёвку, бросила ведро в воду и дёрнула его вбок. Ведро кувырнулось вверх дном, задрожало и потонуло, потом вынырнуло и, разбрызгивая воду, легко взлетело вверх, на палубу. Около меня стоял длинноносый мужик с кудрявой бородкой, в таких же сапогах раструбами, как у лоцмана, в кожаном картузе, и улыбался мне во весь рот.

— Вот как надо черпать-то, дружок. Ты ведро-то подсеки, оно и захлебнётся, тут и тащи его. Ты, выходит, кашеваркин сынишка будешь? Вот и ладно. А я принёс матери свежей рыбы и пшена. А сейчас за дровами с ней пойдём. До Жилой-то Косы — плыть да плыть.

Он нагнулся, чтобы взять ведро, но я вцепился в дужку и оттолкнул его руку. Улыбаясь, он подмигнул мне и положил широкую руку на моё плечо.

— Ну, валяй, тащи, ежели сам взялся. Как имечко-то твоё? Фёдор, значит? Сурьёзное имя. А меня зовут Корней. — Он засмеялся. — Корнил сам не ел — купцов кормил.

— А зачем купцов кормил? — озадаченный, спросил я его.

— Так уж дело поставлено: работаешь густо, а в кармане — пусто. Купец всего тебя промыслит и чашку-ложку оближет. Зато он и промышленником называется.

Мать стояла перед плиткой и косарём соскребала с неё нагоревшую грязь. Хлопотала она с удовольствием: её лицо разрумянилось, а глаза блестели горячо. Я не успел поставить ведро с водою около плиты, как она быстро подхватила его и вылила в котёл, вмазанный в печку.

— Беги ещё за водой, сынок: воды-то много надо. И пол мыть, и посуду парить, и обед варить...

Корней следил за нею и улыбался.

— Ты уж больно кипяتيشся, Настя. Дело — не к спеху. Не торопись — спотыкаться будешь. Пойдём за дровами, покажу, где они лежат. И приварок там же.

Мать торопливо одёрнула сарафан, поправила платок и засмеялась.

— А я очень даже люблю, чтобы дело в руках горело. У меня уж такой характер: не одно, а все дела в одночасье делаю. Хорошо тогда и рукам и сердцу...

Корней неодобрительно покачал головой и надвинул кожаный картуз на брови.

— Управители таких на ватаге любят. Да только народу это несходно. А с народом надо итти в ногу и жить сообща. Заторопишься — одна останешься.

— Я работаю, как мне хочется. Без работы-то я несчастная: больная бываю.

— Эх, хорошая баба!.. — откровенно восхитился Корней и крикнул от удовольствия. — Жалко только тебя, молоденькая, неопытная.

Он пошёл к двери, прихрамывая и отбрасывая в сторону левую ногу. Мать выбежала вслед за ним и на бегу прихорашивалась, поправляя платок на голове. А мне было грустно: зачем она хорошится перед Корнеем? Зачем хвалится своей работой и хочет показать, что работница она — лучше всех? Она перед лоцманом хорошилась, а теперь перед этим хромоногим словно наряжается. Нечего набиваться своей готовностью угодить им: она хороша и без угодливости.

Я выцел с ведром на палубу и ревниво поискал глазами мать, но она с Корнеем скрылась, очевидно, за углом домика. За бортом вода взрывалась водоворотами и бурно разливалась в разные стороны, вскипая пенной, со звоном и шумом, и мне чудилось, что она играет, смеётся и манит к себе, как живая. Водовороты уплывали, а на их месте взрывались и огромно растекались другие, сталкиваясь друг с другом, разрывая друг друга, клокоча и бушуя, взлетали фонтаном и плескались в просмолённую стену баржи. Воздушный простор дрожал, как марево, и сливался с блистающим простором реки. Радужные пятна и ленты играли на воде, дышали, потухали, вспыхивали, и казалось, что Волга, необъятная, как небо, величаво разряжена драгоценными самоцветами. Очень далеко, на горизонте, мерцали пристани и какие-то сооружения, похожие на строительные леса, чернели баржи, отдыхали белые пароходы, толпились маленькие домики и длинные казармы, громоздились свалки неразличимых грузов на берегу. И всё это не отражалось в кипящих струях, в водоворотах и зыби, а плескалось, бурлило вьюгой чёрных, белых и голубых пятен в вихрях солнечных вспышек и ослепительных искр.

Я у борта с ведром в руке застыл, охваченный восторгом и смутной грустью. Всё было необъятно и воздушно, и я чувствовал себя невесомой пылинкой в этом сказочном просторе.

Отнулся я от хриплого крика лоцмана за моей спиной.

— Готовься, ребята! Сейчас прибежит пароход.

Я бросил ведро за борт и зачерпнул воду так, как учил меня Корней. Ведро потонуло, и я стал тянуть его за верёвку. Но когда оно вынырнуло из воды, я почувствовал, что вынуть его не могу. Кое-как я дотянул его до борта, но подхватить дужку не было сил.

— Хоп!

Ведро вылетело из-за барьера и опустилось на палубу. Передо мной стоял высокий кудрявый человек в плохоньком картузе, в длинной синей рубахе, подпоясанный ремешком, белолицый, румяный, с густой русой бородкой, которая подковкой охватывала его щёки и подбородок. Он смотрел на меня пыгливо и обличительно строго, но золотистые глаза его лукаво смеялись.

— Ну, взялся за гуж, да не дуж, курносый? Давай-ка вместе водиливами будем.

Я хотел поднять ведро, но он отстранил мою руку, подхватил его и неожиданно закружил колесом перед собою. Сделал он это так легко и ловко, словно ведро было пустым.

Я глядел на него и смеялся. Засмеялся и он, довольный своим фокусом. Зубы у него были белые и крупные, а глаза прозрачные и играли задором. Я сразу почувствовал, что он никогда не злится и нет у него в душе недобрых мыслей и мстительных обид.

Он быстро, словно играючи, отнёс ведро в каюту и вылил воду в котёл. Потом выбежал опять на палубу, бросил ведро за борт и лёгким взмахом вышвырнул его вверх. Так он с весёлым смехом в глазах налил полный котёл воды, а потом ведро с водою поставил на стол. Мне чудилось, что и мокрое блистающее ведро тоже отвечает ему улыбкой.

Мы вышли на палубу и остановились у борта. Он снял картуз и поглядывал на небо и на Волгу. Разливно, раздольно заиграла гармония серебряными трелями со звоном колокольчиков.

— Играть-то какой мастер! — простонал он, морщась как от боли. — Ну и гармонист! Вся река стонет... Эх, ты-ы! — Он прислушался, крикнул и махнул рукой. — Вот оно, мастерство-то! С любовью мастерство! Слово человек на крыльях летает. Смотри, какие чудеса мастерство-то делает! Без человеческого мастерства для души свободы нет. Я вот бондарь... тоже мастер... клёпки да обручи, топорик да скобель, и стружка, как золото. А слушаю вот гармонию-то — и сердце играет. Я тоже за работой песни пою. Когда приедем, приходи ко мне в бондарню — не налюбуйешься.

— Я со своим топориком к тебе приду, — похвастался я.

— О? Ну, так я тебя научу обручи набивать. Подмастерьем моим будешь. Зови меня дядей Гришей — Григорий Петрович Безруков, значит. Безруков-то Безруков, а руки-то вот они! Золотые руки — хвалюсь, не для тебя, а для совести.

Он пошёл на нос баржи — туда, где разливалась гармония. Высокий, с широкой спиной, в плохоньких сапогах, шагал он легко, щеголеват и размахивал руками, играя пальцами. Русые кудри его упруго завивались на околыш картуза. Я смотрел на безбрежную Волгу, на блистающую её зыбь — и думал о пережитых встречах. Почему женщины на берегу — Степанида, Люба, Раиса — так пугали нас с матерью и так угрожающе говорили о людях? А вот здесь, на барже, эти люди тоже поплывут в море, они тоже — ватажники, но не обидели нас, не оглушили грубым окриком. Они только непривычно новы и совсем не похожи на мужиков, которые грудилась на корме.

13

Мы плыли вслед за буксирным пароходом, который тянул нас на толстом и очень длинном канате, и мне казалось, что чумазный пароход был страшно далеко — не меньше, чем за версту. Он плыл впереди, как огромная серая утка, и, растопырив крылья, бил концами их по воде, а вода бушевала и убегала назад к нашей барже двумя волнистыми дорогами. Баржа грузно утопала в густой тёплой воде, а волны мягко плескались в её жирные бока. Позади, за кормой с диковинным рулём, похожим на ворота, и длинным бревном-воротилом, привязанным верёвками к бортам, кипел широкий взбаламученный след.

Мимо едва заметно и очень далеко плыли песчаные берега и отмели с посёлками, плоты на сваях и лабазы, сонные баржи и лёгкие белопарусники. Плыли навстречу буксирные пароходы, которые, играя колёсами, тащили за собою нефтеналивные баржи. Впереди густо зе-

ленели кудрявым кустарником и зарослями камыша острова, и Волга растекалась и вправо, и влево. Наш пароход поворачивал в широкий проток, но и он разливался так же безбрежно, как сама Волга. Я бродил по палубе и, не отрываясь, смотрел на эти унылые острова, на далёкие песчаные степи в лиловой дымке, на блистающие протоки и озёра в мерцающих маревах. Все эти пустынные картины казались мне сказкой, которую скучно и сонно рассказывала мне моя маленькая жизнь. Вот по песчаным прибрежным волнам лениво, с натугой шагают один за другим бурые верблюды и несут на своих горбах какую-то кладь или везут за собою арбу на громадных колёсах. С реки проходили через палубу волны свежей прохлады, а с жёлтых песчаных бугров и морщинистых разнин в зелёных ключьях колючей травы налетал сухой и душный зной, едкий от обжигающей пыли.

Я бродил по барже от кормы до носа. Солнце горело в голубой раскалённой вышине, и смола на палубе плавилась, лопалась, словно кожа огромного жирного чудовища на огне, и прилипала к моим босым ногам.

Люди тесной грудой сидели и лежали на своих пожитках и томились от жары. Все они казались мне грязными, пыльными, раздавленными нуждой, как нищие. Кое-где патлатые и бородатые мужики играли в чумазные карты, одни хохотали, другие ругались. С весёлой злостью в глазах какой-нибудь бородач, стоя на коленях, хлестал пучком карт по красному носу другого лохматого бородача. Кое-где в кучах тряпья мужики и бабы деловито и строго ели красные ломти арбуза или жёлтые, как масло, дыни. Среди этой тесно сбитой людской толпы находился бывалый человек, который самодовольно рассказывал что-то, а его с любопытством слушали мужики. Кто-нибудь из них тыкал пальцем в его грудь и, хитренько усмехаясь, вскрикивал:

— Ты, мил человек, об карсаках не бай.. и об неводах не калякай.. Нас работой не испугаешь. А людей разных — татар этих аль персияшек — и мы видали. Ты о харчах скажи. Да и бахилы вот — свои аль хозяйские?

— На бахилы не зарься, — весело открикивался человек. — На бахилы не хватит силы. Походишь и в опорках.

Мне больше нравилось наблюдать людей на передней палубе. Там народ подобрался разбитной, и всегда стоял оживлённый говор и смех. На самом носу торчал толстый просмолённый пень, обмотанный канатом, и этот канат, дрожа и поскрипывая, с жутким напряжением уползал в воздух, к далёкому пароходу. Свёрнутые канаты, как бочки с набитыми сплошь обручами, туго свитые из множества бечёвок, стояли рядом с деревянными тумбами. Огромным железным крестом лежал якорь у борта, а около него — куча ржавой цепи. Здесь я постоянно видел бондаря Гришу, который словоохотливо разговаривал с соседями. Гармонист в шляпе набекрень, в пиджачишке, и краснощёкая женщина с весёлой усмешкой в голубых глазах сидели на скамьях за стареньким скрипучим столиком, который они ухитрились где-то достать. Крупная курносая девка с застывшим лицом, их подруга, неподвижно сидела на палубе, обхватив руками колени, и тупо смотрела на опущенное бревно мачты, которое лежало узким концом на полукруглой крыше избы. Гармония с медными пуговками ладов и серебряными колокольчиками всегда стояла, как ларчик, на столе, и мне казалось, что она живая: вот сейчас встрепенётся и поползёт цветастыми мехами в руки парня. Приходил сюда и Корней, как свой человек, садился за столик рядом с гармонистом. Он вынимал из кармана кожаных штанов манерку с же-

стяной кружечкой на горлышке, и они вместе с гармонистом молча выпивали по одной чарке.

— Григорий! — сердито звал он бондаря, но тот отрицательно качал головой. Женщин Корней никогда не угощал и совсем не обращал на них внимания. Но подруга гармониста свысока посматривала на него и дразнила низким певучим голосом:

— Корней — пенёк без корней... надеть на тебя шляпу — будешь чучело. Угостил бы меня да поцеловал в сахарные уста.

Здесь же сидели на тугих узлах или чаще всего стояли у борта две девушки: одна — высокая, чернобровая, с дерзкими глазами и выпуклым лбом, другая — белокурая, худенькая, с нервным лицом, остреньким носиком и крепко сжатыми губами. Их называли «хохлушками». Высокая — Галя, худенькая — Оксана.

Лоцман сюда не заглядывал: он имел дело только со своей артелью.

Мать начинала хлопотать около плиты с раннего утра, нетерпеливая, взволнованная, а я помогал ей: чистил картошку и рыбу, мыл посуду, подметал пол и приносил из трюма дрова. Приходил Корней и, улыбаясь, говорил шутливо и по-свойски:

— Ну-ка... на помощь я пришёл к твоему водоносу, Настя.

— Да я уж сама, Корней, с водой-то бегаю: не под силу ему... да и боюсь, как бы за борт не упал.

— Ну, так к себе в водоносы принимай. Вижу, больно уж хлопочешь сгоряча. На ватаге тебя такую рыба слопаёт.

Эта шутка Корнея впервые вызвала у меня оторопь: из моря сплошными косяками выбрасывается на берег рыба и алчно впивается в мать, которая приманила её своей горячей хлопотнёй. Она впивается в её ноги, руки, громоздится вокруг неё трепещущими кучами, растёт живым, судорожным серебристым курганом и хоронит её в своей холодной прожорливой массе. Шутка Корнея была, вероятно, по сердцу матери: она беспечно улыбалась ему и отвечала весело:

— А я за работой песни люблю петь. Никакая рыба не съест, а плясать будет.

Так каждый день с утра Корней носил воду в кухню, наливал котёл и ставил полное ведро на стол. Мать варила щи из солонины или уху, пшённую кашу и жарила картошку. К обеденному часу я мыл мокрой шваброй пол, начисто протирал стол и нарезал в глиняную чашку помидоров, огурцов, луку и поливал постным маслом. Лоцман Карп Ильич всегда шёл к столу первым, за ним Корней и Балберка. Они были рыбаки, и им, как опытным мореходцам, поручено было вести на промысел баржу, доверху нагружённую товарами для хозяйской лавки, инструментами для плота, железом, солью, мукой, клёпками, обручами. Всё это было доверено Карпу Ильичу, и он держал себя, как хозяин: строго, с достоинством приказывал, а за обедом не позволял болтать попусту. Все они казались мне необыкновенными, загадочными существами, которые таили в себе страшную силу, неведомую другим людям. Все они были похожи друг на друга: ходили в кожаных бушлатах и картузах, шагали тяжело, лица у них были жёсткие, бородатые, глаза твёрдые и зоркие. Неразговорчивые и как будто равнодушные друг к другу, за столом они больше молчали, а когда перекидывались пустыми словами, думали о чём-то своём, и слова не отвечали их мыслям. Они никогда не вспоминали о своих рыболовных походах и не жаловались на пережитые бедствия, но с матерью шутили неумело, и громоподобно смеялись, когда она робко пятилась назад. Я видел, что она нравилась им: глаза их добрели, они любовались её бойкой расторопностью, певучим

приветливым голоском, гибкой её фигуркой и какими-то необычными для бабы праздничными движениями. Она ставила на середину стола глубокую глиняную чашку с жирными щами или ухой и перед каждым услужливо клала деревянную ложку.

Карп Ильич приказывал, как глава семьи:

— Настя, чего стоишь? Садись к столу, кушай. А ты, курносый, подсаживайся к Яфимке — к Балберке: он моложе всех. И будем мы, как колокола на колокольне — от благовестного до малинового.

Мать почтительно статилась и распевно отказывалась:

— Чай, мы свой черёд соблюдаем, Карп Ильич. Кушайте на здоровье. Вот накормлю вас, а там и мы сладкие остаточки поедим.

Карп Ильич с сердитой лаской хрипел:

— Садись, коли велят! У нас — артель, а ты с сыном в артели. Ты это своё деревенское покорство брось, забудь его. Здесь народ дерзкий, вольница. Вот и свои бабы пути с головы сдери. Садись смелей со мной рядом.

Рыбаки раскатисто хохотали.

— Плыви, шемая, к осетру!

Но Карп Ильич как будто не слышал ни выкрика, ни хохота. Так же поучительно он говорил, приглашая мать взмахом руки:

— Видала бабёнку-то с девкой и парня с гармонией? То-то. Они и перед самим хозяином с шиком пройдут, себя покажут. Их не тронь. Тоже вот и хохлушки. Не девки, а крапива.

Мать стеснительно садилась рядом с Карпом Ильичём, а я — с Балберкой, молодым, толстогубым парнем, с тёмным пухом на щеках, с маленькими острыми глазами и вздёрнутым носом. Нижняя челюсть у него была квадратная, широкая и сильная, и, когда он ел, она почему-то трещала у него. Роста он был небольшого, но голова была крупная, а уши торчали, как крендели. Со мной он не разговаривал и не замечал меня: вероятно, ему было обидно, что лоцман сажал меня рядом с ним. С этого часа он норовил ущипнуть меня или, желая показать, что он шутит, очень больно трепал за волосы. Как-то я не выдержал и ткнул его кулаком в подбородок. Корней захохотал и подзадорил меня:

— Ловко поддел судака под жабры! Не давай спуску!

Но мать разволновалась и рассердилась:

— Да ты с ума сошёл, бесёнок! Чего это с тобой сделалось? Сейчас же уйди из-за стола и глаз не показывай!

Она так разволновалась и покраснела от стыда, что у неё выступили слёзы. А я крикнул в отчаянии:

— А чего он щиплется да нос оторвать хочет!

Корней захохотал во всё горло. Балберка усмехался, играя озорными глазками. Но Карп Ильич хладнокровно и испытующе посматривал то на меня, то на Балберку. И когда я встал, сдерживая слёзы, чтобы выйти из-за стола, он рукою приказал мне сесть.

— Ты, Настя, не выходи из себя, не обижай мальчишку. Балберка оказался трусом — вредит под столом, из-под полы. Мальчишка ему при всех, без боязни, сдачи дал. Вот он, малолеток-то, и доказал тебе, Яфимка, что ума у тебя меньше, чем у него. А драться за столом да на старшего нападать — у нас не позволено. Нынче ты Балберку ударил, завтра Корней, а послезавтра меня. Ты, Фёдор Стратилат, должен ко мне за праведным судом обращаться. А чтобы вперёд неповадно было, вот тебе наказанье: нынче вечером читать мне будешь.

Балберка попрежнему ел с аппетитом, усмехался и играл глазами. Корней посматривал на меня с лукавой улыбкой и одобряюще подмигивал.

— С этого дня я его рядом с собой сажать буду, Анику-воина. Хороший рыбак из него будет.

— Нет, — сурово возразил Карп Ильич, — он с Балберкой сидеть будет; пускай поучатся друг у друга, как надо вместе жить и как вражду дружбой сделать. Вражда отдаленьем сильна, а дружба — близостью. Недаром я тебя, Яфимка, Балберкой назвал: поверку плаваешь — пробкой.

А мать, красная, с горячими глазами, надломленным голосом говорила:

— Я и не знаю, чего это с ним сделалось. Никогда он даже слова дерзкого старшим не говорил, а сейчас и кулаком замахал.

Корней смеялся и подмигивал мне.

— Ничего, Федяшка, не робей. Обиды не затаивай, а всегда сдачи давай. Эка, какого барбоса смазал! Смелей живи, милок, да по-своему. Большие-то хотят, чтобы малыши были такие же, как они, заранее хотят, чтобы они седые да покладистые были. А у детей — свой нор. Своя болычка больнее, а свой кулак — надёжней.

— Ну, давай помиримся, — снисходительно сказал Балберка с прежней ухмылкой. Он смотрел в свою ложку и как будто не слышал, что говорили Корней и Карп Ильич. Я уже заметил, что он ни на кого не смотрел и как будто пропускал мимо ушей даже приказание лоцмана, хотя выполнял эти приказания точно. С виду ленивый, нагруженный своей кожаной одеждой, он болтал длинными руками и будто занят был только своей думой, которую никак не мог додумать. И всегда кривил рот от усмешки про себя, и в маленьких глазах его, сдвинутых к носу, поблёскивали острые иголки. Мне казалось, что он забавляется только своими мыслями, а то, что происходило около, совсем его не интересовало.

Однажды он, проходя по палубе, неожиданно притиснул меня плечом к стене надстройки и засверлил зрачками.

— Ну что, боишься меня? То-то, вижу... Меня все чуют. Издали глаза пялят. Меня недоноском считают, а я ловчее всех.

Он говорил правду: я вспомнил, как поднимали якорь на барже. Четверо матросов, напирая на рычаги, вставленные в чугунную голову ворота, наматывали на его туловище ржавую цепь. Цепь скрежетала и ползла медленно, как чудовищная многоножка, позванивала, прыгая по зубцам. С ворота цепь собирал и со звоном укладывал в круглый ворох Балберка. Когда из-за борта показалась мокрая голова якоря с толстым кольцом, матросы осторожно, толчками, стали вытягивать его могучее тело на палубу. В тот момент, когда якорь уже перевалился через борт, явился Карп Ильич и, не взглянув на матросов, прошёл мимо, к носу — проверить, готов ли канат к спуску. Якорь с грохотом упал на палубу под испуганный рёв матросов:

— Берегись!

Карп Ильич кубарем кувырнулся в сторону вместе с Балберкой. Пассажиры дружно захохотали. Лоцман вскочил на ноги и рывкнул:

— Это какой шарлот дурака валяет? Голову сорву!

Балберка стоял около него, озираясь, без обычной ухмылки, без картуза, серый от потрясения.

— Ежели бы я не успел, дядя Карп, ты без ног бы остался... а то и пополам перешибло бы. Видишь, якорь-то куда брякнулся?

Пассажиры уже не смеялись, а вместе с матросами бросились к Карпу Ильичу. Кто-то подал ему картуз, кто-то стирал с его кожаного пиджака сор, кто-то сочувственно кряхтел:

— Ну, счастлив твой бог... Экая махина! Вдрызг бы раздавила! А мы думали: что за представление? Ну, и молодчина парень — молоньей метнулся!

Карп Ильич молча взял картуз, старательно надел его, отряхнулся, смахнул пыль с пиджака, сурово оглядел испуганных матросов и спокойно посоветовал:

— Надо, ребята, глядеть да рассчитывать. Вы — не из трактира. Давно ли с посуды-то на берег сшли?

Матросы смущённо оправдывались:

— Чай, не впервой якоря-то тянем.

— То-то что не впервой... — спокойно согласился Карп Ильич. — А глаза да сноровку в трактире пропили?

— Прямо невдомёк, как это случилось...

Карп Ильич пошёл своим тяжёлым шагом назад. На Балберку он не взглянул и не сказал ни слова. А он, Балберка, напялив на лоб картуз, пошагал к якорю. В глазах его опять играла пронзительная усмешка.

Второй случай был смешной. Как-то во время обеда из-за плиты выбежала большая крыса. Она нахально и неторопливо пробежала вдоль стены, волоча свой грязный хвост и поблёскивая злыми глазами. Мать в ужасе вскрикнула, но крыса не испугалась. Балберка отшвырнул меня и мгновенно, как по воздуху, пролетел через комнату и грохнулся на пол. Крыса шарахнулась обратно, но вдруг исчезла под телом Балберки и завизжала. Матросы хохотали, смеялся и Карп Ильич. Все перестали есть и, задыхаясь от смеха, следили за вознёй Балберки. А он неторопливо встал и, раскачивая мёртвую крысу за хвост, брезгливо бормотал:

— Ишь, сволочь поганая! Не звали в гости — так сама явилась. Вот нахальная тварь!

Он вынес её из комнаты и бросил за борт. Мать выскочила из-за скамьи, схватила ковш и зачерпнула воды из котла. Когда явился Балберка, она крикнула ему:

— Иди сюда, Яфим: руки мой! Мылом, мылом погань-то сгони!..

Все давились кашей от хохота.

— Ловко, Балберка, ничего не скажешь! — похвалил его Корней. — Побежим в море — будешь тюленей в Каспии ловить.

Карп Ильич с серьёзным видом решил:

— А я ещё думал кота взять на баржу. Куда тут коту-то до Балберки! Знаменитый крысолов!

Все опять захохотали. А Балберка мыл руки мылом и мычал хвастливо:

— Спроть меня никто не поспорит... Я не то ли что крысу задавлю да за борт выброшу, я и хозяина кувырну в Волгу, так что он и не заметит...

— Ну, перед хозяином-то ты, хвастун, на задних лапках будешь плясать, — хитро подмигивая, обличил его Корней. — Мы перед хозяином-то все молчим да пузу его кланяемся.

— Пузо — это пузырь, — самодовольно болтал Балберка. — Давайте на спор: я на его пузе, как на барабане поиграю. И он же мне полтинник подарит.

Карп Ильич сердито выпучил глаза и угрожающе поглядел и на Корней, и на Балберку. Он прохрипел как будто равнодушно, но наставительно:

— Чего болтаешь, молокосос! Хозяина надо уважать: он нам работу даёт.

Корней в тон ему подхватил:

— Разуваёт, раздевает, и кусок хлеба изо рта дерёт. Ты, Карп Ильич,

двадцать годов у него горб ломаешь. Во льдах, в штормах смерть видал...

— Мало ли что я видал, — согласился Карп Ильич. — А крысолову рано ещё над хозяином глумиться. Пускай с моё послужит.

— Пускай послужит, — засмеялся Корней. — Хозяин ещё больше брюхо отрастит.

Я слушал этот их разговор, и мне было непонятно, почему Карп Ильич защищает хозяина, которого я видел пьяным на пароходе и который озорничал с народом, а потом поехал кутить в Царицыне с вольной бабёнкой и забубёнными гуляками. Я видел, что Корней не согласен с ним и не почитает хозяина, а Балберка даже изображает его смешным уродом.

И вот когда Балберка прижал меня к дощатой стене, я сначала окрысился, ожидая от него какой-нибудь каверзы. Но он вдруг обезоружил меня своим дружелюбием:

— Дурачок, чего ты ершишься? Ты меня не бойся. Это хорошо, что ты сдачи даёшь. Я ловкий и никогда нигде не пропаду. Никто меня голыми руками не возьмёт. Я — не муха: никто меня не прихлопнет. А ежели я тебя дразнил, щипал да за нос хватал, так это я для того, чтобы тебя испытать, какой ты нравный. Мать у тебя ловкая, а ты на что годный? Ну и вижу: характер у тебя горячий. А теперь мы с тобой дружить будем. Пойдём, я покажу тебе, какие у меня разные принадлежности.

Большой своей рукой он подцепил меня под локоть и толкнул в дверь другой половины избы. Комната была такая же, как и кухня, но пустая: на полу лежали кошмы, а на них — клетчатые одеяла и грязные разноцветные подушки, а у стен стояли зелёные сундучки, обитые жостью. К окну был приставлен стол, на стене висела на гвозде жестяная лампа. В углу, на полочке, стояла иконка в фольговой ризе, засиженной мухами. Вокруг стола стояли старенькие табуретки. По стенам развешены были чёрные кожаные бахилы, жутко похожие на удушенников. Здесь было тихо, глухо и пахло пылью и рыбой.

Балберка почему-то погрозил мне пальцем. В глазах у него уже не играли ехидные искорки: в них застыла тревога и ожидание. Лицо его было очень серьёзно, строго, словно в этой комнате таилась какая-то опасность.

Он со звоном открыл сверкающий жостью новый сундучок и махнул мне рукой. Внутри сундучок был перегорожен дощечками на несколько колодцев: в одном лежали свёрнутые сетки и блестели, как живые, рыбки в пучках верёвочек, в другом тоже рыбки, похожие на птиц — со сложенными крыльями, в третьем, самом большом, стояла чайка, а в четвёртом кучей лежали куклы — парни, девки. Он выхватил откуда-то белую птичку и бросил её к двери. Птичка бойко вспорхнула и стала летать по комнате, кружиться, метаться и взад и вперёд, и вверх и вниз. Балберка следил за нею с радостной улыбкой и в восторге вскрикивал:

— Ага, так-так!.. Ну-ка, ну-ка, выше, к потолку!.. Не убейся, дурашка!.. Ну, да тебя не учить летать-то.

И вдруг она неожиданно села ему на руку. Он хвастливо засмеялся, бережно погладил её и положил обратно в сундучок.

— Э-эх, ты-ы!.. чтоб тебя тута-а!.. — поражённый, вскрикнул я и невольно бросился к сундучку. — Да как она летает-то?

Но он осторожно и настойчиво отстранил меня от сундучка и захлопнул его.

— Нельзя. Сроду не скажу. Это я сам додумался. Ежели скажу — всё пропало. В секрете-то всё дело. В том-то и загадка. А ежели загадки

не будет — не будет и интересу. Надо, чтоб человек диву дался. Тогда и башке работа. Я страсть не люблю, когда люди снулые: только небо копят да скуку наводят. Видишь, какое у тебя лицо-то стало хорошее. А мне от этого и самому вольготно. Ты гляди, что я тебе ещё покажу.

Он вынул чайку, порывисто взмахнул ею, и она мгновенно расправила крылья. Кургузенький хвостик её зашевелился.

— Это уж — большая. Я её пушаю только один на один. С ней ещё возни много: инóместо она не слушает меня. Она у меня будет долго летать и высоко подниматься, когда ежели ветерок. А сейчас она ещё не сотворилась.

Он положил её на старое место и вынул связанный пучок кукол. Но меня привлекли сверкающие рыбки — такие же, как плотички в нашей речке Чернавке.

— Это — обыкновенное дело, — отмахнулся от меня Балберка. — Этой блесной я рыбу ловлю. А вот эти молодцы да молодки сейчас плясать пойдут, а то они совсем стосковались. Я их взаперти держу уж сколько дён... Ну, ребята, выходи! И гармониста подхватывай! Приударьте хорошего трепака, чтобы баржа ходуном заходила!

Мне почудилось, что куклы сами собою выскочили из сундука и попрыгали на пол. Я заметил только, как Балберка, став на корточкѣ, зашевелил пальцами над куклами, а они с гармонистом в середине беспокойно зашевелились, подталкивая друг друга. Потом в кружок выбежали парень и девка и стали перебирать ногами, взмахивать ручками, изгибаться, крутиться. Гармонист стоял в кругу, играл и тоже приплясывал. Когда один парень начал плясать впрысядку, вся толпа закружилась, замахала руками. Началась общая пляска. Я смотрел на эти куклы — и видел их живыми. И потому, что они веселились и плясали, как живые, это было так забавно и увлекательно, что я хохотал до слёз. И Балберка смеялся, пошевеливая пальцами, и не отрывал глаз от своих людишек. В комнате было одно окошко с пыльными стѣклами, и серенький свет таял в воздухе, а в углах сгущался вечерний полумрак. Мне хотелось увидеть, на чём держатся куклы и как Балберка распорядился ими. Ясно было, что все эти фигурки — на ниточках, но ниточки совсем не были видны, как я ни старался поймать их глазами. Мне особенно было удивительно, что каждая кукла вела себя по-своему: она не повторяла движений других, а плясала и махала руками, как ей хотелось.

— А теперь они попарно танцевать желают, — серьёзно пояснил Балберка. — Гармонист-то польку заиграл. Гляди, как кавалеры благородно кланяются барышням.

И он губами заиграл польку. Парни жеманно поклонились девкам, а девки гордо задирали головки. И мне вспомнилось, как Дунярка, поднимая платьишко пальцами, изгибалась в красивом поклоне и пела:

— Чихирь в уста вашей милости!..

Я задыхался от хохота и никак не мог оторвать глаз от этого захватывающего зрелища.

Парни подхватили девчат и закружились парами, не мешая друг другу, минуя друг друга, перебирали ножками в такт музыке.

— Ну, браво, браво! — похвалил их Балберка и строго приказал: — Поиграли, и довольно! Идите по домам! Делу время — потехе час.

Он схватил кукол в пригоршню и ласково положил их в сундук. И опять я не видел, чтобы он снимал нитки с пальцев. Это было загадочно, и я долго не мог успокоиться. А он, довольный и счастливый, смеялся. Это был совсем другой человек — не тот, которого

я видел за столом и за работой: чудилось, что лицо его светилось, а в глазах сияло радостное раздумье.

— Ну как, брат? Здорowo я разбередил тебя?

— Сроду не забуду! — в сильном возбуждении крикнул я. Должно быть, этим своим волнением я умилил его: он снял картуз, засмеялся, взъерошил сбитые в войлок волосы и вытер кожей картуза пот со лба.

«Он тоже, как маленький, — с удовольствием подумал я. — С ним водиться хорошо. Я у него выпитаю, как такие игрушки делать».

В углу я заметил красивую коричневую рогатину. Её металлический наконечник блистал серебром и остро вонзался в пол, а наверху, на другом конце, длинной петлёй висел ремень. Я подошёл и хотел поднять её одной рукой, но она оказалась тяжёлой. Почудилось, что она задрожала у меня в пальцах. Балберка, должно быть, увидел испуганное удивление на моём лице и с гордостью похвалился:

— Это — моя работа. Я сам её сделал, выточил из дубовой слегги. Она сто лет служить будет.

— А зачем она тебе? Чай, ты не старик... — озадаченно насмешничал я. — А на льду с ней играть, так ты уж большой.

— Чудачок ты, барашка-кудряшка!.. Да разве с рогатиной играют? С этой рогатиной я с Жилой Косы до Астрахани да обратно на чунках скольз раз летал. Тыщи три вёрст покрыл. Управляющий только меня кульером и посылает. Лучше меня на чунках — на салазках — никто не ездит. А потом — ну-ка! — в мороз, в непогодь полети-ка по морскому льду... Хоть кому страшно. Ведь до Жилой-те от Астрахани — почитай пятьсот вёрст. Сейчас вот, перед осенью, мы на барже ползём, а зимой лёд здесь — аршин толщины. Вот я и лечу по льду на чунках. Стою на них и промеж ног рогатиной этой себя подталкиваю. Вот так, смотри! Дай-ка мне рогатину!

Польщённый его приказанием, я радостно схватил рогатину и хотел подбросить её кверху, но она оказалась для меня очень тяжёлой, словно железная. Я храбро поднял её перед собою и дрожащими от напряжения руками поднёс Балберке.

— Молодец! Не уронил — сладил! — похвалил он меня, и никогда я, кажется, не был так счастлив, как от похвалы этого неуклюжего парня. — Эта штукавина, барашка-кудряшка, сто сот стоит. Такой рогатины нигде в округе не сыщешь.

Он легко подкинул её и перебросил с руки на руку, потом ткнул между ног, и, выбросив руки с рогатиной, наклонился, воткнул наконечник в пол и сделал вид, что порывисто оттолкнулся вперёд.

— Вот как! Видел? Я лечу на чунках быстрее ветра. За мной снова волки гнались... Куда там! Я — круто в одну сторону, да в другую, а они — кувырком, да шерстью лёд подметают... А тут ещё друг дружку стали грызть от досады. Без отдыха летишь от поставы к поставе — целых пятьдесят вёрст... И остановиться нельзя: хватит морозом, да пронижет ветром — пиши пропало. А тут без передышки — легко. Махай себе рогатиной, а чунки сами летят по чистому льду, аль по накапанной дорожке, промеж вешек. Красота! Всё сияет и бел-кипень снег, и ты — словно птица в небесах...

Он изгибался, взмахивал рогатиной и вдруг всматривался в меня невидящими глазами и крепко сжимал зубы. Нижняя широкая челюсть его становилась костистой и выпирала под ушами бледными шишками.

(Продолжение следует.)



ЮРИИ ЕФРЕМОВ

★

ЗОДЧИЙ МИРА

Говорили в те дни
в батареях и ротах,
что стояли в лесах,
что лежали в болотах, —
говорили о том,
не молву повторяя,
что видали его
у переднего края.

...Он ходил не спеша
по окопам пехотным
и беседовал с каждым,
как с другом, охотно:

шлют ли письма из дома,
здоровы ли дети,
и о том, что не сладко
солдату на свете.

И курил свою трубку,
и хвалил за отвагу,
и велел, чтоб солдаты
от немца — ни шагу.

И стояли —
ни шагу назад! —
ленинградцы,
и смотрели на запад —
на Берлин! —
сталинградцы.

Ко всему привыкали —
на то и солдаты! —
спать в часы артобстрела
под хлипким накатом,

и не спать, если надо,
и сутки, и двое,
жить от почты до почты,
от боя до боя.

...От реки Лучесы
и от Западной Лицы
привели нас дороги
до нашей границы.

За неделей — неделя...
Докатилась лавина
из-под Курска и Брянска
до улиц Берлина.

Отгремели
весенней грозой
орудья,
полной грудью вздохнули
усталые люди.

...Говорили, что шёл он
на запад с войсками,
что при нём над рейхстагом
развёрнуто знамя.

Много сложено песен,
а сколько их сложат!..

Для живущих на свете
нет на свете дорожке
и надёжнее друга,
человека роднее,
что приветствует нас
в дни торжеств с Мавзолея.

Из сыпучих снегов
Туруханского края
пролегла до Кремля
путь-дорога прямая,
через Смольный вела,
на Кронштадт и Царицын...

Как и мы,
будут этой дорогой гордиться
те, кому ещё выпадет
счастье родиться.

Бьют куранты на Спасской,
ночь стремится к рассвету.
Он сидит у окна
в тишине кабинета.

Разделить, так на всех бы
с избытком хватило
тех великих забот,
что ему лишь под силу.

...Если б в песни,
что славят вождя дорогого,
мне суметь бы добавить
хоть одно своё слово!

То не дым, а туман
над полями струится,
не пожар полыхает —
сверкают зарницы.

И подходит цепочкой
к селу не пехота —
возвращаются пахари
с поля, с работы.

По чащобам таёжным
геолог шагает,
сталевар у мартена —
доброй плавки хозяин.

Строит каменщик дом,
как положено, прочно,
говорит, не бахвалясь:
— На века — это точно!

Глянешь влево, земляк,
или глянешь направо:
ни конца и ни края —
распростёрлась держава.

И с востока на запад,
и с юга на север
ты не то что знаком,
а и дружишь со всеми.

И в избе деревенской,
и в квартире столичной —
то ли просто портрет,
то ли Сталин сам лично.

...Как в бою авангард,
на границе заставы,
суховеям навстречу —
молодые дубравы.

По широкому фронту
началось наступленье.
По его размышленью,
по его повеленью.

Бьют куранты на Спасской,
ночь подходит к рассвету.
Он сидит у окна
в тишине кабинета,
он — великий учёный,
полководец и зодчий.

Будто только что Ленин
с ним беседовал ночью.

...Ты читаешь газеты
с последней страницы,
с тех вестей, что оттуда,
из-за границы.

Отчего же с последней?
Оттого, что на первой
и на прочих — порядок
нерушимый и верный.

Как дела там,
за тою чертой заповедной,
что на все времена
для чужого запретна?

А дела там — такие:
уже рассветает!
Занялся — не померкнет —
новый день над Китаем.

Над Варшавой и Прагой
и Берлином отчасти
веет ветер московский,
ветер мира и счастья.

Но с последней страницы
ты читаешь газеты.

Бродит снова косая
по белому свету.

Просыпаются люди
ночами в тревоге:
по какой она нынче
шагает дороге?

Горькой былью военной
научено сердце,
и захочешь — не сможешь
в кустах отсидеться.

Ставит подпись свою
под Стокгольмским воззваньем
итальянец и немец,
француз и датчанин.

— Мы за мир на земле! —
говорят миллионы
из семьи человеческой
разноплеменной

и с надеждой глядят
в наши светлые дали,
на страну, где живёт
и работает Сталин.



М. ИСАКОВСКИЙ

★

НАТАША

На поля, за ворота
Родного села
В золотистой косынке
Наташа пошла.

Поднялась перед нею
Высокая рожь:
— А куда ж ты, Наталья,
Куда ты идёшь?

Говорила Наташа:
— Иду на поля —
Может, встретится снова
Мне радость моя;

Может, слово какое
Мне скажет она
И поймёт, отчего я
Сегодня грустна...

Повстречалась ей радость
На том на лужке —
В пиджаке нараспашку,
Часы на руке.

Повстречалась ей радость —
Как будто ждала:
— Не ко мне ли, Наташа,
Ты в гости пришла?

Отвечала на это
Наташа ему:
— Я подобных насмешек
Никак не пойму.

Я хотела проверить —
Созрела ли рожь.
Отчего ж ты смеёшься,
Пройти не даёшь?

Улыбается парень:
— Как видишь — судьба:
Я ведь тоже собрался
Проверить хлеба.

Я один собирался,
А вышло притом —
Проверять нам придётся
С тобою вдвоём.

ПАВЕЛ ШЕБУНИН

★

СТАХАНОВЦЫ

Повесть

1

Артёмов пришёл, когда все уже были в сборе, и сел в заднем ряду, где ещё оставалось несколько свободных стульев. Собравшиеся прокатчики шумно разговаривали, ожидая, когда начнётся производственное совещание.

Старший оператор Василий Садовников нетерпеливо посмотрел на ручные часы, громко спросил:

— Николай Ефимович, скоро будем начинать?

Вопрос был обращён к Дроботову, председателю цехового комитета, сидевшему за столом.

— Сейчас придёт Туколкин, — ответил Дроботов. — Он в заводоуправлении.

— Семеро одного не ждут!

— Придётся подождать, — спокойно сказал Дроботов.

Артёмов знал, что Василий любит задать вопрос «с подковыркой», и ему понравилось это спокойствие Дроботова. Конечно, нельзя начинать производственное совещание без начальника цеха, тем более когда речь идёт о новом значительном увеличении проката стали. Василий и сам это понимает, только хочет порисоваться.

— Ничего, подождём! — примирительно сказал Алексей Ищенко, старший оператор, в бригаде которого работал Артёмов.

В это время в дверях показался Туколкин. Он вошёл быстрой походкой, немного сутулясь, заметил свободное место рядом с Артёмовым, опустился на край стула, вытер платком лицо. На вид ему было лет сорок. На полных щеках пробивалась светлая с проседью щетина. Заносенный костюм мешковато сидел на его нескладной фигуре.

— Начинаем, товарищи? — Дроботов постучал карандашом по столу. — На повестке дня вопрос об увеличении выпуска металла нашим цехом, в связи с установкой автоматики на мартенах. Слово для доклада имеет товарищ Туколкин.

Туколкин порывисто встал, торопливо прошёл к столу, положил обтрёпанный портфель, снова вытер платком лицо.

— Я только что из заводоуправления, — зачем-то сказал он. — Был у директора комбината. — Туколкин оглядел собравшихся, словно это было самое главное в его сообщении. Открыл портфель, порылся в нём, достал несколько исписанных листков, продолжал, держа их в руке: — Директор комбината поставил перед нами задачу — увеличить прокат металла на три процента. Директор посоветовал обсудить этот вопрос на производственном совещании, задачу нам надо решить в самый ко-

роткий срок, поскольку мы недодаём металла. Как вы знаете, наш первый блуминг план перевыполняет, правда незначительно, всего на несколько процентов. Но другие блуминги дают не больше восьмидесяти процентов. С этим мы больше не можем мириться.

Он долго ещё говорил. Как ни старался Артёмов внимательно слушать Туколкина, он улавливал лишь одни и те же слова: «проценты», «отставание». Туколкин словно увяз в них и всё никак не мог сказать, что же именно надо делать, чтобы уже со следующего дня увеличить прокат.

В конце концов, сбившись, он замолчал, растерянно посмотрел на собравшихся, словно удивляясь, как это с ним случилось, и негромко заключил:

— Ну, пожалуй, и всё. Послушаем, что скажут наши стахановцы.— Опустился на стул рядом с Дроботовым и стал перелистывать свои исписанные бумажки.

Доклад никого не удовлетворил. Обжимно-заготовочный цех, объединивший блуминги, отставал от других цехов. И всем приходившим на производственное совещание хотелось услышать от начальника цеха не общие рассуждения о необходимости увеличить прокат металла, а точные указания, как это сделать. Артёмову хотелось выступить, поделиться своими мыслями. Многие не нравились ему. По всей стране идёт борьба за стахановские цехи, а здесь всё ещё не видят дальше своего носа, удовлетворяются тем, что ставят в пример другим стахановскую бригаду Ищенко. Дальше разговоров дело не идёт. Но Артёмов чувствовал досадную связанность: сам-то он пока ничем похвалиться не может! Другое дело было до войны, когда он считался одним из лучших операторов на комбинате.

Слово взял Садовников. Он подошёл к столу, опёрся на него рукой, картинно отбросил со лба тёмные волосы.

— Задача ясна, товарищи, — проговорил он, глядя поверх голов. — Я думаю, что и толковать нечего. Добивались и не такого повышения. На три процента, я думаю, сумеем подняться. Что касается моей бригады, то мы даём слово с завтрашнего дня повысить выработку и вызываем на соревнование другие бригады.

— Вот это ответ делом! — крикнул Туколкин. — Так и запишем.

Вторым выступил старший оператор Фомин. На вид ему было не больше восемнадцати лет. Его синюю спецовку перехватывал чёрный ремень с блестящей пряжкой ремесленного училища. Светлые волосы ёжиком топорщились над высоким лбом. Лицо было серьёзно.

— Наша бригада тоже не отстанет, — заметно волнуясь, сказал Фомин. — Только нужна нам будет помощь и от руководства цеха. Прямо скажу — заедают нас в начале каждого месяца простои. То на уборке блумсов задержка, то рольганги плохо отрегулированы, буксуют, не тянут прокатанные полосы... А вызов бригады Садовникова мы принимаем.

Артёмов подумал, что если собрание так пойдёт и дальше, то оно ничего не даст. Правильно, конечно, сказал Фомин о простоях. Но ведь надо говорить не только об отдельных недостатках, надо всерьёз обсудить, какие есть резервы для повышения выработки. Нельзя думать только о тех трёх процентах, которые прибавились сегодня. Ну, а через месяц мартены ещё увеличат выплавку стали, или сортовые станы требуют ещё больше заготовки. Что ж, только тогда начинать думать, как увеличить прокат на блумингах? Артёмов уже хотел поднять руку; чтобы попросить слово, но увидел, что поднялся Свиридов, заместитель Туколкина:

— Николай Ефимович, разрешите мне!

— Антон Петрович! — поспешил объявить Дроботов оживляясь. Он тоже ждал многого от этого производственного совещания. Как и Артёмов, Дроботов только с год назад демобилизовался из армии, некоторое время работал старшим сварщиком на нагревательных колодцах, недавно был избран председателем цехового комитета. Дроботова мучило, что блуминги отстают от других цехов, и сейчас он ждал глубокого разбора причин отставания, а не одних только обязательств повысить производительность.

— Старший оператор Фомин поднял очень важный вопрос, — начал Свиридов, подходя к столу. — Высокопроизводительная работа — это, прежде всего, высококультурная работа. Мы знаем, что на сортовых станах уже применяется часовой график. А мы не выдерживаем и сменного. Да что там сменного, в первые дни месяца почти не даём продукции, отдыхаем после штурмовщины, приводим в порядок механизмы. Потом начинаем раскачиваться, а в последнюю десятидневку опять штурмуем.

— Это зависит и от вас, Антон Петрович, — тихо, но веско проговорил Туколкин.

Свиридов бросил на него недоумевающий взгляд.

— От меня? — переспросил он. — Конечно, и от меня. Да, так вот, если мы берём обязательство увеличить количество проката на три процента, то надо подумать и о культурной работе, о ритмичности, о ликвидации простоев. Почему второй блуминг выполняет план только на восемьдесят процентов? Говорят, мало нагревательных колодцев, слитки плохо прогреваются. Но разве не от нас зависит ускорить строительство колодцев?

— Эту работу ведём не мы, а отдел капитального строительства, — снова перебил его Туколкин.

Свиридов вспыхнул, бросил на Туколкина быстрый взгляд, но сдержался.

— Да, эту работу ведёт отдел капитального строительства. От нас зависит поторопить его работников. Но не в одних только колодцах дело. На втором блуминге очень много простоев. Значит, труд там ещё плохо организован. Да и на первом блуминге, который мы ставим в пример, много и простоев, и бескультурия. Отдельные операторы нарушают технологическую инструкцию, механизмы перегружаются.

При этих словах Садовников заёрзал на стуле, он боялся, что Свиридов сейчас назовёт его фамилию. Опасение было не напрасным, Туколкин бросил реплику:

— Вы уж называйте по фамилиям, Антон Петрович.

— Давайте по фамилиям, — согласился Свиридов. — Мы с вами, Валентин Михайлович, на этот счёт не раз толковали. Садовников в последние дни месяца систематически нарушает инструкцию и, к сожалению, не встречает отпора с нашей стороны. Глядя на него, начинают нарушать инструкцию и некоторые молодые операторы.

— Дай бог, чтобы все работали так, как Садовников, — внушительно произнёс Туколкин.

Василий расцвёл от этой похвалы, не утерпел, обернулся, чтобы проверить, какое впечатление произвели эти слова на товарищей.

— Нет, не дай бог! — резко возразил Свиридов. — Бескультурие никогда не доводит до добра.

— Ну что вы, Антон Петрович, — деланно-добродушно возразил Туколкин. — После Ищенко больше всех проката даёт Садовников, такими операторами надо гордиться!

Туколкин был непоколебимо убеждён в своём превосходстве над всеми другими работниками цеха. Он полагал, что раз он — начальник цеха, а остальные — его подчинённые, то, естественно, он и умней всех.

Уже не раз у Свиридова были стычки с Туколкиным, но они ни к чему не приводили. В цехе всё оставалось по-старому. Наговорит Туколкин кучу слов о необходимости коренных перемен, а потом опять его с места не сдвинешь. Так и теперь — надо перестроить всю работу, а начальник цеха рад свести дело к новым обязательствам операторов. Нет, не на Садовникова надо равняться. Чтобы повысить выработку, надо уничтожить простои. Фомин правильно понял задачу.

Свиридов высказал то, что давно волновало Артёмова. Почему все в цехе мирятся с тем, что Туколкин не выносит критики? Ведь если руководитель зазнался, он уже не может руководить по-большевистски. И надо сказать об этом Туколкину в лицо. Чем дольше молчать, тем вреднее будет для дела.

— Слово имеет товарищ Артёмов.

Теперь Артёмов уже не думал о том, что ничем ещё не показал себя на комбинате после возвращения из армии, что ему неудобно поэтому критиковать существующие в цехе порядки. Нет, больше нельзя молчать о недостатках!

Когда он подошёл к столу, Туколкин покровительственно подсказал ему:

— Расскажите, что мешает вам работать на вашем участке, какие у вас есть предложения.

Но Артёмов не собирался говорить о своей работе второго оператора. Пусть отстал он за время войны от коллектива, пусть не восстановил ещё былого мастерства, но в делах цеха он может разобраться не хуже других. Недаром он здесь проработал столько лет.

— Тысячи предприятий в стране соревнуются, чтобы выполнить пятилетку в четыре года, — начал Артёмов. — Наш комбинат тоже включился в это соревнование. И коллектив нашего цеха обсудил свои обязательства. Но дальше обязательств мы пока не пошли.

По рядам прошёл шум. Не все могли согласиться с этими резкими словами. Разве бригада Алексея Ищенко не работает на уровне выработки последнего года пятилетки? Разве Василий Садовников не перевыполняет план? Многие рабочие выполняют индивидуальные планы, а Дмитрий Артёмов говорит, что дело ограничилось формальными обязательствами!

Дроботов застучал карандашом по столу, шум стих.

— Дальше обязательств мы не пошли! — убеждённо повторил Артёмов. — Чтобы выполнить пятилетку в четыре года, надо всем коллективом перейти в высший класс работы. Разве можно довольствоваться тем, что две или три бригады перевыполняют план? Да и эти бригады далеко не исчерпали своих возможностей! Есть у нас скрытые резервы? Огромные!

— От вас зависит использовать эти резервы! — недовольно проговорил Туколкин.

— Правильно! От нас всех! — подтвердил Артёмов. — Вот товарищ Дроботов подсчитал, что различные простои отнимают в каждую смену от полутора до двух часов. Сколько слитков можно за это время прокатать? Но это только один скрытый резерв!

Теперь его слушали внимательно, все почувствовали, что за резкими словами скрыто искреннее желание улучшить работу всего цеха, хорошее беспокойство за судьбу производства. Только Туколкин с безраз-

личным видом выжидал, когда Артёмов закончит, наконец, своё выступление.

Когда он кончил, сразу поднялось несколько рук. Один за другим выступали теперь рабочие — сварщики, операторы, машинисты. Многие из них не раз думали о причинах отставания, теперь всем хотелось высказаться. Правильно сказал Артёмов: надо заботиться не только о том, как завтра поднять производительность блуминга на три процента, но и о том, как добиться такой производительности, чтобы выполнить пятилетку в четыре года.

Артёмов слушал товарищей и всё старался вспомнить, не упустил ли он чего-нибудь в своём выступлении. Самое главное — всем, на каждом участке научиться работать, как работают лучшие стахановцы. Добиться этого — значит сразу шагнуть вперёд!

Туколкин недовольно поглядывал на часы. Собрание затянулось, а Дроботов всё записывал фамилии желающих выступить.

Слово взял секретарь партийной организации Машин. Артёмов с волнением ждал, как расценит Машин его выступление, правильно ли он сказал. Ведь всё-таки он ещё плохо знает цех, не был здесь всю войну.

Но он волновался напрасно. Машин поддержал его выступление. Да не просто поддержал, а сказал, что это целая программа действий!

Артёмов чувствовал большое уважение к этому пожилому инженеру, с таким доброжелательным вниманием выслушивающему каждого, кто к нему обращался. Артёмову казалось, что секретарь партийной организации видит всё, что делается в цехе, все недостатки, знает каждого работающего здесь человека. Несомненно, он знает, в чём причины отставания. Но теперь Артёмов почувствовал, что в своём выступлении он сказал и о том, о чём, может быть, не знал или не думал Машин.

Дроботов предоставил заключительное слово Туколкину. Тот тяжело поднялся со стула, оглядел зал.

— Со всеми выступлениями надо согласиться, — сказал он, но слова его прозвучали как-то безучастно. — Все предложения очень ценные. Я думаю, что товарищ Дроботов их систематизирует, а потом мы вместе их рассмотрим. Но сейчас для нас самое главное — это увеличить прокат металла на три процента. Поэтому я особенно поддерживаю выступления наших лучших операторов Ищенко и Садовникова. Думаю, что и весь коллектив их поддержит.

Рабочие стали расходиться. Дмитрий Артёмов дождался Алексея Ищенко, они пошли рядом. В это время Дмитрия окликнул Машин:

— Зайдите ко мне, товарищ Артёмов, на следующей неделе, надо нам потолковать. Буду ждать вас.

2

Первая встреча с Туколкиным после производственного совещания не обещала ничего хорошего. Поглядев на Артёмова, принимавшего смену вместе с Алексеем Ищенко, Туколкин спросил небрежно, не обращаясь определённо ни к кому:

— Это тот, что до войны стахановскими рекордами славился, а теперь с работой второго оператора едва управляет? — и рассмеялся недобрым смешком.

Ищенко хотел возразить, но Туколкин пошёл вдоль рольганга быстрой походкой, подёргивая левым плечом, отчего его пиджак всё время перекашивался на спине.

В ожидании, пока Алексей закончит принимать смену, Артёмов про-

бегал пальцами вхолостую по клавиатуре контроллеров, как пианист, разминающий пальцы перед исполнением трудной вещи.

На железной лесенке, ведущей на пост управления, послышались шаги, но не тяжёлые шаги Алексея, а незнакомые, словно немного неуверенные. Артёмов обернулся и с удивлением увидел стройную девушку в чёрном платье, она держала в руках какие-то приборы, за которыми тянулись разноцветные провода. Девушка поздоровалась, сказала смущаясь:

— Я из отдела организации труда. Мне придётся надеть на вас вот эти приборы.

— Это зачем? — не особенно любезно спросил Артёмов: он решил, что отдел труда хочет выяснить, насколько хуже он работает, чем другие вторые операторы.

— Мы изучаем, какое количество мускульной энергии затрачивают рабочие различных профессий. Вы не беспокойтесь, эти приборы вам не будут мешать, они лёгкие.

Девушка прикрепила какой-то небольшой металлический диск к одной руке Дмитрия, к другой, потом нагнулась, стала прикреплять такие же диски к икрам. Он почувствовал неловкость, наклонился, чтобы ей помочь.

— Давайте уж я сам прикреплю.

— Нет, вы ведь не знаете, как это делать.

Она застегнула ремешки, стала расправлять перепутавшиеся разноцветные провода.

— А что даёт это изучение? — всё ещё довольно хмуро спросил Артёмов.

— Боюсь, что ничего! — девушка звонко рассмеялась. — Вот мы узнали, что машинистка затрачивает в день примерно столько мускульной энергии, сколько средней силы грузчик. А к чему нам это? Куда-то посылаются эти данные, только не знаю зачем.

Своим откровенным ответом девушка расположила к себе Артёмова.

— Охота вам такой ерундой заниматься? — спросил он уже добродушной.

— Просилась в цех! — вздохнула девушка. — Нет, послали в отдел организации труда. Я ведь только в этом году институт окончила.

Она ещё раз поправила провода и сбежала вниз.

В будку вошёл Ищенко.

— За что это тебе такую казнь придумали? — спросил он весело. — Как на электрическом стуле!

Артёмов расправил плечи, проверяя, не мешает ли ему эта обмотка.

— От безделья, — проворчал он.

Алексей уже пробовал контроллеры, нетерпеливо выжидал, чтобы слиток подошёл к валкам.

— Лучше бы они к голове провода прикрепили! — сказал он назидательно. — Тут силой ничего не возьмёшь, головой надо брать! Сколько ни жми на контроллеры, а больше не выжмешь стали, если тут шарики плохо работают. — Он повертел пальцами у лба.

Подошёл слиток. Оба замолчали, теперь слышалось только пощёлкивание контроллеров да доносился в будку тяжёлый грохот металла. Ищенко работал уверенно, в чётком ритме. Повинуясь его лёгким, властным движениям, слитки проходили через валки, возвращались, становились всё тоньше и тоньше, длинней и длинней, и наконец ложились готовыми ровными блумсами на отводящий рольганг. В те секунды, когда слитки находились в валках, Артёмов нет-нет и косил глаза

вниз, где у продолговатого ящичка сидела темноволосая девушка, изучавшая, сколько мускульной энергии он затрачивает.

Смена окончилась. Ищенко спустился вниз на обычное пятиминутное совещание, чтобы подвести итоги. Артёмов сегодня не мог последовать за ним, сидел, опутанный проводами. Хотелось потянуться всем телом, как он обычно это делал после смены, но сейчас боялся, как бы это не отразилось на показаниях приборов — ему не хотелось огорчать девушку.

— Как, не очень это вам мешало? — спросила она участливо, показываясь в двери, и, подойдя к Артёмову, стала освобождать его от ремешков.

— Нет, ничего. Ну, что показали ваши приборы, трудная у нас работа?

— Трудней, чем у машинистки. — Она рассмеялась, потом добавила: — Как красиво прокатывается сталь!

— Когда хорошо идёт работа, тогда красиво, — согласился Артёмов.

Ему не хотелось обрывать на этом знакомство с девушкой. Если бы он работал старшим оператором, может быть он решился бы проводить её до заводоуправления. Но теперь у него было чувство какой-то неуверенности, которое он никак не мог прогнать. Станет она водить знакомство со вторым оператором, когда сама работает инженером! Но девушка сказала будто ненароком:

— Ну, теперь мне мускульную силу затрачивать, ящик тащить! Ух и тяжёлый!

Обрадованный Артёмов несмело предложил проводить её. Они вышли из цеха вместе.

— Вы давно работаете на блуминге? — спросила девушка.

В её карих глазах он прочёл искренний интерес и оттого почувствовал себя свободней.

— Я недавно из армии вернулся. Теперь опять привыкаю. — И не удержался, добавил: — До войны я старшим оператором работал.

Но девушка, видимо, и не знала, какая разница между старшим оператором и вторым.

— В цехе интересно! А я блуждаю по цехам вот с этой бандурой! — Она кивнула головой на ящик в руке Артёмова. — Записываю никому не нужные данные.

— А вы сказали бы начальнику отдела своё мнение.

— Надоело спорить. Я ведь понимаю: все эти исследования мне поручили, лишь бы чем-нибудь занять. Отдел организации труда ведёт большую работу по изучению стахановских методов. Я одна не у дел. Ничего, скоро уеду!

— Куда? — спросил Артёмов, ему не хотелось, чтобы эта девушка уезжала.

— В Москву! — в голосе её прозвучала гордость. — Я ведь москвичка. Папа хлопотал, чтобы меня сюда не направляли, но мне самой хотелось поехать. А теперь... — она развела руками.

Они уже пересекали площадь, скоро заводоуправление. Артёмов пожалел, что сейчас ему придётся расстаться с новой знакомой.

— Вы не должны уезжать! — горячо сказал он. — Здесь будет не хуже, чем в Москве. Посмотрите, как жизнь шагает! — Он показывал на котлованы, на взметнувшиеся вверх башенные краны, на новые дома, выросшие во время войны, на трубы мартенов. — Скоро здесь вырастет новый, красивый город.

— Вы хороший агитатор! — шутливо проговорила девушка. — В армии вы, вероятно, были политраблотником?

— Нет, я командовал батальоном.

— Батальоном? И вернулись в цех?

Артёмов улыбнулся, этот вопрос он слышал не впервые.

— Разве стыдно работать в цехе? — спросил Артёмов.

— Нет, что вы! Но ведь интересней быть командиром, чем исполнителем.

— У нас нет механических исполнителей!

— А я? — шутливо спросила девушка, дотрагиваясь на ходу до его руки, в которой он нёс ящик с приборами.

— Я бы на вашем месте до директора дошёл, а не стал бы чепухой заниматься. Не для того вас учили.

Девушка молчала, и он уже пожалел о резкости своих слов. Может быть, все эти записи тоже на что-нибудь нужны, ведь чем меньше физическое напряжение рабочего, тем больше у него возможностей для творчества. А работу на блуминге Артёмов считал творческой.

— Но ведь у директора есть дела и поважнее, — наконец, сказала девушка. — Подумаешь, какой я специалист! — Её тёмные брови нахмурились, лицо стало задумчивым. Но тут же она встряхнула головой, улыбнулась, сказала, показывая на открывшиеся вдаль рыжеватые забои рудников:

— Как интересно, целые горы переплавляются в домнах!

Они остановились у подъезда заводоуправления, девушка протянула руку за ящиком. Артёмову хотелось спросить, может ли он с ней ещё увидеться. Но та же обидная мысль, что теперь он всего-навсего второй оператор, удержала его. Просто ей было тяжело нести ящик, вот она и приняла эту услугу.

— До свиданья! — её рука легла на его широкую ладонь.

— До свиданья, — ответил он, глядя в карие глаза и думая: а ведь она не сказала «прощайте». Он немного задержал рукопожатие, хотел что-то сказать, но так и не решился. Девушка тоже помедлила, потом сказала:

— А ведь я вас не поблагодарила. Спасибо.

В эту минуту Артёмов мысленно произнёс целую речь. Это он должен поблагодарить за то, что она позволила себя проводить, за откровенный дружеский разговор, за то, что разрешала смотреть ей в глаза, за пожатие руки. Но он ничего не сказал.

Девушка взбежала по лестнице, обернулась, она чувствовала, что Артёмов смотрит ей вслед, приветливо махнула рукой. Он осмелел, хотел спросить, когда же они ещё увидятся, но она уже скрылась за дверью.

3

Кабинет секретаря партийной организации Машина находился на втором этаже, над подсобными помещениями цеха. Сюда доносился глухой равномерный шум, в котором сливались грохот валков, и постукивание ножниц, обрезавших концы прокатанных блумсов, и шелест рольгангов. Артёмов постучал в дверь и, не услышав ответа, вошёл. Машин сидел за письменным столом.

Он оторвался от газеты, приветливо кивнул головой.

— Входите, входите, товарищ Артёмов, я вас жду.

Все эти дни Дмитрий думал над тем, почему его вызывает Машин. Может быть, всё-таки не нужно было так уж резко выступать? Он перебирал в памяти высказанные им соображения и всё же убеж-

дался, что молчать было нельзя. В чём же он ошибся, зачем его вы- звал Машин?

У Машина были добрые глаза, окружённые мелкой сетью морщин. Кожа лица отливала краснотой, как это обычно бывает у людей, рабо- тающих в непосредственной близости от раскалённого металла.

— Хочу крепко вас поругать! — сказал Машин, открывая ящик письменного стола. Артёмов решил, что он ищет протокол производ- ственного совещания, но Машин достал маленькую алюминиевую мас- лёнку, в которой солдаты в армии держат масло и щёлочь для чистки оружия, медленными движениями отвинтил пробку, оторвал ровную по- лоску бумаги, насыпал на неё махорки и стал свёртывать папироску. Потом протянул маслёнку Артёмову. Дмитрий достал почернелую трубку, привезённую из армии, набил её.

— Вы в армии командовали батальоном? — спросил Машин.

— Так точно!

— Не боялись ответственности?

— Не боялся... — ответил Артёмов, не понимая, к чему клонится разговор.

— А почему теперь боитесь? Или думаете так: в армии себя пока- зал, теперь можно и спокойно пожить?

Артёмов вспыхнул.

— Я спокойной жизни не ищу. Если хотите знать, мне не нравится, очень не нравится то спокойствие, которое ещё существует в нашем цехе! Программу не выполняем, а беспокойства мало.

— Правильно. И беспокоиться о судьбах цеха должны в первую оче- редь коммунисты. А вот у вас этого настоящего беспокойства ещё мало.

«Ну, попадёт теперь за выступление! — подумал Артёмов. — Что- то всё-таки я не так сказал». Он выжидательно смотрел на секретаря.

— Вы догадываетесь, о чём я говорю?

— Наверно, я в своём выступлении что-нибудь напутал? — с трево- гой спросил Артёмов. Ему было очень неприятно. Впервые после возвра- щения из армии он выступил на совещании не по случайному вопросу, хотел сказать о всей работе цеха, и вот, видно, показал себя челове- ком малосведущим.

— Нет, выступали вы хорошо, — возразил Машин. — Очень хорошо. Но ведь выступления надо подкреплять делами! Вам Свиридов предла- гал перейти на работу старшего оператора?

— Предлагал... — Артёмов нахмурился, ему неприятно было разго- варивать на эту тему. Пересилив себя, добавил: — Не справлюсь я с этим делом. Я ведь до войны одним из ведущих стахановцев был. Из армии вернулся капитаном... награждён... А от коллектива отстал. Вна- чале мне казалось, поработаю месяц-другой помощником у Ищенко, потом снова покажу себя. А теперь вижу: нет, не скоро мне с ним срав- няться. Так уж чем быть на одном из последних мест, лучше оста- ваться вторым оператором. По крайней мере не мешаю программу вы- полнять.

Машин, не прерывая, выслушал его, потом сказал:

— Боитесь, что отстали?

Артёмов кивнул головой. Он сейчас высказал секретарю партийной организации то, над чем много думал, но о чём никому не говорил.

— Да ведь чтобы догонять, надо вперёд двигаться, а не стоять на месте, — спокойно возразил Машин. — Самолюбие мешает? Как это: вернусь на работу старшего оператора, да буду от других отставать? Так?

Артёмов молчал, только глубоко затягивался трубкой, чтобы скрыть смущение. Выходило, что он всё же был неправ. Не хотелось ему ударить в грязь лицом, но ведь он мог, вероятно, работать лучше, чем те операторы на втором блуминге, что даже программу не выполняют.

— Вы когда демобилизовались из армии? — спросил Машин.

— В конце сорок шестого года.

— Как специалиста народного хозяйства вас демобилизовали?

— Да, как специалиста.

Машин неодобрительно покачал головой.

— Видите, что получается? В армии вы были нужным человеком. Боевой офицер, с большим опытом. Но командование учло, что народному хозяйству нужны специалисты. И что же? Из армии ушли, а на работу по своей специальности не пришли.

— Отстал я! — смущённо повторил Артёмов. — Мы ведь до войны какие слитки прокатывали — разве можно сравнить с нынешними? Сначала мне казалось, в несколько дней эту премудрость пойму. Нет, не выходит. Вижу, что так, как Алексей Ищенко, не скоро научусь работать.

Машин пытливо смотрел на Артёмова. Ему с первых же дней понравился этот неторопливый, спокойный человек. И во внешности его было что-то подкупающее — военная подтянутость во всей высокой, статной фигуре, красивая посадка головы, большие синие глаза, светящиеся умом. Широкий нос не портил этого лица, но, казалось, придавал ему добродушие.

До последнего производственного совещания Машин не задумывался над тем, почему Артёмов предпочитает работать вторым оператором. Ну что ж, человек отстал, пусть сначала присмотрится. Шло время, и Машин начал забывать о нём. Работает человек хорошо, хотя ничем особенным себя не проявляет. Но после производственного совещания Машин понял, что у этого оператора широкий кругозор, большая требовательность. Нельзя давать ему стоять на месте, надо помочь преодолеть нерешительность, вызванную излишним самолюбием.

А Дмитрий думал почти о том же. Вот ничем ещё он себя не проявил, а секретарь партийной организации всё же обратил на него внимание, хочет снова дать ему возможность вернуться на работу старшего оператора. Да, вокруг него друзья, и никто не ждёт, чтобы он сразу удивил всех невиданными рекордами. Но как отнесётся к его выдвижению Туголкин? Он хотел задать вопрос, и замылся. Это не укрылось от Машина.

— У вас есть какие-нибудь сомнения? — улыбнулся он, по-отечески глядя на Артёмова. — Говорите прямо.

— С начальником цеха вы разговаривали? — спросил Артёмов.

— Разговаривали. Начальник цеха не возражает.

«Не возражает», — мысленно повторил Дмитрий. Инициатива принадлежит, конечно, не Туголкину, а Машину и Свиридову. И он почувствовал ещё большую признательность к секретарю. Все эти месяцы после возвращения из армии Дмитрия мучила острая неудовлетворённость собой. Порой он даже жалел, что его демобилизовали. В своём батальоне он был нужен, его ценили, командир полка предлагал ему ехать учиться, чтобы потом остаться в кадрах армии. А в цехе он оказался будто лишним. Сейчас Дмитрий впервые понял, что он сам в этом виноват, всё только боялся, как бы не ударить лицом в грязь, а не подумал о том, что коллектив его поддержит. Вот и получилось, что хоть и работал он в лучшей бригаде Алексея Ищенко, но сам отстал от общего движения.

— Значит, решено? — спросил на прощанье Машин.

Артёмов протянул руку, сказал твёрдо:

— Решено, Сергей Харитонович.

4

Первую самостоятельную смену Артёмову привелось принимать у своего старого дружка Василия Садовникова. Вместе когда-то осваивали они блуминг, ставили первые рекорды.

Василий небрежной походкой подошёл к Дмитрию, протянул руку, сказал с иронической улыбкой:

— Закончил курс обучения у Ищенко, допустили тебя к самостоятельной работе? — И вдруг, перейдя на задумчивый тон, добавил, наклоняясь к Дмитрию так, чтобы не слышали другие рабочие: — Неинтересно, Митя, стало работать! Не ценят нашу старую гвардию. Вот я сегодня рекорд поставил, а никто даже поздравить не пришёл! Мне-то их поздравления не нужны, из них не шубу шить, а только неинтересно как-то стало работать. Доброго слова не услышишь, всё только подгоняют и подгоняют.

Он круто повернулся и пошёл к рабочим своей бригады, собравшимся на пятиминутное совещание после смены.

Когда Артёмов стал уже подниматься по лесенке, Василий сказал ему вдогонку:

— Работай, как работал до войны! Алексей по-своему работает, а мы давай по-своему. Посмотрим, у кого дело лучше пойдёт, может, ещё он у нас поучится.

Сколько раз до войны садился Дмитрий в кресло оператора, слегка откинутое назад. Привычно ложились его пальцы на кнопки контроллеров, на их сложную клавиатуру. Но в эту минуту ему казалось, что он всё забыл, и только осрамится.

Его помощник Трофим Неделя уже сидел рядом на своём стуле, перебирал кнопки управления подсобными механизмами. Неделя нажал на первый контроллер, Дмитрий услышал, как зашуршал подводящий рольганг. Сейчас слиток подойдёт к валкам. В будку уже донёсся привычный запах горячего металла. У Недели был верный глаз. Едва слиток дошёл до переднего рольганга, как Неделя привёл в движение линейки манипулятора. Одного нажатия кнопки было достаточно, для того чтобы выполнить работу, с которой с трудом справились бы десять человек. Щёлкнули зубья, поддели снизу слиток, перевернули его на другую сторону. Вот слиток уже подошёл к валкам. Теперь наступила очередь Дмитрия. Стараясь сдержать волнение, он нажал на ручные и педальные контроллеры. Валки приподнялись, готовые принять слиток, захватили его, стали быстро обминать. Зашипели струйки воды, поднялись золотые лучи от взметнувшейся кверху окалины. Квадратный слиток становился всё длинней и длинней, он вытягивался гнущейся полосой. Дмитрий не успел во-время отключить мотор, как это делал Алексей, слиток вылетел слишком далеко. Дмитрий знал, что его помощнику теперь придётся потратить лишнее время, чтобы вернуть слиток к валкам. Пальцы Недели пробежали по кнопкам, вид у него попрежнему был спокойный и сосредоточенный. Дмитрий следил, как слиток медленно, словно нехотя, подался назад. Насколько секунд потеряно зря. Нет, неправ Садовников, у Алексея есть чему поучиться. Впрочем, надо ещё посмотреть, как работает Василий, может быть он нашёл другое решение. Стараясь наверстать потерянное время, Дмитрий дал быстрый ход валкам.

Он работал и всё время отмечал: то он недостаточно приподнимал верхний валок — и слиток не хотел втягиваться в калибр, то поднимал слишком высоко — и уходило лишнее время, чтобы зажать слиток. Глазомер изменил ему, он делал ошибки, простибельные только для новичка. Да и чувствовал он себя, как новичок: не было прежней уверенности, он волновался, даже пальцы, лежавшие на контроллерах, дрожали. Да, не так-то легко вернуть былое мастерство! Мало уметь обращаться с механизмами, нужно ещё восстановить автоматизм движений, когда пальцы сами, точно и размеренно, находят нужные кнопки.

По лицу струйками стекал пот, рубаха на спине взмокла.

Мысль Дмитрия работала напряжённо. Не давать валкам слишком быстрого хода при захвате слитка. Не делать слишком большого подъёма. Не опоздать ускорить оборот валков, как только они захватят слиток. Во-время отключить мотор. Около восьмисот раз надо было нажать контроллеры, чтобы прокатать один слиток, и каждое движение должно быть точным и продуманным.

Весь поток стали, выплавленной в десятках печей мартеновского цеха, должен пройти через блуминги, прежде чем попасть на сортовые станы. И Дмитрий понимал, что его плохая работа может отразиться на выработке всех прокатных цехов.

По отводящему рольгангу уплывали четыре блумса. Хоть и много лишнего времени ушло на их прокатку, зато были они ровными, без вмятин и заусениц. Пятый блумс удалось прокатать быстрее. Неделя, урвав мгновение, одобрительно взглянул на Дмитрия, вероятно он помнил тот свой день, когда, вернувшись после армии в цех, тоже не сразу мог вернуть прежнюю точность движений.

Теперь Дмитрию уже не надо было напряжённо смотреть на контроллеры, пальцы сами находили их.

Прошёл час работы. Было прокачено двадцать восемь слитков. Если так работать всю смену, будет прокачено только двести десять, тридцати нехватит до плана.

— Наладились неплохо! — проговорил Неделя.

Дмитрий молча кивнул головой. Он не был удовлетворён первым часом своей работы, но всё же боялся худшего. Сейчас он знал, какие неточные движения допустил при прокатке каждого из этих двадцати восьми слитков.

В цехе показался Степан Иванович, директор комбината. Был он высок и широкоплеч, голубые глаза его смотрели спокойно и уверенно. Следом за ним, сутулясь, подёргивая плечом, шёл начальник цеха Туголкин. Степан Иванович остановился неподалёку от валков блуминга, стоял, заложив руки за спину, наклонив голову слегка набок. Когда Артёмов во-время отключил мотор и слиток лёг у самых валков, Степан Иванович одобрительно кивнул головой. А когда следующий слиток ткнулся в валки, но не сразу вошёл в них, Степан Иванович недовольно поморщился. Туголкин, стоявший рядом, поспешил сказать:

— Артёмов работает, новый оператор. Работа у него немного не ладится.— Тон у Туголкина был виноватый.

— Культурно работает! — возразил Степан Иванович.— Он сегодня первый день? У него дело пойдёт.

Дмитрий не слышал слов, но видел улыбку на лице директора, и она ободрила его. Значит, не так уж плохо.

Степан Иванович ещё раз одобрительно кивнул, не спеша пошёл вдоль длинного пролёта. Работа нового оператора удовлетворила его.

Закончилась смена. Учётчик соревнования подошёл к учётной доске, вывел три косые двойки. Двести двадцать два слитка! Дмитрий скользнул взглядом по столбику цифр: такой низкой выработки не было ни у кого из операторов.

Надо было спускаться вниз, на пятиминутку, где подводились итоги смены. Дмитрий жалел, что смена уже закончилась, ему казалось, что он только-только нашёл нужный ритм и теперь смог бы работать лучше. Да, восемнадцати слитков нехватило до плана.

Дмитрий опустил вниз, где уже собралась вся бригада. Румяная девушка в замасленной спецовке, очевидно машинист, громко сказала своей подруге:

— Прохладно сегодня работали. Как на курорте отдохнула!

Её озорные серые глаза смотрели мимо Дмитрия, но весь её вид говорил, что она за ним наблюдает.

— Да, жаль, книжку с собой не прихватила, можно было почитать! — в тон ей сказала подруга.

Дмитрий вспыхнул, он понял, что эти насмешки предназначались ему. Он сознавал, что девушки правы, у всей бригады снизилась выработка. И всё же он почувствовал раздражение: девчонки, а берутся судить о работе старшего оператора! Попробовали бы они сами сесть за контроллеры, это не то, что концы блумсов обрезать.

Девушки переглядывались. Им хотелось вызвать его на разговор, они подшучивали беззлбно, знали, что Артёмов до войны был одним из лучших операторов.

Начальник смены Готовцев открыл пятиминутку. Он отметил, что слитки были прогреты хорошо, ни на одном из участков задержек не было. Дружелюбно взглянул на Дмитрия, сказал:

— Наш новый оператор блуминга товарищ Артёмов показал, что работать умеет. Брака за смену не было. Не сомневаюсь, что товарищ Артёмов будет с каждым днём повышать выработку.

— Артёмов своё покажет! — негромко, но уверенно подтвердил Неделя.

После совещания Дмитрий решил задержаться в цехе, посмотреть, как работает Фомин.

Почти все корпуса выросли на глазах у Дмитрия, он приехал сюда мальчиком, с дядей Петром Евлампиевичем, доменным мастером, когда ещё только начиналось строительство комбината, когда можно было с ватагой ребятишек удить рыбу в узенькой речушке, на месте которой теперь разлился большой заводской пруд. Возвращаясь из армии, Дмитрий думал, что встретится с Рудногорском, как с родным домом, где он родился и вырос, где всё ему знакомо. Но здесь всё изменилось. И новое было не только в том, что доменных печей стало больше и что новые домны не шли ни в какое сравнение с построенными пятнадцать лет назад. Новое было не только в выросших на огромной площади комбината мартенах, коксовых батареях, прокатных цехах. Нет, изменилась сама работа, у Дмитрия было такое чувство, что многотысячный коллектив комбината узнал много нового, чего не знал до войны. Это новое трудно было сразу уловить, но оно проявлялось во всём. Вот Фомин поднялся на пост управления и уверенно прокатывает многотонные слитки. Во всех цехах можно теперь встретить такую зелёную молодёжь, и работает она лучше, чем работали до войны опытные металлурги.

Дмитрий поглядел вверх, на операторскую будку, остеклённую со всех сторон. Фомин сидел, склонившись над контроллерами, лицо его, освещённое электрической лампочкой, было спокойно, пальцы, словно

играя, бегали по многочисленным чёрным кнопкам. Откуда у Фомина, вчерашнего ученика, эта уверенность? И Дмитрий подумал: ведь это он, Дмитрий Артёмов, и Алексей Ищенко, и Василий Садовников накапливали опыт для Фомина и других молодых операторов. Нелегко давалось освоение блуминга, редкий день тогда выполнялся план. Но опыт, приобретённый в те годы, помог и Фомину и другим воспитанникам ремесленного училища сразу перейти в новый класс работы. Так и ему, Дмитрию, поможет опыт мастеров, накопленный во время войны. Нужно учиться, терпеливо и настойчиво учиться!

По отводящему рольгангу шли горячие блумсы, розовое зарево вспыхивало от них на стенах. Полторы минуты — и на рольганг ложится готовый прокатанный блумс..

Конечно, Фомин ещё отстаёт от Алексея Ищенко, не так точно ложатся у него слитки возле самых валков. Но Дмитрий не мог не заметить, что Фомин работает лучше Василия Садовникова, одного из первых операторов блуминга, у которого до войны учились почти все операторы.

Фомин заметил, что новый оператор следит за его работой — ему не хотелось ударить лицом в грязь. Вот готовый блумс вышел плавно на рольганг, покатился по его стальным роликам. Фомин попробовал ещё больше убыстрить темп, но слиток выскочил слишком далеко от валков. Дмитрий сделал движение рукой, словно хотел поправить этот слиток, потом пошёл из цеха. Не надо мешать Фомину.

В пышно разросшихся палисадниках, разбитых между цехами, осень уже раскрасила в золото и багрянец листву деревьев и кустов. Но солнце ещё грело по-летнему. Дмитрий шёл, помахивая фуражкой. Ему не надо было доходить до проходной будки: автобусы, идущие в правобережный город, где Дмитрий жил в семье дяди, останавливались на территории комбината. Но Дмитрий миновал проходную, подошёл к заводууправлению, остановился, посмотрел на ручные часы. Через полчаса в заводууправлении должна закончиться работа. Если подождать, можно встретить недавнюю знакомую, девушку из отдела организации труда. Впрочем, какая же она знакомая, он даже не знает её имени! Ему очень хотелось с ней встретиться, теперь он может сказать, что опять работает старшим оператором. Не какой-то помощник, а старший оператор, на котором держится вся смена.

Стоять перед входной дверью было неудобно. Он пересёк площадь, направился в сквер. Отсюда хорошо была видна дверь здания заводууправления. Он опустился на скамейку, закурил. В центре клумбы вертелось колесо хитроумного фонтанчика, непрерывно орошавшего всю клумбу, отчего цветы на ней, несмотря на осень, были пышные и яркие. Дмитрий безразлично следил за вращением водяного колеса, не забывая поглядывать на дверь заводууправления. Он сам не мог себе сказать, понравилась ли ему эта девушка, но чувствовал, что обязательно должен её видеть. Этот осенний день тем и был хорош, что она где-то рядом, что можно сейчас её увидеть. Может быть, она разрешит проводить её до дому? Сначала он просто пойдёт с ней рядом, как будто случайно встретился, потом разговоятся. Теперь он будет смелее, спросит, могут ли они ещё видаться. А может быть, она уже уехала, ведь говорила, что собирается в Москву.

Подошёл садовник, отвернул вентиль фонтана, колесо завертелось ещё быстрее, струи его теперь захватывали и посыпанную песком дорожку. Запахло прибитой пылью, и этот запах вызывал какие-то неясные, но приятные воспоминания.

Вот и вернулась спокойная мирная жизнь! Много дорог пришлось пройти, прежде чем удалось вернуться сюда, в Рудногорск. Теперь можно снова учиться, можно думать о личном счастье с уверенностью: всё, чего захочешь, сбудется.

Из дверей показались первые служащие, потом поток стал всё сгущаться, потянулся к трамвайной остановке, стал разливаться в стороны. Вдоль заводууправления шли пешком те, кому не надо было садиться на трамвай. Дмитрий испуганно подумал, что он может пропустить девушку, которую ждал. Он встал со скамейки, подошёл ближе, вглядываясь в лица.

Поток становился реже, временами совсем обрывался, но той, кого он ждал, всё не было. Может быть, она сегодня не работает?

И вдруг она показалась. На ней было розовое платье, короткие рукава открывали загорелые руки. Девушка держала в руке соломенную шляпу. И хотя до противоположного тротуара было не меньше сотни метров, Дмитрий сразу заметил все эти мелочи. Крупными шагами двинулся он навстречу, совсем забыв о том, что должен был встретиться словно ненароком. Девушка пошла через площадь, помахая шляпой. С ней шло ещё несколько человек, видно сослуживцы, очевидно работники отдела почему-то задержались, вышли вместе. Девушка подняла глаза, увидела Дмитрия, улыбнулась ему, но в это время высокий пожилой человек, шедший немного позади, поравнялся с ней, уверенным спокойным движением взял под руку.

Девушка приветливо махнула Дмитрию шляпой, но он уже повернул назад, досадуя и на себя, и на неё. Зачем она с ним поздоровалась? Теперь все поняли, что он её ждал, и ждал напрасно. Дмитрию казалось, что все на него смотрят. Он быстро пересёк улицу, хотя ему нужно было вернуться к автобусной остановке. Когда он решился оглянуться, девушки уже не было.

5

Прошла неделя. Каждый день, принимая смену, Артёмов мечтал, что наконец-то он выполнит план. Ему удалось прокатать двести тридцать слитков, потом дойти до двухсот тридцати пяти. Казалось, ещё день-два — и будет прокатано двести сорок. Но каждый лишний слиток теперь давался с трудом. А другие операторы изо дня в день перевыполняли план! Не только Алексей Ищенко, не только Василий Садовников, но и Фомин.

В цехе, неподалёку от операторской будки, висел красочный плакат, призывавший давать двести шестьдесят слитков в смену. Инициатором соревнования был Ищенко. На производственном совещании, где это обсуждалось, выступал и Артёмов, он тоже дал обязательство добиться двухсот шестидесяти слитков в смену. Но до сих пор не выполнял плана.

Вместе с дежурным электриком Костей, молодым парнем, как и Фомин только недавно окончившим ремесленное училище, Дмитрий осматривал механизмы. Костя, принимая смену, священнодействовал, он проникался сознанием, что от его внимательности зависит вся работа смены. На щеках Кости, покрытых, несмотря на ежедневное бритьё, только редким пушком, загорался румянец, ясные голубые глаза смотрели почти сурово.

Смену сдавал Садовников.

— Всё в порядке! — сказал он посмеиваясь. — Это не то, что немецкие валки, которые чуть не каждый месяц летели. Наши, отечественные, на них можно положиться. — Потом сказал вполголоса: — Брось,

Митя, мучиться! Что ты на старые пределы равняешься? Затвердил себе, что можно только за семнадцать пропусков катать. А я и за одиннадцать катаю, и валки выдерживают. Сегодня двести восемьдесят три слитка прокатал без сучка и задоринки. Другому бы я, может, и не сказал бы, чёрт с ним, пусть мучается, да ведь мы с тобой старые друзья. Ты подумай, вся смена на тебя в обиде, заработок снизился, на последнем месте плетётесь. А кому от этого польза?

Артёмов отрицательно покачал головой.

Василий засмеялся.

— Трусишь? Я сам раньше бывало нажму — и чуть не зажмурюсь: а ну как полетят валки? Нет, плющат слиток, и хоть бы что! Попробуй, благодарен будешь!

Он хлопнул Дмитрия по плечу, пошёл немного вразвалку. Василию всегда казалось, что на него все смотрят, и вот этой нарочитой походкой и лихо сдвинутой набок кепкой, всем своим видом старался показать, что знает себе цену.

Костя ещё постукивал гаечным ключом по металлическим звеньям рольганга, а Артёмов поднялся в операторскую будку. Трофим Неделя уже сидел на своём стуле. Дмитрий поздоровался, сказал:

— Слышал я, Трофим Иванович, что товарищи обижаются на меня?

Неделя неторопливо повернул к нему лицо, глаза его под светлыми, пшеничными бровями смотрели ласково. Он понимал, как мучит Артёмова низкая выработка.

— За что, Дмитрий Егорович? Что мало вырабатываем? — Неделя улыбнулся, неторопливо добавил: — Может, кто и обижается, только цыплят по осени считают.

— А с прежним оператором как вы работали? — спросил Дмитрий.

Открылась тяжёлая крышка одного из нагревательных колодцев. Пламя вскинулось высоко вверх. Кран нырнул в это пламя, опустился в проём колодца, светящийся белым светом. Загремела цепь, слиток поднялся из колодца, описал широкий полукруг, опустился на трансферкару — приземлился тележку, похожую на огромную черепаху. Впереди этой тележки была небольшая площадка, называемая «стулом». Слиток и впрямь сидел на ней, как на стуле, слегка откинувшись назад. Девушка-машинист трансферкары включила мотор, трансферкара подъехала к рольгангу. Передние её колёса нырнули вниз, под рольганг, «стул» наклонился, и слиток мягко лёг на рольганг. Стальные ролики завертелись, подхватили слиток, понесли его по направлению к операторской будке.

Сегодня Дмитрий готов был бороться за каждую долю секунды. Он работал напряжённо и в то же время проверял себя. Далеко ему ещё до Алексея Ищенко! У того слитки в валках снуют безостановочно, не успеют выйти на рольганг, как уже устремляются обратно. Дмитрий попробовал убыстрить темп, увеличил число оборотов мотора, но слиток сразу отказался повиноваться, вылетел слишком далеко на рольганг. На то, чтобы вернуть его к валкам, помощнику потребовалось теперь чуть не вдвое больше времени, чем выгадал Дмитрий.

Он бросил быстрый взгляд на Трофима Ивановича; тот сидел сосредоточенный, пальцы его быстро и уверенно ходили по контроллерам. Да, с таким помощником план можно не то что выполнять...

К ножницам пошёл по рольгангу сто девятнадцатый слиток. Половина смены. Значит, и сегодня план не будет выполнен! Дмитрий вспоминал разговор с Трофимом Ивановичем. Бригада раньше была отстающей. И наверное, все рабочие ждали, что Артёмов, гремевший до

войны рекордами, поможет им догнать другие смены. Но и сегодня он в лучшем случае прокатает только двести тридцать восемь слитков.

А что если попробовать немного увеличить обжим? Не на тридцать миллиметров, как это делает Садовников, а хотя бы на те пять, которые допускаются инструкцией?

Дмитрий послал очередной слиток в валки, потом стал увеличивать давление. Вот стрелка дошла до критической черты. Он не отнимал пальца от кнопки, заставляя валки продолжать сжиматься. Вот лишние пять миллиметров. Механизмы работали попрежнему ровно, без стука, мотор дышал спокойно. Дмитрий бросил быстрый взгляд на Трофима Ивановича. Тот, казалось, ничего не замечал, продолжал сноровисто орудовать своими контроллерами.

— Давай после седьмого пропуска на второй калибр!

Неделя молча кивнул головой.

Бросая быстрые взгляды на стрелку, Дмитрий увеличивал обжим. Пять... А что если ещё два—три миллиметра? Тогда удастся прокатать двести пятьдесят слитков. Дмитрий прислушивался к стуку мотора: нет, ничего угрожающего не было.

Прокатка пошла быстрее, но удовлетворения он не чувствовал. Не своим мастерством достиг он этого, а перегрузкой механизмов.

Вдруг Дмитрий увидел, что к обжимному устройству подходит Степан Иванович в сопровождении начальника цеха Туколкина. Кажется, директор комбината ничего не заметил. Теперь всё внимание Дмитрия было сосредоточено на том, чтобы вовремя отключить мотор. Слиток лёг у самых валков, Дмитрий даже нагнулся вперёд в кресле, чтобы посмотреть, не защемило ли конец слитка в валках. Но Неделя уже пощёлкивал контроллерами, стальные линейки подвинули слиток к калибру, перевернули его. Степан Иванович внимательно следил за движением слитка, чуть отвернулся в сторону от горячего воздуха, обжигавшего лицо.

— Медленно поднимаются валки! — сказал он Туколкину. — Посмотрите, сколько времени мы на этом теряем. Надо вашим конструкторам подумать над созданием приспособления, которое позволяло бы сразу поднимать валки на нужную высоту. Вы не думали над этим, Валентин Михайлович?

— Нет, Степан Иванович, ещё не думал, — торопливо отозвался Туколкин. Он всегда почему-то терялся в присутствии директора комбината. Он сутулился, словно хотел показаться меньше, незаметнее, и голос его звучал неуверенно.

— Надо подумать, — усмехнувшись продолжал директор. — Соберём на этой неделе инженеров вашего цеха, пригласим представителей цеха механизации, может быть что-нибудь вместе и придумаем. Надо нам расширять наши «ворота».

— Конструктивные недочёты... — отважился произнести Туколкин. Степан Иванович бросил на него быстрый взгляд.

— В министерстве, — веско сказал он, — отлично знают, каким оборудованием мы располагаем. И план нам дан именно из расчёта мощности этого оборудования. Не было бы конструктивных недочётов — и план был бы значительно больше. Да и от нас с вами зависит, Валентин Михайлович, эти недочёты устранить. Мы не в кустарной мастерской работаем. Дайте заказ цеху механизации, они вам что угодно сделают. Сами мы мало думаем!

Туколкин уже жалел, что завёл разговор о конструктивных недочётах блуминга. Теперь директор будет думать, что он ссылается на объективные причины. Пусть бы лучше сами инженеры цеха механи-

зации высказались на совещании. А что можно придумать, если слабые моторы с трудом тянут многотонный слиток и его приходится подталкивать железными ломами. С такой механизацией далеко не уедешь.

До войны Туголкин работал на одном из южных заводов, в Рудногорск был эвакуирован. Он ждал, что его со дня на день должны отозвать на юг, на завод, который снова восстанавливался. И сейчас он подумал, что, может быть, приказ о переводе придёт раньше, чем придётся останавливать блуминг для смены маломощных моторов. Три месяца простоя, шутка сказать, сколько металла будет недодано стране!

Степан Иванович прошёл вдоль всего цеха, потом ушёл на адьюстаж, куда поступали уже прокатанные блумсы.

— Каким сортом принимаете прокатанный металл? — спросил он у поспешившего ему навстречу сменного инженера.

— Первым, Степан Иванович. Бригада Артёмова всю неделю хороший металл даёт, вот только маловато. Сортовые станы всё больше и больше металла требуют. — Лицо инженера осветилось улыбкой.

Повеселел и Степан Иванович.

— Всё больше требуют? — переспросил он. — Пожалуй, стеллажи у вас скоро опустеют? А вы на Туголкина нажимайте, требуйте, чтобы больше металла вам давал.

Степан Иванович постоял несколько минут у рольганга, на который поступали прокатанные Дмитрием заготовки, сказал, довольный:

— Ускоряет темп, из Артёмова толк будет.

Закончилась смена. Учётчик соревнования подошёл к доске, вывел на ней крупными цифрами: «256». Дмитрий спустился вниз, закурил, поджидая, пока соберётся бригада.

Девушки — операторы ножниц, улыбаясь, посматривали на Дмитрия.

Готовцев открыл обычное пятиминутное совещание. От Дмитрия не укрылось, что сменный инженер взволнован. Готовцев снял вылинявшую кепку, пригладил свежлые выющиеся волосы, снова надел кепку.

— Сегодня наша бригада прокатала двести пятьдесят шесть слитков, — начал он и взглянул на Дмитрия.

«Догадался!» — подумал Дмитрий и почувствовал, что краснеет. Вот при этих насмешницах, при Косте, который с таким уважением смотрит на него, будет он выслушивать нравоучения сменного инженера.

— Слитки были прогреты хорошо, в подаче задержек не было, — продолжал Готовцев. — Работа шла нормально. Но товарищ Артёмов допускал превышение нормального обжатия, правда незначительно. Делать этого не следует. Артёмов достаточно квалифицированный оператор, чтобы добиваться повышения выработки без нарушения технологической инструкции.

Дальше сменный инженер говорил о работе ножниц, непрерывного стана, о работе на отводящем рольганге. Артёмов плохо слушал, ему казалось, что все на него смотрят, все видят, как он мучительно краснеет. По существу он нарушил приказ. А ведь за все годы пребывания на фронте он не имел ни одного взыскания, ни одного замечания.

Он попросил слово.

— Результатами сегодняшней смены мне гордиться нечего, — глухо сказал он. — Начальник смены прав, я нарушил инструкцию, допускал превышение допустимого обжатия на десять миллиметров. Не всё время, а со второй половины смены. За первую половину смены прокатал 119 слитков, вижу, опять до плана не дойти, вот и не выдержал.

Трофим Иванович сочувственно смотрел на него, покуривая коротенькую трубочку. Его удивило, что Артёмов так волнуется, ведь сменный инженер ничего обидного не сказал. Неожиданно выступил Ксстя.

— Тут начальник смены бросил упрёк нашему старшему оператору товарищу Артёмову. — Голос его звучал по-юношески звонко, ломался на высоких нотах. — За механизмы я ручаюсь, механизмам ничего не стало! Как бы это сказать, Артёмов культурно их перегружал, осторожно. Раздался смех.

— Культурно перегружал? — переспросил Готовцев.

Костя смутился, но всё же продолжал:

— Вон Садовников с каким грохотом работает, он ударом берёт. Ударит по слитку валком — сразу сталь и прижмёт. Придётся принимать смену и думаешь: а будет ли что принимать, дотерпят ли механизмы до конца смены? А у нас и стуку не было, одним обжатием Артёмов действовал. Как же это выходит: одному хоть механизмы сломай, а другому и на миллиметр не перегрузи?

— Не надо, Костя! — негромко сказал Артёмов. — Неправильно я работал.

Костя посмотрел на него влюблёнными глазами, но не стал больше говорить, только махнул рукой.

— Пожалуй, вопрос о перегрузке механизмов нужно будет перенести на производственное совещание, — сказал Готовцев.

Пятиминутка закончилась. Артёмов и Трофим Иванович вместе вышли из цеха. Трофим Иванович шагал неторопливым, размашистым солдатским шагом, на его гимнастёрке были нашиты в три ряда знаки ранений.

— Где воевали, Трофим Иванович? — спросил Артёмов, ему не хотелось сейчас говорить о неудачно прошедшей смене.

Неделя отозвался не сразу, лицо его было задумчиво, загорелый лоб прочертили глубокие морщины.

— Спрашиваете, где воевал, Дмитрий Егорович? На многих фронтах привелось. И под Москвой, и под Воронежем, и на 3-м Украинском. В Будапеште меня в последний раз ранило. Я не про то, Дмитрий Егорович, сейчас думаю. Не вытерпели вы, а что бы подождать одну смену, до плана и дошли бы. Я так думаю, хоть валки и стальные, и диаметр их метр десять сантиметров, а запас прочности у них ограниченный. Ну, можно их немного перегрузить, десять или там двадцать лишних слитков прокатать. Вы сегодня Садовникову позавидовали, а он сам всем завидует, потому что не знает, как из тупика выйти. Нет, Дмитрий Егорович, вы зря его послушали, он скоро, может быть, вас попросит его поучить.

Они шли через широкий палисадник, примыкавший к цеху. Гулко раздавались шаги на асфальтовой дорожке. Листья с деревьев срывались вниз, кружились в воздухе. Чувствовался осенний холодок, солнце спускалось к гряде гор, видневшихся за рекой. Из открытых квадратных дверей мартеновского цеха доносился звонкий колокольчик завалочной машины. Султаны чёрного дыма распластывались в синем небе.

6

Доли секунды... Как упорно стремился сберечь их Дмитрий, и как трудно это давалось! Порой ему казалось, что он нашёл нужный ритм. Но проходил час, и он видел, что всё ещё прокатывает значительно меньше стали, чем Алексей Ищенко.

Вот закончилась смена, а только на два слитка прокатано больше, чем накануне. Если даже каждый день удастся набавлять по два слитка, то только через двадцать дней он достигнет нынешней выработки Алексея Ищенко. А до конца месяца осталось два дня, месячный план не выполнен.

Дмитрий откинулся на спинку кресла, глядя вслед последнему блумсу, медленно уплывающему в глубь пролёта. Только двести шестьдесят один!

Неделя вынул из кармана спечовки измятую пачку папирос, выбрал две поцелее, протянул на выбор Артёмову. Они закурили. Неделя ободряюще произнёс:

— Хоть понемногу, а идём в гору, Дмитрий Егорович! Вот уже и за обязательство шагнули.

Дмитрий ничего не ответил. У него было чувство, что он не оправдал надежд, и зря Трофим Иванович старается его утешить.

Внизу у лестницы Дмитрий встретился с Машиным. Дмитрий поздоровался, голос его звучал неуверенно. Это не укрылось от Машина, он задержал Дмитрия.

— Давно хотел вас вызвать, поговорить, да штурмовщина все планы расстроила.

Подле механизмов уже хлопотал Садовников. В глазах его горел лихорадочный огонёк. Пришли дни его славы! Теперь, когда надо было во что бы то ни стало выполнить месячный план, и Туколкин и сменные инженеры смотрели сквозь пальцы на нарушение технологического процесса. Уже не таясь, Василий усиливал давление в валках, он работал с подчёркнутой лихостью, желая показать, что может обогнать и Алексея Ищенко. Действительно, ему уже два дня удавалось прокатывать свыше трёхсот слитков. Дмитрий даже почувствовал к нему зависть.

Василий поднялся на пост главного управления, ещё не успев сесть в кресло, пронзительно засвистал, требуя, чтобы побыстрее подали слиток. Загремел подъёмный кран, застучали колёса трансферкары, зашелестел подающий рольганг.

— Пойдём ко мне,— сказал Машин, наклоняясь к Дмитрию, чтобы голос его был услышан в грохоте металла.

У двери кабинета Машина стоял Фомин, он недовольно дёргал ручку запёртой двери. Услышав шаги, Фомин обернулся, на его лице показалась широкая улыбка.

— А я к вам, Сергей Харитонович! — Но тут же, заметив Артёмова, он спросил: — Вы заняты, может быть зайти позже?

— Ничего, заходите.

— Беседовали мы вчера у себя в бригаде,— начал Фомин на ходу, идя вслед за Машиним. — Как у нас говорят: Фомин столько-то прокатал. А разве я один катаю? Работы бригады не видно.

— Что же вы предлагаете? — спросил Машин с интересом.

— Надо так соревнование поставить, чтобы каждый знал, сколько он минут за смену сберёт, сколько лишних слитков прокатал! — с воодушевлением ответил Фомин и добавил: — Хотим мы просить, чтобы молодёжную бригаду у нас создали, чтобы молодёжь из других смен перевели.

— Подсаживайтесь, товарищ Артёмов, послушайте наш разговор,— сказал Машин. — Дело комсомольцы задумали. Только почему ограничиваться молодёжью? Всех рабочих надо в такое соревнование вовлечь.

— Не видно будет лицо комсомольской организации! — горячо возразил Фомин.

Машин повернулся к Дмитрию.

— Хорошее дело, — ответил на его молчаливый вопрос Дмитрий.

Машин улыбнулся.

— Из одной молодёжи бригаду создать?

Дмитрий наконец понял, о чём спрашивает Машин.

— Молодёжную бригаду? — переспросил он. — Нет, пожалуй не стоит.

— Я тоже думаю, что не стоит, — мягко заключил Машин и, повернувшись к Фомину, добавил: — Организуйте такое соревнование во всех бригадах, да не только на первом блуминге, а и на других, вот и будет видно лицо комсомольской организации, весь комбинат вашу инициативу подхватит.

Помрачневший было Фомин улыбнулся.

— А ведь верно, у нас во всех бригадах большинство молодёжи!

Фомин ушёл, Сергей Харитонович поправил лежавшие на столе бумаги, выровнял карандаши, сдул табачные крошки. Наконец, уселся в кресло, приготовился к разговору. Лицо его стало строгим, он о чём-то сосредоточенно думал.

— Хотим создать стахановскую школу, — начал Машин. — Пусть Ищенко познакомит других операторов со своим методом. А то толкуем об этом методе давно, а в чём он состоит, мол, догадывайтесь сами.

— Большую пользу это принесёт, — убеждённо ответил Дмитрий. — Я и за то короткое время, что работал с Ищенко, многому у него научился.

— У Ищенко? — переспросил Машин. — А потом решили поучиться у Садовникова? — Он улыбнулся, заметив смущение Дмитрия. — Нет, товарищ Артёмов, нечему вам у него учиться!

Машин покачал головой. Когда он узнал от Готовцева, что Артёмов тоже начинает нарушать технологическую инструкцию, он всерьёз обеспокоился. Артёмов не знал, что Машин после каждой смены узнавал у Готовцева, как шла работа. Нет, вернувшийся из армии оператор не обманул его надежд. Машин мечтал о том, чтобы блуминги не только изо дня в день выполняли план, но были на первом месте среди других прокатных цехов.

Когда Артёмов ушёл, Машин спустился вниз. По отводящему рольгангу плыли подрагивающие гибкие блумсы, они шли часто, почти один за другим, сразу можно было заключить, что Садовников взял очень быстрый темп. Машин направился вдоль рольганга к посту главного управления, подошёл к сменному инженеру.

— Почему допускаете нарушение инструкции? — резко спросил Машин.

Инженер смущённо развёл руками.

— Штурмуем... Валентин Михайлович требует выполнить план во что бы то ни стало. Отстаём, Сергей Харитонович, приходится временно мириться...

Резкий грохот валков заглушил его последние слова. Сменный инженер побежал к нажимному устройству блуминга, Машин последовал за ним. У Садовникова произошла «косечка», слишком быстро пущенные валки не смогли захватить слиток, медленно подававшийся на рольганге. Но валки уже раздались, захватили слиток. Сменный инженер облегчённо вздохнул, вытер пот с лица.

Садовников снова пронзительно свистнул, требуя подачи очередного слитка. Он весь был во власти азарта. Ещё немного нажать — и рекорд будет достигнут, Ищенко будет позади.

Его возбуждение передавалось всей смене, на непрерывном стане шла лихорадочная работа.

Машин вернулся наверх, прошёл к начальнику цеха, но Туголкина не было, он ушёл в заводоуправление. Тогда Машин разыскал Свиридова, но тот лишь сокрушённо пожал плечами, выслушав Машину.

— Что я могу поделывать, Сергей Харитонович? Дело не только в Туколкине, его мы, может быть, и обломали бы. Да ведь директор тоже требует выполнить план во что бы то ни стало. Думаете, он не знает, как мы работаем?

Машин задумался. Конечно, директор не может не знать, за счёт чего в последние дни месяца повышается выработка. Да, нужны **коренные** перемены. Машин возлагал большие надежды на стахановскую школу.

Пошёл последний слиток. Садовников выпрямился в кресле, достал папироску, жадно закурил. Он сидел сияющий, хоть и не поставил нового рекорда, но только на три слитка отстал от Ищенко.

До войны, в годы освоения блуминга, в подобных случаях созывался митинг, нередко начальник цеха, а то и сам директор комбината тут же премировал отличившихся стахановцев. Но теперь премии выдавались только за высокую выработку в течение всего месяца. Не дождавшись издвращения, Василий спустился вниз, подошёл к стоявшему невдалеке Свиридову, спросил самодовольно:

— Ну как, умеет Садовников работать? Будь слитки лучше прогреты, я бы и больше прокатал!

— Работать? — переспросил Свиридов с накапливающим раздражением. — Механизмы вы умеете калечить, а не работать!

Василий резко повернулся, от обиды у него задрожали губы. Вот тебе и поздравление!

7

Стахановская школа была создана. Машин просидел несколько вечеров с Алексеем Ищенко, помогал разобраться в данных хронометража. Оказалось, что Ищенко тратит в среднем на обжатие слитка на девять секунд меньше, чем другие операторы. Об этих девяти секундах стоило поговорить.

Конечно, и раньше призывали всех операторов равняться по передовому стахановцу Ищенко. Но одно дело были общие призывы, и другое — чёткий, воплощённый в цифры анализ. Они оба были увлечены этой работой. Машин сделал несколько чертежей, на которых изобразил различные фазы обжатия слитка. Алексей раскрашивал чертежи, вглядывался в них, обдумывал, на чём можно ещё сэкономить такие дорогие секунды. И пока шла подготовка к занятиям в стахановской школе, Ищенко повысил выработку ещё на несколько слитков.

На первое занятие стахановской школы пригласили не только старших операторов и их помощников, но и машинистов подъёмных кранов, трансферкар, ножниц — всех, от кого зависела ровная, ритмичная работа блуминга. Занятие проводилось в кабинете Машина. На стенах были развешаны чертежи, они сразу привлекли внимание собравшихся, и Алексей радовался, что догадался их раскрасить.

Машин произнёс короткое вступительное слово. Чертежи и математические выкладки так ясно рассказывали о методе Ищенко, что теперь все операторы могли овладеть им и давать в сутки лишние сотни тонн стали, в которых нуждался комбинат.

Алексей стоял с длинной указкой в руке, словно профессор. Машин сидел рядом, готовый прийти ему на помощь. На столе лежали конспекты всех пяти занятий, перепечатанные на машинке, сшитые в тонкие тетрадки.

— Вот, товарищи, посидели мы несколько вечеров с Сергеем Харитоновичем, — начал Алексей свою первую лекцию. — Сначала, когда мне предложили организовать стахановскую школу, мне казалось, что и рассказывать не о чём: работаю я, как все, только, может быть, немного

быстрее. А когда произвели мы вычисления, то увидели, на чём экономится время, как можно ускорить работу и давать больше блумсов. А каждый лишний блумс — это тонны стального листа для новых автомашин и тракторов, или швеллера для строительства, или рельсов для шахт Донбасса.

Ищенко волновался, не оттого, что ему приходилось вести занятие, он привык выступать на партийных и рабочих собраниях. Его волновала мысль, что он может теперь так ясно и просто передать всем товарищам секрет своего мастерства.

Артёмов вынул блокнот, записал приведённые Алексеем расчёты. Василий Садовников бросил на него насмешливый взгляд и демонстративно засунул руки в карманы, показывая, что не собирается быть школяром. Он сидел, рисуясь перед товарищами, откинув назад голову и прищурился глазами. Он привык быть в центре внимания и теперь тяготился ролью слушателя. Садовников завидовал Алексею, и в то же время старался показать, что смотрит на всю эту затею со стахановской школой, как на бесполезную, во всяком случае для него, одного из старейших операторов Рудногорска.

Ищенко закончил лекцию, с сожалением отложил тетрадь. Ему хотелось сразу рассказать товарищам о всех своих приёмах, но по плану, разработанному секретарём партийной организации, программа была рассчитана на пять занятий.

— Может быть, не всё понятно? — спросил Машин. — Задавайте вопросы, товарищи.

Поднялась девушка в брезентовом комбинезоне. Артёмов узнал Лизу, ту самую, что в первый день острила на его счёт. Лиза сказала звонким голосом:

— Вообще всё понятно. Я вот только хотела спросить, сколько времени требуется на реверс мотора? Если одновременно с крючьями кантователя привести в движение мотор, то скольких оборотов могут достигнуть валки в момент захвата слитка?

Артёмов посмотрел на неё одобрительно. Эта насмешница, оказывается, неплохо разбиралась в работе механизмов блуминга. Ищенко обрадовался её вопросу, равномерный ход всех механизмов был основой его метода, именно это давало возможность экономить секунды и наиболее полно использовать машинное время. Он водил по чертежу указкой, рассказывая о взаимодействии механизмов. Садовников встал, с шумом отодвинув стул, стоял, ожидая, когда же можно будет уйти. Но Лиза не унималась, продолжала задавать новые вопросы. Она подошла к Ищенко, стала рядом с ним, разглядывая цифры на чертеже.

Дмитрий всё больше удивлялся. Девушка работала на ножницах, сравнительно несложном агрегате, а знала все механизмы блуминга, видно специально изучала их. Он с досадой подумал о себе, что когда демобилизовался, то твёрдо решил учиться, но вот прошло немало времени, а он даже не заглянул в институт.

Занятия закончились. Садовников вышел в коридор, нарочито громко зевнул, остановился, поджидая Дмитрия. Сказал с насмешкой:

— Вот и попали мы на старости лет вроде как в школу первой ступени! Это вроде сказки про собачку, что ходила к свинье и гусю учиться лаять. Нет, если до чего своим умом не дойдёшь, то никакие советы тебе не помогут.

Дмитрию хотелось ответить резкостью на эти хвастливые слова, против которых всё в нём протестовало. Но он смолчал, направился к посту главного управления.

Тысячи километров извездил и исходил Дмитрий во время войны, повидал сотни городов и сёл, но не было для него дорожке места, чем этот цех. Радостное волнение охватывало его, когда он садился на своё рабочее место, уверенно нажимал ногами педальные контроллеры, готовясь дать вращение валкам.

Сегодня, после лекции Алексея Ищенко, это чувство владело им с особой силой. Он будто прислушивался к той жизни, которая шумела вокруг, будто видел в ней обещание будущих творческих радостей.

Позади, у нагревательных колодцев, раздался свисток паровоза и неторопливый стук колёс — с мартенов подали новый состав с горячими слитками. Несмотря на ночное время, цех, как и весь завод, жил напряжённой жизнью, хотя и казался полупустым. Только у операторской собиралась смена Дмитрия да у рольганга дежурил рабочий с ломом, следил за горячими длинными блумсами, бегущими по стальным роликам.

Сотни кузнецов не управились бы с той работой, которую выполнял старший оператор. День и ночь бить бы им тяжёлыми молотами по огромным слиткам, чтобы выковать длинные стальные полосы. А тут каждая полоса прокатывалась меньше чем за две минуты, но и этим не довольствовались стахановцы, хотели катать слитки за полторы минуты.

В цехе слышался ровный стук валков, тяжёлый грохот кантуемых слитков, равномерное постукивание ножниц. Все механизмы работали в темпе, взятом старшим оператором, вся бригада поддерживала его.

Артёмов сидел со своим помощником в операторской будке, возвышавшейся над всем цехом, и никто не видел его, но чувство какой-то приподнятости словно по электрическим проводам передалось всей бригаде. Прокатчиками владело радостное возбуждение, они видели, что работа идёт легко и чётко.

На операторский мостик поднялся начальник смены Готовцев, постоял немного, прислушиваясь к равномерному пощёлкиванию контроллеров, потом сказал негромко, боясь помешать:

— Отлично работаете, товарищ Артёмов! Триста слитков сегодня должны дать!

Забывая о том, что Дмитрий его не видит, он ободряюще улыбнулся, махнул рукой и спустился вниз. Его беспокоило, как бы где-нибудь не затормозился этот слаженный конвейер. Готовцев поспешил вдоль рольганга, подбадривая рабочих, весёлым голосом давая указания. Как и многие инженеры Рудногорска, он сам раньше работал оператором, закончил институт без отрыва от производства. Рабочие знали его по совместной работе, со многими он был в дружеских отношениях, хотя и звали его теперь только по имени-отчеству — Константином Гавриловичем.

Закончилась смена. Дмитрий ещё несколько секунд сидел в кресле, глядя на последний убегающий блумс. Потом он встал, потянулся всем телом, жадно закурил папиросу. Неделя тоже закурил, встал с кресла, сказал:

— Ничего сработали, подходяще. Двести восемьдесят два обжали!

Дмитрий молча кивнул головой, он ещё был занят своими мыслями. Секрет стахановской работы был у него в руках.

Начальники цехов собирались в кабинете директора комбината на «рапорт» — так назывались ежедневные короткие совещания. Степан Иванович сидел в кресле за большим письменным столом. Перед ним лежала пачка сводок о работе цехов за прошедшие сутки.

Туколкин пришёл одним из первых. Сопнувшись, словно стараясь стать как можно менее заметным, он прошёл в дальний угол, сел на мягкий кожаный стул, сложил на коленях большие красные руки, бросил быстрый взгляд на директора, стараясь угадать, в каком он настроении. Но лицо Степана Ивановича было непроницаемо.

Рядом с Туколкиным сел заместитель начальника комбината Хромов, пожал Туколкину руку и спросил вполголоса, но так, что все слышали:

— Как дела, Валентин Михайлович? Слышал, собираетесь вы у сортопрокатчиков Красное знамя отобрать?

Сортопрокатный цех уже много месяцев был впереди и держал первенство во всесоюзном соревновании. И Туколкин не понял, подзадоривает его Хромов или просто посмеивается — блуминги по выполнению плана всё ещё отставали от других прокатных цехов.

— Работаем понемножку, — ответил Туколкин, досадуя на то, что Хромов сел рядом с ним и теперь не даст покоя.

По заведённому обычаю начальники цехов докладывали в том порядке, в каком работал огромный металлургический конвейер: рудники, коксохимический комбинат, доменные, мартены, обжимно-заготовочный цех, сортовые станы, железнодорожный транспорт.

Дошла очередь до Туколкина. Он неохотно поднялся, словно стул был его последним убежищем, доложил, глядя в угол, что за истекшие сутки план выполнен на сто один процент. Степан Иванович выжидательно молчал.

— Слитки из мартеновских цехов поступали нормально, газом были обеспечены, — нехотя продолжал Туколкин. — Простоев по вине оборудования не было...

Степан Иванович прервал его:

— Простоев не было, но скоро будут? Расскажите, как вы позволяете операторам произвольно сокращать количество пропусков!

Туколкин быстро взглянул на директора, словно пытаясь узнать, что же именно ему известно.

— У нас существует инструкция... — начал он, но Степан Иванович снова перебил его:

— Которую вы предоставляете любому оператору нарушать по его настроению? Молчим и ждём, пока механизмы сломаются?

Туколкин замаялся, не зная, с чего начать.

— В течение месяца цех несколько отстал с выполнением плана... Основной причиной была остановка на неплановый ремонт. В конце месяца нам пришлось навёрстывать отставание. Возможно, в эти дни отдельные операторы несколько отступали от инструкции. Конечно, приходилось мириться...

Степан Иванович поднял руку, чтобы остановить этот поток оправданий, которым не видно было конца.

— В течение пятидневки, — произнёс он медленно и повторил: — в течение всей пятидневки старший оператор Садовников перегружал механизмы и катал слитки за двенадцать, а то и за одиннадцать пропусков. А мы молчим, потакаем! — Степан Иванович продолжал уже спокойней: — По данным отдела оборудования в этом году вы получили сверх плана три комплекта валков. — Он повернулся к начальнику отдела оборудования: — Представьте сегодня же обжимно-заготовочному цеху счета на полученное ими оборудование.

Туколкин молчал, переминаясь с ноги на ногу.

— Правильно я обрисовал положение в цехе? — спросил его Степан Иванович.

— В основном правильно...

— А что неправильно?

— Всё правильно... — нехотя ответил Туколкин.

— Значит, не в основном, а всё? Так почему же вы ни разу не сообщили нам об этом? Ведь мы собираемся не для того, чтобы успокаивать друг друга.

Туколкин уже плохо слышал, что докладывали начальники других цехов. Он всё вспоминал происшедшую сцену и думал о том, в какое глупое положение поставил его директор.

«Рапорт» закончился. Ни на кого не глядя, Туколкин поспешил выйти из кабинета.

Ожидавшая его «эмка» остановилась у дверей цеха. Туколкин не сразу понял, почему его охватило тревожное чувство. И вдруг сообразил, что не слышно обычного прохота металла и стука валков. Туколкин бегом бросился в цех. В длинном пролёте группками стояли рабочие, у агрегата «Ильгнер» возились слесари и монтеры. Свиридов спешил навстречу, вид у него был озабоченный. «Полетели валки!» — с тревогой подумал Туколкин. Этого только не хватало!

— Что тут у вас ещё произошло? — грубо выкрикнул Туколкин.

Свиридов посмотрел на него с некоторым недоумением, сдержанно, едва скрывая обиду, ответил:

— Порвало болты у маховика на соединении со ступицей главного вала. Разработались отверстия, я приказал их расточить.

Туколкин облегчённо вздохнул, поломка была незначительная. Он подошёл к слесарям.

— Сколько времени потребуется на ремонт?

— Надо растачивать отверстия, — задумчиво ответил пожилой слесарь. — Пожалуй, смену простои́м. Маховик надо разбирать.

— Смену? — возмутился Туколкин. Он подошёл к сломанному агрегату, осмотрел его, сказал уверенно: — Подтачивайте болты, незачем отверстия растачивать.

Слесарь ещё раз осмотрел неровные отверстия.

— Как бы больше не простоять, Валентин Михайлович. Большой зазор может получиться, а в маховике девяносто тонн.

— За это вы будете отвечать! Почему порвало болты?

— Это, Валентин Михайлович, надо ту фирму спросить, что нам агрегат поставила, — спокойно ответил слесарь. — По-моему, заграничные инженеры плохо расчёт сделали. Боковая нагрузка на болты получается, не в первый раз мы с этим агрегатом возимся.

— Я всё же предлагаю сразу сделать необходимый ремонт, — не выдержал Свиридов. — Подточим болты, потом их опять порвёт, только зря время будем терять.

— Подтачивайте болты! — приказал Туколкин, потом взял Свиридова под руку, отвёл его немного в сторону, сказал деланно любезным тоном: — Не думайте, Антон Петрович, что я сомневаюсь в правильности вашего решения. Но, как говорится, по одежке протягивай ножки. С нас металл требуют, и так мне пришлось сегодня на «рапорте» краснеть, от всех других цехов отстаём. А тут Степан Иванович начинает ещё хозрасчётом жать, знаете, у него новое увлечение. Подточим болтики, и прекрасно пойдёт работа, ещё нас с вами они переживут. У меня на юге был такой случай, и до самой войны выдержали!

Подошёл Фомин. Он слышал весь разговор и очень боялся, как бы не переубедили начальника цеха. Он подошёл к слесарям, стал просить их скорей закончить ремонт, предложил помощь своей бригады.

Наконец, болты были подточены. Цех снова пришёл в движение. Свиридов не отходил от маховика, хотел убедиться, что болты вы-

держат. Фомин работал чётко и красиво. Подошёл Туколкин, прислушался к ходу мотора, проговорил с улыбкой:

— Всё ещё сомневаетесь, Антон Петрович? Ничего, выполним годовую план, остановим весь блуминг на капитальный ремонт. Вы Машина не видели?

— Его вызвали в горком партии.

— Ну ладно, тогда завтра побеседуем, надо вас ознакомить подробней с предложениями Степана Ивановича. — И словно невзначай сказал: — Вы не допускайте, Антон Петрович, перегрузки механизмов, а то эта погоня за несколькими лишними блумсами может нам дорого стоить. Фомин не перегружает механизмы? — Он поглядел на диск, на котором дрожала большая чёрная стрелка.

— Нет, он ученик Ищенко. Большую пользу стахановская школа принесла.

— Вот и прекрасно! — произнёс Туколкин. — Вот увидите, как хорошо пойдут у нас дела при дружной работе.

Туколкин, всегда неуверенный в самом себе и скрывавший эту неуверенность резким властным тоном, сейчас волновался, боялся, что маховик действительно может полететь, жалел, что сгоряча отменил распоряжение Свиридова. Но теперь он в этом ни за что не признался бы. Он и жалел, что нет Машина, и радовался этому.

В ночную смену болты снова порвало. Позвонили домой Туколкину, из непонятого упрямства он приказал получше подточить болты. Только на четвёртые сутки, убедившись, что простые растут, Туколкин согласился на ремонт установки. Сотни тонн металла были потеряны.

9

Дмитрий сам не знал, зачем искал новой встречи после того, как увидел свою темноглазую девушку под руку с пожилым инженером. Каждый свободный вечер он надевал свой лучший костюм, и тётка украдкой подмигивала Петру Евлампиевичу. Да, Дмитрий шёл на свидание, но свидание это ещё не было ему назначено. Выйдя из автобуса, Дмитрий отважно пускался в своё длинное путешествие — до Кировского района и обратно, и так до тех пор, пока Шоссейная улица совсем не пустела.

На Шоссейной улице, пересекавшей Рудногорск из конца в конец, сосредотачивалось всё движение, по ней проходила единственная линия трамвая. Поэтому все встречи происходили здесь. У этой улицы было ещё одно преимущество — тротуар пролегал только с одной стороны, по другой стороне шоссе были проложены трамвайные пути, поэтому здесь нельзя было разминуться. Иногда, обманутый кажущимся сходством, Дмитрий убыстрял шаги и чувствовал, что сердце тоже убыстряет свой ритм. Но — опять это была не она. Проще всего было бы зайти под каким-нибудь предлогом в отдел организации труда. Но ведь там работал и тот пожилой, что так уверенно взял её под руку. Нет, это не годилось, надо было поговорить с глазу на глаз. Вот сколько людей идёт по Шоссейной улице, почему же не может пройти и она?

Однажды после смены, когда Дмитрий собрался домой, к нему подошла Лиза, та самая девушка-машинист, что подтрунивала над ним в первый день его самостоятельной работы.

— Товарищ Артёмов, в театр не хотите пойти? — спросила Лиза, от улыбки на её румяных щеках задрожали две ямочки.

— В театр? — переспросил Дмитрий.

Он подумал: сколько вечеров зря ходил он из конца в конец по Шоссейной улице, а темноглазая так ни разу и не встретила. И в цех

не зашла, ведь она знает, где он работает, да и видела, что он её ждал тогда на площади. А вот Лиза сама предлагает пойти в театр. Ну что ж, он пойдёт в театр с Лизой.

— Цеховой комитет организует коллективное посещение, — продолжала Лиза, опустив глаза и стараясь говорить равнодушно. — Я подумала, может быть вы тоже хотите пойти? «Пиковая дама» идёт, это уже последние гастроли. Деньги можно заплатить в получку.

Лиза протянула ему билет.

Вечером Дмитрий подходил к театру. Серая пелена дождя окутывала матовые фонари, украшавшие фасад, на неровном асфальте под порывами ветра дрожала вода в лужах, но у Дмитрия было приподнятое, праздничное настроение. Не потому, что ему предстояло провести вечер с Лизой: он догадывался, что хоть посещение и коллективное, но это для него Лиза взяла билет. Нет, Дмитрий надеялся, что он увидит ту, которую искал. Он уже совсем забыл, что именно в отместку ей решил пойти в театр с Лизой.

В фойе Дмитрий встретился с Алексеем Ищенко. Алексей шёл под руку с женой. Дмитрий обрадовался этой встрече, когда-то он был у Алексея на свадьбе.

— Что же это вы, Митя, глаз к нам не кажете? — попеняла Татьяна, запросто беря Дмитрия под руку. Они пошли втроём по фойе, огибавшему полукругом зрительный зал. — И почему вы один, неужели из наших красавиц ни одна вам не приглянулась?

— Мне нравятся, я не нравлюсь! — сказал он с грустью.

Дмитрий сам удивился, как просто и легко он смог рассказать об этом друзьям. Впрочем, ничего ещё он не рассказал. Алексей вёселю смеялся, он от всего сердца желал Дмитрию удачи. Такого парня да чтобы девушка не полюбила?

Раздался звонок. Дмитрий пробирался к своему месту и увидел, что рядом с его пустым креслом сидит Лиза. Она сначала хотела пригвориться, что не видит Дмитрия, потом подняла глаза, вспыхнула. Дмитрий привык видеть её в комбинезоне, она всегда казалась ему похожей на забавного медвежонка. Сейчас в голубом шёлковом платье она выглядела совсем другой. Но Дмитрий сразу забыл о ней, он стал нетерпеливо оглядывать ряды, ища свою незнакомку.

— Оказывается, наши места рядом, — с деланным удивлением проговорила Лиза. И тут же выдала себя, добавив: — А я думала, вы уже не придёте.

Она опустила глаза, чтобы Дмитрий не заметил её радости. Наконец Дмитрий почувствовал, что неудобно так стоять и оглядывать весь зал. Он опустился в кресло, пригладил ладонью волосы, которые он сам неодобрительно называл рыжеватыми, а девушки их считали золотистобронзовыми. Лиза протянула ему пропрограмму.

Лиза сама не могла разобраться в своём чувстве к Дмитрию. Если бы появление Дмитрия в цехе не вызвало столько разговоров, может быть она и не обратила бы на него внимания. Сейчас, сидя рядом с Дмитрием, она украдкой поглядывала на него. Лиза по-ребячески радовалась тому, как удивятся все девчата, увидев её с Дмитрием, и в то же время робела, не зная, с чего начать разговор.

— Вы любите эту оперу? — наконец спросила она.

Дмитрий рассеянно кивнул головой, но тут зазвучала музыка, Лиза замолчала.

Она не догадывалась, как далеки они друг от друга в эту минуту. В антракте Дмитрий ушёл курить, Лиза терпеливо ждала его. Когда в зале гасили свет и начиналась музыка, Лизе казалось, что между ними

уже всё сказано без слов, сказано теми дивными ариями, что льются со сцены. А Дмитрий думал о том, что Лиза в сущности очень славная девушка, прямая и непосредственная, наверное надёжный товарищ. Но как хорошо было бы сидеть сейчас рядом с той, которая так неожиданно овладела всеми его помыслами.

Опера окончилась. Лиза встала, порывисто вздохнула, на глазах её блестели слёзы. Дмитрий, словно очнувшись, посмотрел на неё. Лиза сконфуженно вытерла уголком платка глаза. Они пошли вниз, одеваться. И вдруг Дмитрий увидел ту, о которой думал весь вечер. Она спускалась по лестнице, медленно, со ступеньки на ступеньку, потому что вся лестница была запружена людьми. Дмитрий рванулся было вперёд, но вспомнил про Лизу, ему стало неловко перед ней. Надо как-то объяснить, надо хоть что-нибудь сказать.

— Вы не обидитесь... — начал он нерешительно и в то же время нетерпеливо, потому что девушка уже скрылась за поворотом площадки.

Дмитрий осёкся, почувствовав неловкость перед Лизой, ведь это она позвала его в театр. Всё же он убыстрил шаг, с трудом продвигаясь вперёд. Но девушка уже мелькнула внизу, скрылась в толпе. Догнать бы, обменяться хоть несколькими словами, узнать её имя, а потом уж можно проводить Лизу. На мгновение его охватило раздражение против Лизы, но тут же ему стало стыдно.

Стараясь быть внимательным, Дмитрий взял Лизу под руку. Они вышли на асфальтированную площадку перед театром, порыв холодного ветра с дождём налетел на них. Все вокруг убыстрили шаги, только Лиза шла медленно, подставляя разгорячённое лицо дождю. Всё происходящее в этот вечер казалось ей значительным, она думала, что навсегда запомнит и эти косые струи дождя, освещённые матовым светом фонарей, и этот холодный ветер, предвещающий приближение зимы, и блестящие лужи, по которым пробежала крупная рябь. Слева, казалось совсем недалеко от театра, мерцали длинные ряды огней обогатительной фабрики, будто весёлые праздничные гирлянды были перекинута между рудниками.

Дмитрий всё оглядывался.

— Я живу недалеко, тут две трамвайных остановки, — нерешительно проговорила Лиза. — Может быть, пройдем пешком?

Дмитрий согласился, теперь ему было всё равно. Они обогнули бульвар, вышли на широкую застроенную многоэтажными домами Шоссейную улицу.

— Вот мы и пришли! — сказала Лиза с сожалением, останавливаясь у одного из подъездов большого дома. — Вы можете здесь сесть на трамвай.

Она всё ещё ждала, что Дмитрий что-то скажет. Но он только крепко пожал ей руку и пошёл к остановке.

10

Дмитрий немало удивился, встретив в цехе своего дядюшку Петра Евлампиевича. Старик был в выходном костюме, только вместо галстука был повязан по старинной моде чёрный шёлковый шнурок. В глазах у дядюшки дрожали весёлые огоньки.

— Пришли вызывать вас на соревнование! — пояснил Пётр Евлампиевич. — Хочешь не хочешь, а придётся тебе теперь, Митяй, катать по триста слитков в смену. Постановили наши доменщики выполнить пятилетку не в четыре с половиной года, как раньше намечали, а на три месяца раньше. А у вас возможности побольше, вам не грех и на полгода срок сократить!

Нравилась Дмитрию в дядюшке эта весёлая неутомность, он не только стремился хорошо работать сам, но всё обдумывал, что можно сделать в других цехах, смотрел глазами хозяина на весь комбинат. Знал Пётр Евлампиевич, что блуминги отстают, даже план не выполняют, а вот с чем пришёл.

— Там у нас целая делегация! — пояснил Пётр Евлампиевич. — С начальством вашим беседуют. Как ваши прокатчики, поддержат?

— Поддержим! — ответил Артёмов.

Покончив с официальной стороной своего визита, Пётр Евлампиевич спросил племянника вполголоса:

— Как сегодня сработал?

Это словечко, видно занесённое когда-то сюда украинскими переселенцами, стало типично местным: никогда не говорили здесь «работать», только «рботить», с ударением на первом слоге.

— Двести девяносто.

Пётр Евлампиевич одобрительно кивнул головой. Семейная честь требовала, чтобы вернувшийся из армии племянник тоже работал хорошо.

— У сталеваров я уже был, — продолжал он. — Поговорил с Виктором, он обещал, что не подведёт.

Он говорил таким тоном, словно Виктор, его сын, один варил всю сталь на комбинате. Артёмов понимал, что Пётр Евлампиевич смотрит на комбинат, как на родной дом. Мартены — это дело Виктора, блуминг — Дмитрия, сортовой стан — старшего сына Семёна. Это уж дело обеспечить, чтобы товарищи по цеху тоже работали хорошо. Старик, кажется, жалел, что нет у него сыновей и на рудниках, и на коксохимическом комбинате, и на других сортовых станах. Впрочем, если не было там сыновей, то почти везде были ученики и друзья. Старый доменный мастер всюду мог прийти как хозяин. Он был одним из строителей этого комбината, и теперь хотел, чтобы все работали хорошо, пожалуй, весь многотысячный коллектив комбината дядюшка считал своей большой семьёй.

— Где тут у вас метла? — вдруг спросил Пётр Евлампиевич.

— Вон стоит, — ответил Дмитрий. — Да зачем она вам? Уж не нас ли хотите из цеха вымести? — Он шутил, но поглядывал на дядюшку с недоумением.

— Не догадались сами подмести, давайте я подмету. А в другой раз и ты не стесняйся за метлу взяться, если другим невдомёк. Ты — хозяин смены, а в цехе грязь! Смотри, сколько окалины валяется.

— На это уборщицы есть, — запротестовал Артёмов.

— Вот и надо их поучить, как цех в чистоте держат! — Пётр Евлампиевич шагнул к метле, стоявшей у стены.

К счастью, показался Машин, крикнул, перевешиваясь через перила лестницы:

— Пётр Евлампиевич, мы вас ждём! — Увидел Дмитрия, добавил: — И вы, товарищ Артёмов, заходите.

Делегацию доменщиков принимали Свиридов, Машин, председатель цехового комитета Дроботов, Алексей Ищенко. Машин весело улыбался, было видно, он очень доволен приходом доменщиков. Теперь Туколкин поневоле будет вынужден больше уделять внимания ровной работе, не сможет отговариваться, как прежде, различными независящими от него причинами.

Пётр Евлампиевич прочитал текст вызова. Изредка прерывал чтение, с подробностями пояснял отдельные пункты.

— Дело хорошее! — убеждённо заключил Дроботов, когда Пётр Евлампиевич кончил читать.

— Значит, вызов принимаем, обсудим его во всех бригадах, — заключил Машин.

Когда гости ушли, Артёмов сказал Алексею, спускаясь с ним по лестнице:

— Придётся мне ещё настойчивей у тебя учиться. Как говорится: не дал слово — крепись, а дал — держись! Теперь дядюшка будет каждый день меня проверять.

— Хороший старик, — ответил Алексей и неожиданно добавил: — Да и мне у тебя многому следует поучиться! Ты меня скоро догонишь. А вот я тебя, пожалуй, не скоро догоню!

— В чём же? — с недоумением спросил Артёмов.

— Вот оба мы коммунисты. А уж и Машин советовал мне приглядеться к твоей работе. Это правильно, сразу я заметил, что не тем ты из армии вернулся, научился, как бы это сказать, подальше видеть.

Дмитрий смутился от этой похвалы. Да разве можно хвалить человека за то, что он выполняет свой долг?

— Ты всю бригаду вперёд ведёшь! — продолжал Алексей. — А у меня в бригаде как бывает: я бы и больше прокатал, только смотришь, то у одного, то у другого заест.

— Это я у Фомина научился! — ответил Артёмов и рассказал о соревновании, которое затеял в своей бригаде Фомин.

Алексей внимательно слушал, потом сказал:

— Об этом мне Машин и говорил. Ты вот заметил, что есть нового в работе Фомина, а я не заметил, хотя подольше твоего здесь работаю.

Они вместе вышли из цеха. Холодный восточный ветер налетел внезапным вихрем, ударил в лицо ледяной крупой. В палисадниках скрипели обледенелые клёны.

— Не укрыл я ещё на зиму деревья! — озабоченно сказал Алексей. — Боюсь, примёрзнут.

Ищенко был завзятым садоводом, на его усадьбе росли мичуринские сорта, летом он приносил то яблоки, то малину, всякой радостью он любил поделиться с товарищами по цеху.

Он убыстрил шаг, с тревогой поглядывал на небо. Артёмов посмотрел ему вслед с лёгкой завистью: у Алексея была семья, свои волнующие домашние заботы, а он всё ещё жил бобылём.

11

Новое здание для института строилось на правом берегу, а пока он размещался в кое-как приспособленном жилом доме. Артёмов поднялся по ступенькам крыльца, нерешительно огляделся. Наугад толкнул первую дверь, очутился в длинном, слабо освещённом коридоре. Впереди показалась девушка со стопкой книг в руках, она шла навстречу. Дмитрий издали узнал её.

— Здравствуйте, — проговорил он несмело, он даже не знал её имени.

Она переложила книги в левую руку, протянула правую Дмитрию и не спешила отнять её.

— Вот мы с вами и встретились, — сказала она просто. — Меня зовут Марина.

Дмитрий любовался ею, едва веря своей удаче. Наконец он нашёл её! Он не скрывал своей радости.

— Я видел вас в театре!

— Да-а? — протянула она, удивлённая. — Что же вы ко мне не по-

дошли? Скучно в театре одной, я ведь здесь никого не знаю. Сослуживцы всё народ семейный, солидный.

«Значит тот, пожилой, был только сослуживец!» — ликуя, подумал Дмитрий.

— Почему вы не подошли? — повторила девушка.

— Я вас увидел издали, когда вы уже уходили. — Ему не хотелось признаться, что он был в театре с Лизой. Наконец догадавшись, что надо помочь, взял из рук Марины книги, спросил: — Куда их вам отнести?

— Проводите меня до библиотеки.

Они пошли рядом. Хотелось сказать, что он всё время думал о ней, но вместо этого он сообщил:

— Собираюсь поступить в институт. Трудно управлять блумингом, не зная металлургии.

— В институт? — переспросила Марина задумавшись. Она сама не знала, почему рада встрече с человеком, которого видела всего лишь раз, если не считать той встречи на площади, когда он почему-то от неё убежал. И в театре не захотел подойти. А всё-таки ей кажется, что он тоже рад этой встрече. Она спросила: — Вы до войны тоже учились?

— Нет, никак не мог собраться, всё откладывал.

— Мне кажется, это очень трудно—работать и учиться.

Они дошли до дверей библиотеки. Марина взяла свои книги, спросила:

— Вы куда сейчас?

— Не знаю, — смутился Дмитрий. — Наверное, надо с директором разговаривать или с заведующим учебной частью.

— Подождите минутку, я вас провожу.

Она вбежала в библиотеку, положила книги, они вместе пошли по коридору.

— Вот здесь, — сказала Марина.

Ещё с юношеских лет осталась у Дмитрия какая-то непонятная робость перед высшими учебными заведениями. Много раз до войны порывался он поступить в институт, но всё ему казалось, что подготовка у него недостаточная, высшим образованием ему не овладеть, надо сначала поработать, набраться опыта. И сейчас он не спешил открыть дверь. Марина поняла это по-своему.

— Не хочу вас задерживать. Вы мне потом расскажете, что вам скажет директор?

Она спросила это просто, дружески, Артёмов обрадованно согласился, значит они ещё раз сегодня встретятся.

Директору было на вид не больше тридцати пяти лет, и глаза у него были совсем молодые, весёлые. Может быть поэтому Артёмов почувствовал себя легко и свободно. Он опустился в кресло, предложенное ему, рассказал, что хочет поступить на заочное отделение.

— Вы кем работаете? — спросил директор.

Тон был простой, ободряющий, чувствовалось, что директор хочет вместе с Дмитрием решить, как ему помочь поступить в институт.

— Старшим оператором.

— Так это о вас в газете сегодня писали? Читал, читал! — И сразу заключил: — У нас организована подготовительная группа, в неё вас и запишем.

Артёмову всё время почему-то казалось, что на пути к поступлению в институт встанет много препятствий. А всё разрешилось очень просто. Он вышел из кабинета директора, чувствуя себя счастливым.

Марина ожидала его в приёмной. Она подошла к нему близко,

вопросительно заглянула в лицо. Глаза у неё, оказывается, были карие, в них дрожали золотистые огоньки, а раньше они казались Артёмову совсем чёрными.

— Ну как?

— В подготовительную группу! — ответил Дмитрий, всё ещё чувствуя радостный подъём.

Девушка-секретарь за столом протянула ему листок.

— Заполните анкету. Присаживайтесь, пишите.

Артёмов нерешительно остановился с листком в руке, он боялся, что Марина может уйти.

Но она не спешила уходить, села у окна, сказала, что подождёт его.

Наконец, Артёмов положил перед секретаршей заполненную анкету. Они вышли из приёмной. Он мял в руках меховую шапку, не зная, как продлить эту встречу. Неужели просто распрощаться, ведь она нарочно дождалась его! И он решил:

— Вы говорили, что вам не с кем пойти в театр. Может быть, вы разрешите мне...

Марина рассмеялась.

— К сожалению, опера уже уехала. Вот что, мы можем встретиться с вами в библиотеке. Я там бываю каждый вечер. Согласны?

Он вышел, унося ощущение крепкого пожатия её руки, вспоминая её улыбку.

В палисаднике деревья стояли, убранные снегом, солнце искрилось на их ветвях, на блестящем насте. Артёмов быстро шагал, возбуждённый радостью встречи. В его ушах все ещё звучал голос Марины, её весёлый смех. И ему было весело: значит, они встретятся!

До начала смены оставалось около двух часов, ехать домой не было смысла, и Дмитрий решил, что лучше всего пройтись до завода пешком. Он пошёл через парк, в насаждении которого участвовал ещё школьником. Тяжёлый снег срывался с ветвей, рассыпался искристой пылью. Всё вокруг казалось Дмитрию родным и праздничным.

Ещё не доходя до цеха, он различил в общем заводском шуме грохот прокатного стана. И, как всегда перед началом смены, он ощутил радостное волнение. Ему всегда хотелось, принимая смену, добиться нового успеха, прокатать ещё больше блумсов, чем удавалось раньше. А сегодня, в такой чудесный день, он верил, что сможет добиться всего, чего захочет.

В длинном пролёте цеха он встретил Машина.

— Сказываются результаты нашей стахановской школы! — сказал Машин, крепко пожимая Дмитрию руку. — Знаете, сколько Фомин сегодня прокатал? Двести шестидесятый слиток у него пошёл. А вы что рано на смену пришли?

— Ходил в металлургический институт, — пояснил Артёмов, широко улыбаясь. — Хочу поступить на заочное отделение.

— Очень хорошо! — одобрил Машин. — Рад за вас.

Он в самом деле был рад, что не ошибся в этом молодом коммунисте.

Сияющий, счастливый, спустился Фомин с операторского мостика, когда закончилась смена. Как равный, поздоровался он с Дмитрием, размашисто подал руку, чувствовалось, что ему хочется выглядеть бывалым металлургом. Кепка была лихо заломлена на затылок, из-под неё выбивался совсем мальчишеский, непокорный вихор.

— Хорошо сегодня прогреты слитки, — сказал Фомин, не в силах сдержать радостную улыбку.

Знакомая, но всегда волнующая минута. Валки захватили раскалённый слиток. Дмитрий почувствовал мягкую податливость металла, так, словно он ошупывал этот слиток руками. Валки стали сближаться, заставляя слиток вытягиваться, становиться всё тоньше и тоньше. По темпу работы Дмитрий чувствовал, что на прокатку каждого слитка затрачивается одинаковое время, не теряется ни одной лишней секунды. Нет, не забыл он свою родную профессию, мастерство снова вернулось к нему, теперь он работал даже быстрее, изучив метод Алексея Ищенко. Главное, не терять ни одной лишней секунды на паузах.

Прошёл по цеху Туголкин, крикнул Готовцеву так, чтобы слышала вся смена:

— За триста думаете перевалить? Давно пора, а то что же это все перед Ищенко робеют? Пора показать, что и лучше его умеют работать!

Слиток подошёл к валкам. Дмитрий приподнял их, дал вращение, Трофим ускорил движение подающего рольганга. Но валки не захватили слитка, рольганг двигался слишком медленно, получилась пробуксовка. Дмитрий замедлил движение валков, но они вдруг с грохотом остановились. Напрасно Трофим ускорял движение закапризничавшего рольганга. Валки замерли на месте. Боясь поверить в происшедшее, Дмитрий продолжал нажимать контроллеры, но теперь они были лишь мёртвыми кнопками. Раскалённый слиток тыкался в неподвижные валки. Неделя опомнился, дал рольгангу обратный ход. Слиток медленно откатился назад.

Дмитрий вскочил со своего кресла, бросился вниз. В затихшем цехе гулко прогрохотали железные ступеньки под его ногами. Трофим Иванович тоже растерянно встал, вытер рукавом куртки пот со лба, стал спускаться вслед за Артёмовым. Но тут он вспомнил об оставшемся на рольганге горячем слитке, быстро вернулся, дал сигнал машинисту подъёмного крана, вернул слиток к трансферкаре. Только после этого он спустился вниз, подошёл к главному мотору.

Не дожидаясь ремонтной бригады, Готовцев с помощью дежурного электрика и монтажера принялся разбирать мотор. В цехе стояла тишина, постукивали только гаечные ключи. Артёмов помог снять отделившуюся полумуфту главного мотора. Широкая трещина разделяла её надвое. Готовцев внимательно рассматривал излом. Мелкие, уже потускневшие трещины расходились причудливым узором почти до самой поверхности полумуфты.

— Доломали мотор! — с сердцем сказал Готовцев. — Вот к чему ведут показательные успехи! Как же надо было насиловать механизмы, чтобы разрушить всю сталь. Сколько раз говорил я, что Садовников нас до добра не доведёт.

— Константин Гаврилович! — негромко сказал Дмитрий. — А ведь я одну смену тоже перегружал механизмы. Вы мне ещё замечание сделали.

Готовцев посмотрел на него, но не ответил, он соображал, сколько времени отнимет ремонт. Только начал цех изо дня в день выполнять программу, и вот — непредвиденный простой!

Показался Туголкин.

— Опять болты порвало? — ещё издали закричал он. — Вот вам и расточенные отверстия! Как сам не прослежу за ремонтом, так ничего не выходит!

И вдруг осёкся, увидев лежавшую на земле полумуфту. Он был достаточно опытным инженером, чтобы сразу понять причину аварии. Присев на корточки, он долго рассматривал трещины, избородившие полумуфту.

— Превысили давление или пробуксовка получилась? — спросил он.

— Нет, Артёмов больше перегрузки не допускает, — сдержанно ответил Готовцев. Он уже жалел, что доложил тогда о той единственной смеде, тепер Туколкин может зря придраться к Артёмову. — Сами видите, эти трещины накапливались месяцами, если не годами.

— Вот именно — если не годами! — проговорил вдруг Туколкин совсем другим тоном. — И незачем нам винить прежде времени наших операторов. Надо ещё разобраться в причинах изношенности стали. — Он избегал слова «авария». — И то надо удивляться, Константин Гаврилович, как это механизмы всю войну выдерживали.

Готовцев понял, наконец, куда клонит Туколкин, хочет, как говорится, списать всё на войну. Конечно, никто ведь не станет создавать экспертизу, чтобы определить время появления каждой трещинки. Но если бы полумуфта так была разрушена ещё во время войны, она давно бы сломалась.

Подошли рабочие ремонтной бригады.

— Да, да, надо поскорей браться за ремонт! — деланно бодрым голосом проговорил Туколкин. — Я позвоню главному механику, а вы, Константин Гаврилович, пока тут распорядитесь.

Несмотря на внешнюю оживлённость, он совсем упал духом. Не так то легко будет убедить директора комбината, что поломка произошла вследствие естественной изношенности мотора. Он вернулся, сказал будто между прочим:

— Как распорядитесь с ремонтом, зайдите ко мне, надо будет составить акт о поломке. Пожалуй, пусть и товарищ Артёмов зайдёт, в его смену эта поломка случилась. Так я буду в своём кабинете.

Ремонтники осмотрели разобранный мотор, стали негромко совещаться.

— Ремонт не такой уж большой, Константин Гаврилович! Дня за четыре, а то и за три управимся.

Артёмов оживился.

— Константин Гаврилович, чем эти дни будем простаивать, лучше в ремонте поможем. Если всей бригадой возьмёмся, быстрей дело пойдёт.

Готовцев с жаром ухватился за эту мысль.

— Свой глаз — алмаз! — поддержал и Неделя. — Нам ведь на блуминге работать.

Замерший было цех вскоре наполнился шумом. Рабочие снимали длинные ленты рольгангов, подтягивали подшипники. У главного мотора возилась бригада, прибывшая из отдела главного механика. Уже Костя, зажав подмышкой гаечный ключ, перечитывал принесённый ему, как редактору листовки-«молнии», текст обязательства комсомольцев с призывом закончить ремонт за три дня. Дмитрий, повеселевший, с азартом отвинчивал гайки. Неподалёку работала Лиза, она изредка поглядывала на Дмитрия, но он не замечал её, занятый своими мыслями.

Машин поднялся за своим столом, оглядел большую комнату, проверяя, все ли собрались. Перед ним лежал листок бумаги: видно, тезисы выступления. У секретаря был усталый вид, и на Садовникова он посмстрел вскользь, словно только отметил, можно ли начинать собрание. Василий искоса наблюдал. Так и есть, Артёмов сидит неподалёку от Машина, видно приготовился выступить с ним заодно. Рядом Неделя, от этого тоже ничего хорошего ждать нельзя, что скажет Митяй, то и этот повторит. Только на Туколкина поглядывал с надеждой Васи-

лий — начальник цеха был единственным человеком, который мог его защитить.

Огласили повестку дня. В повестке был только один вопрос — «об усилении партийно-воспитательной работы в цехе», и эта повестка очень удивила Василия. Он ожидал, что в связи с происшедшей аварией повестка дня будет изменена. Цех простоял около трёх суток, недодали столько металла, а собираются говорить о воспитательной работе... Может быть, Туколкину удалось убедить директора, что в аварии виноват не один только он, Садовников? Василий немного повеселел, заметив начальника цеха.

Машин встал.

— Товарищи, в нашем цехе произошла серьёзная авария, блуминг на три дня был выведен из строя, — начал он.

Нет, радость Василия была преждевременной. Машин говорил о том, что поломка мотора была вызвана исключительно нарушением инструкции со стороны старшего оператора Садовникова. В погоне за высокими рекордами, за личной славой, а быть может, и за высокими заработками Садовников сознательно калечил механизмы, давал им совершенно недопустимую перегрузку.

— А ведь Садовников — коммунист! — продолжал Машин. — Как же могло случиться, что он стал носителем самых отсталых настроений, мешал работе всего цеха?

Машин говорил о том, что виной всему запущенность в цехе партийно-политической работы.

— Все мы видели, что коммунист Садовников грубо нарушает установленную технологию. Знали, к чему это может привести. А настоящей борьбы с этим не вели. Правда, вызывали мы Садовникова, беседовали с ним. Но грош цена всем этим беседам, если Садовников продолжал работать попрежнему.

«Начнут теперь все косточки перемывать!» — с тоской подумал Василий. Неужели ему больше не работать в этом цехе, с которым связана вся его жизнь? Ведь он ещё комсомольцем рыл котлован для цеха. Он был одним из первых операторов, который поднялся на пост управления, когда блуминг был готов к пуску. Здесь, в этом цехе, принимали его в партию. А как он работал во время войны! И на фронт его не отпустили, несколько раз заявления он подавал. А теперь никому уже не нужен Василий Садовников, выбрасывают его из цеха, и никто слова доброго не молвит!

Член партийного бюро Пучков неторопливо поднялся со стула, широкоплечий, коренастый, оглядел присутствующих и сказал глуховатым голосом:

— Казалось бы, чего проще, выявить виновника, наказать его, и дело с концом. Но наша партийная организация, я так скажу, заглянула в самый корень. Правильно тут сказал Сергей Харитонович, ослабили мы воспитательную работу, потворствовали нарушителям дисциплины. Разве не знали мы, что Садовников технологию нарушает? Знали, весь цех знал. А смотрели сквозь пальцы. План не выполняется, ну и пусть хоть так натягивает.

Туколкин заёрзал на стуле. Зато Василий приободрился. Выходит, не так уж он виноват, если надо было во что бы то ни стало план выполнять. Но Пучков безжалостно продолжал:

— С Садовниковым теперь разговор короткий: директор уволил его. Думаю, что большая польза от этого цеху будет: каждый поймёт, куда ведёт нарушение технологии.

Василий опустил голову. Ему всё ещё хотелось верить, что в цехе без него не обойдутся, но он сам уже знал, что и Трофим Иванович Неделя может работать не хуже его. Он уже плохо слушал, что говорит у стола Неделя, сменивший Пучкова, но вдруг вздрогнул, насторожился.

— Мы пятилетку выполняем, к коммунизму идём, — произнёс громко, почти торжественно Неделя, рубя сильной ладонью воздух. — Нам вперёд идти, и я так скажу: некогда нам Садовникова дожидаться. Хочет, пусть догоняет, а не хочет — в сторону!

Пусть догоняет! Но как же он, Василий, может догонять, если Степан Иванович уже приказал его уволить? Сказать, что он больше не будет перегружать механизмы? Нет, поздно, много раз он уже это обещал. Теперь ему уже никто не поверит.

К столу подошёл председатель цехового комитета Дроботов.

— Толкуем мы сегодня, товарищи, о Садовникове, — начал он. — За поломку мотора он наказан, наказан справедливо. Но ведь мы не можем так просто от человека отмахнуться. Надо, чтобы он до конца понял свою вину. Не у нас, так в другом месте будет работать, может не старшим оператором, а вторым или вальцовщиком.

В другое время эти слова задели бы Василия за живое. Как, ему, знатному стахановцу цеха, предложить быть вальцовщиком! Но сейчас он оживился, у него появилась надежда: а что если пойти к директору комбината, попросить оставить его на другой работе? Пусть хотя бы и вальцовщиком. Он себя ещё покажет, не такой уж он обсевок в поле.

— Нет у Садовникова в характере большевистской настойчивости, — продолжал Дроботов. — Легко даётся работа — он готов горы свернуть. Трудно — он сразу в кусты. Прямо скажу, мелковатый характер у Садовникова. Не к лицу это коммунисту.

И прав Дроботов, и обидно Василию слушать такие слова. Эх, доказался, Садовников, выгоняют тебя из цеха, и никто добром не помянет!

Один за другим выступали коммунисты. Неожиданно Машин спросил:

— А что же товарищ Садовников, разве не хочет выступить?

Василий неловко поднялся. Ему казалось, что сейчас он всё скажет: и как механизмы перестали повиноваться ему, и как не хотелось отставать, и как сам же Туколкин толкал его на то, чтобы нарушать инструкцию. И ещё ему хотелось сказать: если оставят его в цехе, он будет учиться, постарается снова вернуть былое мастерство.

— Тут говорили про меня... — начал он и осёкся. Слов больше не было, пересохшие губы не хотели слушаться. — Правильно говорили, — с трудом произнёс он и сел, чувствуя, что больше ничего не может сказать.

— Разрешите мне слово! — вдруг сказал Артёмов, голос его вздрагивал от волнения. — Мне надо было выступить раньше, но я ожидал, что Садовников скажет.

— Нечего ему говорить! — выкрикнул с места Туколкин. — Все знают, что он поломал механизмы.

— Не он один, — твёрдо сказал Дмитрий. — Я тоже перегружал механизмы.

— Так вот как вы успехов добивались! — взвизгнул Туколкин. — Дорого они нам обошлись!

В комнате поднялся шум, Пучков застучал карандашом по столу, призывая к порядку.

— Ты перегружал? — Ищенко недоумевающе смотрел на Дмитрия. Он подумал, что Артёмов любой ценой решил выручить бывшего товарища, и неодобрительно покачал головой. Он ещё больше удивился, заметив, что Машин одобряюще кивнул Дмитрию.

— Послушаем, послушаем ещё одного героя! — не унимался Туколкин.

Дмитрий резко повернулся к нему, но сказал спокойно:

— Послушайте, потому что это имеет прямое отношение к вам. Да, одну смену я перегружал механизмы. Об этом начальник цеха мог не знать. Но о том, что Садовников перегружает механизмы постоянно, вы знали? В других цехах давно по суточному графику работают, а у нас весь расчёт на конец месяца.

Туколкин вскочил, тянул вверх руку, прося слова.

Когда Дмитрий закончил, Пучков обернулся к Туколкину, спросил: — Вы хотели, Валентин Михайлович, взять слово?

Туколкин смеялся:

— Нет, я потом, пусть выскажутся другие.

Собрание закончилось, коммунисты стали расходиться. Василию всё ещё не верилось, что разговор о нём окончен. Теперь ему хотелось, чтобы товарищи продолжали говорить о нём, пусть бы ругали, только бы не смотрели, как на чужого, который даже и сурового слова не стоит.

В коридоре его дожидался Артёмов. Они молча пошли рядом, вышли на заводской двор, ярко освещённый сильными электрическими фонарями. Свежий, только что выпавший снег переливался серебристыми блёстками. В морозном воздухе гулко перекликались гудки паровозов. Мерно работал огромный прокатный стан, цех снова жил, недаром весь коллектив участвовал в ремонте.

Из дверей мартеновского цеха выполз длинный состав с горячими слитками, преградил дорогу.

— Что же ты ничего не сказал? — спросил Артёмов, в голосе его звучало участие.

Василий ответил дрогнувшим голосом:

— Хотел я сказать, Митя, обо всём хотел сказать. Да как встал, все слова растерял. Ты подумай: вдруг всё так сразу!

Состав прошёл, они двинулись дальше. Широкая дверь мартеновского цеха была раскрыта настежь, тёплый воздух, выходя из неё, струился вверх, переливаясь причудливыми прозрачными узорами. Здесь снег был розов — в цехе шла выдача плавки. Дмитрий глубоко вздохнул, расправил плечи, закинул голову. Большие яркие звёзды переливались в чёрном небе. Теперь над ним снова переливало мигающими огнями родное спокойное небо.

— Просись, чтобы оставили тебя вторым оператором! — посоветовал Дмитрий.

Василий ничего не ответил.

На площади перед проходной Артёмов остановился, здесь ему надо было ждать автобуса. Василий размашистым жестом протянул ему руку, пошёл, втянув голову в воротник. Артёмов смотрел ему вслед, он был уверен, что Василий послушается его совета.

Со стороны заводского пруда дул резкий, холодный ветер, крутил позёмку. Пруд заволакивало белой пеленой.

Снег звонко скрипел под ногами. Дмитрий определил, что мороз будет градусов за тридцать. Вышли на пустырь, отделявший посёлок от правобережного города. Сразу накинудся ветер, трудно было идти, приходилось поворачиваться боком. Пётр Евлампиевич склонился к уху Дмитрия и прокричал:

— Буран будет, Митя! Видишь, какие свинцовые тучи пошли? —

Дмитрий посмотрел на небо. Огромные рваные тучи напоздали одна на другую, они выплывали из-за гряды гор, теснившихся за заводом, сливались с заводским дымом. Мрачные лиловые отсветы падали на гонимый ветром снег. Левый берег окутался мглой, словно наступало затмение, постепенно мгла напоздала и на правый берег. Пётр Евлампиевич ускорил шаги, упрямо подавшись вперёд. Дмитрий по армейской привычке шёл с ним в ногу. Они миновали пустырь, вошли в улицу, уже застроенную многоэтажными домами. Стало легче дышать.

— Быть бурану, Митя! — озабоченно повторил Пётр Евлампиевич.

Показался автобус, окрашенный яркоголубой краской. Было слышно, как натужно взывает мотор, машина с трудом шла по свеженаметённому снегу. Автобус сделал круг, остановился, из него вышли немногочисленные пассажиры. Петру Евлампиевичу и Дмитрию достались задние места. В автобусе было полутемно, толстый слой льда покрывал стёкла, сквозь них проникал всё тот же мрачный лиловатый свет.

— Маловат запас руды! — озабоченно сказал Пётр Евлампиевич. — Кокс-то подвезут, а вот с рудой дело может плохо обернуться, если буран разыграется.

Он был полон мыслями о развернувшемся на домнах соревновании и боялся, как бы из-за бурана не снизилась выплавка. Дмитрий тоже думал о своём цехе. После ремонта механизмы работали хорошо, план теперь перевыполнялся изо дня в день, но Алексей Ищенко всё же шёл впереди. Из смены в смену овладевал Артёмов мастерством, накопленным прокатчиками за годы войны. Он уже повторил несколько рекордов Алексея и даже иногда обгонял его, но общая выработка у Ищенко была больше. Правда, в выполнении плана Артёмова отделяли от Ищенко только десятые процента. Но это его не успокаивало.

Автобус въехал на плотину. Дмитрий сразу догадался об этом по свирепому завыванию ветра. Автобус даже клонился набок, казалось, его перевернёт, стонали рессоры, захлёбываясь взрывал мотор.

— Разыгралась погодка! — вздохнул Пётр Евлампиевич.

Ещё несколько дней назад на производственном совещании говорил он, что запасы руды на домнах не созданы, а уральской зиме доверять нельзя. Но начальник доменного цеха ограничивался тем, что аккуратно сообщал в рапортах, какой запас руды и кокса имеется в бункерах. Обеспечить цех сырьём — это задача отдела снабжения. Пётр Евлампиевич думал сейчас о том, что если буран разыграется на несколько суток, то придётся переводить домны на пониженное дутьё, многих сот тонн металла это может стоить. Где это видано, чтобы домны работали только на ежедневном подвозе!

У заводских ворот автобус остановился. Стрелок, дежуривший у въезда, открыл дверку, стал проверять пропуска. В машину ворвался холодный порыв ветра, метнул облако колючего снега. Начиналась метель.

Автобус поехал по шоссе, петлявшему меж заводских корпусов. Артёмов сошёл одним из первых, прокатные цехи были расположены ближе всего к плотине. Белая пелена ключьями опутала Дмитрия, разом залепила лицо. Но нет, это ещё не был буран, хотя низкие тучи уже закрыли всё небо. За длинным корпусом обжимно-заготовочного цеха наступило затишье, было лишь слышно, как завывает ветер. Артёмов вздохнул полной грудью, зашагал быстрее. Равномерно стучали валы блуминга. Интересно, сколько прокатал сегодня Попов, переведённый на место Василия со второго блуминга.

Дмитрий прошёл на нагревательные колодцы проверить, как нагреты слитки, которые ему предстоит катать. Теперь этого можно было бы и не делать, с пуском новых домен и коксовых батарей газу хватало, слитки всегда прогревались хорошо. Но Дмитрий любил всё сам проверить и не хотел отступать от раз заведённого правила.

Пучков был уже у нагревательных колодцев, хотя до начала смены ещё оставалось много времени. Старик любил ни на кого не полагаться. Ему льстило, что Артёмов до начала смены всегда заходит на нагревательные колодцы, значит понимает, что здесь готовится успех всей смены.

— Здорово, Дмитрий Егорович! — произнёс он. — Газок хороший, слитки, как масло! — Взяв Артёмова под руку, зашагал вдоль измерительной аппаратуры, приглядываясь к подрагивающим стрелкам. Артёмов хорошо разбирался в этом сложном хозяйстве. Давление газа было ровное, температура достаточная, все слитки посажены вовремя.

— Хорошо теперь, Герасим Васильевич! — сказал он. — Помните, как до войны с газом мучились?

— Сразу ничто не даётся! — ответил Пучков. — Не шутка такой комбинат построить и освоить. А вот уже и Америку обогнали.

Когда Дмитрий уходил с нагревательных колодцев, Пучков крикнул ему вслед:

— Будь надёжен, Дмитрий Егорович, смело катай триста!

И снова зашагал вдоль контрольных приборов, как капитан по мостику.

Артёмов и не заметил, как прошла смена, он совсем не чувствовал усталости, хотелось катать сталь ещё и ещё. Сквозь стекло операторской будки он увидел, что внизу собрались Машин, Свиридов, Готовцев.

Успех Дмитрия был успехом всей смены. Электрик Костя с нетерпением ждал, когда появится Дмитрий, лицо его сияло. Подошла Лиза и стала рядом со смазчицей Зиной, пожала ей руку. Молоденькая девушка, ещё похожая на подростка, Зина не могла скрыть свою радость: и её труд был вложен в эти триста три слитка, она тщательно смазывала механизмы, она тоже думала об успехе всей смены. Опираясь на железный ломик, стоял вальцовщик Широков, обычно хмурый и неразговорчивый, словно обиженный тем, что ему выпало в бригаде только подгонять ломом идущие по рольгангу слитки, в то время как девушки управляют сложными механизмами. Но сегодня лицо Широкова было оживлённым, он поглядывал на товарищей, как бы призывая их порадоваться победе.

Дмитрий сошёл вниз.

— Триста три! — крикнул ему Свиридов, в этой цифре было всё — и поздравление с успехом, и горячее одобрение.

Из цеха вышли всей бригадой.

Шли гуськом по узкой тропинке, протоптанной через сугробы.

Небо посветлело, ветер разметал тяжёлые тучи, буран, казалось, прошёл стороной. Метель намела сугробы перед цехом, накрыла снежными шапками колпаки фонарей. После удачной работы всё вокруг казалось Дмитрию прекрасным. Голубые тени ложились вокруг, драгоценная россыпь самоцветов дрожала на кустах, пригнувшихся до самой земли под тяжестью снега. Вправо, к плотине, уходили синие сумерки, слева вставала розовая заря доменных плавок. Серебристый колокольчик завалочной машины доносился из мартеновского цеха, а вдаль перекликались гудки паровозов. Дмитрий любил их голоса, они словно куда-то звали.

— Научусь работать на подъёмном кране! — неожиданно сказал Широков, и никто не удивился, всем было понятно: успех бригады открыл и его, парень впервые поверил в свои силы.

— Всем нам надо учиться! — убеждённо проговорил Пучков. Он дружески хлопнул Дмитрия по спине, сказал весело: — Так-то, Дмитрий Егорович, теперь пусть у нас другие учатся.

От проходной повернули в разные стороны. В сгустившейся мгле, за прямым как стрела проспектом Пушкина, дрожали огни Кировского района. Туда спешил Артёмов, в металлургический институт.

В институте было пусто и тихо, утренние лекции закончились, вечерние отделения ещё не приступали к занятиям. Шагая через ступеньку, Артёмов поднялся в библиотеку, вошёл в читальный зал. В углу, за небольшим столиком сидела Марина. Она кивнула головой, показала на место рядом с собой.

Дмитрий попросил у дежурной популярную брошюру по металлографии.

— Кажется, мы сегодня самые трудолюбивые, — проговорила Марина, когда он, наконец, сел. В уголках её рта дрожала улыбка.

В самом деле, читальня была почти пуста.

— Что же вы не показывались? — тихонько спросила Марина, наклоняясь к нему. — Забыли наш уговор? А я думала, вы сразу возьмётесь за занятия.

— Полонка в цехе была, — проговорил Дмитрий, но на лице его была такая радостная улыбка, что девушка посмотрела недоверчиво.

— У вас сегодня необычный вид. Можно с чем-нибудь поздравить?

— Особенного ничего. Смена хорошо прошла.

Она принялась читать, зябко ёжась, подтягивая к горлу косынку. В читальне и в самом деле было холодно.

Заметив, что Артёмов смотрит всё на одну и ту же раскрытую страницу, Марина закрыла книгу, спросила с улыбкой:

— Кончили заниматься?

Одевшись, они вышли в палисадник. Здесь горели редкие фонари, деревья и кусты стояли в причудливом снеговом уборе, хлопья снега срывались с них, падали беззвучно.

— Когда я ехала сюда, мне говорили, что ни одно дерево здесь не растёт! — сказала девушка. — А вот какой здесь парк.

— Мы его сами сажали! — ответил Дмитрий с гордостью.

Он рассказал, какой парк будет разбит в правобережном городе, какой фруктовый сад насадил его дядя.

— Я видела... — сказала девушка и поёжилась, словно ей сразу стало холодно. — Ствол прижат к земле, кверху поднимаются только ветви. Бедное дерево не может подняться к небу, раскинуться привольно. Когда я увидела такой сад, мне стало тоскливо. Жизнь, прижатая к земле...

— Но ведь эти деревья дают теперь фрукты, каких здесь раньше не видели! — возразил Дмитрий. — А теперь местные мичуринцы вырастили и такие сорта, которые не стелются, а растут вверх.

— Мне жаль, что я так поздно сюда приехала! — сказала Марина. — Если бы я жила здесь в полотняной палатке, строила вот эти дома и заводские корпуса, я, вероятно, любила бы этот город и тоже гордилась бы им. А теперь вот хочу полюбить — и не могу.

Внезапно налетевший снежный шквал ослепил их. Дмитрий крепче прижал к себе руку Марины. Снежные валы катились по улице, взмётывались белой пылью выше крыш. Марина вздрогнула, с беспокойством посмотрела на Дмитрия. Начинался буран. Трамвая ждать было беспо-

лезно, пути уже занесло. Надо было спешить домой. Новый порыв ветра едва не сбил их с ног. Дмитрий обхватил Марину за талию, упрямо зашагал, наклонившись вперёд. Снег намерзал на ресницах, трудно было что-нибудь разглядеть в надвигающихся навстречу снежных валах. Казалось, в них можно утонуть. Захватывало дыхание. Дмитрий поворачивал голову в сторону, чтобы глотнуть воздуха. Ветер перекликался сотнями воющих голосов, свистел в проводах, срывал вывески и ставни. Дмитрий прибавил шагу, он почти нёс на руках испуганно прижимавшуюся к нему девушку.

— Не обморозьте лицо! — крикнул он. — Растирайте лицо варежкой.

Марина задыхалась от ветра и быстрой ходьбы, ноги проваливались в стремительно нараставших сугробах. Кончились высокие дома центральной части города, начались редкие приземистые домики. Буран набросился на Дмитрия и его спутницу с новой силой. Марина упала на колени, но Дмитрий поднял её и, как ребёнка, поставил на ноги. Он не переставал тащить её вперёд, не давая даже передохнуть. Потухли фонари, их сразу обступила тьма — видно, буран порвал линию. Марина подумала, что теперь им уже не дойти. Почему бы не постучаться в какой-нибудь домик, не попросить приюта? Но она не могла даже высказать это предложение, губы её заледенели, не хотели шевелиться. Она чувствовала только державшие её руки Дмитрия.

Марине казалось, что уже бесконечно долго идут они по сыпучему снегу. Внезапно их охватила тишина, ветер завывал где-то вдали.

— Кончился буран? — спросила Марина, с трудом шевеля замёрзшими губами.

— Нет, идёт порывами! — ответил Дмитрий. — Надо поспешить. Сейчас ещё усилится. — И он снова потащил её вперёд.

Несколько минут они шагали в тишине. Впереди мерцали огни Кировского района, итти стало легче. Внезапно их обступила снежная мгла, закачалась, завертелась, ударила в грудь, оглушила, словно их накрыло волной. «Не дойдём, — подумала Марина. — Теперь конец!» Но руки Дмитрия попрежнему держали её.

Теперь кругом были многоэтажные здания, вой бурана не умолкал, но итти было легче. Уже близко был дом, опасность миновала. Марине даже стало смешно, что они затеяли такую прогулку. Что сказали бы мать и отец, если бы увидели, как она бредёт по сугробам? Да, одна она наверняка замёрзла бы. Крепко держа Марину, Артёмов крикнул ей в ухо:

— Где ваш дом?

Она кивнула головой куда-то в сторону, с трудом шевеля губами, проговорила:

— Второй квартал...

Неуверенно назвала она номер дома, — ей теперь казалось, что всё это происходит во сне. Нет, они идут... Вот и дом. Но ветер не давал открыть дверь. Наконец, Дмитрий втолкнул Марину, шагнул сам.

— Ну вот, вы дома, — сказал он. — До свиданья.

Девушка посмотрела на него с недоумением, потом схватилась за него обеими руками.

— Куда вы?

— Здесь у меня много товарищей живёт. Найду где переночевать. Но Марина не отпускала его.

— Нет, нет, вы не дойдёте. Хозяйка Степанида Ивановна вас

устроит, у нас есть где поместиться. — И добавила со слабой улыбкой: — Я одна и по лестнице не поднимусь.

Через несколько минут они сидели втроем за столом в Мариной комнате.

Марина вздрогнула от рёва бурана за окном, обняла руками горячую чашку с чаем. Дмитрий, прислушиваясь к бушевавшему бурану, с тревогой думал о заводе. Теперь до цеха не добраться, надо ждать до утра, когда буран немного стихнет.

Степанида Ивановна вышла, чтобы приготовить для Дмитрия постель в комнате соседа, работающего в ночную смену. Они сидели усталые, радуясь теплу, радуясь тому, что они вместе. Марина положила руку на плечо Дмитрию, сказала тихо:

— А ведь как бы я без вас дошла?

— Ну что вы! Если бы вы были одни, зашли бы в ближайший дом. В такую погоду никто в ночлеге не откажет.

Пережитая вместе опасность сблизила их, теперь и он чувствовал себя спокойно и просто. Чем-то особенным был хорош этот вечер, жалко вставать и уходить. Но после путешествия по сугробам надо было отдохнуть.

Под утро Артёмов проснулся словно от толчка. За синеватым квадратом обледенелого окна не то брезжил рассвет, не то светила луна. Он прислушался. Вой бурана стих. Посмотрел на часы, было начало пятого. Надо спешить на завод. Осторожно ступая, чтобы никого не разбудить, Артёмов прошёл в кухню, нашёл возле печки свои валенки, почти горячие, с удовольствием надел их, умылся. Так же осторожно ступая, вышел в переднюю, снял с вешалки свою обсохшую куртку. В это время открылась дверь из комнаты Марины. Девушка стояла в халате, в туфлях на босу ногу.

— Куда вы? — спросила она. — Ведь ещё темно.

— Пора на завод, — ответил Артёмов. — Буран, наверно, натворил беды.

Марина протянула Дмитрию руку.

— До вечера? В библиотеке?

Она пошла с ним к выходной двери. В это время вышла из своей комнаты и Степанида Ивановна. Она была в тёплом пальто и большом клетчатом платке, надвинутом почти на глаза.

— Куда вы собрались? — удивилась Марина.

— На завод.

— О муже волнуетесь?

— Нет, он в цехе, с ним ничего не случится. Если и придётся лишнюю смену проработать, так ему не привыкать. — И, помолчав, добавила: — Может быть, помощь какая нужна. Такой у нас обычай. Замело всё, а работать надо. Ты ложись, время ещё раннее.

Снегопад продолжался, но буран утих. Артёмов пошёл впереди, Степанида Ивановна ступала по его следам.

Открывались двери домов, мужчины, женщины и подростки выходили из них, многие держали лопаты. Все шли в одну сторону — к заводу. Их никто не звал, никто ещё не объявлял, что заводу нужна помощь, но рудногорцам не спалось, их томила забота о комбинате — с ним так или иначе была связана каждая семья в этом городе.

На заводе перекликались гудки, словно зовя на помощь. И люди убыстряли шаг.

Из восточных степей обрушивались на город снегá. Зачастили бураны, они с воем врываются в городские улицы, забрасывали их снегом вровень с крышами, заматали железнодорожные пути.

Тревожно начались у Марины первые дежурства в диспетчерской. Она работала здесь всего несколько дней — и всё больше убеждалась, что эта работа ей по душе. Здесь надо сразу находить решения, надо смело управлять огромным механизмом комбината. Пусть она сама не варит чугун или сталь, не прокатывает тяжёлые слитки, но частица её труда будет в общей выработке комбината, о которой с таким увлечением говорит Дмитрий.

И вот Марина сидит в диспетчерской. Каучуковые наушники плотно прилегают к ушам. Перед ней — чёрный квадратный рупор. В этой комнате сходятся нити управления всего огромного комбината, раскинувшегося на десятки километров, если считать от рудников до склада готовой продукции. Тысячи тонн готовой прокатанной стали должны уходить каждую смену из Рудногорска в разные концы страны, а для этого нужно протолкнуть по железнодорожным путям, доставить во-время из цеха в цех десятки тысяч тонн. За это отвечает Марина. Состав за составом должна подвозиться руда к домам, чтобы доменщики смогли сварить тысячи тонн чугуна. Надо сразу передвинуть этот чугун на миксер, дать его мартенам. А дальше начинается непрерывный путь стали: на блуминг, на адьюстаж, на сортовые прокатные станы, пока она не станет так называемым торговым прокатом: тяжёлыми балками для строительства, железнодорожными рельсами, вагонными осями, стальными листами, угловой и круглой арматурной сталью. Весь этот мощный механизм питают две артерии: с востока идут эшелоны с углём, с рудников — эшелоны с рудой. Но странное дело — путь с востока исчисляется многими сотнями километров, а эшелоны с углём подаются на коксохимический комбинат без перебоев, точно, по графику. Почему же с рудников, лежащих всего в нескольких километрах от домен, эшелоны идут с такими перебоями, застывают на путях? Только начинается дежурство, а в наушниках уже звучат тревожные голоса: где состав с рудой? Если не подадите руду, переведём дому на пониженное дутьё! Пониженное дутьё — это сотни тонн потерянного чугуна. Марина знает, какая это беда для всего комбината. Она вызывает внутризаводской транспорт, «Гору» — рудообогатительную фабрику. В конце концов выясняется: состав застыл на путях. Заносы. Но почему же эти заносы не останавливают составы, идущие с востока?

Однажды, когда в наушники бились взволнованные сердитые голоса, когда Марина уже готова была впасть в отчаяние, за её спиной раздались шаги. Марина оглянулась, увидела директора. Это словно придало ей новые силы, она вызвала внутризаводской транспорт, решительно приказала дежурному:

— К доменным путям — второй паровоз. Немедленно подать горячий чугун на миксер. Второй толкач выслать на рудничную ветку. Об исполнении доложите.

Директор молча оттянул дужку наушников, перевернул один наушник к себе, прижался к нему одним ухом. Он услышал усталый, словно обмякший голос дежурного:

— Барышня, да где я возьму толкачей? Сорок процентов паровозов на путях застыло! Хоть на руках составы толкай!

— Немедленно выполнить приказ диспетчера! — вмешался Степан Иванович. — Снять паровозы с других линий, подать куда приказано!

Вернув Марине наушник, он тихо сказал:

— Помните, диспетчер должен быть непреклонным. Трудно?

— Никак не протолкну! — призналась Марина. — Почти на всех путях стоят составы. — И добавила удивлённо: — А с востока приходят по графику, ни одной задержки нет.

— Я виноват! — сказал он. — Я виноват, проглядел, поверил сводкам о ремонте. Ремонтировали, ремонтировали, а подвижной состав никуда не годен. Нечего на бураны валить, когда сами плохо работали. Досрочно выполнили план ремонта паровозов, а водить составы нечем!

Уходя, сказал:

— Кто не будет выполнять ваши указания, докладывайте мне лично.

И сегодня дежурство не сулило ничего радостного. Позвонили с блуминга, упало давление газа на нагревательных колодцах. Марина знала, что в эту смену дежурит Дмитрий, она почувствовала себя виноватой перед ним. Но что могла она сделать, когда все печи идут на сниженном дутье, нехватает руды! Всё цепляется одно за другое, как во внезапно вышедшем из строя механизме, где порча одной шестерни нарушает ход других частей. Но диспетчер не имеет права теряться. И Марина решительно отдала два приказа: ускорить подачу составов с горячими слитками с мартенов; подавать сталь после разливки сразу на блуминги. Ей хотелось, чтобы её голос донёсся до Дмитрия, успокоил его.

За окном снег то валил крупными хлопьями, то падал быстрыми косями струями. Опять он заносит пути, ложится словно трясина между цехами, и плохо отремонтированные паровозы останавливаются. Марина одна сидит в комнате перед чёрным рупором. Она отвечает за то, чтобы в эту трудную ночь все цехи получили нужное им питание: руду, кокс, чугун, сталь; чтобы газ безостановочно бежал по трубам, как кровь бежит по жилам человека. И она снова и снова отдаёт приказания, она борется со снегом, который неистовствует за окном, несётся стремительной пеленой, у которой нет ни конца ни края, словно непрерывно перематывается бесконечная пряжа с неба на землю. А в наушниках звучат голоса, и все они просят о помощи, иные словно и не надеясь на эту помощь, другие требовательно, сердито.

— Запас руды в бункерах исчерпан!

Голос в наушниках звучит холодно, бесстрастно. Говорит начальник доменного цеха. Марина не любит этого голоса, кажется, его владелец просто боится себя от неприятностей: я, мол, поставил в известность, и дело с концом.

— Состав на путях! — кричит Марина в ответ.

И снова начинаются вызовы. Где состав, вышедший с рудообогатительной фабрики? Марина лихорадочно разыскивает его. Так и есть, состав стоит, он не в силах пробиться. И на других путях стоят застывшие паровозы. Бесперебойно работает только одна ветка, небольшая, но весёлая ветка: мартены—блуминги. Здесь начальником подвижного состава работает молодой инженер, Марина никогда его не видела, но они друзья, голос у него спокойный, уверенный, даже подбадривающий, кажется, он знает, как трудно Марине в эти бурные дежурства. Марина вызывает этого молодого инженера и приказывает немедленно отправить один паровоз на рудничную ветку за застрявшим составом. Она ждёт, что инженер будет спорить, ведь он непосредственно отвечает за снабжение блумингов стальными слитками. Но она слышит в ответ только одно слово: «посылаю».

Она решила на крайнюю меру, теперь блуминги не получают необходимого количества горячих слитков. Дмитрий не выполнит плана. Но

дело не только в нём: не будет блумсов — замрёт работа других прокатных станов. «Нос вытащишь — хвост увязнет», — думает Марина невесело.

Перед ней рупор, ожидающий её распоряжений. Бежит, постукивая по стыкам замёрзших рельсов, могучий паровоз. Какой там могучий, ведь это «кукушка», какие ходят только между цехами! Но Марина верит в эту «кукушку».

— Перевожу пятую печь на снорт! — слышится в наушниках бесстрастный голос с домен.

Работа на сорте — это пониженное дутьё. Чем меньше дутьё, тем меньше чугуна, тем меньше газа. Значит, ещё сильнее начнёт сейчас лихорадить весь комбинат.

Марина вызывает «Гору». Составы с рудой двинулись, пробка раскупорена. Милая «кукушка», значит она всё-таки взяла состав! Неужели она пробьётся, маленькая, слабосильная? И не только сама пробьётся, но и пробьёт путь другим составам?

И вдруг в наушниках взрыв.

— Чёрт побери, когда будет состав? Вы хотите, чтобы я домны заморозил? Насажали кукол! Вы понимаете, что у меня бункера пустые?

— Составы идут! — ликующе бросает в рупор Марина.

Она не обижается на ругань. Составы идут! Идут составы, и путь им всем прокладывает «кукушка», которую во-время и хорошо отремонтировали. Молодец начальник подвижного состава мартены — блуминги!

Вспыхивает лампочка. «Кукушка» прибыла на эстакаду. Марине кажется, что она видит, как падают в бункера смёрзшиеся глыбы руды. Огромные вагоны-хопперы опрокидывают в бункера свои коробки, дополняют гружённые рудой. Помощь прибыла во-время.

Вспыхивает другая лампочка. На соседнюю эстакаду прибыл второй состав. Теперь они пойдут, путь свободен. А не пойдут, поможет славная «кукушка», подтолкнёт остановившийся состав.

Только теперь вспоминает Марина о блумингах, которые она оставила без горячих слитков, о Дмитриии, которому нечего катать, слитки в колодцах замерзают, а горячие нечем подать с мартенов. Она включает обжимно-заготовочный цех, хочет бросить вопрос привычным диспетчерским тоном, но голос её звучит робко, даже виновато:

— Как с подачей слитков?

— Перебоев нет.

Это неожиданный, приятный сюрприз. Молодец, ах какой молодец начальник подвижного состава! Он сумел ускорить погрузку и выгрузку и обойтись без той «кукушки», что послал на рудничную ветку. Глаза Марины сияют, она сумела выйти из трудного положения, она приняла правильное решение, когда, казалось, снежные сугробы сковали её по рукам и ногам. Да, надо бороться. Она вспоминает, как они с Дмитрием шли в буран. Так и сейчас она борется с разбушевавшимся снегом, только борется не за свою маленькую жизнь, а за весь огромный комбинат. И она кажется себе сильной, очень сильной, голос её звучит бодро и уверенно.

Снова включается доменный цех. Что такое, ведь уже подано несколько составов. Или она забыла про кокс? Но нет, речь идёт не о коксе.

— Переводим домны на нормальное дутьё. — Голос замолкает, потом Марина слышит: — Я вам нагрубил, простите.

— Ничего! — весело говорит Марина. — Ничего!

Пусть волнуются, пусть даже грубят, лишь бы не остановились печи, лишь бы двигались составы, лишь бы дышал в полную силу комбинат!

Марина быстро включает один за другим телефоны, ей кажется, что она переносится из цеха в цех, ей самой надо всё проверить, всё знать, она — глаза и уши директора комбината.

Смена окончена. Только теперь Марина чувствует, как она устала, словно сама руками проталкивала все застрявшие грузы. Она одевается, натягивает боты, спускается вниз.

Из проходной идут рабочие, они тоже закончили ночную смену. Марина улыбается им, она чувствует себя их товарищем, верным товарищем в борьбе за металл.

Трамвайные пути замело снегом, вокруг сугробы, волнистые, неровные, их прорезают не тропинки, а лишь редкие следы. И Марина шагает по этим следам, спотыкаясь от усталости, ей надо идти через весь город. Жаль, что Дмитрию с ней не по пути, ему в правобережье, в другую сторону, а то она дождалась бы его, ведь они вместе трудились в эту ночь, и, вероятно, оба думали друг о друге. Из морозной мглы показывается красный диск солнца. Марина улыбается ему, прибавляет шаг, стараясь стряхнуть усталость.

15

В приёмной директора комбината сидело несколько человек.

— Как доложить? — спросила пожилая женщина с живыми молодыми глазами, секретарь директора.

— Садовников.

— По какому делу?

Василий молчал. Не сказать же, что он пришёл проситься на работу. Подумал, сказал решительно:

— Степан Иванович знает.

«Садовников, старший оператор блуминга», — записала женщина в блокнот.

«Бывший оператор», — с горечью подумал Василий.

Отворилась дверь кабинета, вышел очередной посетитель, секретарша кивнула головой Василию:

— Входите!

Василий встал. Он чувствовал, как учащённо бьётся сердце, стук его отдавался в ушах.

Степан Иванович в раздумье шагал по кабинету. Увидев Садовникова, остановился, спросил отрывисто:

— Что скажете?

— Возьмите, Степан Иванович, обратно на работу! — очень тихо проговорил Садовников, и тут же испугался, что Степан Иванович не расслышит его слов.

— На работу? — громко переспросил Степан Иванович. — А что ж вы работой не дорюжили?

Садовников сокрушённо развёл руками, он снова растерял все слова. Потом, боясь что директор его не дослушает, проговорил решительно:

— На какую хотите работу пошлите! Хоть вторым оператором, хоть вальцовщиком. Виноват я, Степан Иванович.

Взгляд Степана Ивановича помягчел, теперь он посмотрел на Василия, как смотрят на провинившегося школьника, не зная, что же с ним делать.

— Да вы садитесь! — проговорил он грубовато, видно ещё не зная, какое решение принять. И добавил, сам опускаясь в кресло: — Не пере-

до мной же вы виноваты. Перед коллективом, перед государством! Сколько стали из-за вас потеряно!

— Хоть вальцовщиком! — повторил Василий.

— Вальцовщиком? А вы знаете, что от вальцовщика тоже очень многое зависит? На каждом участке надо работать честно, вот именно честно! Вам ценнейшие механизмы доверили. Станок поломать — большое преступление, а вы вывели из строя такой агрегат, какие у нас во всей стране наперечёт. Нет, нельзя вернуть вас на работу, нельзя!

Василий ещё ниже опустил голову, потом встал, проговорил упавшим голосом:

— Простите, что побеспокоил. — И вдруг сказал порывисто: — Не могу я так отсюда уехать, товарищ директор. Меня сюда комсомол послал. Здесь меня в партию принимали. Я здесь с самого начала строительства работаю. Должен я свою вину загладить.

— Вину? — опять смягчаясь, переспросил Степан Иванович. — Хорошо, что хоть поздно, а поняли, что вина за вами есть, и большая вина. Значит, всё равно, на какую работу?

— Всё равно! — обрадованно подтвердил Василий.

— Снег надо расчищать! — сказал Степан Иванович решительно. — Все пути замело, вот-вот домны могут остановиться. Вы опытный металлург, сами знаете, к чему это поведёт.

— Значит, подметалой? — проговорил Василий, и сам пожалел, что вырвались у него эти слова, теперь уж, наверное, директор не станет с ним больше разговаривать.

Но Степан Иванович громко рассмеялся.

— Подметалой? — переспросил он. — Боятесь, значит, себя уронить? Блуминг сломать не стыдно, а метлу взять в руки стыдно? Нет, Садовников, большевики никакой работы не боятся. Нужно будет, всем комбинатом на расчистку путей выйдем!

— Я не против, Степан Иванович, — смиряясь проговорил Василий, он чувствовал, что теперь для него самое страшное уехать с комбината. — Лучше бы, конечно, в цех.

— Нет! Давайте решим так: поручаю вам руководить очисткой путей на всей рудничной ветке. Днём и ночью работать, а заносы ликвидировать. Нужно будет взять лопату, показать другим пример, не стесняйтесь. Пути должны быть расчищены. Сами знаете, что это вопрос жизни и смерти для нас. — Он внимательно посмотрел на Василия, спросил: — По рукам?

— По рукам, Степан Иванович! — ответил повеселевший Василий. — Когда разрешите приступить к работе?

— А чего ж откладывать? Сейчас и приступайте! Домны у нас голодают!

Когда Василий уже подошёл к двери, Степан Иванович сказал ему вслед:

— Закончите очистку путей, двинете составы, тогда зайдёте, решим, что вам дальше делать.

Весь район пришёл на помощь комбинату. Ещё не стих буран, как прибыл первый обоз колхозников из станицы Старой, расположенной всего в нескольких километрах от Рудногорска. Красные ленты были вплетены в гривы коней, над передними санями алела полоска кумача с лозунгом, выведенным белыми буквами: «Поможем металлургическому гиганту!» Следом за первым потянулись другие обозы, колхозники съезжались и съезжались, можно было подумать, что у дворца металлургов открылась шумная ярмарка.

С тяжёлым грохотом подошли экскаваторы, присланные управлением строительства комбината. Они сразу пошли в наступление, железные ковши легко поддевали огромные пласты снега, сбрасывали их на обочины будущей дороги. У подножья гор было наметено особенно много снега, поэтому строившаяся дорога походила на глубокую траншею. Следом за экскаваторами шли колхозники и колхозницы, деревянными лопатами они расчищали снег. Девушки запевали песни, их голоса далеко разносились в морозном воздухе.

Под вечер приехал Степан Иванович. Увидев первые сотни метров трассы, директор комбината повеселел. Десять пятитонных машин заменяют один хоппёр с рудой, значит потребуется пятьсот машин, чтобы заменить каждый состав. Степан Иванович уже подсчитывал, сколько раз сможет обернуться каждая автомашина за смену, сколько руды удастся подвезти таким путём. Он всё ещё надеялся, что удастся удержать на домнах достигнутый уровень производительности.

Директор остановился у гремевших ковшами экскаваторов, взглянул на рудные горы. Кажется, недалеко, а сразу к ним через этот снег не прорубишься. А руда была нужна уже сегодня, нужна дозарезу.

Степан Иванович разыскал своего заместителя Хромова, назначенного начальником строительства этой дороги в снегах. Хромов стоял на огромной глыбе снега, у трепетавшего на ветру красного полотнища, призывавшего закончить прокладку дороги в самые короткие сроки.

Хромов стал оживлённо докладывать о результатах первого дня, но Степан Иванович прервал его, спросил, показывая на лозунг:

— А в какие именно сроки?

Хромов развёл руками.

— Можно сказать, народная стройка, Степан Иванович! Как народ построит. Мы только благодарить можем.

— Вот и потолкуйте с народом. Соберите бригадиров, определите норму выработки. Арифметика простая: длина дороги известна, глубина снежного покрова тоже.

Ложились ранние сумерки, но на мачтах уже вспыхнули прожекторы. Их лучи уходили далеко вперёд, словно стрелами указывали, где проляжет дорога. И за этими лучами шли вперёд экскаваторы, машины, отвозившие снег, а следом — бригады девушек, подростков, стариков.

Марина пришла на прокладку дороги вместе со всеми свободными от работы сослуживцами. Вспомнились пионерские походы по лесам Подмосковья, и весь этот поход с лопатами тоже казался ей весёлой игрой. Работа очень несложная — откидывать снег, не убранный экскаваторами. Марина поискала глазами Дмитрия: может быть, он тоже где-нибудь здесь. Но его не было видно. После памятного вечера в бурани так и не привелось ещё встретиться. Марина расчищала снег на железнодорожных путях и думала, что Дмитрий напрасно ждёт её в библиотеке. Потом она сообразила, что он тоже, наверное, не смог прийти, ей стало не так обидно.

Марина поддела снегу побольше, с трудом подняла лопату, но только попыталась поднять её повыше, чтобы сбросить снег, как лопата перевернулась, поднятый пласт тяжело упал вниз, Марину обдало снежной пылью. Она поддела новый пласт. Ей удалось отбросить его очень недалеко, часть снега опять просыпалась. Марина всегда занималась спортом, и теперь её очень удивило, что ей не под силу работа, которую так легко, казалось шутя выполняли вокруг неё. Решительно шагнув вперёд, она поддела на лопату большой ком, приподняла его, но не смогла удержать.

— Вы неправильно держите лопату! — услышала она звонкий девичий голос за своей спиной. Обернувшись, увидела девушку в пуховом платке и полушубке. — Опустите левую руку пониже. Вот так. И правую немного спустите. У вас будет больше плечо рычага, легче будет поднять тяжесть.

Марина благодарно улыбнулась, с удивлением взглянула на молоденькую колхозницу. Та кивнула головой, отошла к своей бригаде, легко и проворно стала отбрасывать большие пласты снега. Теперь Марине приходилось значительно больше сгибаться, заняла поясница. Но она уверенно подрезала лопатой самые толстые пласты снега, старалась забросить их как можно дальше. Ей стало жарко, она сняла шерстяные варежки, сунула их в карман.

Проехали грузовики с прицепами, нагруженные брёвнами: впереди надо было проложить мост через овражек. Позади работали катки, уминали мягкий снег, чтобы машинам не надо было прокладывать колеи.

Только к полуночи стихла работа, бригады домохозяек, учащихся, служащих, колхозников с песнями двинулись в город. Марина возвращалась вместе с другими, гордясь тем, что она тоже принадлежит к «снежной армии», как уже успели прозвать строителей дороги.

На третий день колонна грузовиков с красными флажками на радиаторах двинулась по новой дороге, протянувшейся до обогатительной станции. Здесь были машины всех марок, всё автохозяйство комбината, строительства, городских организаций, окрестных колхозов.

Из окна заводууправления Марина видела, как грузовики, нагруженные рудой, въезжали в ворота проходной, сворачивали к домнам. Да, есть и её заслуга в том, что домны, бывшие несколько дней на голодном пайке, получают руду.

Марина включила доменный цех, весело сказала в рупор:

— Приготовьтесь к приёму руды с автомашин!

Ей казалось, что все тяжёлые, тревожные дежурства остались позади.

Вот уже больше месяца обжимно-заготовочный цех выполнял план не больше чем на 80 процентов. И винить, казалось, было некого — из-за перебоев в подвозе руды все цехи испытывали недостаток в металле. Когда собирались на смену, не слышно было обычных весёлых шуток и разговоров. Рабочие сходились сумрачные, каждому было неловко, что так мало дают они металла. Домны работали на пониженном дутье, руда поступала с перебоями. Лихорадило весь комбинат — мартены не получали необходимого количества чугуна, стального лома тоже не хватало. Прокатным станам, от блумингов до мелкосортных, каждый день приходилось простаивать. Теперь на блумингах шла борьба за то, чтобы каждый прокатанный блумс был первого сорта, чтобы не было брака — недопустимо было портить металл, когда и так его недодавали стране сотни тонн в сутки.

Смена Артёмова изо дня в день давала блумсы отличного качества, в них не было трещин и глубоких заусениц, вырубщики на адьюстаже знали, что над блумсами, прокатанными Артёмовым, им не придётся много трудиться. Но это не удовлетворяло Дмитрия, он задумывался над тем, как уменьшить количество металла, обрезаемого на концах слитков после прокатки и идущего снова на переплавку в мартены. Особенно велик был отход металла на так называемых кипящих слитках, которые после разливки в изложницы ещё продолжали там кипеть. По технологическому процессу оба конца слитка должны обрезаться. Но если бы можно было посылать слиток в валки всегда только хрупким

концом, другой конец был бы годен для дальнейшего проката на сортовых станах, обрезать приходилось бы только самую незначительную часть. Артёмов пока ещё ни с кем не делился своими мыслями, потому что не мог найти технического решения. Но после смены или до начала её он нередко подолгу проводил у валков, ища ответ на волновавший его вопрос.

Он стоял у заднего манипулятора, где слитки перекантовывались, снова напрягались в валки блуминга. Если бы можно было заставить тяжёлые многотонные линейки поворачивать слитки по кругу на 180 градусов, задача была бы решена. Но для этого потребовалось бы, чтобы поворачивались не только линейки, но и весь манипулятор, весивший сотни тонн. Можно, конечно, сделать поворотный круг, как в паровозных депо, и на него поставить обе станины манипулятора. Но сколько времени потребуется, чтобы повернуть всю эту многотонную тяжесть? А расчёт шёл на доли секунды. Нет, такое решение не годилось.

Подошёл Машин, спросил:

— Как дела, Дмитрий Егорович? Что это вы тут изучаете?

Артёмов оторвал взгляд от жёлоба, по которому со стуком скользили обрезки.

— Есть одна мыслишка, только до конца никак не додумую.

— Какая? Может быть, вместе подумаем?

Артёмов с надеждой посмотрел на него. Как это он раньше не вспомнил о Машине?

— Думаю, как бы обрезки сбереж, много хорошего металла пропадает. Если бы слиток одним концом в валки посылать, много стали можно было бы сбереж. А вот как это сделать, не придумаю. Ходил на непрерывный стан, там совсем другая техника. На блуминге семнадцать пар валов не поставишь.

Машин задумался.

— С февраля блуминг должен работать на полную нагрузку, — проговорил он. — Хорошо бы к этому времени осуществить вашу мысль. Большой долг за нами накопился.

— Вот в паровозных депо бывает поворотный круг, — задумчиво начал Артёмов. — Такой бы круг нам у валков поставить. Только надо, чтобы он поворачивался в какие-то доли секунды. А как это сделать, не знаю.

— Поможем! — уверенно произнёс Машин. — Набрасывайте проект и приходите. Свиридов охотно придёт вам на помощь, да что там говорить, все инженеры помогут.

Дмитрий заметил, что Машин не назвал начальника цеха, значит он тоже не верит в поддержку Туколкина.

Машин вынул из кармана пиджака свою алюминиевую маслёнку. Свернув самокрутку, протянул маслёнку Артёмову. Потом сказал:

— Вчера со мной разговаривал Степан Иванович о Садовникове. Спрашивал, как мы посмотрим, если его в цех вернуть. Что вы думаете об этом? Мне кажется, что партийное собрание многому его научило.

— Очень многому! — горячо подтвердил Артёмов. — Я думаю, надо его вернуть на работу старшего оператора. Потребовать, чтобы он учился. А если его вторым оператором поставить, он совсем руки опустит, я его давно знаю.

Подошёл Дроботов, спросил шутливо:

— О чём толкуете, начальники?

— Всё о Василии Садовникове, — повернулся к нему Машин.

Дроботов развёл руками.

— И жаль его, а неохота снова его в цех брать. Трудный он человек.

— Нельзя так, Николай Ефимович, — возразил Артёмов. — Надо дать человеку возможность исправиться. Значит, многому он научился, если обратно просится, знает, что не с распростёртыми объятиями его примем.

Артёмов решил про себя непременно повидаться с Василием, поговорить с ним. Все эти дни он думал о Василии, не так просто было забыть о старом товарище, с которым вместе он начинал работу на блуминге. Но сейчас, заслоняя всё, Дмитрием владела одна, беспокойная мысль: как повернуть слиток?

Машины и Дроботов ушли, а Дмитрий всё стоял у валков, всё глядел на проходившие мимо него слитки, всё думал, как заставить их входить в валки одним концом.

17

Десятки листов бумаги исчертил уже Артёмов. Придя в библиотеку, он набирал груды справочников, лихорадочно перелистывал их, ища ответа, какой должен быть установлен механизм для поворота многотонного стального круга с манипуляторами. Но описания таких механизмов он не находил. Может быть, он брал не те справочники? Увлёкшись чтением, Артёмов порой не замечал, что Марина обиженно поглядывает на него, ожидая, когда же он закроет книги. Теперь они встречались реже: Марина часто работала по вечерам, их смены не совпадали. На нетерпеливые вопросы Дмитриря, когда же они пойдут в загс, Марина отвечала загадочно:

— Подожди немного, ведь нам и так хорошо.

Сегодня, войдя в библиотеку, Артёмов окинул взглядом читальню. За столами сидело несколько студентов и студенток, но Марины не было.

Заведующая библиотекой протянула ему листок бумаги, исписанный крупным почерком.

— Попробуйте просмотреть эти книги, может быть вы найдёте в них ответ на интересующий вас вопрос.

И она и две её помощницы уже слышали от Артёмова, что он работает над изобретением, и всячески старались ему помочь.

Артёмов поблагодарил, взял несколько книг, значившихся в списке, пошёл на своё привычное место, где они обычно сидели рядом с Мариной. Сейчас её стул пустовал.

Формулы, формулы, бесконечные формулы — приходилось пробираться, как сквозь дремучий лес. Артёмов сжал пальцами виски, пытаясь удержать ускользавшую мысль. Он с отчаяньем подумал, что надо проучиться по крайней мере несколько лет, чтобы найти ответ на волновавший его вопрос. С досадой захлопнул книгу, неподвижно сидел, думая, что же делать дальше. Машин давно предлагал ему свою помощь, но, прежде чем идти к нему, надо было разработать предложение хотя бы в общих чертах. Мало ведь только заявить, что манипуляторы должны поворачиваться на 180 градусов. Артёмов снова раскрыл книгу, принялся её перелистывать. Возможно, в этой книге и есть ответ, который он так настойчиво искал, но он не умел его прочитать.

Артёмов пожалел, что в библиотеке нет Марины. Она не раз предлагала помочь, но он отказывался. Он боялся показаться в глазах Марины невежественным человеком, который только и умеет, что нажимать на контроллеры. До войны школьное образование казалось ему вполне достаточным, он не только ставил рекорд за рекордом, но и давал высокую выработку из месяца в месяц, о нём нередко писали в газетах, он был знатным человеком на комбинате. Но теперь Артёмов чувствовал, что имеющихся у него знаний мало, он не мог довольствоваться тем,

чтобы только правильно выполнять технологическую инструкцию, ему самому хотелось участвовать, и участвовать активно, в том непрерывном перевооружении комбината, которое шло у него на глазах, в создании новой техники, какой ещё не знала мировая металлургия. Он не мог теперь думать так, как думал до войны: это дело инженеров. Нет, теперь это было и его кровным делом, он чувствовал свою непосредственную ответственность не только за работу своей бригады, но и всего цеха, больше того — за всю советскую металлургию.

18

Идея вращающегося кантователя не оставляла Артёмова в покое. Каждый раз, прокатывая блумсы, он думал теперь о том, какие огромные куски дорогой стали приходится обрезать и снова пускать в переплавку, сколько труда пропадает зря. Он уже словно видел перед собой свой кантователь, легко поворачивающий многотонный слиток, посылающий его в валки обратным концом.

Однажды после смены Дмитрий подошёл к Готовцеву, рассказал ему о своём кантователе. Готовцев выслушал его очень внимательно, они остановились вместе у манипулятора, Артёмов стал объяснять, как, по его мнению, должен работать кантователь.

— Что ж вы не подаёте заявку? — удивился Готовцев. — Знаете, Дмитрий Егорович, просто грех тянуть с таким изобретением! Чертёж у вас есть?

Артёмов смущённо объяснил, что чертёж ему не удаётся, и он не знает, какой должен быть механизм, чтобы поворачивать многотонную тяжесть. Он неохотно вынул из кармана свои чертежи, протянул их Готовцеву.

— Пошли наверх, — предложил Готовцев. — Сейчас разберёмся.

Готовцев присел к столу, расстелил чертежи, разгладил их ладонью. Долго разглядывал он их. Дмитрий уже ожидал, что Готовцев признает его затею негодной.

— Вы кому-нибудь эти чертежи показывали? — спросил Готовцев возбуждённо.

Артёмов рассказал, что показывал их Алексею Ищенко.

— Боюсь, что товарищ Ищенко при всём желании не смог бы вам помочь! Такую задачу под силу решить конструкторскому бюро, а не одному человеку. А решить её надо, и как можно скорее. Понимаете ли вы, Дмитрий Егорович, что речь идёт об экономии сотен тысяч тонн стали? — Он словно убеждал Артёмова в ценности его предложения. Ещё раз просмотрев все чертежи, сделав на них карандашом пометки, Готовцев сказал решительно:

— Пойдём к Сергею Харитоновичу.

— Я был у него, советовался, обещал принести чертежи и расчёты, да вот ничего не получается.

Готовцев сунул чертежи в карман спецовки, словно боялся доверить их Дмитрию. Они направились к Машину. Готовцев молча выложил чертежи на стол и отступил на шаг, будто желая полюбоваться произведённым эффектом.

Артёмов молча стоял за его спиной.

— Разработали своё предложение? — спросил Сергей Харитонович.

— Нет, ничего не получается, решил посоветоваться с Константином Гавриловичем.

— Ничего не получается! — возмущённо повторил Готовцев. — Понимаете, Сергей Харитонович, товарищ Артёмов решил самостоятельно

разработать свою идею технически, так сказать самому стать целым техническим бюро. А теперь заявляет, что у него ничего не получается.

Он присел рядом с Машиным, стал оживлённо объяснять ему каждый чертёж, дополнять своими предложениями. Машин протянул Готовцеву линейку, тот вносил в чертежи исправления, безжалостно стирал резинкой линии, начерченные Артёмовым. Они словно забыли о Дмитрии, он сидел, молча прислушиваясь к их разговору.

— Что же будем делать? — задумчиво спросил Машин, когда был просмотрен последний лист. — Заявку надо технически обосновать, иначе она в БРИЗ'е может попасть в долгий ящик.

— Если разрешите, я возьму все эти наметки с собой. — Готовцев стал собирать листы. — Посижу несколько вечеров, может быть удастся составить заявку хотя бы в самых общих чертах. А итти с ней надо будет к Степану Ивановичу. Тут нужно будет кооперировать наши силы и цеха механизации. Мы предлагаем идею вращающегося кантователя и прилагаем расчёт предполагаемой экономии. Пусть цех механизации разработает проект механизма для этой установки. Да, тут нужен приказ директора!

Дмитрий не обижался, что они совсем забыли о нём. Да, пожалуй, только Степан Иванович может помочь в этом деле. Жаль, что столько времени он потерял зря, роясь в учебниках, оказывается, даже такие знающие инженеры, как Готовцев и Машин, тоже не могут сразу сделать нужные чертежи.

— Надо будет сначала ознакомить Туколкина с проектом, — задумчиво проговорил Сергей Харитонович, он мысленно подсчитывал, сколько времени уйдёт на разработку проекта.

Готовцев сразу помрачнел, но ничего не ответил. И Дмитрий тоже подумал, что если предложение попадёт к Туколкину, то добра не жди.

Несколько дней после этого разговора Артёмов, приходя на смену, вопросительно поглядывал на Готовцева. Он всё ждал, что Константин Гаврилович расскажет ему, как идёт работа, может быть даже захочет посоветоваться с ним. Но Готовцев, казалось, не замечал его вопросительных взглядов. Артёмов решил, что ничего не выходит и Готовцев не хочет его огорчать.

Но Готовцев не отступал от захватившей его идеи. Однажды спросил Дмитрия, как он думает расположить манипуляторы. Выслушав ответ, ничего не сказал, только согласно кивнул головой.

Прошла ещё неделя.

После пятиминутки Готовцев подошёл к Дмитрию.

— Пройдём к Сергею Харитоновичу.

Во весь простенок кабинета Машина висел чертёж, великолепно выполненный на толстом листе ватмана. Наверху тушью были выведены слова: «Проект карусельного кантователя» и ниже: «Предложение старшего оператора Д. Е. Артёмова».

Машин встал из-за стола, подошёл к Дмитрию, подвёл его к чертежу, стал объяснять разработанный Готовцевым проект. Готовцев скромно стоял в стороне, но не мог сдержать радостную улыбку, поглядывая на висевший на стене ватман. Артёмов смотрел на чертёж счастливыми глазами. Значит всё-таки можно создать такой кантователь! Сергей Харитонович вернулся к столу, вынул из ящика объёмистую тетрадь с расчётами, протянул её Артёмову:

— Сейчас Константин Гаврилович вам скажет, как он понял ваше предложение и обосновал его.

Готовцев присел рядом с Дмитрием, стал пояснять свои расчёты:

— Ну как, всё правильно? — спросил Машин.

— Нет, вот тут ошибка, — Дмитрий показал на надпись сверху. — Тут надо фамилию Константина Гавриловича поставить. Я ведь только пожелание высказал, чтобы такой кантователь создать, а Константин Гаврилович уже всё разработал, какое же это моё предложение?

Машин скрутил папироску, закурил. Он обдумывал, как поступить с Туколкиным, обойти его было неудобно. Машин ещё раз перелистал тетрадь, будто проверяя правильность расчётов, медленно, словно нехотя поднял телефонную трубку, вызвал Туколкина. Через несколько минут вошёл Туколкин, глаза его смотрели холодно-выжидающе. Он подошёл к Артёмову, пожал ему руку.

— Мне Сергей Харитонович говорил, что вы работаете над проектом карусельного кантователя. Интересно взглянуть, возможно я могу оказать вам помощь.

Туколкин внимательно просмотрел чертёж, взял из рук Машин тетрадку. Постепенно холодное выражение исчезало с его лица, он вполголоса повторял сделанные Готовцевым расчёты, потом вынул карандаш и блокнот, сел к столу, стал набрасывать записи.

— Сами расчёты составляли? — рассеянно спросил он.

— Нет, это всё Константин Гаврилович сделал. Я только выдвинул идею в общих чертах.

— Это тоже только черновые наброски, — сухо пояснил Готовцев. — Думаю, что детальную разработку следовало бы поручить цеху механизации.

Туколкин снова подошёл к чертежу, долго молча разглядывал его, произнёс негромко:

— Кантователь карусельного типа. Экономия на обрезках до пятнадцати процентов металла. Другими словами, с установкой кантователя мы можем добиться производительности, запроектированной на пятый год пятилетки! — Он обернулся к Дмитрию, сказал внушительно: — Вот что означает ваше предложение, товарищ Артёмов!

Дмитрий улыбнулся. Ему было удивительно, что этот равнодушный человек заинтересовался его проектом. В глазах Туколкина загорелся огонёк нетерпения, на лице не было обычной не то брезгливой, не то надменной гримасы.

Дмитрию захотелось курить, он осторожно, двумя пальцами вынул из кармана папироску, постарался как можно бесшумней чиркнуть спичку. Он словно боялся спугнуть необычное выражение лица Туколкина. Но тот и не замечал Дмитрия, он отбрасывал один лист за другим, чертил, вычислял. Готовцев не утерпел, подошёл, стал следить через плечо за вычислениями. В одном месте он поправил Туколкина, тот молча кивнул головой.

— Мотор... — бормотал он. — Потребуется мотор... — Его губы продолжали беззвучно шевелиться. И вдруг Туколкин стал насвистывать какой-то весёлый мотив. Потом опять стал шептать.

— В порядке! — произнёс он вслух и обвёл всех взглядом. — Как будем дальше поступать, Сергей Харитонович? Ведь это мы задумали капитальное переустройство одного из узлов блуминга. Самим нам этого вопроса не решить.

— Я думаю, что надо ознакомить Степана Ивановича с предложением Артёмова, — ответил Машин, поглядывая на Готовцева. — Дальнейшая разработка возможна только совместными силами нашего цеха и цеха механизации. А для этого нужен приказ директора.

— Так вы думаете, что мне надо съездить к директору? — Туколкин задумался, ему не хотелось брать на себя ответственность, в случае если проект окажется всё же неудачным. — Ладно, мне на днях всё равно придётся толковать со Степаном Ивановичем о работе цеха,

заодно передам и проект. Лучше бы, конечно, передать в БРИЗ, так сказать законным путём. Только не задержат ли там?

Возможность поднять производительность цеха на пятнадцать процентов, пусть даже меньше, волновала Туколкина, ему не хотелось, чтобы проект Артёмова залежался.

Машин задумался, Туколкин посматривал на него выжидающе. Готовцев заметно волновался, он бросал на Машину быстрые взгляды, боясь, как бы проект не застрял в кабинете у Туколкина. Только Дмитрий был спокоен, он уже заранее решил, что если Туколкин замаринует проект, то он сам пойдёт к Степану Ивановичу. Но нет, не замаринует, никогда Дмитрий не видел Туколкина таким оживлённым.

— А что если мы сделаем так, — проговорил Машин, — Артёмов отнесёт проект в БРИЗ, а мы, кроме того, сообщим и Степану Ивановичу о его предложении. И для Артёмова это важно, чтобы за ним числилось авторство.

Готовцев благодарно взглянул на Сергея Харитоновича.

— Отлично! — обрадовался Туколкин. — Только знаете что, Сергей Харитонович. Поскольку мы дадим такое направление проекту, то не будет ли удобней, чтобы Степану Ивановичу сообщили вы, а не я, так сказать в общественном порядке. А то начальник БРИЗ'а может обидеться, будто мы ему не доверяем.

Готовцев за спиной Туколкина беззвучно аплодировал. Машин не мог не улыбнуться, видя горячность молодого инженера.

— Что ж, можно сделать и так, — согласился он.

Первый тур битвы за карусельный кантователь был выигран.

Через несколько дней директор вызвал Туколкина, Готовцева и Дмитрия. В кабинете сидел и инженер цеха механизации Лавров.

— Знакомьтесь, если не знакомы! — весело проговорил Степан Иванович. — Вам четверым придётся принять участие в работе проектной группы, так что прошу друг друга любить и жаловать. БРИЗ проект Артёмова одобрил, я внёс кое-какие изменения. Теперь о сроках. — Степан Иванович перевёл взгляд на Лаврова.

Тот наклонил голову, внимательно разглядывая паркет, словно ища там ответ на заданный ему вопрос, потом проговорил твёрдо:

— Через месяц проект будет готов.

— Договорились? — спросил Степан Иванович, обводя взглядом сидевших перед ним прокатчиков.

— Наш цех заинтересован в быстрейшем изготовлении кантователя, — сказал Туколкин. — Месячный срок я считаю приемлемым. В крайнем случае можно будет несколько отодвинуть капитальный ремонт.

— Нет! — горячо возразил Степан Иванович. — Нет, Валентин Михайлович, ни одного дня ждать не будем, довольно дорогую сталь портить. — Он обернулся к Лаврову, добавил: — Изготовление будем вести по узлам, поэтому сдавайте проект частями. Как ваше мнение, товарищ Артёмов?

Дмитрий молча кивнул головой. Он радовался тому, что всё так хорошо пошло. Удастся ли ему сегодня вечером увидеть Марину, чтобы поделиться с ней своей радостью?

Степан Иванович стал частым гостем в железнодорожном цехе. Он сам проверял качество ремонта каждого паровоза. Он винил себя за то, что проглядел действительное положение на транспорте. Будучи

сам металлургом, он всё своё внимание всегда уделял металлургическим цехам, а от железнодорожного транспорта требовал одного — обеспечить подвоз руды и кокса, перевозки металла по заводской территории. За прошедшие с ю дня пуска комбината пятнадцать лет все цехи неизмеримо выросли, комбинат стал другим, а внутризаводской железнодорожный транспорт оставался всё тем же. Обжимно-заготовочный цех стал узким местом в металлургическом конвейере, но железнодорожный транспорт стал в ещё большей степени ненадёжной связью между цехами, разбросанными по огромной территории комбината. Конечно, проще всего сослаться на бураны. Но ведь они бывают каждый год. Не пора ли покончить с зимними спадами производительности комбината, не пора ли подумать о решительном обновлении железнодорожного транспорта?

Своими мыслями Степан Иванович поделился с Лавровым. Борис Александрович долго мял в кулаке бородку, потом спросил задумчиво:

— Об электропоездах думаете, Степан Иванович?

Степан Иванович кивнул головой.

— Новые домны и мартены мы построили. Прокатные станы построили. Добычу руды всё увеличиваем. А транспорт всё тот же, не говоря уже об его износе за годы войны. Да и не в износе дело. Для наших коротких веток нам не могут дать мощные товарные паровозы, слишком дорогая будет затея. А обычными внутризаводскими паровозами нам перевозки не обеспечить.

— Электропоезда! — убеждённо повторил Лавров. — Энергией мы обеспечены, строительство ветки осуществим своими силами. Надо просить у министерства электровозы.

Скоро эта идея захватила весь комбинат. Министерство утвердило проект строительства электрифицированной ветки «рудники—домны». И в цехах началась горячая работа. Цех механизации изготовлял мачты для электрической ветки. После смены сюда стали приходиться коммунисты из других цехов, чтобы помочь ускорить изготовление мачт. За ними потянулись комсомольцы, вскоре это движение охватило весь коллектив. Бригады домохозяек и школьников вышли за город. В глубоко промёрзшей земле вырубали ямы для мачт. Рабочие электроцеха готовили оборудование для подстанций. Из Москвы прибыли сверкающие новой покраской электровозы.

И вот наступил торжественный день. Мачты новой электрифицированной ветки украсились красными флажками, об этом позаботились комсомольцы внутризаводского железнодорожного транспорта. Сыпал лёгкий снежок, изредка в проёмы между тучами выглядывало солнце, зажигало огнём трепещущие на ветру флаги.

По новой ветке, набирая скорость, шёл первый электропоезд. Он миновал ворота заводской площадки, промелькнул под мостом, стал приближаться к станции Гора, тоже украшенной флагами. С весёлым грохотом посыпалась руда в железные коробки хопперов. Наполнился последний хоппер, электровоз быстро взял с места, состав двинулся к домнам.

Степан Иванович стоял на эстакаде. Ему самому хотелось встретить первый электропоезд. Вот ещё одно узкое место расшито, ещё одна трудность преодолена. Да, бураны принесли много беды. Но они заставили людей задуматься, как работать, чтобы не было снижения выработки, зимних спадов, которые всегда считались неизбежными на Урале. Пора покончить с дорогостоящей зависимостью от природы. Если это могут сделать колхозники на своих полях, то тем более могут этого

добиться металлурги, вооружённые такой передовой техникой. И ещё подумал Степан Иванович, что вдоль рудничной ветки надо насадить густые аллеи, преградить путь снегам из степи.

Рядом со Степаном Ивановичем стоял Лавров в надвинутой на брови меховой шапке, он мечтательно смотрел на мелькающий вдали среди сугробов электропоезд. Вот уже скоро двадцать лет, как он приехал сюда. Там, где сейчас среди отливающих голубизной снегов рыжеют забои, в то время по склонам гор лепились низкорослые лиственницы. Экскаваторы долбили землю вот здесь, где сейчас выстроились домны. Но удивительное было не в том, что на огромном пустыре между речушкой и горами встал величественный металлургический комбинат, что вырос большой город. Ведь строятся комбинаты и города и за границей. Нет, главное было не в этом. Скоро исполнится два десятилетия, как пущен комбинат, а он не только не стареет, не устаревает морально, как говорят инженеры, а с каждым годом словно становится моложе, всё обновляется новой техникой, новыми, более совершенными приёмами труда. И в этой молодости комбината Лавров чувствовал вечную молодость страны, прекрасную молодость, не знающую одряхления.

Поезд приближался к эстакаде. Внизу стояли те, кто вложил свой труд в эту новую победу: свободные от смены рабочие и инженеры, учащиеся ремесленных училищ, домохозяйки, школьники. Степан Иванович не отрываясь смотрел на мощный электровоз впереди длинного состава хопперов. Потом перевёл взгляд на часы. Четырнадцать минут. Втрое быстрее, чем проходили этот путь паровозы. Другими словами, рудники словно втрое стали ближе к домнам. Степан Иванович весело посмотрел на Лаврова, сказал, окончательно утверждаясь в своей мысли:

— Всё наше железнодорожное хозяйство переведём на электропоезда!

Один за другим опрокидывались огромные железные коробы хопперов, смёрзшаяся руда с грохотом сыпалась в бункера.

После короткого митинга Степан Иванович предложил Лаврову пройти в диспетчерскую. Ему захотелось посмотреть из диспетчерской на всю работу комбината, если только подходило это слово «посмотреть», потому что из окна диспетчерской можно было видеть лишь стену ближайшего корпуса. Но в то же время можно было сразу почувствовать всю работу комбината.

Марина сидела перед своим рупором, она не видела ни красных флажков, ни хопперов, высоко нагружённых рудой, ни мчащегося по рельсам состава. Перед ней был только небольшой кусок синего неба, прочерченный косой полосой серого дыма. Но она ясно представляла себе, как мчится, взметая снежную пыль по обеим сторонам полотна, стремительный электропоезд. Диспетчеры железнодорожного транспорта сообщали о его продвижении.

Как хорошо дежурить сегодня! Ни одной заминки на всём пути металла от рудников до склада готовой продукции. И в наушниках звучат весёлые, словно праздничные голоса. Достаточно давление газа в мартенах и в нагревательных колодцах прокатных станов. Все цехи обеспечены сырьём, никто не жалуется.

Скрипнула дверь. Марина, не снимая наушников, обернулась, увидела Степана Ивановича и незнакомого пожилого инженера. Но тут же она догадалась, что это Лавров, Дмитрий много рассказывал о нём. Она дружески кивнула им обоим. Степан Иванович подошёл, отвернул к себе один наушник, стал слушать перекликающиеся голоса. Да, ещё

один шаг вперёд был сделан. И снова мысли Степана Ивановича вернулись к обжимно-заготовочному цеху. «Ворота проката», как называют на металлургических комбинатах блуминги, попрежнему оставались узким местом. А поток чугуна и стали должен теперь значительно возрасти.

20

Артёмов почти ежедневно заходил к Лаврову, смотрел, как на листах ватмана рождаются отдельные узлы кантователя. Иногда Лавров будто совсем забывал про него, сидел, склонившись над чертежом, предоставляя Артёмову молча покуривать. Потом вдруг подзывал его, советовался с ним. В его тоне никогда не было обидного превосходства, было видно, что мнению Артёмова его всерьёз интересуется.

Сегодня, войдя в кабинет Лаврова, Дмитрий услышал оживлённый спор. Лавров стоял у стола, а Туколкин наступал на него, горячась и волнуясь.

— Если мы будем без конца менять схему, то никогда ни к чему не придём! — доказывал он. — Поймите, Борис Александрович, что созданный вами проект превосходен, просто превосходен! Уже заказано несколько узлов. А теперь вы хотите всё начинать сначала.

— Мы должны ускорить поворот, — доказывал Лавров. — Если удастся сэкономить две десятых секунды на каждом повороте, это составит пятнадцать минут за смену. Не мне вам говорить, что это — десятки тонн металла, мы не имеем права ими пренебрегать. Лучше внести исправление сейчас, когда ещё не начался монтаж, чем потом терять сотни тонн металла в сутки.

Они заметили Дмитрия. Лавров размашисто протянул руку, сказал:

— Хорошо, что зашли, трудно мне одному от Валентина Михайловича обороняться. Требуется, чтобы скорей сдать ваш кантователь в эксплуатацию. А я хочу попробовать ускорить поворот. Помните, мы с вами толковали?

Артёмов взглянул на чертежи, сказал решительно:

— Надо ускорить, Борис Александрович. Тут каждая десятая секунды дорога. Вот скоро ещё новые мартены вступят в строй, ещё сотни тысяч тонн стали придётся катать.

Туколкин сказал неохотно:

— К тому времени слябинг будет построен.

Туколкин явно не хотел продолжать спор с Лавровым при Артёмове. Ждал, когда он уйдёт. Но Дмитрий уселся на стул рядом с Лавровым, стал разглядывать чертёж за чертежом. Он видел, что Туколкин следит за ним краем глаза, но это Дмитрия не смущало, ведь в проектную группу он взведён по приказу директора. Да теперь Дмитрий и сам чувствовал, что в кабинете Лаврова он не лишний, тоже мог высказать свои соображения, а порой дать и дельный совет.

Дойдя до чертежа поворотного механизма, Дмитрий склонился над ним, задумался.

— Я предлагаю оставить всё так, как было! — проговорил, наконец, Туколкин, убедившись, что Артёмов уходит не собирается.

Но Лавров замахал руками.

— Собственные интересы нарушаете! — крикнул он запальчиво. — Вам ведь на этом кантователе работать, не мне.

— Поэтому я и заинтересован в том, чтобы скорее пустить его в эксплуатацию, — ответил Туколкин.

Он бы уже ушёл, да боялся, что неугомонный Лавров примется переделывать все чертежи. А Степан Иванович не даёт покоя, требует,

чтобы блуминги быстрее покрывали задолженность, образовавшуюся во время зимних простоев. Дорог был каждый день, надо бы поскорее установить кантователь, а Лавров тянет. Сегодня сконструирует, завтра принимается всё переделывать.

Артёмов задумался, он уже не слышал, о чём они спорят. Поворот кантователя не должен отнимать у оператора ни одной лишней доли секунды. Нужно не потерять за смену ни одного слитка. А на сбережённом металле надо выгадать ещё сотни тонн готового проката.

Артёмов стал набрасывать чертёж. Он досадовал, что линии у него получаются далеко не такими безукоризненными, как у Лаврова. Однако вечера, проведённые в кабине Лаврова, не прошли даром. Теперь Дмитрий уже мог выразить на бумаге свою мысль, пусть несовершенен, пусть порой грубыми и даже неровными линиями. Не отрываясь от чертежа, он пошарил рукой по столу, нащупал линейку.

Туколкин поглядывал на него скептически, он считал, что роль Артёмова закончена на том, что он выдвинул идею кантователя, а в конструирование ему соваться нечего. Но уйти нельзя, эти двое такого натворят, что потом несколько месяцев кантователя не дождёшься.

А Дмитрий всё чертил. Он чувствовал большую радость. То, что недавно было для него лишь догадкой, теперь приобретало точные, ясные формы. Именно так должен работать поворотный механизм. Перед ним словно рассеялся туман, теперь он видел свой кантователь, знал, как он должен работать. Так, именно так.

Лавров взглянул на лист, глаза его вспыхнули, но он сдержался, ничего не сказал, даже отвернулся, чтобы не мешать Артёмову чертить.

Дмитрий провёл последнюю линию, с силой положил карандаш на бумагу, прихлопнул его ладонью.

— Вот, Борис Александрович! — сказал он сияя. — Посмотрите.

Лавров взял чертёж, стал разбирать его, медленно, неторопливо.

— Вот и зря мы с вами спорили, Валентин Михайлович, — сказал он, наконец. — Жизнь всегда вносит свои изменения. Да, придётся так делать!

Дмитрий ожидал, что сейчас Лавров удивится: как это ему удалось наконец выразить на бумаге свою мысль, вернее те смутные догадки, которые он до сих пор не мог даже толком пояснить. Но Лавров и не думал удивляться, он не спешил похвалить Дмитрия, наоборот, он взял резинку, стал стирать одну за другой начерченные им линии, исправлять их. Дмитрий радовался тому, что и эти изменения ему понятны. Да, так будет лучше.

Туколкин сказал своим обычным деланно-вежливым тоном:

— Мне пора в цех, и так задержался. Зайду в другой раз.

Только когда он ушёл, Дмитрий решился спросить:

— Подходит, Борис Александрович?

Лавров посмотрел на него немного удивлённо, казалось он и не догадывался, как радуется Дмитрия этот первый самостоятельный чертёж, пусть и несовершенный. Ничего не ответил, стал вполголоса бормотать вычисления, наносить их на бумагу. И только покончив с вычислениями, сказал спокойно:

— Думаю, что хорошо будет. Теперь нам с вами надо будет ещё подумать над механизмом для ускорения подъёма валков. Если уж устанавливать, так одновременно.

Пришло время удивляться Дмитрию. Он знал, что Степан Иванович поручил разработать такой механизм, но вовсе не думал, что и ему придётся принять в этом участие. А Лавров говорит так, словно Дмитрий действительно может принести в этом какую-то пользу. Нет, это не

формальная вежливость, Лавров советуется с ним, как с товарищем по работе.

Артёмов пожалел, что в комнате нет Марины, пусть бы она посмотрела, как её Дмитрий решает сложные технические задачи. Он часто ловил себя на том, что думает, как бы посмотрела Марина, что сказала бы. Вместе с ним она должна радоваться каждому его успеху.

21

Как ни твердил себе Степан Иванович, что надо уметь не только работать, но и отдыхать, воскресенье всегда казалось ему слишком длинным. Иногда, не выдержав, он вызывал машину, ехал хоть на часок-два в цехи. И теперь, лёжа на диване со свежим номером журнала, Степан Иванович нет-нет, да и поглядывал на часы. Жена с сыном ушли на дневной спектакль в театр. Вернутся часа через два, он успеет съездить до обеда на завод. Степан Иванович перевернул ещё страничку, но поймал себя на мысли, что читает машинально, мысли его были заняты другим. Он встал, позвонил по телефону в гараж, вызвал машину. За окном медленно кружился снег. Степан Иванович решил не жать машину, пойти ей навстречу. Он быстро оделся и, плутовски улыбнувшись, вышел, закрыв за собой дверь.

Машина встретила его уже в конце аллеи. Шофёр сказал:

— Опять на завод, Степан Иванович? Хоть бы разок мы с вами за город съездили!

Да, уж много раз Степан Иванович обещал жене и сыну поехать с ними в горы, но так ни разу и не собрался.

Машина подъехала к домнам. Степан Иванович легко взбежал по железной лесенке. На горновой площадке ему встретился Пётр Евлампиевич. По одному только виду старого мастера Степан Иванович сразу определил, что печь идёт хорошо. Пётр Евлампиевич с трудом сдерживал радость, стараясь казаться степенным и спокойным. Потолковав о состоянии печи, Степан Иванович спросил словно ненароком:

— Пётр Евлампиевич, найдётся сейчас у вас несколько свободных минуток? Состояние печи позволяет?

— Шумно здесь, пройдёте ко мне, — предложил Пётр Евлампиевич.

В комнате мастера за толстыми стёклами приборов дрожали стрелки, карандаши автоматически вычерчивали линии на полосках бумаги, бежавших под ними. Пётр Евлампиевич для порядка бросил взгляд на запись, остановился у стола, предоставляя директору сесть на единственный в комнате стул. Но Степан Иванович усадил мастера, а сам присел на краешек дубового стола.

— Хотел я с вами посоветоваться, Пётр Евлампиевич, — проговорил он. — Чем вы объясняете, что на старых домнах показатели хуже?

— Невозможно им с нами сравняться! — убеждённо ответил Пётр Евлампиевич и разглядел свои длинные усы.

— Люди работают хуже?

— Нет, переведите их на новые домны, может и нас обгонят. А на старых им такого коэффициента не дать! — Он хитро прищурился, поглядывая на директора, потом заключил: — За меня вот эти приборы работают. А у них какие — американские! — И он торжествующе рассмелся.

На старых домнах, построенных пятнадцать лет назад, была установлена американская измерительная аппаратура. Но вот прошло пятнадцать лет, и американская аппаратура безнадежно устарела, не шла ни в какое сравнение с советской, установленной на новых домнах.

— Значит, менять аппаратуру? — весело спросил Степан Иванович, сам утверждаясь в этой мысли.

— Непременно! — подтвердил Пётр Евлампиевич. — Капиталистическая техника по рукам связывает. Секретов у нашей бригады нет, да и у других тоже, рады помочь чем можем. Да что они поделают, когда у нас советская техника, а у них американская? Конечно, иностранные показатели они тоже превосходили, да разве достаточно теперь на это равняться? — Он встал, подошёл к приборам, бережно протёр тряпочкой стёкла, на которых и без того не было ни единой пылинки. — Вся печь как в разрезе видна! Раньше мастер десятилетиями душу домны узнавал. Пока полсотни не стукнуло, и не думай первым горновым стать, никто такому плавку не доверит. А у меня первый горновой только в войну ремесленное закончил, и уже орден имеет. Вот она, душа домны, смотри! — Он показал на приборы.

Потолковав ещё с Петром Евлампиевичем, посмотрев в глазок домны и убедившись, что приборы точно показывали ход плавки, Степан Иванович отправился на другие домны. Да, к таким красавицам-течам поставить отечественную измерительную аппаратуру — чудеса можно будет делать! Первое место в Союзе занять — это значит занять его и во всём мире. И Степан Иванович почувствовал гордость за свой комбинат. Уже в нынешнем году занять первое место в мире по производительности домен — вот какие мерки пошли!

Когда он уселся в машину, шофёр по привычке спросил:

— На мартены поедем?

И очень удивился, услышав в ответ:

— Нет, поехали домой. Только по дороге — к Лаврову. Знаете, где он живёт?

— Найдём! — рассеянно ответил шофёр, он недоумевал, почему Степан Иванович отказался от обычного объезда всех цехов.

Лавров жил в старой части города, в так называемых бараках. Теперь эти бараки были переделаны под квартиры, довольно удобные, но внешне выглядели непривлекательно: посреди улицы стояли дровяные сарайчики, возле них были привязаны козы и копошились куры. Вся эта часть города предназначалась на слом, бараки должны были уступить место заводским корпусам. Поэтому здесь не сажали деревьев, не прокладывали тротуаров. Степан Иванович припомнил, что Лаврову предлагали домик в новом посёлке на правом берегу, но он отказался.

«Надо будет выяснить, в чём тут дело?» — подумал Степан Иванович, входя в полутёмный коридор, освещённый только одной лампочкой. Ис обе стороны были двери. Степан Иванович наугад толкнулся в одну из них, но тотчас решил, что ошибся, — за дверью слышалось шуршанье рубанка, очевидно здесь жил столяр или плотник. Не успел он отойти, как открылась соседняя дверь и выглянул Лавров. В растрепавшейся его бороде запуталась тонкая стружка. Он был без пиджака, в одном жилете, закатанные выше локтя рукава рубашки открывали жилистые руки.

— Сюда пожалуйста, Степан Иванович! — проговорил он, не смущаясь своего вида.

Степан Иванович повесил на вешалку шубу, снял в уголке калоши, огляделся. Его удивила обстановка: можно было подумать, что он попал в музей кустарных ремёсел. Буфет, стоявший в углу, украшал мастерски выточенный из тёмного дерева петух, раскинувший крылья. У стульев, стоявших вокруг стола, тоже были резные спинки, все разные: здесь были изображены и зайцы, и павлины, и глухари.

— По заказу дочки! — не без гордости проговорил Лавров. — Прошу в мой кабинет, посмотрите, как я столярничаю.

Обстановка кабинета ещё больше удивила Степана Ивановича, по ней никак нельзя было определить профессию хозяина. Подле одного окна стоял большой письменный стол, подле другого — токарный станок. К стене был прилажен верстак, над ним висели рубанки и огромный фуганок. Рядом с верстаком стояли доски, лежала гора свежих стружек. А на окнах висели клетки с птицами.

Лавров усадил Степана Ивановича в кресло, тоже, видно, своей работы, сам уселся в другое.

— Жена с дочкой в кино ушли, — пояснил Лавров. — Вот я на свободе и занялся немного, хочу футляр для часов сделать.

Степан Иванович почувствовал некоторое разочарование: он думал, что Лавров сидит над проектом карусельного кантователя, — ведь был дорог каждый час. А он вздумал какой-то футляр делать, мог бы это дело и отложить. Чтобы как-то начать разговор — хозяин поглядывал на него выжидающе, — Степан Иванович спросил:

— Я слышал, что вам предлагали дом в новом посёлке? Отчего вы отказались, Борис Александрович, вам ведь здесь тесно? Тем более, что вы увлекаетесь столярничаньем, там бы могли отдельную комнату выделить под мастерскую.

— Дома в новом посёлке хороши, не спору. А школа где? В правобережной части города! Это дочке почти километр туда идти, да километр обратно. В магазины жене тоже в город идти. А здесь — всё под боком.

— К осени построим и школу и магазины, — возразил Степан Иванович.

— Вот тогда, может быть, и переедем, — весело подхватил Лавров. — Нет, Степан Иванович, тут ошибка получилась: как проектировался посёлок, надо было сразу и школы строить и хоть какой-нибудь ларёк. Да и не хочет жена уезжать отсюда, уж очень она сжилась со всеми соседями, с начала строительства комбината вместе живём. Меня Мокеев Пётр Евлампиевич тоже уговаривал, мы с ним старые друзья, соседями были. Да ведь мне и здесь неплохо: комната для жилья хорошая, и кабинет, как видите, есть, и мастерством заняться можно. Вот спасибо вашему заместителю Хромову, хороших, сухих обрезков он мне с деревообделочного комбината дал. А то хуже нет, когда дерево сырое.

«Что это он, оригинальничает? — подумал Степан Иванович. — Всё про свое столярничанье!» Он даже с нетерпением поглядел на стол, не видно ли чертежей, но на гладко отполированной доске лежал лишь один небольшой чертёж — футляра для часов.

— Вы, я вижу, и птицами увлекаетесь? — спросил Степан Иванович из вежливости, уже досадуя, что заехал.

Он спешил к Лаврову, чтобы поговорить о заводских делах, но видел, что хозяин в выходной день вовсе не склонен ими заниматься. Конечно, можно было просто спросить, как же идёт проектирование кантователя. Но, в конце концов, Лавров имеет право в воскресенье отдохнуть, и так почти одну всю механизацию комбината тянет, во всех проектах участие принимает. Степан Иванович ожидал, что Лавров сам заговорит о проекте, но он молчал. Пожалуй, пора и уходить.

— И что же, вам канарейки не мешают, когда вы за письменным столом работаете? — спросил Степан Иванович вставая. — Пожалуй, вам бы лучше в другой комнате их разместить?

— Там щегол! — возразил Борис Александрович. — Знаете, какое у него пение? Одно коленце, а потом чирикание. А для канарейки, — он сделал страшные глаза, — нет хуже, если вместо пения вдруг зачири-

кает. Вот у соловья канарейки хорошему учатся, любое колечко перенимают. Они мне не мешают, нет. С утра я над проектом кантователя работал...

Степан Иванович сразу расцвёл.

— Сегодня работали? — удивился он. — Конечно, нехорошо в выходной день отвлекать вас от отдыха, но мне только хотелось узнать, как идёт дело.

— Будет готов в срок! — торжественно ответил Борис Александрович, выдвигая широкий ящик стола и доставая испещрённый безукоризненными линиями лист ватмана. — Хотел я вам сразу показать, да постеснялся, подумал, вам за неделю достаточно дела надоедают.

— Дела никогда не могут надоесть! — возразил Степан Иванович, наклоняясь над ватманом.

Борис Александрович молчал, он знал, что директор не нуждается в пояснениях чертежа.

— А здорово будет! — проговорил Степан Иванович, возвращая лист ватмана. — Как же это вы успеваете всё сочетать? И чертежи, и верстак, и токарный станок?

— Отдыхаю! — возразил Лавров, принимаясь ерошить свою бородку. — Вот просидишь иногда всю ночь над расчётами — кажется, уже ни одной мысли в голове нет. Как в тупик зашёл, не идут мысли, и баста. А возьмёшь рубанок или начнёшь обтачивать какую-нибудь чурочку, кажется о проекте и не думаешь — и вдруг он весь в готовом виде представится. Только беги к письменному столу и скорей записывай. Нет, правильно говорят, что перемена работы — лучший отдых. А канарейки тоже на рабочий манер настраивают... Я вам обязательно парочку подарю, вот увидите, какие они хорошие помощницы...

— Хотел с вами посоветоваться, — проговорил Степан Иванович, теперь он уже совсем освоился со странной обстановкой. И он рассказал о посещении домен, о разговоре с Петром Евлампиевичем.

— Старик прав! — согласился Лавров. — В разные условия у нас доменщики поставлены. На старых печах, можно сказать, втёмную работают, а на новых — всё в открытую, каждое дыханье домы видишь. Обязательно надо нашу, советскую аппаратуру ставить. Вы уж, Степан Иванович, на это денег не жалейте!

— Я на технику денег не жалею! — возразил Степан Иванович. — Зря тратить не люблю, это верно... Ну, я пошёл. Простите, Борис Александрович, что побеспокоил вас в воскресенье.

Уже легли за окном ранние зимние сумерки, когда Степан Иванович спохватился, что он ушёл из дому, никому не сказав, рассчитывая вернуться к обеду.

— Домой? — спросил шофёр.

Степан Иванович кивнул головой, с улыбкой подумав, что опять ему попадёт дома за внезапное исчезновение. Ничего, выходной день он провёл очень хорошо.

В автобусе, глядя на замёрзшее стекло, через которое ничего не было видно, Дмитрий беспричинно улыбался, ему казался прекрасным этот зимний пасмурный день.

Марина его встретила нарядная, оживлённая.

— Раздевайся скорее, — проговорила она, — я тебя заждаюсь! Куда бы ты хотел поехать? — спросила Марина, едва они вошли в комнату.

— Может быть, пойдём во Дворец культуры, там, кажется, сегодня танцы, — предложил Дмитрий. — Или поедём в кино?

Марина торжествующе рассмеялась, её глаза сияли.

— Нет, Митя, ты меня не понял! Далеко поехать.

— За один вечер далеко не уедешь! — пошутил Дмитрий. — Ты расскажи, какой у тебя план.

Марина открыла ящик стола, вынула конверт.

— Ты хотел бы поехать в Москву? — И, не дожидаясь ответа, ликующе воскликнула: — В Москву, в Москву! — Она схватила Дмитрия за руки, закружилась вместе с ним по комнате, заглядывая в глаза.

Он тоже улыбался, ещё не понимая причины её радости.

— Отец устроил мне перевод в Москву! — объявила, наконец, Марина. — Мы поедем с тобой в Москву. Ты поступишь в институт, старики нам помогут, этого ты не бойся. Да и я буду работать. Митя, это будет наше свадебное путешествие!

Она стала оживлённо рассказывать о своих планах, не замечая того, что Дмитрий плохо её слушает. Потом она подняла на него глаза, оторвавшись от письма из дому, которое стала читать вслух, удивлённо спросила:

— Митя, что с тобой? — Он молчал. Марина подошла к нему, положила руки на плечи, попыталась заглянуть в глаза. — Митя, ты не хочешь со мной ехать? Ты не рад нашему свадебному путешествию? Ты меня разлюбил? — Она ещё пыталась шутить, но в голосе её звучала тревога.

Дмитрий сидел неподвижно, сцепив пальцы рук.

Обиженная и недоумевающая, Марина стояла в стороне, потом снова подошла к Дмитрию, прижалась к его плечу.

— Что же ты молчишь? Ну, что с тобой?

Дмитрий обнял её.

— Марина, мы не можем уехать отсюда! Как ты могла подумать, что я брошу работу и буду жить на твой счёт?

— Вот ты о чём! — Марина облегчённо рассмеялась. — Я оскорбила твоё мужское самолюбие? Ну хорошо, ты будешь работать и учиться, в Москве ведь много заводов. Нет, Митя, ты только подумай, уже через несколько дней мы можем быть в Москве! — Она снова стала ему говорить о предстоящей поездке, но теперь голос её звучал неуверенно. Вдруг она замолчала. — Да ты меня совсем не слушаешь!

— Мы не поедем в Москву, — медленно проговорил Дмитрий. — Ты сама как следует не подумала. Меня демобилизовали для того, чтобы я работал в Рудногорске, и я буду здесь работать. Да и всё равно я бы отсюда никуда не уехал. И ты не можешь уехать, ты ведь сама просила перевести тебя в диспетчерскую. — Он заметил, что Марина нахмурилась, сказал ласковей: — Нельзя быть таким ребёнком! Тебе захотелось к родителям, и ни о чём больше ты не думаешь.

— Ты меня не любишь! — грустно ответила Марина. — Если бы ты любил меня, то поехал бы за мной на край света. — Неуверенной, ослабевшей рукой она отстранила руку Дмитрия, повторила, сама прислушиваясь к этим словам: — Ты меня не любишь! — Подбородок её дрогнул, но она не заплакала, только напряжённо сжала губы. — Почему ты не скажешь мне об этом прямо? Я пойму. Ты полюбил другую?

Дмитрий отрицательно покачал головой. Ему и впрямь показалось, что он разговаривает с ребёнком, который не может его понять.

— Я люблю тебя, — сказал он. — Ты это знаешь. Но это только в плохих романах описывают такую любовь: мол, ради любимой — на край света. Какая же это любовь, когда человек теряет самого себя? Бросить работу, свой завод, забыть свой долг и уехать к твоим родителям? Нет, Марина, нет! Ты должна остаться здесь, перед тобой тоже

важная и интересная работа. Подумай, как нам будет хорошо вдвоём! Мы будем вместе...

Артёмов посмотрел на Марину и не договорил фразу. Она, казалось, не слушала того, что он говорил. Глаза глядели сухо и отчуждённо. Он шагнул к ней, тихо сказал:

— Марина, послушай...

Марина посмотрела на него долгим взглядом, потом переспросила:

— Человек теряет самого себя? Так ты сказал?

— Ну, пойми, — начал Дмитрий, он всё ещё верил, что сейчас они поймут друг друга. — Пойми, Марина...

Она перебила его:

— Ты боишься потерять себя, уступив мне? Разве я предлагаю тебе совершить недостойный поступок? Я предлагаю ехать в Москву. Там ты сможешь учиться, станешь инженером. С твоими способностями ты принесёшь там гораздо больше пользы. Впрочем, что теперь об этом говорить! — Марина отвернулась, сдерживая слёзы.

Артёмову стало жаль её. Она стояла, опустив голову, перебирая пальцами бахрому платка. На лбу легла упрямая складка, края губ опустились. Её лицо стало почти некрасивым, но именно такая — беспомощная, убитая, она стала особенно дорога ему. Нет, они должны объясниться и понять друг друга. Он не может потерять Марину. Артёмов шагнул к ней, тихонько притянул к себе, стал целовать её лицо. Держа её за плечи, посмотрел ей в глаза; нет, глаза Марины не стали прежними, в них затаились боль и тревога, не было обычных весёлых огоньков.

— Марина, давай поговорим спокойно, без обид.

Она положила голову ему на плечо, тяжело вздохнула, как вздыхают обиженные дети.

— Тебе хочется поехать к родителям, — Артёмов старался говорить как можно мягче. — Тебе хочется в Москву. Конечно, Москву не сравнить с нашим Рудногорском. Но ведь тебя учили не для того, чтобы ты отсиживалась в Москве. Тебе дали здесь интересную работу.

Дмитрий почувствовал, что говорит не то, слова его звучали неубедительно. Марина молчала.

— Мне просто непонятно, — продолжал Артёмов, — как ты могла решиться бросить свою работу диспетчера и уехать в Москву? И ужели ты думала, что я брошу свою работу? Да я о своём цехе все годы войны думал!

— И твой цех тебе дороже меня? — Марина отстранилась от него.

Дмитрий повернулся к ней. Ему и жаль было Марину, и всё же он не мог уступить.

— Друг хорош тогда, когда он поддерживает тебя в стремлении вперёд! — горячо сказал он. — Ты мне очень дорога, я тебя люблю, но никогда я не соглашусь на любовь, которая принижает человека, заставляет отказываться от стремлений, от самого себя!

— Ты меня не понял, Митя, — тихо ответила Марина. — Я могу поехать в Москву, могу и не поехать. Конечно, мне хочется в Москву, хочется стать научным работником. — В голосе её уже не было обиды, она словно размышляла вслух. — Разве сравнить Москву с этим городом, где не видно неба из-за дыма? Но дело не в этом. Дело в нас с тобой. Когда я мечтала о Москве, я думала о нас обоих. Ты — способный, талантливый оператор. Но ведь тебе ещё не поздно учиться, ты сможешь стать инженером, директором вот такого огромного комбината, как этот. Ты говоришь, что человек должен быть сильным. Но разве я не могу тоже помочь тебе быть сильным, не довольствоваться

достигнутым, стремиться к большему? Или от этого страдает твоё мужское самолюбие?

— Нет, Марина, я вижу в тебе настоящего друга. Хотел видеть, — поправился Дмитрий.

— Вот ты и проговорился, — печально сказала Марина. — Хотел видеть. Больше уже не видишь. А что я сделала?

Марина закусила губу, сидела молча. Как же так получается — Дмитрий боится хоть в чём-нибудь ей уступить. Если так, то не лучше ли разойтись сейчас?

Ей хотелось плакать, но глаза были сухи. Неужели всё прошло? Та радость, с которой она просыпалась каждое утро, волнуемое и нетерпеливое ожидание встреч с Дмитрием? Ей казалось, что этому чувству не будет конца, что оно озарит всю жизнь. И вот как всё кончилось. Маленькое испытание — и всё развеялось. Дмитрий ещё сидит рядом с ней, но сейчас он уйдёт, и они станут чужими. Как быстро сгущаются сумерки. Вот так потемнела и её жизнь.

Марина встала, подошла к окну.

— Я иногда подолгу смотрю на эти огни, — сказала она вслух, — и стараюсь забыть, что там всё одни и те же стандартные дома. Когда я училась в школе, я завидовала строителям Комсомольска-на-Амуре и мечтала: вырасту — обязательно туда поеду. — Марина слышала свой голос и сама удивлялась, как она может так спокойно говорить о чём-то постороннем, когда ей так тяжело. Но сейчас она больше всего боялась, как бы Дмитрий не ушёл. Ей хотелось его задержать. Марина замолчала, потеряв мысль, растерянно посмотрела на Дмитрия. — О чём я говорила? Да, о далёких огнях. Это было так заманчиво: жить в палатках, вырубать тайгу, строить заводы! А теперь мне кажется — это как те огни, что горят напротив. Красиво только издали. Нет, нет, не сторь.

Артёмов подошёл к ней, обнял, повернул её лицо к себе.

— Марина! — взволнованно заговорил он. — Только не будь такой! Я хочу верить в тебя. Тебе не нравится работа диспетчера? Но чтобы добиться чего-нибудь большего, надо отлично справляться с тем, что тебе поручено. Ведь десятки инженеров, работая на комбинате, защищают диссертации. Нет, Марина, не обманывай себя, ты хочешь уехать не потому, что тебя ждёт в Москве более интересная работа. Тебе хочется жить так, чтобы было поменьше трудностей. И мне ты тоже предлагаешь такую жизнь. Кругом люди добиваются большого, светлого, отдают все силы, а мы с тобой будем искать работы полегче, жизни полегче. И когда? Когда во всём мире развернулась такая борьба! Нет, Марина, я не могу поверить, что ты решила всё это серьёзно.

Марина повернулась к нему:

— Ты больше не любишь меня?

— Люблю! — убеждённо ответил Дмитрий. Он попытался обнять её, целовал её волосы, шею, но Марина отстранилась, посмотрела ему прямо в глаза.

— Ты поедешь со мной в Москву? — спросила она, чтобы испытать его чувство. Она уже знала, что поездка, о которой она так мечтала, теперь потеряла для неё всякий интерес. Но она должна знать, насколько он дорожит ею.

Дмитрий отрицательно покачал головой.

— Нет. И ты тоже не поедешь!

— А я уеду! — вырвалось у Марины. Если Дмитрий любит, он не может безучастно относиться к её решению. И она несколько раз запальчиво повторила свои слова. И замолчала только потому, что слова издали до неё дошли слова Дмитрия:

— Твоё дело.

Как он мог это сказать?

Марина искала в глазах Дмитрия такого знакомого ей выражения любви. Как зажигались его глаза раньше, увидев её! Но теперь они глядели отчуждённо. Марина сделала шаг к нему, но остановилась.

Не этого ждала Марина. Она думала, он скажет ей, что не может её потерять, что она ему дороже всего на свете. А он думает только о своём: она не должна уезжать.

И она сказала, сама зная, что теперь будет всё кончено:

— Ну что ж! Если ты волен остаться здесь, то я вольна уехать!

Артёмов резко повернулся, вышел в переднюю. Марина бросилась за ним, преградила ему дорогу:

— Ты не можешь так уйти! Не смеешь быть таким каменным. Ну хорошо, ведь не сегодня я уеду. Куда ты уходишь?

— Ты любишь не меня, Марина, а себя, — тихо ответил Дмитрий. — Я не могу тебя удерживать. Уезжай куда хочешь. — Он вышел, стал спускаться по лестнице.

Ей хотелось броситься за ним, но она стояла, прислонившись к косяку, прислушиваясь к стихающим шагам.

Дмитрий быстро шёл по знакомому заснеженному скверу, через который они столько раз проходили с Мариной. Неужели он так ошибся в ней? Он гордился её красотой, её умом, её знаниями, умением работать. Тем, что она хочет посвятить себя науке. А она хочет, чтобы он бросил свою работу, свой кантователь, чтобы он поступился всем, чем наполнена его жизнь. Нет, он никогда не согласится на жизнь, в которой любуются только далёкими призрачными огнями!

23

Лавров сидел в одной рубашке, пиджак был повешен на спинку стула. Длинный чертёжный стол был завален чертежами, Лавров поглядывал на них с мечтательной улыбкой. Кантователь стоял перед его глазами во всех мельчайших подробностях. Все творческие поиски остались позади, кантователь уже существовал, конструкция его была создана. Помощники Лаврова разрабатывали по его указаниям отдельные детали, но когда Лавров получал от них чертежи, он видел, что и они вносят свои идеи, это уже был кантователь не старшего оператора Артёмова, и не Лаврова, и не Туколкина, а большого коллектива, и трудно теперь было даже сказать, кому принадлежит идея того или другого узла.

Послышался осторожный стук в дверь, Лавров сразу догадался, что это пришёл Туколкин, он всегда стучал как-то вкрадчиво, словно не решался войти. Лавров обернулся, сегодня ему было приятно посещение Туколкина, можно было, наконец, подвести итог всей многодневной работе.

Туколкин пожал Лаврову руку, присел на край стула.

— Как идут дела, Борис Александрович? — спросил он, поглядывая на чертежи.

Лавров подошёл к столу, сказал в раздумье, словно сам удивляясь:

— Что ж, пожалуй всё закончено. Можно будет завтра представить на утверждение.

Туколкин кивнул головой, проговорил торопливо и несколько смущённо:

— Ну, тогда ничего. А мне, Борис Александрович, небольшая мыслишка пришла. Нет, раз готово, то уж не будем ничего менять. Так, знаете, одна мелочь.

Лавров пытливо посмотрел на него, он видел, что Туголкин сегодня необычайно возбуждён и только старается скрыть своё состояние за незначительными словами.

— Что у вас, Валентин Михайлович?

Туголкин вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный в несколько раз лист бумаги, расправил его, положил перед Лавровым.

← Посмотрите, Борис Александрович, просто так, для любопытства.

Он отошёл в сторону, стал разглядывать лежавшие на столе чертежи. Лавров наклонился над лежавшим перед ним листом бумаги, стал завивать на палец кончик уса, повторяя вполголоса сделанные Туголкиным расчёты. Потом он обернулся, с интересом посмотрел на Туголкина, но ничего не сказал, выпустил ус, принялся за второй. Туголкин не выдержал долгого молчания, подошёл, сказал будто извиняясь:

— Так, случайно мыслишка пришла. Конечно, ничего особенно ценного. Я вот смотрел ваш проект, пожалуй в нём этот узел разрешён даже интересней. Вы оставьте у себя, Борис Александрович, может быть для чего-нибудь пригодится, вам ведь ещё придётся работать над реконструкцией других станов. А не подойдёт, выбросите, я ведь не конструктор, обижаться не стану. — Он исподлобья поглядывал на Лаврова.

Лавров выпустил из кулака взлохмаченную бородку, сказал:

— Зря скромничаете, Валентин Михайлович. Да вы должны за горло меня взять и потребовать, чтобы я изменил поворотный механизм. Скорость получается та же, а устройство гораздо проще. Я нивесть чего нагородил, а у вас... Да что тут толковать! Вот только в этом расчёте вы малость ошиблись, Валентин Михайлович. Слишком большой запас прочности берёте, зачем нам зря металл изводить и механизмы перегружать?

— Да ведь знаете, Борис Александрович, как говорится, запас карман не рвёт. Так вы находите, что здесь кое-что может пригодиться?

Лавров вскочил со стула, взмахнул руками, закричал сердито:

— Да бросьте, Валентин Михайлович, дипломатию разводить! Кое-что пригодится!.. — Он наступал на сидевшего на стуле Туголкина. За фанерной стеной, где сидели чертёжники, стихли голоса, там, видно, прислушивались к шумному разговору в кабинете конструктора. Подойдя к Туголкину вплотную, Лавров сказал с негодованием: — Уважать надо собственные идеи, да, вот именно, уважать! Сами знаете, что у вас лучше решена схема поворотного механизма, чем у меня. Так о чём же толковать. За работу надо браться, за работу!

В глазах Туголкина появился живой огонёк, они потеплели. Он взял Лаврова за руку, как бы желая успокоить его, сказал с чувством:

— Рад вашей оценке, Борис Александрович, искренне рад! Я ведь когда-то на юге тоже немного занимался изобретательством. Заразили вы меня своей настойчивостью, захотелось попробовать.

Раздался телефонный звонок. Лавров с недоумением взял трубку, он весь ушёл в расчёты, проговорил сердито:

— Лавров слушает.

Звонил Степан Иванович, он не забывал каждый день проверять, как идёт конструирование кантователя и изготовление отдельных узлов. Накануне Лавров доложил, что представит полностью все чертежи на утверждение. Степан Иванович спрашивал, когда можно ждать Лаврова с чертежами.

— Прошу прощения, но сегодня прийти не могу. Да, меняем схему поворотного механизма. Схема Туголкина значительно проще. Нет, моя не годится, слишком громоздкая. Да, Степан Иванович, ни в каком сравнении не идёт!

Туколкин просиял. Он никак не ожидал, что Лавров так откровенно скажет директору комбината о причинах задержки. Ему хотелось узнать, что ответил Степан Иванович, но Лавров только молча кивал головой.

— Слушаюсь, Степан Иванович, завтра в двенадцать часов. — Повесил трубку, обернулся к Туколкину: — Нажимает Степан Иванович, приказал завтра представить ему всю схему на утверждение. Придётся сегодня ночку поработать.

— Завтра? — испугался Туколкин. — Да разве мы успеем? Нет, Борис Александрович, зря мы с вами всю эту переделку затеяли. Честное слово, и ваша схема была превосходная!

Лавров с досадой отмахнулся от него.

— Моей схемы нет, понимаете, больше нет! Есть ваша, и завтра она должна быть готова. Только надо же вам было так утяжелить конструкцию, теперь все расчёты придётся составлять заново.

Он сразу погрузился в работу и, казалось, совсем забыл о Туколкине. Потом вскочил со стула, подошёл быстрыми шагами к фанерной стене, за которой размещался его отдел, застучал в неё кулаком, сказал громко:

— Я пока в цех пройду. Меняем схему поворотного механизма.

По крутой железной лесенке они спустились в цех. Собственно говоря, это был небольшой завод со своими литейными чугуна и цветных металлов, с мощными гидравлическими прессами и молотами, с токарным и фрезеровальным отделениями, с вместительными термическими печами. Этот огромный цех считался подсобным, он обслуживал только нужды самого комбината. Когда-то его задача сводилась лишь к ремонту, но Степан Иванович превратил его в своеобразное предприятие, помогавшее непрерывно модернизировать все цехи завода, всё его сложное оборудование. Здесь изготавливалась автоматика для мартенов и измерительная аппаратура для домен, здесь гнулись и клепались конструкции для мачт электрической ветки, здесь изготавливались электрические реле для прокатных станков и многое другое, что появилось на комбинате за последние годы.

Лавров шёл по цеху быстрой походкой, Туколкин, несмотря на свой большой рост, едва поспевал за ним. Туколкину давно хотелось посмотреть, как идёт изготовление кантователя, но всё некогда было, — он сам удивлялся, почему у него всегда нехватает времени.

Лавров подвёл его к большой круглой станине, глубокие продольные борозды на ней блестели свеженарезанным металлом.

— Вот наш будущий кантователь! — с видимым удовольствием проговорил Лавров. Он провёл рукой по борозде, любуясь её гладкостью, обошёл станину вокруг, сказал весело: — Научила нас война скоростному проектированию! Видите, мы ещё с чертежами возимся, а производственники уже к монтажу приступают.

Подошёл магнитный кран, мягко опустил многотонные детали.

— По часовому графику работают! — с гордостью сказал Лавров. Он глянул на часы, пояснил: — Через час начнётся установка станин манипулятора. Да, придётся нам немного график поломать, сейчас скажем, чтобы приостановили работы над поворотным механизмом. Ничего, потом скорей работа пойдёт, сократится количество изготавливаемых деталей, так что производственникам это даже на пользу.

Лавров, показывая Туколкину изготовленные детали, обращался то за тем, то за другим к рабочим. Странное дело, он разговаривал, пожалуй, даже резко, но было видно, что все здесь его любят, внимательно выслушивают каждое замечание. Туколкин испытывал шемящее чувство зависти.

Прощавшись с Лавровым, Туколкин в какой-то растерянности отправился к себе на блуминг. Да, кантователь внёс много беспокойства в его жизнь.

24

Чем больше думала Марина о размолвке, тем всё яснее понимала: во всём была виновата она сама. Разве не за настойчивость, за умение идти к цели полюбила она Дмитрия? Разве не этими чертами понравился он ей? Она чувствовала, что любила его ещё сильнее. Хорошо идти по жизни с человеком, на руку которого всегда можно опереться, которому всегда можно верить, как своей совести. Она найдёт его, поедет к нему, скажет ему всё это.

Она подсчитала в уме, в какую смену должен сегодня дежурить Дмитрий. Получалось, что сейчас он должен быть дома. Она тряхнула головой, отгоняя последние сомнения, пошла к автобусу.

Марину покачивало на мягких рессорах. Автобус въехал на плотину, было слышно, как бьётся на просторе ветер.

Наконец автобус остановился, пассажиры стали выходить. Марина удивилась, увидев выросшую длинную улицу, новые многоэтажные дома с лоджиями и колоннами, так непохожие на стандартные коробки старого города. Она огляделась, пошла вперёд, припоминая, куда надо идти. Через некоторое время ряд новых домов оборвался, над фундаментами начатых построек возвышались подъёмные краны, украшенные то здесь, то там алыми полотнищами с призывами досрочно закончить строительство. В этой пустынной степи с баснословной быстротой возникал новый город, в котором будут жить металлурги комбината. Марина с интересом рассматривала двухэтажные коттеджи с весёлыми балкончиками, отороченными пушистым снегом, и подумала, что хорошо бы жить с Дмитрием вот в таком домике. Она поймала себя на мысли, что вовсе не чувствует себя случайным гостем в этом далёком городе.

Вот и поле, по которому они однажды бегали на лыжах с Дмитрием. Оно лежало в сиреневых сумерках, сливаясь с дымчатым горизонтом.

Подойдя к посёлку, Марина задумалась, она ведь не знала, где живёт Дмитрий. Издали посёлок казался ей совсем маленьким, теперь она увидела, что он раскинулся на много кварталов. Марина вошла в первую улицу, поискала глазами, нет ли киоска справочного бюро, но тут же рассмеялась: какое тут справочное бюро, когда даже названия улицы нигде не видно! Но самое удивительное было то, что на всей улице не было ни одного пешехода. Постучать в один из домов и спросить адрес Дмитрия Марина постеснялась, она пошла наугад, в надежде всё же кого-нибудь встретить.

Из ворот выбежал мальчик лет восьми, с любопытством стал рассматривать Марину. Она направилась к нему, боясь, как бы он не юркнул в калитку, старалась как можно ласковой улыбнуться.

Мальчик пошёл ей навстречу.

— Вы насчёт радио? Из горсовета? — спросил он деловито.

— Ты мне не скажешь, где живёт Артёмов, Дмитрий Артёмов, старший оператор блуминга?

— А вам зачем к нему?

Марина не ожидала такого вопроса.

— Я с завода.

Мальчик задумался.

— Я-то знаю, да как рассказать, чтобы вы поняли? Третий квартал, дом двести девятнадцать. Вон туда надо идти.

Дмитрия она дома не застала. Вышедшая ей навстречу женщина, вероятно тётка Дмитрия, сказала, что он может быть в библиотеке.

— Вот ведь как нехорошо получилось, всю неделю он дома сидел, а сегодня как нарочно ушёл. Может, передать ему что-нибудь?

— Нет, спасибо, ничего не нужно! — заторопилась Марина. Кивнув на прощанье, она быстро пошла назад.

Дмитрия не было и в библиотеке.

Придя домой, Марина машинально сняла пальто, повесила его на вешалку, прошла к себе в комнату, опустилась на диванчик. В комнату вошла Степанида Ивановна.

— Что с тобой, Марина, ты больна? — спросила она встревоженно.

Марина подняла на неё глаза, отрицательно качнула головой.

— Да на тебе лица нет. Что-нибудь на дежурстве произошло? А тут тебя твой Митя дождался, дождался, только минут десять как ушёл.

Марина вскочила с диванчика, с размаху обняла Степаниду Ивановну.

— Приходил? — воскликнула она так радостно, что Степанида Ивановна сразу всё поняла, рассмеялась, прижала к себе девушку.

— То-то я смотрю, ты ходишь как в воду опущенная. Да вы посорились, что ли? А я уж думала, ты заболела, что в ботиках в комнате сидишь.

Марина увидела, что забыла снять ботики, и с них на пол натекли лужи. Она бросилась на кухню, вернулась с тряпкой, стала старательно вытирать пол. Вытирала она его долго, чтобы не отвечать сразу на расспросы Степаниды Ивановны. Так значит он сам пришёл, он любит её! Они встретились бы, если бы она не зашла в библиотеку! Они увидятся завтра!

Но Артёмов не пришёл к Марине на следующий день. Его вызвали в конструкторское бюро, чтобы показать уже подготовленные к утверждению чертежи. Пستم пришлось идти с Лавровым и Туколкиным к Степану Ивановичу. В кабинете директора собралась целая комиссия, здесь были и главный инженер завода, и главный механик, и главный прокатчик.

Степан Иванович тоже любил помечтать. После того как все чертежи были одобрены и Артёмов поставил на них свою подпись, Степан Иванович стал говорить о том, какую реконструкцию на блумингах надо ещё провести.

Он повернулся к Туколкину.

— Вот вам ближайшая задача, Валентин Михайлович: надо реконструировать хвостовую часть блумингов. Разработать темник для изобретателей и рационализаторов, чёткий, конкретный темник.

Слова директора заставили Артёмова задуматься. Ему сразу вспомнилось, как на прокатке осевых заготовок приходится после проката нескольких слитков останавливать валки и ждать, пока машинисты ножниц справятся с разрезкой прокатанных полос на короткие заготовки. Если бы не эти остановки, насколько бы повысилась производительность блуминга!

Туколкин вынул из кармана блокнот, записывал пожелания директора, покачивая головой в знак согласия.

Совещание у директора затянулось. Когда Артёмов вышел на улицу, часы над проходной показывали двенадцатый час, ехать к Марине было поздно.

На другой день Дмитрию против его ожидания пришлось идти в механический цех, Лавров хотел с ним посоветоваться, нельзя ли ускорить

движение линеек манипулятора. Только на третий день удалось, наконец, пойти к Марине. Он шёл к ней по знакомой тропинке, пролежавшей через заснеженный палисадник, и всё думал, зачем Марина приходила к нему. Сказать о том, что она попрежнему его любит или попрощаться с ним перед отъездом? Он старался не загадывать, но снова и снова думал об этом.

Дверь открыла сама Марина, все эти дни она спешила на каждый звонок, ожидая его.

— Здравствуй, Марина! — проговорил Дмитрий.

— Здравствуй, — тихо, будто неуверенно ответила Марина. Она ждала, что Дмитрий сейчас её обнимет, и всё станет ясно без слов, но он снял свою куртку, повесил её на вешалку, пригладил ладонью вьющиеся волосы, остановился выжидающе. Марина заметила, что он тоже чувствует себя неуверенно.

Марина не выдержала, рассмеялась. Взяла Дмитрия за руку, ввела в комнату, подвела к диванчику. Он сел, не выпуская её руки. Выражение лица у него было задумчивое и даже печальное.

Да, только таким может быть Дмитрий. Он любит её, ему тяжело, но он не сдаётся. Не прощения просить он пришёл, он хочет ещё раз проверить, не ошибся ли в ней. Как хорошо, что она это поняла, иначе они расстались бы сейчас навсегда.

25

Настал день пуска. У кантователя уже стояли Лавров, Свиридов, Машин, представители цеха механизации, заводоуправления.

Приехал Степан Иванович, Туколкин пошёл ему навстречу, стараясь выпрямиться и всё же сутулясь, словно какая-то огромная тяжесть ложилась ему на плечи. На щеках его горел пятнами лихорадочный румянец.

— Посмотрим сейчас, чем порадует нас цех механизации, — проговорил Степан Иванович весело, будто хотел этими словами снять тяжесть с плеч Туколкина.

Все были в отличном настроении и совсем не разделяли опасений Туколкина.

— За десять процентов сверх плана ручаюсь! — уверенно сказал Свиридов, пожимая Степану Ивановичу руку. — Больше не скажу, а за десять ручаюсь.

Степан Иванович стал рядом с Артёмовым, словно подчёркивая, что считает его главным виновником торжества, спросил:

— Довольны работой цеха механизации, правильно воплотили вашу идею?

Степан Иванович взял его под руку, так и стояли они рядом.

В операторской будке сидел Попов. Туколкин хотел было назначить на эту смену Артёмова, как автора предложения, но Свиридов отсоветовал.

— Нам важно убедиться, что любой оператор справится с работой, — сказал он. — А лучшие операторы, конечно, справятся, этим мы никого не убедим.

Главный инженер взглянул на ручные часы, показал время Туколкину. Туколкин кивнул головой, повернулся к начальнику смены, махнул рукой. Вспыхнули лампочки сигнализации, цех сразу ожил. Тяжёлая футерованная крышка одного из нагревательных колодцев поползла по рельсам, загремела цепь подъёмного крана. Попов напряжённо ожидал момента, когда нужно будет включить валки. Новое приспособление

мгновенно и легко подняло валки на нужную высоту, слиток тотчас же вошёл в них, валки плотно охватили его.

Удлинившийся слиток лёг на круг. И пока линейки кантователя перевернули слиток на бок, кантователь описал полукруг и положил слиток к валкам.

Артёмов не отрывал глаз от своего кантователя. Да, именно этого он добивался. Теперь это было так просто — кантователь карусельного типа, а сколько пришлось биться, прежде чем созрела эта идея. Он посмотрел на Машину. Секретарь улыбнулся ему в ответ широкой улыбкой.

Рядом стоял Туколкин, лицо его было мучительно напряжено, казалось он не радуется успеху, а мучительно ждёт катастрофы.

В цех пришли и операторы, свободные в этот час от работы. Среди них стоял Василий Садовников. Весь подавшись вперёд, он не отрываясь смотрел на кантователь, на приспособление, сразу поднявшее валки на нужную высоту. Как облегчится теперь работа операторов, сколько лишнего металла можно будет прокатывать! Василий перевёл взгляд на Дмитрия, улыбнулся ему.

Степан Иванович следил за секундной стрелкой.

— Минута семнадцать секунд! — сказал он, когда слиток, пройдя в семнадцатый раз через валки, лёг на отводящий рольганг. — Вот вам, Валентин Михайлович; сколько мы с вами бились над повышением производительности блуминга, а оказывается, как просто дело решилось! Теперь вам надо подумать над реконструкцией отводящих рольгангов.

— Хорошо, Степан Иванович, подумаем, — ответил Туколкин, и радуясь этому заданию, потому что конструкторская работа уже увлекла его, и думая в то же время, что директор комбината никогда не даёт передохнуть — только добьёшься одного, как он уже даёт новое задание.

Слиток за слитком проходили через валки, они уже шли по отводящему рольгангу длинной чередой.

— Ваше мнение? — спросил Степан Иванович главного инженера.

— Механизмы работают отлично, — проговорил тот бесстрастным тоном, как и подобает председателю технической комиссии, которому никак не положено увлекаться. — Практически безусловно можно повысить задание для блуминга на пятнадцать процентов. — И, покончив с официальной оценкой, сказал: — Молодец Артёмов, не зря он в металлургический институт решил поступить. Как будто просто, а такой кантователь установлен впервые. Придётся дать его описание на заводы, выпускающие блуминги.

Главный инженер в сопровождении Туколкина и представителей цеха механизации ушёл составлять акт о приёме новых механизмов.

Степан Иванович пригласил Артёмова к себе.

Дмитрий удивился. О чём же ещё хочет беседовать с ним директор?

— Толковали мы тут о вас, — начал Степан Иванович, — пожалуй, Туколкин прав, надо выдвигать вас, не давать застаиваться на месте. Вот только не знаю, что лучше для вас будет: дать вам смену или отпустить на учёбу?

Артёмов быстро взглянул на директора.

— На учёбу? — переспросил он. — Мне уже давно Туколкин говорит, что в цехе без меня спокойней было. Только разве дело в одном спокойствии? — И вдруг, не сдержавшись, Артёмов стал рассказывать обо всём, что волновало его. Он говорил, что в цехе нет хозяина, что Туколкин боится нового, сковывает инициативу инженеров и стахановцев, что даже Свиридов чувствует себя лишним в цехе.

— Думаете, Туголкин мешает движению вперёд?—спросил директор.

— Мешает! — убеждённо ответил Артёмов. — Сам отстал и другим мешает вперёд идти. Не будь его, давно бы цех план перевыполнял. Не хозяин он в цехе.

Артёмов ясно представлял себе ближайшие задачи. Строятся новые мартены, надо будет ещё новые сотни тысяч тонн стали в год прокатывать, а Туголкин всё цепляется за старый план, боится сказать: да, мы можем катать в каждую смену на каждом блуминге по триста слитков. Да разве и триста слитков предел?

Степан Иванович слушал его очень внимательно. Он знал Артёмова, как отличного оператора, талантливого изобретателя. Теперь он увидел перед собой организатора производства, обладавшего теми качествами, которых так нехватало Туголкину: настойчивостью, верой в силы коллектива и, что, пожалуй, было всего важнее, настоящей влюблённостью в своё дело.

— Учиться вам всё-таки надо! — сказал вдруг Степан Иванович. — Толковали мы раньше с Машинным и Туголкиным, хотели отпустить вас на учёбу. Только теперь я вас не отпущу. Ставите задачи, так извольте их и выполнять. Но учиться не бросайте. Сам буду проверять, как учёба у вас идёт.

Он помолчал, потом спросил:

— Каковы у вас квартирные условия?

Дмитрий замялся.

— Живу у дяди, у него индивидуальный домик.

— Вы женаты?

— Нет... Ещё не женат. Я хотел попросить комнату...

— Дадим вам комнату. — Степан Иванович нажал кнопку звонка, попросил позвать к нему Хромова. — У нас есть ещё не распределённые индивидуальные дома? — спросил Степан Иванович для порядка, чтобы не обижать Хромова, хотя мог не хуже его ответить на этот вопрос. — Один дом предоставьте Артёмову. Оформите с ним договор. Десять тысяч он сможет сразу внести, получит премию за кантователь, на остальные дадим рассрочку.

В сопровождении Хромова Дмитрий отправился оформлять заявление о доме, заявление о ссуде, договор, обязательство.

— Ну, вот вы и домовладелец! — сказал Хромов, протягивая Дмитрию копии подписанных им бумаг. — Займёмся теперь мебелью. — Он взял перо, стал заполнять ведомость на отпуск мебели со склада заводоуправления.

Домовладелец... Как изменился смысл этого старого слова! Домовладельцами в Рудногорске были теперь лучшие стахановцы и инженеры, люди труда.

Дмитрию очень хотелось тут же вместе с Мариной пойти посмотреть новый дом, но был уже поздний час. Мечты несли его вместе с нею в этот их общий дом, новый дом, где они начнут свою жизнь. Почему-то представлялось, что стены ещё пахнут сыровой глиной, от блестящих полов тянет масляной краской. Окна выходят в сад. Весной можно будет посадить деревья. Марина посеет цветы, такие, какие росли когда-то у его родной хаты в Матвеевом Кургане — мальвы, левкоя, ночную красавицу, петунии, душистый табак. Дмитрий вздохнул полной грудью, словно вдыхая полузабытый аромат отцовского сада. Скромного, маленького сада, выхоженного руками матери.

Одна за другой вступили в строй новые мартеновские печи, начались скоростные плавки, стало ясно, что новые мартены дадут значительно больше чугуна, чем это предполагалось. А «ворота проката» оставались всё те же. Степан Иванович всё чаще задумывался о своём разговоре с Дмитрием. Мало было перестроить все узкие места блумингов. Надо было обеспечить отличную работу всего коллектива, и Степан Иванович всё больше убеждался, что вряд ли это Туколкину под силу. Министерство предлагало в ближайшие месяцы обеспечить прокат всей стали, выплавляемой мартенами, непосредственно на самом комбинате. Степан Иванович вызвал Туколкина, показал ему телеграмму.

— Ваше мнение? — спросил Степан Иванович. — Нелёгкую задачу перед нами поставили.

Туколкин помялся, потом спросил:

— Разрешите продумать этот вопрос? Завтра я представлю вам свои соображения.

Степан Иванович обрадовался, он не ожидал, что Туколкин сразу возьмёт такой серьёзный, деловой тон.

— Отлично! — сказал он. — Жду завтра ваших соображений. — Посмотрел на часы, добавил: — В это время, в четырнадцать пятнадцать.

Туколкин пришёл на следующий день в точно назначенное время, вынул из портфеля отпечатанную на машинке докладную записку.

— «К вопросу о повышении производительности блуминга», — начал вслух Степан Иванович, дочитал докладную записку до конца, спросил: — Вы в цехе эту записку обсуждали? С коллективом советовались?

— Слишком короткий был срок, — уклончиво ответил Туколкин. — Но за точность всех подсчётов я ручаюсь.

Степан Иванович посмотрел на Туколкина с таким интересом, словно видел его впервые, улыбнулся:

— Значит, вы считаете, что министерство поставило перед нами не-реальную задачу?

Туколкина ободрила эта улыбка.

— Вы сами сказали, Степан Иванович, что задача трудная. Я постарался обосновать...

— Обосновать? — перебил его директор. — Ничего вы не поняли, Валентин Михайлович. Не поняли, с каким коллективом работали, какие возможности у вас были. Да вы сами должны были эту программу предложить!

На следующий день Туколкину был вручён приказ директора об освобождении от работы в обжимно-заготовочном цехе с переводом в конструкторское бюро. На место Туколкина начальником цеха был назначен Свиридов, его заместителем Артёмов.

Партийный коллектив цеха обсуждал новую программу. Говорили о самых обыденных вещах: о постройке новых нагревательных колодцев, об автоматике, о мощности моторов рольгангов, об учёте соревнования. Но всё это казалось Артёмову деталями нового большого наступления. Настроение у всех было приподнятое, торжественное.

Ни в одном выступлении не было и нотки сомнения в том, что план будет выполнен. Да и как может быть иначе? Здесь собрались товарищи по борьбе. Если один ошибётся, другие его поправят, ему помогут. Надо только верить в силу коллектива. И надо учиться, много учиться, не останавливаясь, чтобы не отстать.

Прошёл год, как Артёмов вернулся в Рудногорск. Он стремился восстановить своё былое мастерство, не отстать от других. Потом этого оказалось мало. Теперь он будет добиваться, чтобы весь цех, все блуминги шли к новым успехам, каждый день к новым успехам, чтобы не было в цехе равнодушных людей.

Солнце золотило окна цехов, окрашивало в розовый цвет стены, озаряло своими лучами зелень деревьев. Дым десятков высоких труб не застилал от Дмитрия синего неба, нет, этот дым напоминал о том, что в цехах рождаются сталь и чугун, рождается металл, помогающий стране становиться с каждым днём всё сильнее и сильнее. Дмитрий слышал лишь постукивание механизмов блуминга, но он угадывал и кипение чугуна и стали, и грохот металла в прокатных станах — всю могучую трудовую симфонию, без которой немислимо теперь было представить себе Рудногорск



Из поэтов советской Прибалтики

ДЕБОРА ВАРАНДИ

★

В ПРИБРЕЖНОМ КОЛХОЗЕ

С эстонского

Эта лодка хоть не птица, а легка.
Сам я выгнул ей упруги из дубка.

Не трестинки я поставил вместо рей
и не фартук вместо паруса на ней.

Словно сердце, бьётся двигатель-мотор,
под кормой ведёт с волною разговор...

Лодка носит по бурунам трёх парней,
возмужавших средь бушующих морей.

Самый младший — самый сильный, грудь горой.
Всех ловчее запускает сеть второй.

Третий — песельник. Как только запоёт,
без оглядки рыба в сети поплывёт:

Эту лодку под зарёй из кумача
три девчонки ходят к берегу встречать,

Три подруги. И одна из них знатна:
на молочной ферме старшей она.

Хороша собой — и всё ж горька до слёз.
Говорит, плохую рыбу я привёз.

Говорит, что кривороты камбала,
что за всю — одной телушки б не дала.

Отвечаю: будут ветры посильней —
привезу тебе невиданных угрей.

В тёмных фраках, с непокрытой головой
распластаются они перед тобой.

Подожди вот — и дососей я как раз
привезу тебе со звёздами меж глаз,

С плавниками, будто радуги игра,
С чешуёю, как рубли из серебра.

Авторизованный перевод В. Журавлёва.

ПЕСНЯ О БОЛОТЕ

Мимо зарослей морошки,
Мимо журавлей, — вперёд
По болотистой дорожке
Нынче двинулся народ.

Парни, девушки, мужчины
Песней встретили рассвет.
И пыхтя пошли машины
За бригадою вослед.

Вот сюда! Врывайтесь с хода!
Здесь немалые года
Богатырских дел народа
Мёртвая ждала вода.

Здесь гнездились злые хвори
Средь ржавеющих ветвей.
Что ж, сразимся! И поспорим!
И посмотрим, кто сильнее!

Комары над нами роем.
Липнет грязь на сапоги.
Всё равно канал пророем
В синих зарослях куги.

Всё равно луга из плена
Вырвет дружный наш отряд.
Всё равно здесь копны сена
Летом выстроятся в ряд.

Разнесётся пчёл гуденье
Над коврами клеверов
И серебряное пенье
На ошейниках коров.

Здесь берёзки молодые
Тени выбросят на луг.
Это будет! Это ныне
Стало делом наших рук!

Авторизованный перевод В. Журавлёва.

ВАЛДИС ЛУКС

★

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ

С латышского

В сказке
на дивной яблоне
Блещет золотом плод.
Кто до него дотронется,
Тот богато живёт.

ПЕТЕР СИЛС

★

ПЕВЕЦ

С латышского

Голос его — Ниагары громче,
 Голос его — глубже Гудзона,
 Песней он борется с царством волчьим,
 Песней тьму разит непреклонно.
 Песнь его, как жгучее пламя,
 Ночь Америки рассекает,
 Голос Робсона призывает
 Братьев-рабов на борьбу с врагами!
 Песней клеймит он рабский строй, —
 Пой, Робсон, пой!

Песней борется он неустанно
 С теми, кто негров обрѣк на муки,
 Он говорит палачам Ку-Клукс-Клана:
 — Прочь от них кровавые руки! —
 Голос его громовым раскатом
 Гибель вещает убийцам проклятым.
 Песней он бьѣтся с фашизма тьмой, —
 Пой, Робсон, пой!

Поднял он свой голос открыто
 Против банкиров проклятой власти,
 Против планов акул Уолл-стрита.
 Славит он, правдив и бесстрашен,
 Мира оплот — государство наше.
 Песней сражается он с войной, —
 Пой, Робсон, пой!

Дорог для друга голос твой,
 Страшен для недруга голос твой, —
 Пой, Робсон, пой!

Перевод В. Шефнера.

АНТАНАС ВЕНЦЛОВА

★

НА БЕРЕГУ ДУНАЯ

С литовского

Расцветают фиалки на синем Дунае в апреле.
 Пахнет спиртом лесным, мокрой глиной дорог.
 Где-то песня звучит, и высоко взлетают качели.
 На головке у девушки венской цветущий веноч.

А сквозь дымку синеют зазубрины дальнего леса,
 Вена в стрелчатых иглах намечена тушью слегка.
 Шпиль святого Стефана вдали проступает. Завеса
 Розовеет над ним, — за клубились, плывут облака.

Я бродил по холмам и, в листве пробираясь древесной,
 На простом постаменте солдатское имя прочёл:
 — Пятрас Дауба— Кто он? Литовский ли пахарь безвестный
 Со свободой и красной звездой на чужбину пришёл?

Или жил в Шауляе, служил подмастерьем-рабочим,
 Иль на Балтике вырос парнишка в рыбацкой семье,
 Коренаст, как зелёный дубок, и смекалист и прочен...
 Ранним утром он пал или под вечер, в сумрачной тьме?

В бликах пламени пенились синие волны Дуная,
 А за Пратером плавилась «тридцатьчетвёрка» броне.
 Умирал пехотинец, родные края вспоминая,
 Шёл, как утлая лодка, ко дну в урагане огня.

Вот подходит работница и на могилу чужую
 Молча сыплет фиалки и молча поникла в тоске.
 И на грустную женщину с грустным участием гляжу я:
 Что ей надо понять, что прочесть на могильной доске?

Долго, долго стоит и молчит эта женщина сгорбясь,
 Всё в морщинах лицо под косынкою бедной цветной,
 Неизвестная скромная мать — изваяние скорби —
 Над солдатской могилой, над нежной дунайской весной.

— Я не знаю, кем был он. Но здесь, у родного Дуная,
 В тихом венском лесу, в аромате зелёных ветвей,
 На могиле чужой я своих сыновей вспоминаю,
 Двух погибших в концлагере смелых моих сыновей.

— Он пришёл из далёкой страны, где рождаются зори,
 Был отважен, и весел, и юн, как мои сыновья.
 Я несу на могилу к нему материнское горе,
 Потому что на свете одна-одинёшенька я.

Не одна — слышишь, мать? — не бедна одинокая старость.
 Не одна на земле. Нет забвения павшим в борьбе.
 Видишь, мать, как весна на Дунае твоём разблесталась?
 Это родина наша привет посылает тебе!

Перевод Павла Антокольского.

ТЕОФИЛИС ТИЛЬВИТИС

★

УПЫРИ

С литовского

Растаял дым. Кровь смыта. Рассветает.
 Ушли на запад сумерки и муть.
 Литва! Передо мною вырастает
 Единственный твой осветлённый путь.

Ужасные чудовищные годы
Не исказили скорбные черты.
И снова в ясной радости свободы,
Воскресшая, ждешь новых песен ты.

Твой сын наладил плуг. Он хлеб засеет,
И снимет хлеб, и в тёплый дом войдёт.
... Но что за тень над мирным полем реет
И прячется, едва лишь рассветёт?

А в час, когда росой овраги дышат,
Когда стогами убраны холмы,
Чьи крылья воздух медленно колышат?
— То гробовой упырь, исчадьё тьмы.

Вот он крадётся тихо по деревне,
Метёт дорогу шерстяным крылом,
И входит в дом и по привычке древней
Затягивает благостный псалом.

Или таясь у ветхого уступа
В церковной нише, в мертвенной тиши,
Красуясь белым облачением, скупю
Отвешивает милость для души.

Вечерний час. Всё плавится в закате.
Огни в домах то вспыхнут, то замрут.
Легли у деревянного распятыя
Серпы жнецов, благословивших труд.

И человек снимает шапку строго.
Он просит бога доброго помочь.
А старший сын его во имя бога
Из-за угла подстрелен в эту ночь.

На лбу отца, как на коре древесной,
Не счесть борозд, потрескалась рука.
А тень сползает по стене отвесной,
Скребётся когтем в окна чердака.

А на заре, когда прохладны росы,
Когда вокруг людской весёлый гам,
И косари налаживают косы,
И звон тех кос несётся по лугам, —

Увидишь ты, как на телеге тряской
Венчать иль исповедывать спешит
Тот самый ксёндз, что под бандитской маской
Любым ножом от жизни отрешит.

В день троицын отбрызгали кропила,
Струится ладан, голубеет даль.
Весна, пробившись в окна, ослепила
Цветной церковной утвари хрусталь.

Упырь-мертвец приблизил к чаше губы.
И бедняки пред ним простёрлись ниц.
Вздыхнул орган, и сомкнутые трубы
Сулят в раю блаженство без границ.

И вот уже слуга христа в постели.
Он не забудет, что в бору седом
Другие божьи слуги просвистели —
И грудой пепла стал колхозный дом.

Откуда ж эта нечисть вековая?
Зачем она является из тьмы,
Крылами смерти солнце задевая,
Уродуя народные умы?

Или ещё от солнечного блеска
Былое не исчезло без следа,
Не сыплется, как выцветшая фреска
Бесовских харь и страшного суда?

Уже моя зелёная планета
Наполовину в зареве зари.
Ночная нечисть ощутила это:
Торопятся в могилу упыри!

Перевод Павла Антокольского.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. АРТЕМЬЕВ

★

ЧЁРНЫЕ РАБЫ АМЕРИКИ

Негры под сенью звёздного флага.

Редкий номер журнала «Америка», выпускаемого государственным департаментом США на русском языке, обходится без фотографии негра. Смотрят ли на вас рабочие большого завода, толпа прохожих на улице американского города или посетители модного кафе, всюду предусмотрительный фотокорреспондент не забывает расположить рядом с американцем-белым — американца-негра, при этом — негра, ослепляющего вас своей белозубой улыбкой.

Фотографии такого рода призваны убедить, что неграм привольно живётся на американской земле, что они равны в правах со всеми гражданами США. Подчас журнал публикует очерк о негре, которому удалось «выбиться в люди». Назначение этого манёвра то же самое: избегая ответа на вопросы, касающиеся прав всего негритянского населения США, журнал стремится с помощью подобных несложных приёмов ввести в заблуждение советского читателя.

Однако демагогическая стряпня пропагандистов из государственного департамента США не обманет советских людей! Тщетны попытки журнала «Америка» закамуфлировать многокрасочными фотофальшивками неизлечимые язвы капиталистической действительности.

Как бы ни старались щедро оплачиваемые «Национальной ассоциацией промышленников» пропагандистские дельцы, им не скрыть от взоров мировой общественности, на какую ужасную участь обречены 15 миллионов негров — десятая часть населения страны.

Воротилы заокеанских империалистических монополий со страхом смотрят на рост сил и организованности негритянского населения, выступающего солидарно со всей прогрессивной Америкой. Самый состав негритянского населения заметно изменился. Ещё недавно это была почти исключительно армия чернорабочих и батраков. Сегодня среди негров — большой отряд квалифицированных рабочих, с опытом и умением которых вынуждены считаться владельцы заводов и хозяева промышленных компаний. За последние тридцать лет американским капиталистам пришлось дважды производить массовый набор негров на промышленные предприятия. Не тысячи и даже не десятки тысяч, а сотни тысяч негров, знавших лишь лопату и топор, прошли школу современного индустриального труда.

Монополистические магнаты, держащие в своих руках руль американской государственной машины, не могут не учитывать и того обстоятельства, что в итоге двух призывов в армию Соединённых Штатов сотни тысяч негров научились владеть оружием.

Но, пожалуй, самым важным и существенным фактом, который особенно тревожит хозяев современной империи доллара, является рост политической сознательности негритянского населения и заметное укрепление взаимопонимания и чувства солидарности труженников-негров и труженников-белых.

Американские негры сегодня являют собой серьёзную силу. Они всё яснее пред-

ставляют себе задачи освободительной борьбы, проникаются неистребимым стремлением к подлинному равенству, настоящему освобождению от социального и расового ига.

На протяжении истории негры уже не раз подвергались жестокому обману.

Более восьмидесяти лет назад за участие в войне между рабовладельческим Югом и капиталистическим Севером неграм было обещано полное освобождение. Эти посулы были облечены в весьма конкретную форму: каждому негру — участнику войны были обещаны 50 акров земли и мул.

Двести тысяч негров встали под знамёна федеральной армии. Они сражались и умирали, убеждённые в том, что завоёвывают свободу своим многострадальным братьям.

Когда замерли громы войны и было официально декларировано «освобождение» негров, оставшиеся в живых чернокожие солдаты верили, что свобода эта будет незыблемой и полной. Но вскоре негры поняли, сколь грубо они обмануты. Манифест, даровавший неграм «свободу», оказался пустой бумажкой. Они не получили ни земли, ни мулов, их превратили в нищих бродяг, вынужденных оставить насиженные места и кочевать в поисках работы по необъятным просторам Юга. Три с половиной миллиона бездомных негров были выброшены на пыльные дороги южных штатов.

Владимир Ильич Ленин, неоднократно возвращавшийся в своих работах к положению негров в Соединённых Штатах, подчёркивал, что американская буржуазия, «освободив» негров, «постаралась на почве «свободного» и республикански-демократического капитализма восстановить все возможное, сделать все возможное и невозможное для самого бесстыдного и подлого угнетения негров»¹.

В результате гражданской войны произошло лишь номинальное «освобождение» негров. По сути, негр, «освобождённый» от земли и инвентаря, остался таким же бесправным, таким же зависимым от белого плантатора рабом, каким он был прежде. Более того: условия, в которых теперь приходилось работать неграм, оказались ещё более ужасными, чем прежние. Новая система уточнённой и безжалостной эксплуатации опутывала негров бесконечными долговыми обязательствами, заставляла их и после «освобождения» прозябать в беспросветной нищете.

«Новую обстановку» с откровенным цинизмом выражало распространённое тогда изречение рабовладельцев: «Рабство отменено. Да здравствует рабство!».

Новый обман.

Во время первой мировой войны обман сотен тысяч негров повторился. Так же, как в 1862—1866 гг., негров стали призывать в армию, обещая им всевозможные блага. С момента первого обмана прошло около пятидесяти лет. Теперь неграм, бесправным и униженным, вновь было обещано «полное уравнивание в правах с белыми».

В первой мировой войне участвовало шестьсот тысяч негров. Специально сформированные негритянские части с большой торжественностью были направлены на европейские поля сражения. Американские газеты в те дни высокопарно писали, что «негров провожали самые красивые леди Америки». Официальные пропагандисты настойчиво уверяли негров: «Когда вы вернётесь с победой на родину, с дискриминацией будет навсегда покончено».

Тяжёлые испытания выпали на долю чернокожих солдат. Негритянские части использовались на самых опасных направлениях. Негры тысячами погибали на полях сражений. Нередко операции по прорыву укреплённых множеством фортификационных сооружений немецких линий обороны осуществлялись массированными ударами негритянских частей.

В то же время в Соединённых Штатах правительство осуществило массовый набор негров в промышленность, и в частности на военные предприятия. Первое время негры использовались на вспомогательных работах — чернорабочими, грузчиками и т. д.

¹ В. И. Ленин, *Сочинения*, изд. 3-е, т. XVII, стр. 581.

Но постепенно многие из них становились квалифицированными рабочими. Число негров-рабочих, занятых в разных отраслях индустрии, быстро возрастало. Особенно значителен был этот рост в горнорудной и металлургической промышленности.

Заметно возросла численность негритянского населения в крупных промышленных центрах Америки. В Чикаго процент жителей-негров поднялся с 3,5 процента в начале первой мировой войны до 21 процента к концу войны. В Детройте численность негритянского населения возросла в двенадцать раз.

В заводские цехи пришли многие тысячи работниц-негритянок. К концу первой мировой войны почти половину американских работниц составляли негритянки. Особенно много негритянок было привлечено в текстильную, швейную, табачную и пищевую отрасли производства. Им обычно поручалась самая тяжёлая и изнурительная работа.

Так американские капиталисты в военные годы использовали кровь негритянских солдат и пот негритянских рабочих. И на фронте и в тылу неграм обещали после победы «полное равенство и полную обеспеченность».

Но ещё до окончания войны, как только на европейском театре военных действий намелись признаки приближения победы, отношение к неграм стало резко меняться. Белые офицеры начали открыто третировать и оскорблять «чернокожих». Участились факты отказа раненым неграм в медицинской помощи. «Белые медицинские сёстры не хотят за вами ухаживать», — заявляли чёрным солдатам, пролившим кровь под флагом американских вооружённых сил. Раненых негров перевозили из Европы за океан в грязных трюмах грузовых пароходов, в условиях, мало отличавшихся от тех, в которых в своё время рабовладельцы транспортировали чернокожих невольников из Африки на американский континент. В зимнюю стужу негров размещали в лёгких палатках, обрекая их на болезни и холодную смерть, в то время как для остальных солдат строились специальные бараки.

Сотни тысяч американских негров на фронте и в тылу начали убеждаться, что их обманули не менее жестоко и подло, чем их предков в годы так называемой «освободительной войны». В разных штатах начались выступления негров в защиту своих прав.

Тогда американские капиталисты, обещавшие неграм «свободу и благоденствие», сняли лицемерную маску.

С неграми, осмелившимися вслух требовать выполнения торжественных посулов, на которые во время войны не скупилось американское правительство, расправа была беспощадной. Так, после восстания негров в Хаустоне (штат Техас) 13 чернокожих было приговорено к смертной казни и 41 — к пожизненному заключению.

Чтобы остановить нарастающую волну гнева негритянского народа, американская реакция инспирировала массовые погромы. Негры, осмелившиеся заявить о своих элементарных правах, были подвергнуты невиданным доселе гонениям. Изуверы громили негритянские кварталы, разоряли сотнями семьи негров-солдат, предавали мучительной казни их жён и матерей.

До сих пор негры помнят зверский погром, учинённый летом 1917 года в городе Сан-Луи (штат Иллинойс). Толпа в несколько тысяч человек, подстрекаемая представителями властей, вторглась в негритянские кварталы и бушевала там до тех пор, пока не обратила все жилища в руины. Убийцы сжигали живьём негритянские семьи. Сотни трупов женщин, стариков и детей остались на улицах и площадях Сан-Луи. Тысячи негров бежали в поисках спасения из родного города.

После окончания первой мировой войны и возвращения американских солдат на родину антинегритянский террор принял ещё более чудовищный характер и ещё более широкие масштабы. Недовольство демобилизованных белых солдат тяжёлыми материальными условиями, усугублёнными экономическим кризисом и безработицей, американская реакция использовала для возбуждения ненависти к чернокожим, которые «заяли на заводах места белых».

Новый ураган кровавых негритянских погромов потряс Америку. Правда, на этот раз негры, среди которых было немало вчерашних солдат, умевших владеть оружи-

ем, ответили решительным сопротивлением. Во многих районах Америки произошли ожесточённые схватки. В Чикаго, в ответ на попытку погромщиков предать огню негритянские жилища, чернокожие объявили в своих кварталах осадное положение и организовали свои вооружённые отряды, отбившие натиск озверелых расистов. В Вашингтоне, где у подножья Белого дома происходили безнаказанные расправы, негры дали вооружённый отпор погромщикам, действовавшим по прямому наущению американских властей.

Жестоко расправившись с попытками негров заявить о своём праве на «равенство и справедливость», потопив в крови негритянское сопротивление, обрушив на головы его руководителей самые жестокие пытки и самые изощрённые казни, американские правители ещё раз продемонстрировали всему миру, чего стоят заокеанские «свобода» и «демократия». Но так или иначе «негритянские бунты 1919 года», как их до сих пор именуёт буржуазная Америка, показали, что урок первой мировой войны не прошёл даром для негритянского населения США.

Негры убедились, что хозяева современной Америки не даруют им свободы и что завоевать её можно только в жестокой, непримиримой и упорной борьбе.

В годы второй мировой войны.

Когда Соединённые Штаты вступили во вторую мировую войну, американская буржуазная пресса снова начала сулить «чёрным» всевозможные блага после победы. Им было обещано уравнивание в правах, отмена дискриминационных законов, ликвидация всякого унижения, не говоря уже о судах Линча. Широкие массы негров отнеслись к этим обещаниям насторожённо. Трудно было забыть жестокие исторические уроки.

И если сотни тысяч негров всё же стали солдатами американских вооружённых сил, то не потому, что они верили лживой капиталистической прессе и её коварным хозяевам. На этот раз негров влекла на фронт неистребимая ненависть к фашизму, к его расовому изуверству, к его человеконенавистническим «теориям» и кровавой практике истребления «неполноценных». Негры видели в германских фашистах кровных братьев американских погромщиков. Не менее важным обстоятельством, обусловившим стремление американских негров внести свой вклад в дело разгрома фашизма, явилось желание оказать помощь героическому советскому народу, который один на один сражался против гитлеровской Германии. Каждый сознательный негр видел в Советском Союзе идеал государства, в котором справедливо решена национальная проблема и осуществлены надежды и чаяния всех населяющих его народов, независимо от их расы и цвета кожи. Лозунги антифашистской борьбы, и в первую очередь лозунг уничтожения расовой исключительности, были близки сердцу каждого негритянского юноши, вступавшего в армию. Прогрессивные негритянские организации призвали всех людей чёрной кожи с оружием в руках бороться против немецко-фашистских насильников.

Американское командование разрешило призыв негров во все рода войск. Негры были допущены в артиллерию, авиацию, морской флот, инженерные войска. Были сформированы две негритянские дивизии, участвовавшие в сражениях в Европе и на островах Тихого океана.

В декабре 1942 года в рядах вооружённых сил США находилось 450 000 негров, в августе 1943 года — около 600 000, а к концу второй мировой войны количество военнослужащих-негров в американской армии достигло 700 000 человек.

Негры сражались храбро. Военное министерство США не раз отмечало заслуги негритянских частей и отдельных солдат-негров в борьбе с врагом. Тогдашний военный министр США Стимсон особо отметил 450-й противовоздушный батальон, который одним из первых подразделений американской армии высадился на итальянском берегу.

Когда кровь негров нужна была американскому командованию, не было недостатка в комплиментах по их адресу.

Но официальные признания военных заслуг солдат-негров не мешали проводить в армии резкую грань между белыми и чёрными: негры обычно размещались отдельно от белых, им отводились особые столы в столовых, особые автобусы с надписью «цветные войска». Не только оскорбления, но даже избиения негров были отнюдь не редким явлением в американской армии.

Немалый вклад внесли негры и в военную промышленность страны.

Согласно официальной американской статистике, в середине 1943 года в военной промышленности Соединённых Штатов было занято более миллиона негров. В чугунолитейной промышленности негры составляли двадцать пять процентов всех рабочих, в горнорудной — около двенадцати, в сталелитейной — почти одиннадцать. Впервые негры появились на авиационных, танкостроительных, судостроительных предприятиях.

Однако дальнейший путь к овладению техническими знаниями был для негров закрыт. Достаточно сказать, что на все пятнадцать миллионов негров приходится лишь двести инженеров.

В Америке во время войны не отрицали вклада негров — на фронте и в тылу — в дело победы. С надеждой ждали миллионы негров окончания войны. Многим из них казалось невозможным, чтобы после разгрома германо-фашистских расистов — в Америке продолжался разгул расового террора, сохранялась унижительная расовая дискриминация, были возможны средневековые суды Линча.

Но всё это в Америке Трумэна оказалось возможным.

Что ждёт негра, который вознамерится голосовать.

В 1947 году сенатор Бильбо опубликовал книгу, посвящённую «разделению и смешению рас». В этой книге можно было прочесть: «Учение о равенстве рас — абсолютно ложно... Нет ничего более святого, чем расовая чистота». Сенатор-мракобес из Миссисипи, обращая свой взор к истории, уверял, что великие цивилизации прошлого — египетская, индийская, греческая, римская погибли лишь из-за того, что не сумели оградить себя от смешения с «нижшими расами». На протяжении более трёхсот страниц он силился доказать, что «неполноценность негритянской расы — исторически и научно доказанный факт». Бильбо из кожи лез вон, чтобы защитить американский приоритет на... фашистско-расовое изуверство. «Расовые барьеры в нашей стране, — хвастал он, — существовали ещё до того, как мир услышал об Адольфе Гитлере». Далее, окончательно распоясавшись, Бильбо требовал поставить негров в ещё более унижительное и бесправное положение, чем сейчас: «Для того, чтобы сохранить чистоту своей расы, мы должны полностью отказать неграм в равенстве». По мнению этого американского фашиста, кардинальное решение неприятного вопроса может быть достигнуто только выселением всех пятнадцать миллионов людей чёрной кожи — десятой части населения страны! — в африканские дебри.

Негры пользуются в Америке слишком большими свободами, рычит Бильбо... Трудно придумать более издевательское и циничное заявление! Достаточно обратиться к тому, как ку-клукс-клановский сброд, возглавляемый сенаторами типа Бильбо, терроризирует негров, пытающихся принять участие в выборах, чтобы представить себе, насколько фальшива политическая «свобода», о которой столь выпендренно декламируют заокеанские политики и дипломаты.

Американская буржуазия всячески превозносит конституцию США, будто бы охраняющую гражданские свободы всех американских граждан, независимо от того, на каком языке они говорят, какой цвет кожи имеют, какую веру исповедуют, каким имуществом обладают.

Однако в действительности американская конституция не даёт точного представления о правах негров, многие её статьи ограничены или попросту сведены на нет избирательными законами, существующими в различных штатах.

Негру, желающему принять участие в выборах, предстоит преодолеть серьёзные барьеры. Первым, наиболее трудным препятствием является так называемый избирательный налог. Негр, желающий участвовать в выборах, должен внести налог в сумме

от одного до двух долларов. Если учесть, что месячный доход большой негритянской семьи редко превышает 15—25 долларов, то станет понятным, как трудно такой семье выплатить по два доллара за участие в выборах каждого взрослого члена семьи. В ещё более затруднительное положение ставятся негры-избиратели тех штатов, где существует так называемый аккумулятивный налог. Положение об этом налоге гласит, что негр, не принимавший участия в выборах после того как ему исполнился 21 год, может быть допущен к голосованию лишь в том случае, если заплатит налог за все годы, начиная с совершеннолетия.

Другой преградой на пути к избирательной урне для негров служит закон о так называемом имущественном цензе, существующий во многих южных штатах. Понятно, что негритянское население Юга, живущее на положении полурабов, не имеющих ни кода, ни двора, не может удовлетворить требованиям этого закона.

В некоторых южных штатах действуют законы, допускающие к участию в выборах только тех граждан, чьи предки голосовали до 1867 года. Нетрудно догадаться, что этот закон направлен прежде всего против негров. Именно в 1867 году состоялось «освобождение» негров-рабов. Следовательно, негры не могут иметь предков, участвовавших в выборах до 1867 года.

Но и этого всего мало. Негр, отваживающийся заявить о своём желании голосовать, подвергается экзамену. Его спрашивают о тонкостях американской конституции. Понятно, этот «конституционный допрос» также используется для того, чтобы не дать чернокожему возможности участвовать в выборах.

На тех негров, которым удалось преодолеть все эти препятствия, обрушивается расистский террор. Тот же Билбо в 1946 году во время выборов в штате Миссисипи по радио призывал своих сподручных закрыть все пути для участия негров в голосовании, не останавливаясь перед насилием. Возбуждая зоологическую ненависть против негритянского населения, сенатор-негрофоб напомнил своим единомышленникам, что для расправы с неграми «наилучшее время — ночь перед выборами».

Что же удивительного, если в этом штате, где большинство населения составляют негры, только отдельные смельчаки рискнули голосовать, причём некоторые из них были затем подвергнуты истязаниям.

В 1945 году в Соединённых Штатах вышла книга Уоллеса Стегнера «Одна нация», характеризующая положение национальных меньшинств в Америке. В книге собраны многочисленные фотографии, показывающие, к каким средствам устрашения негров-избирателей прибегают оголтелые американские расисты.

Одна из фотографий запечатлела ку-клукс-клановца в балахоне и маске. Из окна автомашины, в которой он сидит, свешивается огромная петля. Негр, увидев ку-клукс-клановца с петлёй, должен, по мысли расистских разбойников, лишний раз вспомнить, что ждёт его, если он направится в «свободной» Америке на избирательный участок.

Другой снимок показывает, что ждёт чернокожего, который осмелится голосовать. К чучелу окровавленного негра, висящему на уличном столбе, прикреплена устрашающая надпись: «Этот негр голосовал».

Чтобы использовать право голоса, номинально предоставленное ему конституцией США, негру надо проявить незаурядное мужество.

Законными преградами и противозаконным, но ненаказуемым террором негры устранились из политической жизни. В 1920 году в штате Миссисипи лишь 8 процентов избирателей-негров приняло участие в голосовании, в штате Джоргия — 10 процентов. Это значит, что из десяти негров девять всеми способами — от казуистического экзамена до физической расправы — были устранены от участия в выборах.

Сегодня положение не лучше, чем десятки лет назад.

Однако тщетно было бы искать в официальной американской статистике данные об участии негров в избирательных кампаниях. В статистических сборниках можно почерпнуть сведения лишь о численности избирателей-негров. Сообщается, например, что в 1940 году негры составляли 8,8 процента всех американских граждан избирательного возраста, что более половины негров, имеющих право голоса, сбывает в городах, что, наконец, две трети негров-избирателей являются жителями южных штатов,

около трети — северных и лишь немногим больше одного процента — западных штатов. Сообщив эти цифровые данные, статистика многозначительно умолкает. Используют ли негры номинально предоставленное им избирательное право — из официальных источников узнать невозможно.

Этот пробел американской статистики восполняет прогрессивная печать. Сведения, приводимые ею, неопровержимо доказывают, что негритянское население американского Юга, то есть две трети всех негров-избирателей от участия в выборах по сути отстранено.

Во время президентских выборов 1944 года был избран по всей стране 541 выборщик. Эти выборщики должны были избрать, в свою очередь, президента. Так как количество выборщиков определяется не количеством избирателей, а числом населения штата, то южные штаты получили почти четверть всех мест в коллегии выборщиков США, хотя их выборщики фактически представляли лишь часть населения своих штатов, поскольку негры были грубо отстранены от участия в выборах. Реакционные политики Юга ловко используют наличие в южных штатах негритянского большинства и, отстранив негров от участия в выборах, захватывают в законодательных органах такое число мест, которое вовсе не соответствует численности белого населения Юга.

— Южные штаты, — заявил один из деятелей республиканской партии штата Иллинойс, — могут блокировать любую поправку к конституции США, если эта поправка противоречит интересам плантаторов Юга. В этом случае ничего не могут сделать и депутаты Севера, несмотря на то, что они представляют в два раза больше штатов, чем так называемые «посланцы Юга».

Характеризуя лживость американской «демократии», бывший министр внутренних дел США Гарольд Икес с горечью говорил: «Мы — единственная нация в мире, с непревзойдённой наглостью осмеливающаяся говорить человеку, что он не может претендовать на права гражданства только потому, что у него иной цвет кожи или необычный разрез глаз».

Ужасы расовой дискриминации.

Американские расисты боятся политического роста негритянских масс и не скрывают, что их цель — держать чернокожих подальше от знаний, от науки. «Негр создан для того, — повторяют южные плантаторы, — чтобы работать на полях белого человека, и даже незначительные знания заставляют его зазнаваться и искать лучших условий».

Негров стремятся держать в невежестве и темноте. Вот что пишет в этой связи автор книги «Одна нация» Стегнер:

«На Юге встречаются самые различные школы для негров, кроме хороших, причём их качество ухудшается по мере удаления от границ штатов в глубь сельских районов... Когда возникает необходимость в урезывании бюджета на нужды просвещения, а это хроническое явление во всех южных штатах, кроме самых богатых, то чаще всего это урезывание идёт за счёт сокращения расходов на содержание негритянских школ».

Расовая дискриминация в области образования сказывается во всём. На обучение одного белого школьника затрачивается в год более 90 долларов (Арканзас), а на обучение школьника-негра менее 7 долларов (Миссисипи). Оклад белого педагога составляет 1 200 долларов, а педагога-негра 400 долларов. Учебный год в негритянских школах на целый месяц меньше, чем в школах для белых.

Если негру нелегко получить низшее образование и весьма затруднительно окончить среднюю школу, то доступ в высшие учебные заведения связан с почти непреодолимыми трудностями. Американская демократическая пресса рассказывает о мытарствах негритянских юношей и девушек, стремящихся получить высшее образование. Вот одна из обычных историй.

Негритянская девушка по фамилии Фишек, проживающая в одном из южных штатов США, по окончании средней школы подала заявление с просьбой принять её в выс-

шее учебное заведение. Администрация этого учебного заведения отказала ей. Девушка обратилась с жалобой к властям штата. Несмотря на то, что законы штата декларировали право «чёрных» учиться в высших школах, власти встали на сторону администрации. Девушка подала апелляцию в Вашингтон. Дело переходило из одной инстанции в другую. Везде Фишек встречали издевательскими насмешками. Три года длится мытарства негритянки. Узнав, что жалоба Фишек находится в Верховном суде США, власти штата цинично заявили, что если даже суд решит дело в пользу негритянки, они «скорее построят специальный институт для Фишек, чем допустят её в учебное заведение, где учатся белые».

Отказ в приёме негров в высшие учебные заведения — обычное явление в «свободной» Америке. Администрация институтов даже не всегда считает нужным скрывать подлинные причины такого отказа. Когда негр Суитт (штат Техас) подал заявление о приёме на юридический факультет, ему было заявлено, что «негр не может учиться в одном учебном заведении с белыми».

Если же иной раз негру и удаётся попасть в высшую школу, то вокруг него создаётся невыносимая атмосфера издевательств и травли. В городе Гери, например, 1 200 студентов вышли на манифестацию с требованием изгнать из университета нескольких обучавшихся там негров. Ультиматум воинствующих расистов был удовлетворён: негры, попавшие после долгих мытарств в высшее учебное заведение, были оттуда изгнаны.

Таким образом, американские власти по сути закрывают неграм путь к высшему образованию. Это делается сознательно и настойчиво, для того чтобы всеми мерами и способами препятствовать культурному развитию негритянского народа.

Дискриминация в области образования — лишь одна из форм издеательства, которым подвергаются негры в трумэнговской Америке. В южных штатах негру буквально на каждом шагу дают понять, что он «человек второго сорта» и что ему не место среди белых американцев. «Чёрные» могут селиться лишь в определённых, как правило, окраинных городских кварталах. Им запрещено останавливаться в одной гостинице с белыми. Так же как в прошлом столетии, им нельзя пользоваться ресторанами, лечебными учреждениями, парикмахерскими, предназначенными для белых. В ряде штатов негру даже нельзя молиться в общей церкви. В трамваях и пригородных поездах им отведены специальные места. «Белые пассажиры, пожалуйста, занимайте в автобусе передние места, цветные пассажиры — задние места», — гласит объявление в автобусах.

«Негр, будь то военный или штатский, — свидетельствует Стегнер в уже упоминавшейся нами книге «Одна нация», — не может гулять в парках, купаться или лежать на пляжах вместе с белыми. Он может пойти в кино или театр, но его посадят там на галёрку в «негритянский раёк».

От колыбели до могилы «свободного» американского гражданина чёрной кожи преследуют ужасы унижительной и бесконечно тяжёлой расовой дискриминации.

Миф о „благодетельном Севере“.

Как известно, основная масса негритянского населения Соединённых Штатов сосредоточена в южных штатах. Статистические данные самого последнего времени свидетельствуют о том, что на Юге живёт три четверти всех американских негров. Изучение статистических материалов вместе с тем показывает, что от одной переписи населения к другой численность негров в южных штатах уменьшается на два—три процента.

Систематическое бегство негров из южных штатов является прямым результатом жесточайшего террора расистских изуверов и их бандитских «союзов» и «легионов».

Особенно безысходна жизнь негров-издольщиков — мелких арендаторов земель.

«Трудно поверить, — писал в своей книге «Американская демократия» известный английский лейборист Гарольд Ласки, которого трудно обвинить в предубеждённом отношении к современной Америке, — что условия жизни издольщиков так ужасны,

пока не убедившись в этом воочию. Большинство из них живёт в хижинах, построенных из тонких досок, с фанерными крышками, без окон. Санитарные условия отвратительные. На пятьдесят таких хижин построена обычно одна уборная. Только немногие обитатели этих хижин видели в своей жизни врача. Когда рождается ребёнок, в качестве акушерки выступает «бабка» или участливая, но неопытная соседка. Эти люди болеют в большинстве случаев в результате недоедания. Они получают так мало наличных денег, что часто вынуждены жить в долг. За этот кредит владелец плантации берёт с них впоследствии чудовищные проценты. Женщины носят старые ситцевые платья, у детей редко бывает обувь, их одежду матери мастерят из старых мешков. Простыни, матрацы, какое-либо носильное бельё являются редкостью даже в самых богатых хлопководческих районах США. Вместо мебели обычно употребляется старая рухлядь или деревянные ящики...

В поисках лучшей жизни негры бросают насиженные места и переселяются в города. Перепись 1940 года показала, что две пятых всего негритянского населения приходится на города.

Но в городах негров ждут те же систематические издевательства, дискриминационные законы, беспощадные расправы, что и в сельских районах. Только на смену свирепому плантатору приходит заводчик.

Значительное количество негров, убедившись, что в южных городах их ждут издевательства и произвол, устремляется на Север. Среди некоторой части негритянского населения живёт ещё миф о том, что на Севере негр может жить если не свободно, то по крайней мере более сносно.

В поисках сносных условий жизни негры скоплялись в больших городах промышленного севера. В Чикаго сейчас насчитывается 277 тысяч негров, в Филадельфии — 250 тысяч, в Нью-Йорке — 458 тысяч.

Жестокая американская действительность развеяла иллюзии негров, осевших в городах. Негры, поселившиеся в городах индустриального Севера, остались такими же бесправными, какими они были в деревнях земледельческого Юга. Они изолированы от белого населения. Грязный нью-йоркский Гарлем, «чёрные гетто» Чикаго, Филадельфии, Вашингтона, Балтимора — вот что ждёт негров, перекочевавших из южных штатов в города Севера.

Широковещательные заявления американской пропаганды о полном равенстве белых и цветных на севере страны — одна из лицемерных легенд, изобретённых теми, кто бесстыдно рекламирует «прелести» так называемого «американского образа жизни».

На севере негры по существу подчинены тому же позорному для цивилизованной страны режиму, который царит в южных штатах. В негритянских кварталах в скученности и нищете прозябают миллионы негров. Здесь есть свои рестораны, гостиницы, кино, всё что нужно для совершенно изолированной жизни тысячи людей. Малейшая попытка посетить подобные учреждения в белых кварталах для негров отнюдь не безопасна. Правда, по законам, существующим хотя бы в штате Нью-Йорк, негр, как свободный американский гражданин, может сесть рядом с белым и в ресторане и в театре. Но «чёрный» человек в Соединённых Штатах хорошо знает цену этим фальшивым законам. Он знает, что достаточно ему действовать согласно официальным законам, чтобы быть изувеченным, если не убитым, в «белом» ресторане или вблизи «белого» кинематографа.

Как бы ни пытались некоторые американские публицисты уверить, что расовая дискриминация в США ограничивается «бывшим рабовладельческим Югом», невозможно скрыть, что антинегритянский террор — явление общеамериканское.

Легенды о «свободном Севере» разоблачаются американской исторической литературой. Напрасно присяжные американские пропагандисты пытаются возвеличить освободительную миссию Севера, который якобы из «сострадания к неграм» вступил в войну с рабовладельцами южных штатов.

В действительности (хотя это старательно замалчивают американские учебники истории) буржуазия Севера несёт ответственность за позор рабовладения наравне

с плантаторами Юга. Достаточно вспомнить, что вплоть до гражданской войны именно Север был поставщиком чёрных невольников для южных плантаторов. «Если позор рабовладения, — справедливо пишет по этому поводу американский историк Мак-Мастер, — принадлежит Югу, то позор работорговли должен быть поделён между Англией и Северными Штатами».

Отмена рабства действительно устраивала, но отнюдь не по гуманным соображениям, буржуазию Севера, которая была заинтересована в расширении сферы приложения своего капитала и в открытии обширных резервов дешёвой рабочей силы. Победа над рабовладельческим Югом сулила и то и другое.

Что же касается «сострадания северян к неграм», то это лишь один из лживых вымыслов буржуазных историков.

Версия об «освободительной миссии Севера» противоречит правде, так же как пропагандистская трескотня о «полной свободе», которой пользуется якобы сейчас негритянское население в северных штатах.

В своём отношении к неграм Америка не делится на Юг и Север. На всей территории Соединённых Штатов господствуют монополистические магнаты, эти подлинные хозяева Америки, и повсюду они установили жестокий террористический режим для «цветного» и в частности негритянского населения.

Повсюду, на всей территории страны, власть доллара душист свободу, нещадно эксплуатирует людей чёрной кожи и жестоко расправляется с ними.

Травля негров — ветеранов войны.

В сегодняшней Америке ни солдатский мундир, ни ордена, полученные за храбрость, проявленную на полях второй мировой войны, не спасают негра от преследований расистов.

Вернувшись из Европы и Азии после участия в войне против германских и японских расистов, американские негры встретили у себя на родине ту же фашистскую практику расового преследования и изуверства.

Вот один из фактов.

Во время пребывания экспедиционного корпуса США в Англии солдат-негр Смит встретился с англичанкой Маргаритой Гусейн. Молодые люди полюбили друг друга. Смит сделал предложение. Маргарита Гусейн приняла его. Смит искренне верил, что после войны отношение к неграм в Америке изменится к лучшему и его брак с белой девушкой будет прочным и счастливым.

Вернувшись после окончания военных действий на родину, Смит вызвал свою невесту в Америку.

Свадьба состоялась в родных краях жениха — в штате Виргиния. Едва миновало торжество, в дом молодожёнов явилась полиция. Маргарита Гусейн была обвинена в сожительстве с негром. Власти арестовали её и бросили в тюрьму. Шесть месяцев она томилась в заключении. Освободив её из заточения после вмешательства английского консула, власти предложили ей покинуть Америку.

Американский прогрессивный журнал «Нью Рипаблик» подробно рассказал об этом факте. Рассказ этот завершился картиной вынужденного бегства Маргариты Гусейн из «демократической» Америки. «Кто знает, — пишет «Нью Рипаблик», — что думала Маргарита Гусейн, когда пароход проходил мимо статуи Свободы».

Кто знает, о чём думал в эти минуты и ветеран войны Смит, лишённый в «свободной» Америке даже права жить с любящей его и любимой им женщиной? Он, вероятно, с горечью и возмущением вспоминал прежние обещания американских лидеров «обеспечить полное равенство белых и чёрных», навсегда покончить с расовыми предрассудками и национальным неравенством.

Как только окончилась война, маска была сброшена. Развернулась бешеная анти-негритянская пропаганда, травля негров-фронтовиков, требование изоляции их, как и всех негров, от белого населения. Дело дошло до того, что в штате Виргиния расисты открыто выступили против создания общих домов призревания для инвалидов войны,

требуя сделать белых калек от их чёрных боевых товарищей. Это предложение вызвало возмущение в прогрессивных кругах Америки.

Негры принимали деятельное участие в войне, их вклад в победу союзников во второй мировой войне широко известен. Тем не менее негры не допускаются в организации, призванные объединить ветеранов войны. Официально считается, что именно эти цели ставят перед собой Американский легион. Однако эта организация не только отказывает неграм — ветеранам войны в приёме, она по существу возглавляет вместе с Ку-Клукс-Кланом поход американской реакции против негров. Легионеры травят и физически уничтожают прогрессивных американских граждан, такой же участи они подвергают негров. Именно молодчики из Американского легиона в содружестве со своими сподвижниками из Ку-Клукс-Клана организовали известную провокацию во время концерта Поля Робсона в г. Пикскиле (штат Нью-Йорк) в сентябре 1949 года.

После войны с небывалой силой вспыхнул бандитский террор против людей чёрной кожи. С новой силой развернул свою зловещую деятельность Ку-Клукс-Клан — чудовищное порождение американской реакции, гангстерский кулак правящих кругов Америки.

Казни среди бела дня.

Как известно, возникновение Ку-Клукс-Клана связано с отчаянными попытками американских рабовладельцев удержать свои позиции в борьбе с освободительным движением негритянских масс. При помощи тайной террористической организации плантаторы стремились подавить всякую попытку негров защитить свои человеческие права. Нет таких жестокостей, перед которыми останавливались бы бандиты в ку-клукс-клановских балахонах. Ночные набеги на негритянские селения, поджог и разгром негритянских хижин, дикие расправы над людьми чёрной кожи — таковы «подвиги» членов этой легальной разбойничьей банды.

После войны 1862—1866 гг. рабовладельцам удалось при помощи Ку-Клукс-Клана устроить негров и лишить их тех мизерных прав, которые они завоевали столь дорогой ценой. Правительство покровительствовало ку-клукс-клановскому террору, рассматривая его как бич для «усмирения чернокожих». Однако, подавив негров, Ку-Клукс-Клан стал претендовать на большее, стремясь превратиться в своеобразные вооружённые силы американского Юга. Правительство, в котором ключевые позиции находились в руках представителей северных штатов, воспротивились этим попыткам. Активность Ку-Клукс-Клана пошла на убыль.

1915 год явился годом возрождения Ку-Клукс-Клана. При помощи платных вербовщиков американская реакция довела численность членов ку-клукс-клановских шаяк до миллиона. Теперь Ку-Клукс-Клан стал не только шовинистической антинегритянской организацией, но и погромной фашистской бандой, призванной бороться против революционного движения.

Деятельность «нового» Ку-Клукс-Клана, получающего огромные субсидии из моргано-рокфеллеровских касс, с каждым годом принимает всё больший размах. После окончания второй мировой войны кровавые насилия ку-клукс-клановской своры резко усилились, участились варварские суды Линча. Только в течение 1947 года, как подтвердил сенатор Морзе, в Соединённых Штатах имело место 53 случая линчевания. Пятьдесят три ни в чём не повинных американских гражданина были среди бела дня зверски казнены, повешены, сожжены, расстреляны только за то, что они принадлежат к чёрной расе.

Вот как это делается в современной Америке.

7 марта 1949 года двадцатилетний американский фашистский молодчик Миллер убил негра Дэвиса. Убийца объяснил, что он расправился с негром потому, что тот посмел заявить о необходимости уравнивать в правах белых и чёрных. Миллер даже не считал нужным приводить какие бы то ни было доводы в своё оправдание. Он хвастал, что бросил негра на землю и бил его ногами, пока тот не умер.

Как это ни чудовишно, американский суд вынес убийце Миллеру оправдательный приговор. Такова цена занесённым в американской конституции «правам» чернокожих! Достаточно негру лишь заикнуться о них, чтобы он тут же на месте подвергся дикой расправе.

Заокеанская Фемида — покровительница убийц.

Заокеанские судьи не только не защищают права негров, но по существу действуют рука об руку с расистскими преступниками, покрывая и выгораживая их.

Весной прошлого года группа изуверов из штата Южная Каролина линчевала негра Улли Эрла. Негра, без всякого к тому основания, обвинили в убийстве белого, шофёра такси. Едва Эрл очутился в тюремной камере, толпа, предводительствуемая фашистскими молодчиками, начала штурм тюрьмы, требуя выдачи заключённого. Тюремные власти услужливо выдали негра озверевшей толпе.

Эрла бросили в машину. Все желавшие принять участие в расправе нанимали такси и следовали за город. Здесь негра выволокли из машины и начали нещадно избивать. Затем у полуживого человека белые садисты стали вырезать куски живого тела. Так и не удалось выяснить, был ли негр избит до смерти или он умер после того, как главарь банды по фамилии Хэрд пустил в окровавленное тело несколько пуль.

Сообщение об этом кошмарном преступлении проникло в печать. Многочисленные негритянские организации, поддержанные прогрессивными кругами американской общественности, потребовали суда над участниками расправы.

Суд состоялся в городе Гренвиле. Свидетели подтвердили, что участники линчевания заранее сговорились вытащить Эрла из тюрьмы и казнить его. Подтвердилось и то, что предан был мучительнейшей смерти ни в чём не повинный человек. Казалось, что суд обрушит — не может не обрушиться! — на извергов суровую кару.

Но этого не случилось. Американский суд стал на сторону убийц. Он оправдал Хэрда и его сподручных. Истязатели были настолько уверены в своей безнаказанности, что на суде хвастливо рассказывали, как они топтали негра ногами, вырезали куски его тела, стреляли в него в упор. Убийцы и их защитники на процессе доказывали, что расовая ненависть — «высокое чувство» и только украшает истинного американца. Адвокат Кальберсон, речь которого была посвящена пропаганде расового изуверства, прямо заявил:

— Эрл мёртв, и я хотел бы, чтобы мёртвыми были другие, ему подобные.

Суд в Гренвиле показал, что в современной Америке даже самое кошмарное убийство, совершённое расистскими бандитами, остаётся безнаказанным. Но едва на скамью подсудимых попадёт негр, суд сделает всё, чтобы не выпустить жертву. При помощи иезуитской юридической казуистики и многочисленных, как федеральных так и местных законов, даже невиновный негр будет сурово осуждён.

В конце прошлого года близ небольшого города Эллавилла белый фермер Стратфорд напал на негритянку Розе Ингрэм и начал наносить ей удары прикладом ружья, которое было у него в руках. На отчаянные вопли негритянки прибежали два её сына. Они стали умолять пощадить их мать. Но Стратфорд стал наносить ей ещё более сильные удары, грозившие бедной женщине смертью. Тогда один из сыновей выхватил из рук Стратфорда ружьё и убил его.

Негров немедленно бросили в тюрьму. Завертелась машина американского правосудия. Она была грозной и беспощадной. Игнорируя обстоятельства убийства и возраст подсудимых (старшему из братьев было 15 лет, младшему — 13) суд приговорил обоих к смертной казни.

Этот приговор вызвал волну протеста по всей стране. Энергичная кампания, проведённая Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения, коммунистической партией и другими организациями, спасла негров от смерти. Но отменив смертный приговор, суд высшей инстанции присудил и негритянку и обоих сыновей к пожизненному заключению.

Американский суд юридическими способами продолжает террористическую практику расистских погромщиков.

„Теоретики“ расового разбоя.

Современные ку-клукс-клановские злодеи отличаются от своих предшественников — рабовладельцев американского Юга — не только тем, что они усовершенствовали линчевание, заменив средневековое сжигание на костре расстрелом жертвы из автоматического пистолета, но и тем, что они создали целую армию теоретиков расизма. За океаном издаётся множество книг, которые пытаются не только «теоретически» оправдать расовую дискриминацию, но и превознести её как «высшую американскую добродетель».

Исследования, которые вели передовые учёные всего мира, в том числе русские, французские, английские, свидетельствуют, что культура древних негров находилась для своего времени на весьма высоком уровне. Древние негры не только развивали промыслы — гончарный, плотничий и другие, но и знали методы обработки железа. Широкая распространённость металлических изделий у древних негритянских племён дала возможность некоторым европейским учёным высказать предположение, что железная руда была впервые добыта и подвергнута обработке именно неграми. Знаменитое суданское литьё, поразившее исследователей Африки, было заимствовано мастерами Судана у негров.

Всё это начисто опровергает утверждения заокеанских расистских «теоретиков», что негры всегда были «примитивными и отстающими», что они «не способны в силу самой своей природы к интеллектуальному развитию».

В действительности негритянский народ является в высокой степени одарённым, жаждущим культуры и знаний. Автор книги «Мировое освободительное движение негров» Амтер приводит следующий рассказ одного американского наблюдателя:

«Я живо припоминаю не только негритянских детей, но и мужчин, женщин-негров, из которых некоторые достигли возраста в 60 и даже 70 лет, бродящих по сельским дорогам с азбукой в руке... Я не раз видел ночью разложенный в лесу костёр, вокруг которого сидели негры обоего пола с книгой в руках. Бывали случаи, что книга буквально прикреплялась к плугу, чтоб негр имел возможность читать во время пахоты. Я видел негра-углекопа, находящегося на глубине сотен футов под землёй и пытавшегося читать по слогам маленькую книжку при тусклом свете шахтёрской лампы».

Официальным американским инстанциям, и тем приходится подтверждать, что у негров весьма значительна тяга к знаниям и что они достигают хороших результатов в учёбе. Отчёт министерства просвещения США за 1933 год, например, вынужден был засвидетельствовать, что учащиеся негры заканчивают школы «значительно лучше, чем белые подростки».

Негры внесли значительный вклад в американскую культуру. Доктор Дюбуа, написавший введение к посланию Объединённым нациям, отмечал в феврале 1947 года:

«Так называемая группа американских негров, абсолютно ничем не отличающаяся в физическом отношении от своих сограждан американцев, обладает сверх всего сильно развитым наследством — культурным единством, выработанным состоянием рабства, общими страданиями, продолжительной дискриминацией и ущемлением политических и гражданских прав и, в особенности, экономическим и социальным неравноправием. Главным образом этот факт и определил вклад негров в американскую культуру — их ритмику, музыку, народные песни, их религиозные верования и обычаи, их дань американскому искусству и литературе; их участие в защите своей страны в каждой войне на земле, на суше и в воздухе, и в особенности их упорный и продолжительный труд, направленный к процветанию и умножению богатств американского континента».

Как справедливо отмечает Гарри Хейвуд, пробуждение политического сознания негров находит своё выражение в новом возрождении негритянской культуры и искусства. По словам Хейвуда, к чести негритянской поэзии можно сказать, что негритяские поэты заставили звучать очень чётко и выразительно ноты борьбы за освобождение. Хейвуд считает лучшими представителями этой борьбы за освобождение современных негритянских поэтов Ленгстона Хьюза, Каунти Каллен и Стерлинг Браун.

«Замечательный народный артист и общественный деятель Поль Робсон, — пишет

Хейвуд, — является выдающимся примером великолепного вклада негритянского народа в мировую музыку и драму. Уильям Грант Стилл, выдающийся современный негритянский композитор; Мариан Андерсон, контральто которой известно всему миру; Ричард Бартэ, видный иллюстратор и карикатурист, и Хейл Вудрафф, лауреат фресковой живописи, — это только немногие из большого числа негритянских талантов в этих областях культуры. Среди писателей, изображавших и изображающих жизнь негритянского народа, имеются имена негров, оспаривающих честь быть в первых рядах лучших писателей Соединённых Штатов.

Наука, жизненная практика вдребезги разбивают расистские теории о «неполноценности негров». Каждому здравомыслящему человеку ясна их вздорность и полная несостоятельность. Однако, стремясь любой ценой оправдать свою террористическую войну против пятнадцати миллионов американских граждан, американские шовинисты гальванизируют бредовые антропологические «теории» и продолжают пропаганду человеконенавистничества, расового изуверства.

Для расовой пропаганды приспособлены столь популярные в реакционных кругах Соединённых Штатов теории «американского века» и «стопроцентного американизма».

Обе эти теории выражают одну идею — идею утверждения господства США над всем миром.

Теория «американского века» уверяет, что XX век является веком Америки, которая обладает всем необходимым, чтобы навязывать свою диктаторскую волю народам Нового и Старого света.

Теория «стопроцентного американизма» проповедует идею превосходства истинных американцев над всеми остальными жителями США. К стопроцентным американцам авторы этой, с позволения сказать «теории», относят чистокровных англо-саксов или тевтонцев. Все же прочие — славяне, итальянцы, индейцы и, конечно, негры — не являются истинными американцами и даже не способны воспринять особые черты «американского национального характера».

В последнее время, в связи с ростом агрессивных устремлений заокеанских экспансионистов и их подготовкой к развязыванию третьей мировой войны, теория «стопроцентного американизма» претерпела некоторые изменения. Теперь уже её авторы и пропагандисты не удовлетворяются «доказательством» превосходства американцев англо-саксонского происхождения над своими соотечественниками. Ныне они самым беззастенчивым образом прокламируют превосходство «стопроцентных американцев» над всем человечеством.

Даже невооружённым глазом видно, что эти заокеанские теории окрашены в коричневый цвет. Расистские теории германских фашистов перекочевали из поверженного райха за океан и здесь усиленно культивируются и превозносятся там, кто, пренебрегая уроками истории, мечтает повторить бредовую гитлеровскую авантюру завоевания мирового господства.

Политический террор фашистов.

В последние годы суды Линча превратились в средство борьбы против прогрессивных элементов независимо от того, белые они или чёрные.

Американская прогрессивная печать всё чаще сообщает о фактах политического террора ку-клукс-клановцев против передовых людей Америки.

В апреле 1948 года группа фашистов города Колумбуса (штат Огайо) совершила бандитский налёт на квартиру секретаря местной организации коммунистической партии Хэшмэлла. Молодчики из Ку-Клукс-Клана выломали окна и двери, в зверском неистовстве разрушили даже стены дома, где проживал Хэшмэлл. Не удовлетворившись этой дикой оргией, ку-клукс-клановские погромщики подожгли разрушенный ими дом.

Городские власти и местная полиция вели себя столь же безучастно, как при разбойничьих налётах на негритянские жилища.

Погром в Колумбусе вызвал резкий протест американской прогрессивной прессы. Газета «Джорнел», выходящая в штате Висконсин, назвала события в Колумбусе

«позорными для общества и страны». Миссурийская «Стар таймс» выразила возмущение тем, что полиция потворствовала вопиющему преступлению. Корреспондент «Дейли Уоркер» сообщил из Колумбуса, что делегации ряда городов штата Огайо посетили губернатора Герберта и потребовали сурового наказания фашистским насильникам.

Но и на этот раз достойного наказания ку-клукс-клановцы не понесли.

Сегодняшний Ку-Клукс-Клан — это погромная организация американских фашистов, для которой антинегритянский террор является лишь одной из её функций.

Как никогда, очевиден стал классовый характер американского расизма — оружия монополистической реакции. Как никогда, среди миллионов негров растёт и укрепляется сознание необходимости объединения со всем рабочим классом Америки. Порабощённые негритянские массы всё больше убеждаются, что единственной силой, последовательно и до конца выступающей против расовой дискриминации, варварских расправ, вопиющего неравенства, является коммунистическая партия Америки. Ещё в двадцатых годах американские коммунисты заявили, что «одним из первых коммунистических требований является: смерть за линчевание».

Сплачивая рабочих, белых и чёрных, компартия показывает массам, что только объединившись они могут достигнуть освобождения от классового и национального гнёта.

Американская буржуазия смертельно боится этого единства. Она всеми мерами стремится расколоть рабочий класс, разжечь расовую ненависть и национальную рознь. Агентура американской буржуазии повсюду, и особенно в профсоюзах, предпринимает отчаянные усилия, чтобы натравить белых рабочих на «чернокожих конкурентов».

Американская буржуазия использует и профсоюзы для борьбы против единства негров. Так, например, законодательное положение многих профсоюзов, входящих в Американскую федерацию труда, препятствует вхождению в эти профсоюзы негров. Во время войны некоторые профсоюзы пошли на уступки, допустив вхождение негров в так называемые вспомогательные профсоюзы, обладающие ограниченными правами. Однако так продолжалось недолго. Едва война кончилась, негры были лишены этих прав и по существу остались за пределами профсоюзов.

Известно, что устав Конгресса производственных профсоюзов осуждает и запрещает расовую дискриминацию. Однако этому уставу резко противоречит действительная практика КПП. Как отмечает Гарри Хейвуд в книге «Освобождение негров», съезд профсоюза текстильщиков, входящего в КПП, отверг резолюции, осуждающие дискриминацию негров, деятельность Ку-Клукс-Клана и предлагающие запретить суд Линча.

Цена предательства.

В то время как миллионы людей чёрной кожи в современной Америке обречены на нищенское существование, политическое рабство и террористические расправы — негритянской буржуазии предоставлено относительно благоприятное положение. Мизерному количеству богатых негров перепадают золотые крохи со стола заокеанских миллиардеров. По официальным данным, в Соединённых Штатах имеется около 200 компаний, принадлежащих полностью или частично капиталистам-неграм.

Многие дискриминационные законы на богатых неграх не распространяются. В то время как передвижение негров-тружеников по стране строгойше ограничивается и любой чернокожий как «бродяга» может быть заключён в тюрьму, негры-капиталисты пользуются правом беспрепятственного передвижения по всей стране.

Эти поблажки негритянская буржуазия купила ценой подлого предательства интересов своих порабощённых соплеменников. По указке всемогущих хозяев негритянские капиталисты субсидируют солидную пропагандистскую машину, стремящуюся парализовать организованный и активный протест негритянских масс, сломить их волю к сопротивлению.

Негры-капиталисты, стремясь заразить негритянских рабочих мелкобуржуазными настроениями, развернули пропаганду «теории», уверяющей, что истинным призванием человека чёрной кожи является мелочная торговля.

«Торгуйте, — писал в своём обращении к неграм директор Ассоциации по изучению негритянской истории Картер Вудсон, — ключ вашего счастья в мелкой торговле. Учащиеся колледжей должны сбросить с себя костюмы и воротнички и взяться за чёрную работу торговли. Они должны погонять возы со льдом, толкать тачки с бананами, держать лоток для продажи орехов, развозить товар от одной двери к другой. Они не нуждаются в том, чтобы выпрашивать у других возможность этих занятий. Они сами могут вымостить себе дорогу для больших возможностей».

Каковы эти «возможности», наглядно показывает судьба тысяч негров, ставших мелкими торговцами и попавших в кабалу к ростовщикам. По данным американской статистики средний месячный оборот каждого из нью-йоркских торговцев-негров не превышает 150—200 долларов. Характерно и то, что если с 1929 по 1935 год число негров, занимающихся мелочной торговлей в Нью-Йорке, возросло втрое, то общая сумма их жалкого оборота осталась прежней.

Негритянская буржуазия ведёт усиленную идеологическую обработку «чернокожих братьев». В её руках находятся газеты, церковь, библиотеки. Сейчас в Америке имеется 339 негритянских газет, журналов, бюллетеней, подавляющая часть которых финансируется капиталистами-неграми. 326 негритянских церквей, субсидируемых из тех же источников, стремятся духовно разоружить негров, увести их с путей революционной борьбы.

Несмотря на энергичные попытки негров-капиталистов привлечь на свою сторону немногочисленную негритянскую интеллигенцию, это им не удалось. Большая часть негров-интеллигентов связала свою судьбу с судьбой народа и деятельно участвует в освободительной борьбе. Лишь одиночек удалось реакции подкупить. В этом смысле характерна судьба писателя Ричарда Райта.

Райт вошёл в американскую литературу как автор книги рассказов «Дети дяди Тома». В книге робко, но художественно правдиво показано, как зреет сознание негра, как крепнет его классовый инстинкт.

Капиталистической верхушке удалось сбить Райта с правильного пути, подчинить его дальнейшую литературную деятельность интересам врагов негритянского народа. В последующих своих книгах он, выполняя высоко оплачиваемый заказ своих хозяев, изобразил негров полуживотными, лишёнными всяких устремлений и человеческого достоинства. Характерно, что, сдав свои политические позиции, Райт деградировал и как художник.

Американские реакционеры, использующие Райта в своих низменных целях, направили его в Европу, где в парижском зале «Плейель» в присутствии пресловутого Сартра — этого «владельца дум» всех поклонников растленной идеологии империализма, он выступил с антисоветской речью.

Но райты, враги подлинной культуры и собственного народа, — это лишь жалкие отщепенцы, продавшиеся доллару. Лучшие писатели негритянского народа в прозе и стихах воспевают борьбу чёрных за свои права, за подлинную свободу, призывают негров к единству с белыми рабочими, к совместной борьбе с эксплуататорами и тиранами. Устами своего поэта Ленгстона Хьюза негритянский народ зовёт белых трудящихся к единству.

Свергнем рабство,
Разрушим зло,
Захватим землю,
Фабрики,
Небоскрёбы,
Банки,
Шахты,
Всё!
.
Белый рабочий,
Вот моя рука.
Сегодня равные
Ты и я!

Луч великой надежды.

Советский Союз для миллионов американских негров — это светоч справедливости и маяк надежды. Сокровенные думы негритянского народа о советской стране, в которой обеспечены подлинныя свобода и равенство всех рас и наций, ярко выразил в своих воспоминаниях известный негритянский общественный деятель Боргард дю-Бойс. Свои впечатления о Советском Союзе он заключил так:

«За всю мою жизнь ничто меня так не потрясло, как то, что я увидел во время двухмесячного пребывания в России... Со времени этой поездки мои взгляды на вещи, мое видение мира навсегда изменилось».

Несмотря на бешеную антисоветскую пропаганду реакционной заокеанской прессы, правда о стране Советов пробивает себе дорогу к сердцу американского негра. Слишком значительны и красноречивы факты, подтверждающие полное равенство всех народов, населяющих Советский Союз, чтобы их можно было скрыть от негритянского народа, стонущего под пятой классового гнёта и расистского произвола.

В самом деле, как можно было утаить от широких масс американских негров приговор советского суда, согласно которому американский специалист в своё время был выслан из Советского Союза за то, что избил негра, вошедшего в столовую для иностранных специалистов в Сталинграде?

Решение советского суда вызвало горячее одобрение американских негров. Оно звучало для бесправных и обездоленных чернокожих граждан империи доллара символом высшей справедливости. Миллионы негров видели в этом решении суда приговор всего советского народа, которому чужда расовая дискриминация и который рассматривает шовинистические вылазки, как тяжкое преступление против общества. «Идеи Советской России, — писала тогда филадельфийская газета «Трибюн», — привлекают американских негров потому, что идеи эти вселяют луч надежды на возможность равенства, чего современная Америка не даёт им».

Великий пример Советской страны, сумевшей впервые в человеческой истории справедливо решить национальную проблему, оказывает огромное влияние на американских негров. Трудно найти негра, который бы не знал, что пропаганда расовой ненависти согласно Советской Конституции карается по всей строгости закона. Во время войны всю негритянскую прессу облетели исполненные глубочайшего смысла слова Сталинского приказа:

«Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у неё нет и не может быть расовой ненависти к другим народам... что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов... Теория расового равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза»¹.

Для миллионов американских труженников-негров Советский Союз был и остаётся лучом великой надежды, источником вдохновения в борьбе за свои права.

Непреклонная воля к борьбе.

Негритянские массы всё яснее сознают, что подлинная свобода может быть добыта ими только в упорной борьбе за свои права.

Труженники-негры действуют в контакте с прогрессивными элементами Америки. В момент, когда передовые люди США ждали согласия Генри Уоллеса баллотироваться на президентских выборах 1948 года, более пятидесяти выдающихся негритянских деятелей выступили с открытым письмом, обещая прогрессивной партии свою полную поддержку. Письмо подписали видные профессора, артисты, художники, служители культа, деятели профсоюзов, врачи, адвокаты. Их заявление отражало то, что в Америке принято сегодня именовать «новым духом негритянского народа», — решимость негров объединиться со всей прогрессивной Америкой для борьбы за свободу.

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза, Изд. 5-е, стр. 46—47.

Всё смелее и энергичнее выступая в защиту своих прав, негритянский народ начинает выдвигать из своей среды талантливых руководителей, сознающих, что только совместно с белыми тружениками негры смогут осуществить свои вековые чаяния, обрести истинную свободу.

К этой группе негритянских лидеров принадлежит один из наиболее талантливых сынов негритянского народа — певец Поль Робсон.

На одной из пресс-конференций в Нью-Йорке Поль Робсон заявил:

«Я артист. Но когда начинается борьба за права народа, артисты становятся гражданами».

Поль Робсон энергично выступает против унизительных дискриминационных правил, против отделения белых от чёрных.

10 октября прошлого года Поль Робсон должен был выступать перед семитысячной аудиторией города Норфолька (штат Виргиния). Зная, что законы штата запрещают неграм и белым находиться в одном помещении, Робсон поставил условием своего выступления отказ от сегрегации. Под сильным давлением общественности власти штата были вынуждены пойти на условие Поля Робсона, что было большой победой над местными расистскими кругами.

Поль Робсон подымается на сценические подмостки, как на общественную трибуну. Он не только поёт — он разговаривает с аудиторией, учит, призывает её. Несмотря на запрещение канадской полиции, Робсон выступил в Оттаве перед шеститысячной аудиторией. Он начал с заявления, что, несмотря на гонения полиции, будет бороться за демократию, чего бы это ему ни стоило. Затем он исполнил ряд революционных песен, в частности песню испанских республиканцев. С особым ударением повторял он слова одной из них: «Будем вместе бороться за свободный новый мир»...

Аудитория горячо приветствовала большого художника и страстного борца за справедливость и свободу.

После выступления Поля Робсона на Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже и посещения им Советского Союза, реакционные круги Америки усилили травлю выдающегося артиста-трибуна.

Поль Робсон олицетворяет активные прогрессивные силы «чёрной Америки», надежды и чаяния обездоленных негритянских масс, их непреклонную волю к борьбе.

Один народ — одни цели.

История американских негров — это история неимоверных страданий и мук многих поколений. Менялись времена, исторические условия, обстановка, но негры, несмотря на многочисленные декларации и обещания, оставались бесправными и гонимыми.

«...положение негров в Америке, — писал Владимир Ильич Ленин, — недостойно цивилизованной страны: капитализм не может дать полного освобождения ни даже полного равенства».¹

В современной Америке негры продолжают оставаться на положении рабов. Так же, как восемьдесят лет назад, они лишены самых элементарных гражданских свобод, их достоинство на каждом шагу грубо попирается, их экономическое положение остаётся беспросветным, всю жизнь над их головами висит дамоклов меч судов Линча.

Демагогической болтовнёй американские пропагандисты пытаются скрыть от взоров мировой общественности изуродованные тела негров на американских автострадах, жалкие жилища чернокожих, обращённые в руины ку-клукс-клановскими бандами, негритянские гетто, куда, словно скот, согнаны по расовому признаку сотни тысяч людей — скрыть варварскую расправу над пятнадцатимиллионным народом.

Но нет, скрыть этого нельзя! Участь американских негров известна всему цивилизованному миру. А участь эта действительно страшная.

Упомянувшийся нами автор книги «Одна нация» Стегнер рассказывает, что, когда учительница одной из негритянских школ спросила в классе, какого наказания заслуживает Гитлер за все страдания, которые он принёс человечеству, ученица-негри-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XVI, стр. 299.

тянка предложила «обратить Гитлера в негра и поселить его в Америке». В этом важном предложении маленькой негритянки с большой силой выражены боль, обида и гнев, испытываемые негритянским народом от стариков до самых юных его представителей, уже познавших прелести «американского образа жизни».

Сейчас американская буржуазия замыслила новый обман негритянского народа. Реакционная заокеанская пресса возвещает о приближении для негров «эры великого освобождения», связывая эту новую эру с агрессивными военными планами монополистической клики США.

Но теперь правящим кругам не обмануть многострадальный негритянский народ! «Негры всего мира не будут воевать против Советского Союза, — заявил Поль Робсон, — они сделают всё, чтобы защитить страну, которая за одно поколение покончила с вековой отсталостью населяющих её национальных меньшинств».

Симпатии всех прогрессивных людей мира на стороне угнетённых негров. И так же, как расовая теория гитлеровцев и их практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии, так и американская реакция, раздувающая расистский психоз и проповедующая геббельсовские теории расового превосходства, становится ненавистной для всех честных людей земли.

Корни отвратительного расизма — в самой сути американской политической и экономической системы. «Наша экономическая система, — пишет американский публицист Э. Монтегю, — с её конфликтами, духовным тупиком, нуждой и войнами, которые она порождает, является главным источником расизма. Расовая нетерпимость — это социально санкционированное и социально направленное средство развязывания агрессии».

В крепнущем единстве американских трудящихся — чёрных и белых — залог подлинного освобождения негров, их победы над поработителями. Классовый союз негров и белых гораздо крепче искусственно разжигаемого расового антагонизма.

«У нас только цвет кожи разный, а цвет крови один — ею окрашено наше общее знамя, знамя борьбы за лучшую долю простого человека», — эти проникновенные, исполненные глубокого смысла слова старого рабочего-негра, взятые нами из прогрессивной негритянской газеты, говорят о зрелости классового и общественного сознания передовых негритянских рабочих, борющихся за своё освобождение.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ

★

О СОВЕТСКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ

Разница между народной и «книжной» песней определялась в своё время наличием в обществе противоречивых классовых интересов. С ликвидацией антагонистических классов и победой социалистических форм хозяйства наступило время новой песни — единой массовой советской песни. Советская массовая песня — совершенно новый жанр литературы, сложившийся тогда, когда наш народ стал единым советским народом, когда уже не стало оснований для разделения на поэзию народную — «крестьянскую», «фабричную» — и «книжную». Расцвет этой песни относится к середине 30-х годов.

Народной в наши дни является та литература, которая выражает ведущую идею нашего времени — борьбу за построение коммунизма. Руководит этой борьбой передовой отряд трудящихся — партия большевиков. Изображая жизнь с точки зрения большевистской партии, писатель даёт высшее выражение народных чаяний, ибо он раскрывает их в перспективе развития, в свете самых передовых идей эпохи. Это и является высшей формой народности литературы.

В основу понимания народности литературы мы кладём указание Ленина о том, что искусство «должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их»¹.

Чтобы быть народным поэтом, мало знать дух и жизнь народа, надо уметь выразить в своём творчестве наиболее существенные черты этой жизни. «Поэт должен в своём

творчестве затрагивать всё самое существенное, всё самое важное в жизни народа. Только при таком условии его стихи, подобно стихам Пушкина и Некрасова, будут волновать человеческие сердца, звать их вперёд к новым успехам и победам», — правильно писал М. Исаковский в статье «Живая и ясная поэзия»¹.

В послевоенные годы борьба за мир стала существеннейшим фактором жизни нашей эпохи. Эта борьба объединяет чувства и мысли широчайших народных масс во всём мире.

Широта кругозора советского человека, пролетарский интернационализм, сознание авангардной роли Советского Союза позволили нашим поэтам создать известные песни, посвящённые борьбе за мир.

Новые песни, созданные советскими поэтами, отражают сознание того, что простой человек — герой советской массовой песни — может и должен отстоять мир. Удачной песней является «Гимн демократической молодёжи» Л. Ошанина. Короткие, эмоционально насыщенные строки песни, ясность и простота языка, чёткость основной мысли выражают силу и твёрдость фронта мира.

Каждый, кто честен,
Встань с нами вместе
Против огня войны!

Песня выражает не просто протест против войны, а утверждает высокие цели нашей борьбы, веру в историческую правоту дела мира:

Счастье народов,
Светлое завтра
В наших руках, друзья!

Глубина и ясность идеи песни, полнота и богатство мелодии, созданной композитором

¹ «Ленин о культуре и искусстве». Государственное издательство изобразительных искусств, М.-Л. 1938, стр. 209.

¹ «Литературная газета» от 4 июня 1949 года.

А. Новиковым, выразили мысли и чувства всей передовой молодёжи мира, став общенародным ответом на угрозы поджигателей войны. Так советская массовая песня отражает объединённое сознание трудового народа всей земли в эти «грозные годы».

Важное место в современной советской песне занимает тема труда, определяющего наиболее существенные черты жизни и характера нашего народа.

С особенной силой раскрывают поэты-песенники патриотическое значение труда:

Всюду, где надо, в труде и в бою
Родине силу отдам я свою.

(Л. Ошанин, «Отцовский наказ».)

Все наши трудовые успехи связаны с партией, с именем Сталина. Поэтому, готовясь снять высокий урожай, колхозники обещают:

Дорогой товарищ Сталин,
Дело выйдет, будет прок!

(М. Исаковский, «Урожайная».)

Поэту, собрав урожай,

О своей большой победе
Лично Вам сказать хотим.

Лирическая разработка темы труда характеризует песню Н. Рыленкова «Ходит по полю девчонка». Песня М. Исаковского «В поле» говорит, что родное поле «дороже стало и родней» потому, что герой «пахал и сеял» вместе со своей любимой. И это не просто лирические вздохи героя, а выражение нового, народного содержания чувства, новой народной идеологии.

Так поэтически выражает наша песня новое объединяющее и воспитывающее значение труда, который создаёт не только материальные ценности, но и подлинно человеческие отношения.

Постановка существенных жизненных проблем в народной поэзии неразрывно связана с глубиной их решения. Это требует внимательного изучения жизни в её закономерностях, умения видеть то «главное звено», которое определяет факты и события действительности.

Так, в творчестве любимого народом поэта-песенника М. Исаковского мы всегда видим это «главное звено»: союз города и деревни в стихах и песнях середины 20-х годов, коллективизацию в поэзии начала 30-х годов, защиту Родины в произведениях второй половины 30-х и начала 40-х

годов, гимн созидательному труду в послевоенные годы.

Но не только постановка и правильное решение существенных для народной жизни вопросов определяют народность поэта. «Без таланта творчества невозможно быть народным»¹. Истинная народность всегда предполагает высокую художественность, «под которою должно разуместь целость, единство, полноту, оконченность и выдержанность мысли и формы»². Именно единство формы и содержания, обуславливающее выражение народного содержания в народной форме, и является высокой художественностью. «Не всё доступное гениально, но всё подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа»³ (А. А. Жданов).

Народность, демократичность формы состоит не только в общепонятности (но отнюдь не в примитивности!) мысли и языка, а и в том, что изображаемые переживания и события человеческой жизни близки народному опыту, связаны с такого рода сторонами жизни, которые понятны и важны всему народу.

Поиски новой художественной формы, возможно полнее соединяющей глубину содержания с простотой формы, характеризуют творчество таких разных, несхожих между собой поэтов, как М. Исаковский, А. Сурков, В. Лебедев-Кумач.

Эти поэты отличаются друг от друга и по тематике творчества и по художественным приёмам. Но их объединяет одно: близость к народу, задушевная открытость и искренность, вытекающая из подлинного знания народной жизни.

Не случайно творчество всех этих поэтов определяется темой простого человека: «Советский простой человек» (В. Лебедев-Кумач), «А мы простые русские ребята» (М. Исаковский), «Люди простого, обычного роста, мы — жизнетворцы, строители все» (А. Сурков).

Рядовой строитель социализма, простой советский человек стал ведущим героем советских поэтов, создавших целую

¹ В. Г. Велинский. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат, М. 1948, т. 2, стр. 705.

² В. Г. Велинский. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат, М. 1948, т. 3, стр. 139.

³ «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». Издательство «Правда», М. 1948, стр. 143.

галлерейю образов советских людей (Катюша, старик Нечай у М. Исаковского, разведчик Пашков, Прасковья у А. Суркова). Советский человек всегда раскрывается как человек-труженик. А. Сурков утверждает:

Ни в каком столетье здесь, на земле,
Жизнь и труд не любили, как любим мы.
(«Светлый солнечный дождь прошёл
стороной».)

Даже в славном ратном подвиге солдата А. Сурков постоянно подчёркивает повседневную, трудовую сторону подвига.

Советские поэты глубоко ощущают своё единство со всем народом. Лирический герой их поэзии — не только «я» поэта, а и его современник.

Поиски поэтики социалистического реализма, новой формы выражения социалистического содержания идут у этих поэтов на основе дальнейшего развития народной песенной и классической стихотворной поэзии. Для них характерна постоянная учёба у классиков русской поэзии, и в первую очередь у Пушкина, Некрасова. Обращение к классикам литературы имело особое значение в начале их творчества — в 20-х годах нашего века.

Так, М. Исаковский писал:

«В ту пору в поэзии существовало множество всевозможных направлений, в том числе формалистических... Такие и подобные им «теории» легко могли сбить с толку молодых начинающих поэтов, к числу которых относился и я. И если я всё же не поддался таким теориям, то это в очень большой степени объясняется тем, что в моём сознании жили великие русские поэты — Пушкин и Некрасов» (Статья «Живая и ясная поэзия»).

У Пушкина учился М. Исаковский умению писать просто, но так, чтобы взволновать человеческое сердце: «Поэт должен так изображать действительность, давать такие образы её, чтобы читатель сам почувствовал необходимость борьбы со старым миром, мешающим строительству нового, социалистического порядка» (М. Исаковский, предисловие к «Избранным стихам», 1931).

В творчестве Пушкина чистота и красота чувства русского человека объяснялись прекрасным знанием жизни, которым обладал поэт, его проникновением в сущность русского национального характера. Пушкин глубоко и верно раскрыл истинный патрио-

тизм русского человека, его любовь к родине.

Пафосом творчества М. Исаковского стало существеннейшее явление нашего времени — русский национальный характер в новых исторических условиях советской эпохи.

Человек новой, социалистической нации воплотил в себе всё лучшее, передовое, что было в русском народе. Любовь к своей родине, России, стала новым качеством советского человека — советским патриотизмом, тесно связавшим понятие «Россия» с понятием родины счастья и справедливости, отчизны всего человечества, расширившим понимание Родины, как «отчего дома», до понимания её, как родины коммунизма.

Поэт сознаёт, что некрасовская традиция является развитием пушкинской. Эта традиция учит правильно понимать жизнь и поэтически выражать мысли и чувства народа в близкой народу художественной форме.

Стиль Некрасова повлиял и на тексты некоторых стихотворений («Русской женщине», «Детство») и на отдельные мотивы поэзии М. Исаковского:

Над кем напевала родимая:
«Похлёбку слезой посолоу».

(«Четыре желаний».)

Однако традиции Некрасова у М. Исаковского следует искать не столько в том, как влияли песни одного поэта на песни другого, сколько в глубоком творческом воздействии всей поэтики Некрасова в целом на поэтику М. Исаковского. Некрасов в образе пореформенного крестьянина отразил существенные черты русского трудового народа, выразил его мысли и чаяния. М. Исаковский отразил существенные черты русского народа в образе послереволюционного русского крестьянина, в образе советского человека.

Старинный народный мотив справедливой, чудесной книги, в которой «просто и ясно говорится, как счастье найти на земле», позволил М. Исаковскому и В. Лебедеву-Кумачу показать подлинно народное восприятие Сталинской Конституции:

И чудесная книга народу открыта —
Конституции Сталинской мудрый закон!

(В. Лебедев-Кумач, «Чудесная книга».)

С ним перекликается М. Исаковский в «Песне о Сталине»:

В могучем Советском Союзе
он книгу нашёл золотую,
Которую люди искали,
наверное, тысячу лет.

Образ «справедливой книги», найденной нашим народом, лёг и в основу поэмы М. Исаковского «Четыре желания».

«Девичья печальная» А. Суркова построена на народном мотиве: на месте, куда падают девичьи слёзы, весной расцветут цветы, которые птица-соловей отнесёт на могилу милого. Мотив птички-чайки, относящей весточку милому, явился основой «Чайки» В. Лебедева-Кумача.

Замечательная лирическая песня М. Исаковского «Лучше нету того цвету» родилась из народной частушки:

Лучше нету того цвету,
Когда яблонька цветёт,
Веселей беседы нету,
Когда шарочка придёт.

(Лучше нету того цвету,
Когда яблоня цветёт,
Лучше нету той минуты,
Когда милый мой придёт.)

Образ народной украинской песни «ясно, хоть голки собирай» дал строки М. Исаковского:

И такой на небе месяц,
Хоть иголочки подбирай.

Разностороннее творческое использование фольклора особенно ясно видно в песне М. Исаковского «Катюша» (1938).

«Катюша» — короткая, кристально-ясная песня, широко использующая народную образность и мелодику, говорит о верности советских людей своей Родине, своему слову, своей любви. Чистота нравственного чувства, свойственная лучшим произведениям русского фольклора, обогащается здесь новым звучанием: героиня хранит верность человеку, выполняющему государственный долг, находящемуся на охране границы Родины.

Верность любимому, разлука с ним не омрачаются тревогой за судьбу любви: девушка знает, что человек, верный своему долгу, всегда верен и своему чувству. Печаль Катюши светла.

«Катюша» начинается с традиционного образа тоскующей женщины. Впечатление подлинной народности произведения подтверждается народной песенной символикой: вода — «разлука», туман — «печаль», крутой бережок — «тоска». Поэт пользуется традиционными двойными эпитетами и повторами («На высокий берег на крутой»). Но традиционному образу тоскующей женщины Исаковский придаёт совершенно но-

вый характер. Песня раскрывает ясность и чистоту чувства девушки, создаёт настроенное бодрости: песня Катюши должна лететь «за ясным солнцем вслед» (вместо традиционной мольбы к солнцу о помощи). Это создаёт настроение уверенности, основанной на сознании героиней песни своей силы, и глубоко раскрывает идею произведения:

Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Повтор после этих слов первой строфы создаёт художественную цельность чувства и полную гармонию мелодии.

Основой композиции стихотворения является развитие не события, а переживания. Постоянное эмоциональное нарастание его составляют прелесть почти всех песен М. Исаковского, и особенно «Катюши».

Глубокая народность мелодии и стиха, чёткость и афористичность этой песни помогли ей стать всемирно известной.

Многочисленные народные переделки этой песни всегда говорят о чувстве патриотизма, хотя не всегда в них присутствует мотив разлуки. В статье «Партизанские песни» («Знамя» № 5—6 за 1946 год) И. Гуров приводит ряд партизанских вариантов «Катюши» и делает вполне закономерный вывод: «Все эти образы Катюши являются поэтическим вымыслом народа, в той или иной интонации говорят о любви к своей родине».

В песне М. Исаковского «У самой границы», написанной в 1940 году, боец стоит на посту, «сердцем говорит с родными краями» и, вспоминая красоту и прелесть отчизны, лишь бегло упоминает:

И девушка — может, Катюша —
Из хаты бежит за водой.

Но к 1940 году «Катюша» настолько вошла в сознание народа, что эти строки сразу вызывают у слушателя образ девушки, чистой и верной в своей любви к защитнику Родины. Взаимная любовь Катюши и бойца «на дальнем пограничье» раскрывает благородный характер нашей молодёжи посредством одного только эмоционального воздействия. Поэтому особую глубину и силу приобретает простой конец песни:

И всё это — родина наша,
А родину надо беречь.

(Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт).

Образ Катюши входит в понятие родины. Беречь родину, значит беречь и любовь.

В глубоком раскрытии образа родины и характера лирического героя народная песенная традиция и народность суждения сочетаются у М. Исаковского с поэтическим новаторством и своеобразием.

Казалось бы, самая обычная ситуация в песне «Шёл со службы пограничник»: пошёл боец к девушке у колодца, и они сразу влюбились друг в друга. Но примечательно: девушка останавливает парня лишь после того, как видит, что «парень он хороший и х а с а н и с т ы й такой». «Хасанистый» вид пограничника является лучшей рекомендацией, ибо человек, честно защищавший родину, не может быть несчастным ни в любви, ни в дружбе.

Такое признание, такая оценка народом характера наших воинов лучше всего говорят о единстве армии и народа, о патриотизме наших людей.

«Гражданская» характеристика героя придаёт всем его поступкам оттенок благородства и простоты: «Т и х о тронул козырёк», «л о в к о снял ведро», «Поклонился на прощанье, взялся за сердце рукой».

Службу в армии народ понимает, как почётную обязанность советского человека. Отсюда — мотив «разлуки без слёз».

В народной частушке поётся:

Серы утицы летели,
Летели и крикали,
Комсомольцы призывались —
Девушки не плакали.

Об этом же говорит и М. Исаковский в «Любушке»: «расставаясь, слёзы не лила». «Разлука без слёз» резко противостоит старым проводам в армию, превращавшимся по характеру и силе горестных переживаний почти в похороны. Теперь же народ поёт:

Едут с песней молодые казаки
В Красной Армии республике служить.
(А. Сурков.)

Интересна песня А. Суркова «Поволжанка». Звучащие в «Поволжанке» саратовские «страдания» выражают не безысходность тоски и печали, а новое содержание «проводов» в армию:

Подружка подружке
Надежду даёт:
«Сирень цветёт,
Не плачь,
Придёт...»

Как праздник, как большое радостное событие показывает призыв А. Прокофьев в своей поэме «Россия». На призывном пункте появляется старик — отец новобранцев.

И вот он держит речь свою —
Семь слов, давно продуманных:
— Я нынче Сталину сдаю
Подроты братьев Шумовых!

В 30-х годах А. Жаров пишет «Песню былых походов», в эти же годы появляются песни А. Суркова «Конармейская», «Чапаевская», «Три разведчика». В мужестве и верности героев «былых походов» видит А. Сурков залог нашей непобедимости, готовность народа встать на защиту Родины.

Поэтической клятвой молодёжи стали слова «Конармейской» А. Суркова:

Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулемётным дождём,
По дорогам знакомым,
За железным наркомом
Мы коней боевых поведём.

Для «Конармейской» характерны мелодичность, богатая рифма, дающая большие возможности для различного рода музыкальных и звуковых повторов, звукописи:

По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.

Для этой песни (как и для некоторых других песен А. Суркова — «Чапаевская», например) свойственно точное обозначение места действия («на Дону и в Замостье... и т. д.), что соответствует традиции старинной солдатской песни и придаёт песне большую убедительность и искренность.

Так же точны в обозначении места и времени события военные песни Е. Долматовского: «Песня о Днепре», «Золотился закат», «Попутная песня».

В предвоенные годы наши поэты — и В. Лебедев-Кумач, и А. Сурков, и многие другие выражали твёрдую веру в правоту нашего дела и уверенность в грядущей победе:

Мы в грозное завтра спокойно глядим:
Тё время за нас, и победа за нами.

(А. Сурков, «Так будет».)

В песнях А. Суркова, по форме близких народным, звучала подлинно народная идея бессмертия павших за правое дело.

Слава тем, кто пал в разведке
В боевые дни!
В нашей стройке-пятилетке
Дело их званит.

(«Чапаевская».)

Подлинное воспроизведение духовной жизни народа требует от поэта большого самостоятельного таланта и широкого взгляда на мир, дающегося лишь в результате усвоения художником большой культуры. Только это позволяет художнику сохранять свой поэтический голос, свою творческую индивидуальность и одновременно отвечать растущим потребностям народа.

Тесная связь с жизнью народа, глубокое изучение действительности обусловили актуальность советской песенной лирики.

Поэт не может ограничиться освоенным только народного творчества. «...Мы не увлекаемся беспредельным пристрастием к народным песням, — писал Н. Г. Чернышевский. — Мы не думаем ставить, как это делают многие, цыганского хора выше оперы или концерта, «Ай, вдоль по улице молодчик идёт» выше моцартовской или россиниевской арии, не считаем «Древних Русских Стихотворений» Кириши Данилова выше «Стихотворений Пушкина»¹.

Новое историческое содержание жизни требует и новых средств изображения её. Новая литература не может довольствоваться старыми художественными средствами. В той мере, в какой наша народная поэзия выражала лучшие мечты и качества трудового народа, она может и должна пользоваться нашей литературой. Но только тогда, когда поэзия идёт от жизни, она может правильно, творчески использовать фольклор.

Необходимое качество народного поэта — не только вхождение писателя в круг идей и образов народного творчества, не только живая связь с фольклором, обогащающим писателя, но и обогащение фольклора новыми, подлинно народными произведениями. Писатель должен воспитывать эстетическое чувство народа.

Следует подчеркнуть, что значение песен М. Исаковского и других советских поэтов заключается в создании нового лирического героя, в развитии эстетического и нравственного чувства советского народа.

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений. С.-Петербург, 1906, стр. 181.

Сила лирического героя наших лучших песен — прежде всего в его типичности.

Герой этих песен — народен. Всем движением своего характера он выражает характер советского народа; во всех его поступках видно благородство души простого советского человека.

Типичность героя в том, что он несёт в себе то новое, что уже выработано советской властью и чему, таким образом, принадлежит будущее. Наиболее характерными чертами героя являются не те, которые связывают его с прошлым, а те, которые устремлены в будущее, которые получают самое полное развитие в условиях нашей жизни.

Типичность его и в том, что в его образе мы ясно видим общерусские, общенародные черты. В учении товарища Сталина о социалистических нациях говорится, что новые нации «...являются гораздо более общенародными, чем любая буржуазная нация»¹.

Связь лирического героя советской песни с самыми передовыми идеями нашего времени, идеями коммунизма, даётся через патристическую сущность его характера, через логику его поступков. Такой лирический герой, убеждающий логикой своих поступков, имеет огромное эмоциональное и воспитательное значение.

А. М. Горький говорил, что писатель должен показывать народу «то хорошее, то действительно важное и ценное, что он несёт в жизнь, для того, чтобы дать ему возможность расти с ещё большей быстротой, чтобы это хорошее отражалось в жизни ещё более значительно, чтобы оно приблизило ту победу, к которой мы стремимся и которую мы одержим»². В связи с этим нам представляется неправильным утверждение критика А. Макарова, что в «Катюше» «поэт тронул чуткое сердце девушки тем, что рисовал её силой своего песенного дара такою, какою ей хотелось бы быть»³. Поэт тронул сердце девушек тем, что изобразил наиболее типическое, развивающееся, новое в психологии людей. Катюша — не образ, к которому стремятся девушки, а образ, типичный для них. Оттеняя воспитательную роль песни

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 341.

² М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. Гослитиздат, М. 1941, стр. 181.

³ «Литературная газета» от 5 апреля 1947 года.

М. Исаковского, критик преуменьшил типичность её героев. Воспитательная сила песен М. Исаковского — в утверждении реально существующих, а не только желаемых новых черт советского человека. Лирическая песня М. Исаковского учит тому, что помыслы о Родине, участие в общей борьбе облагораживают любовь двух сердец; разлука оказывается способной укрепить любовь, если, и не будучи вместе, люди отдают свои силы единому делу, общей борьбе.

Высокая активность героев, широта их мироощущения, сознание своей силы определили бодрость и оптимизм песенной лирики М. Исаковского. Лирическая песня только тогда будет выполнять свою воспитательную задачу, когда она будет обогащать, а не сужать мир мыслей и чувств слушателей.

Наши лучшие поэты-песенники активно борются за утверждение широкого ясного мира чистых помыслов и больших чувств.

В чистоте и силе выражаемого в песне нравственного чувства, в идейном богатстве лирического героя — причина широкого распространения и успеха наиболее популярных массовых песен. Написанная А. Сурковым в первый день Отечественной войны «Песня смелых» воспевала беззаветный героизм и смелость русских воинов, звала весь народ на защиту Родины:

Песня — крылатая птица —
Смелых скликает в поход.

Огромное воспитательное, мобилизующее значение имела его «Песня защитников Москвы» (ноябрь 1941 года).

Короткие, эмоционально насыщенные строки выражали уверенность в победе, силу и мощь народа.

Большая искренность, простота и вместе с тем сила чувства придают этой песне большую воздействующую, призывную силу, основанную на вере в непобедимость народа, сражающегося за правое дело:

Мы не дрогнем в бою
За отчизну свою.
Нам родная Москва дорога.

Лирическому герою А. Суркова, так же как и героям М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, свойственна большая открытость высказывания, задушевность и великая простота чувства. Такой герой неиз-

менно находит дорогу к сердцу и сознанию народа.

Появление нового героя исторически связано, однако, с борьбой против всего того, что мешает развитию его лучших качеств. Утверждение нового, активного героя невозможно без борьбы с мещанством, которое представляет собой «уродливо развитое чувство собственности, всегда напряжённое желанием покоя внутри и вне себя, тёмный страх перед всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой».¹ И в советской песенной лирике происходит борьба с мещанской пошлостью, возвращающей слушателя в мир старых чувств и идей.

В середине двадцатых годов в связи с временным оживлением буржуазии в период нэпа возрождались и возникали вновь так называемые «жестокое романсы», с их бесконечными изменами, самоубийствами, местию. В этих романсах циничная буржуазная мораль противопоставлялась новой советской морали.

В тридцатых годах появились низкопробные лирические песенки (типа «Маша», «Саша», «Андрюша»), рассчитанные на отсталые слои населения и проповедовавшие лёгкое, бездумное, потребительское отношение к жизни.

Всё это поставило перед советской песенной поэзией задачу борьбы за высоконравственную лирическую песню, соответствующую новому сознанию народа. Борьбу пришлось вести на два фронта: против «жестокое романса» —

Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлёкся тобой,

и так называемых «жанровых песенок» —

Брось сердиться, Маша,
Лучше обними.
Жизнь прекрасна наша,
Солнечные дни.

Эти песенки, являющиеся буржуазной макулатурой, нельзя было просто «отменить», их надо было вытеснить в порядке соревнования. Эту задачу с успехом выполнила лирическая песня М. Исаковского. Попробуем сопоставить «Зачем ты, безумная, губишь» и «Живёт у нас в посёлке». Тема этих песен сходна: неразделённая любовь. Но вместо псевдоромантического «героя», «тибели» и «безумства» в песню

¹ М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. Гослитиздат. М. 1941, стр. 381—382.

вошёл нормальный здоровый человек, причём человек советский. Мир наших людей неизмеримо шире сосредоточенного только в самом себе любовного мира мещанина. Неразделённая любовь — это большое горе, но не крушение всей жизни. У человека остаются друзья, коллектив, любимый труд. Неудача в любви не определяет всей судьбы человека. Оптимизм песен М. Исаковского о неразделённой любви покоится не на лёгкости отношения к чувству, не на наигранной бодрости, а на жизненной оправданности оптимизма, на богатстве духовного мира советского человека. Именно большим соответствием жизненным идеалам народа и определяется успех лирической песни М. Исаковского. Иногда говорят, что «Тропинка» — просто лёгкая лирическая песенка. Но достаточно сравнить её с есенинским «Я целую тебя не первую: много вас...» — и сразу становится ясной подлинная народность песни М. Исаковского и её нравственная чистота.

Народность — это не только приближение к народу, но и обязательное развитие его нравственного и эстетического чувства.

«Многие имеют ложное представление, — указывал М. И. Калинин, — что с крестьянством надо говорить нарочито простым, сладким языком, — глубокая ошибка. Надо писать о вещах, которыми интересуется крестьянин, которые понятны и старому и малому»¹. В этом и заключается подлинная народность.

Попробуем оценить с этих высоких позиций подлинную народность песенную лирику А. Прокофьева и А. Фатьянова — поэтов, повседневно использующих в своём творчестве богатство устной народной поэзии.

В своей поэзии А. Прокофьев выразил радость бытия, жизнелюбие и оптимизм советского народа-победителя. Мир, окружающий его героев, могуч и богат. Яркость этого мира, его изобилие и цветение выражают красочность и полнокровие жизни советского человека. Любовь к родине неразрывно связана у героя А. Прокофьева с глубокой привязанностью к природе, с искренним восхищением силой и необъятностью нашей прекрасной земли. В поэме «Россия» А. Прокофьев сумел воспеть единство всей Земли русской, поднимающей-

ся на врага, показать, что всеобщность, всенародность войны и является главным условием победы над врагом.

Глубокая лиричность поэмы, сочетающаяся с эпической широтой показа великой Родины, придаёт поэме особую силу эмоционального воздействия.

А. Прокофьев создал много удачных стихотворений, особенно в военные годы («Как будто с тобою сижу и пою я», «За тебя, Ленинград» и т. д.).

Но ряд его стихов показывает, что простое насыщение произведения фольклорным материалом не может сделать это произведение народным. Неудачи А. Прокофьева обычно объясняют тем, что он в ряде своих стихов выступает как стилизатор. Стилизация, однако, в свою очередь является одним из следствий более серьёзных ошибок идейного порядка.

В центре советской поэзии стоит новый советский человек. Основное в поэтике Маяковского — основоположника социалистического реализма в поэзии — это пафос советского человека, через которого поэт показывает родину (особенно ярко видно это в поэме «Хорошо!»). Пафос нового человека определяет творчество и других лучших наших поэтов. Особенно характерно это для лирики, раскрывающей объективную реальность посредством изображения внутреннего мира человека.

В центре поэзии А. Прокофьева — родина в её условно-романтическом понимании. В его стихах не нашли своего полноценного выражения коренные проблемы её реальной жизни — коллективизация, сталинские пятилетки, послевоенное строительство. А именно такой — строящейся, растущей — и воспринимает родину советский человек. Обратимся к циклу стихов А. Прокофьева «Слово о Родине». Здесь перед нами не та Родина, которую мы знаем и любим, а абстрактная, неживая, условная.

Это или:

В полях, в полянах, в гаях ты
И в долах — неоглядная.
Какая ты, какая ты,
Какая ненаглядная!

(«Страна моя родимая».)

или:

Мы, что море, у которого нет берегов.
И огнём огрызаются, бьют бастионы
Оголтелых и злобных врагов.

(«За тебя наше завтра».)

¹ «М. И. Калинин о литературе». Сборник статей и высказываний. Лениздат, 1949, стр. 203.

Такая характеристика родины ни в коей мере не соответствует нашему о ней представлению, в котором сила и красота отчуждены определяются силой и красотой её народа. Только «пейзажное» изображение родины влечёт за собой обеднение её образа.

Любовь к русской природе является лишь одной из граней советского патриотизма, а ведь она приобрела у А. Прокофьева характер ведущей черты творчества. Родина предстаёт перед поэтом в своей якобы неизменной от веку деревенской красе, красе берёзовых перелесков и пышных сарафанов. Как результат этого — постоянное выпячивание в его стихах «узорной», стилизованной Руси, нарисованной средствами некритически использованного фольклора.

Нежизненным, архаичным, «благовестным» языком говорит поэт и о подвигах народа в Великой Отечественной войне:

Как с новой силой сердце Ленинграда
Росло в воскрыльях.

(«Мы прикрывали сердце Ленинграда.»)

Вместо сурового образа города-героя Сталинграда — у А. Прокофьева «Бьётся витязь, и взор его чуден», сплошь и рядом у него встречаются такие архаические выражения, как «поднять на рамена», «победная надея», «благословен могучий год».

В этих стихах А. Прокофьева нет активной деятельности людей, создающих жизнь, меняющих природу и социальные отношения. Лирический герой их — гость, а не хозяин в «мастерской» природы:

Ничего нам, Родина, не надо,
Кроме как:
 езде других милей,
Шла, жила, цвела б твоя отрада
В неизменной вечности своей.

(«Россия.»)

Говоря о каком-либо чувстве, поэт должен вызвать в нашем сознании образ человека — носителя этого чувства. То, что в центре лирики А. Прокофьева зачастую находится не человек, а пейзаж, неизбежно накладывает отпечаток и на его песню.

«Человеческая сущность природы, — указывает Маркс, — существует только для общественного человека: ...только в обществе природа является основой его собственного человеческого бытия».¹ Природа является объектом искусства по-

скольку, поскольку она является ареной деяния коллектива людей.

Только с появлением людей новой деревни — колхозников — в поэзию М. Исаковского вошло новое понимание пейзажа — идея «Утра» (1929) заключена в стихах, относящихся к лирическому герою — трактористу:

Он над землёй возьмёт опеку,
И двадцать лошадиных сил
Покорны будут человеку.

Именно в «опеке», в силе преобразующего творчества общественного человека, как центральной фигуры пейзажа, во «второй природе», то есть природе, подвергшейся осмысленному творчеству человеческого коллектива, — заключается новое качество, внесённое в изображение природы советской литературой. («Мне без людей пейзаж неинтересен», — Мамед Рагим, «Небо над Ленинградом»).

Это обогатило пейзаж новыми красками, сообщило ему высшую красоту — красоту человеческого деяния.

Природа предстаёт, таким образом, как единый организм, понятый в своих связях и взаимодействиях. Не следует, конечно, думать, что нельзя петь о красоте родины. Вспомним «Я другой такой страны не знаю» В. Лебедева-Кумача, — здесь присутствует человек, воспринимающий родину. А в песне «Летит дорога дальняя» (слова А. Прокофьева), где говорится лишь о метели, санях и конях, отсутствует чувство общественного человека. В песне «Поход» (где бойцы шли от Ленинграда к Берлину «по родным, цветным лужкам заветным») искажается само деяние человека: трудный солдатский подвиг подменяется прогулкой по лужкам; в «Третьей частой», построенной на чисто формальных приёмах, отсутствует мысль человека, — песня представляет простой набор слов. А та песня, в которой слушатель не находит отклика своему чувству, массовой не становится. Лишь отдельные песни А. Прокофьева (например, «Тайга золотая»), где видно цельное чувство человека, пользуются успехом у слушателей.

Отсутствие активного, действующего героя обусловило бессюжетность многих песен А. Прокофьева. Эти песни построены на лирических восклицаниях, в смысловом отношении мало связаны друг с другом. В песне «Открытка» можно переставить все строфы — и ничего не изменится.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Государственное издательство, М.-Л. 1930, т. III, стр. 623.

Романтика А. Прокофьева — зачастую не романтика благородного человеческого деяния, а романтика словесных украшений.

Сравним два одноимённых стихотворения: «Любушка» М. Исаковского (1935) и «Любушка» А. Прокофьева (1937).

Оба стихотворения начинаются портретом красавицы. Но М. Исаковский даёт образ девушки, красивой своим благородством и внутренней сдержанностью и при расставании с любимым, едущим в армию, и в разлуке с ним. Благородство чистой девичьей любви к защитнику Родины гармонирует и с портретом Любушки, чёрными косами её, являющимися символом девичества в народной поэзии. Иначе предстает Любушка А. Прокофьева:

Здравствуй, зоренька, заря,
Свет, блеснувший за моря.
Здравствуй, небывалая,
Здравствуй, губы алая!

Никакого живого образа этот словесный узор не создаёт. «Алые губы» Любушки определили и «мораль» песни:

Обними, а то Умру!
Обними меня до боли,
Так, чтоб смеркнул свет дневной!..
Вот теперь по нам обоим
Ходит ветер озорной.

Ни идейной, ни художественной глубиной эта песня А. Прокофьева не блещет. Такова же и «Маша» (1937), единственное достоинство которой заключается в «расцелованной красе».

Вообще молодёжь в песнях А. Прокофьева не отличается высокой нравственностью. Такова она в «Запевках»:

Подружка милого бросает,
Пусть бросает, — я возьму...
Не боюсь, что милый бросит,
Что не бросит он — боюсь!

Эта мораль не соответствует действительным чувствам и мыслям молодёжи, с такой подкупающей простотой выраженным у М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача и других.

Многие стихи и песни А. Прокофьева сужают, а не расширяют духовный мир слушателей, что лишает эти его произведения воспитательного значения — неприменного условия народности.

Корень ошибок А. Прокофьева лежит в недостаточно пристальном внимании к самой жизни народа, а как следствие этого — в непонимании существа качественно но-

вого художественного этапа в развитии человечества, на котором находится переходная советская поэзия.

Обращение А. Прокофьева к фольклору не является органической потребностью его поэтического мирозерцания и потому нередко приводит к разностильности. Достаточно привести отрывок из стихотворения «Не кобыль-трава стояла», в котором умирающий солдат просит коня отвезти домой письмо:

Крой, как козырь, по кувшинкам...
В том письме давно
Мной на пишущей машинке
Всё отстукано.

Всё отстукано,
Отговорено
В полной памяти,
Доброй волею,

Что не годен я пахать,
Не дожь плотничать,
Что в родном доме я —
Не работничек..

Здесь безвкусоно сочетаются выражения, взятые из блатного жаргона — «крой, как козырь, по кувшинкам» (кстати, почему «по кувшинкам» — ведь они растут на воде!), с пишущей машинкой и крестьянски-фольклорными словами «в родном доме я не работничек».

Такое поверхностное использование фольклора, к сожалению, характерно для многих стихотворений А. Прокофьева.

«Чем больше в стихах жизненной правды, чем меньше всякая поэтическая условность выпирает наружу, тем весомей поэтическое слово, тем лучше стих»¹. Недостаток жизненной правды в стихах А. Прокофьева неизбежно ведёт к «выпиранию» поэтической условности их, то есть в конечном счёте к стилизации.

В творчестве А. Прокофьева чрезмерное обилие слов часто входит в противоречие с основным законом песни — дать простор музыке:

Хорош коней каурых бег
В леса, в деревни, в полосы,
Метель взывает лёгкий снег
И голосит вполголоса.

(«Летит дорога дальняя».)

Ясно, что подобную скороговорку петь нельзя (особенно с сочетаниями «львзв» и «гк»).

¹ М. Исаковский. Заметки о поэзии. «Знамя» № 8 за 1949 год.

Уклонение от подлинной народности свойственно также некоторым песням способного поэта-песенника А. Фатьянова (он создаёт песни в содружестве с композиторами В. Сорокиным и В. Соловьёвым-Седым). Для лучших песен А. Фатьянова характерны оптимистические, бодрые и уверенные тона, тонкий юмор фабричной частушки, сентиментальность народных вальсов. песенная свобода и полнота, широкие, виртуозные мелодии. Таковы песни: «Соловьи, соловьи», «Давно мы дома не были» и т. д. Большой цикл об уральских дивизиях и цикл «Возвращение солдата» разрабатывают тему боевой дружбы («Солдатский ведём разговор»).

А. Фатьянову свойственно слияние поэтики литературной песни с поэтикой городского фольклора. Однако часто поэт грешит некритическим использованием фольклора. В его произведениях встречаются мотивы и обороты мещанского романса, придающие песне излишнюю сентиментальность:

По мосткам тесовым вдоль деревни
Ты идёшь на модных каблуках,
И к тебе склоняются деревья,
Звёздочки мигают в облаках.

Здесь «тесовые мостки» — рядом с «модными каблуками». «Ждут невесты женихов» — и томно вздыхают в «лучших традициях» мещанского романса.

Фольклор не стал для А. Фатьянова элементом поэтического сознания, а является для него лишь «художественным приёмом». Отсюда идёт неумелое пользование средствами фольклора: так, А. Фатьянов пишет песню «Где цветёт рябина». Но образ рябины характерен не для изображения цветущего пейзажа вообще, а для создания настроения одиночества, грусти.

Отсюда же идёт и разностильность песни:

Если зыбью бирюзовой
Закольщется река,—
На крыльчке на тесовом
Поджидай ты моряка...

В припеве песни «У моря» народное «Ой ты, море синее» сочетается с вульгарным «А тоска зелёная».

Отсутствие у А. Фатьянова ясно и чётко определившихся принципов поэтики неизбежно сказывается и на языке его песни. Очень часто встречаются у него

уменьшительные суффиксы, идущие от городского фольклора (они придают не окраску любви и близости, а некую «интимность», свойственную мещанскому романсу): «свечи огарочек», «звёздочки в пруду», «ветерок попутный», «новеньких ворот».

Юмор А. Фатьянова часто вызывается желанием «сострить» во что бы то ни стало. Для этого А. Фатьянов пользуется резкой контрастностью, сопоставлением двух несовместимых предметов, олицетвлением отвлечённых образов: море синее — тоска зелёная, «без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется». Достаточно сравнить это с народным образом у А. Кольцова:

Отчего, скажи,
Мой любимый серп,
Почернел ты весь —
Что коса моя?
Иль обрызган ты,
В скуке-горести,
По милу дружку
Слезой девичьей? —

и становится понятной надуманность образа А. Фатьянова.

Недостаточное знание А. Фатьяновым подлинно народной поэзии, лёгкость в обращении к различным жанрам (баллада, плясовая, лирическая песня и т. д.) приводит к тому, что создаётся лишь внешнее впечатление широты этих песен. Поэтому некоторые из них, не подкреплённые большим поэтическим чувством, недолговечны. Такова «Баллада о Матросове», являющаяся, по справедливому замечанию М. Исаковского, «набором рифмованных строк». В ней нет основного — центрального поэтического образа, оригинального поэтического замысла. Недостаточное знание и уважение к духовному богатству советских людей ведёт к созданию псевдолирических пустопорожних безделушек («Звёздочка», «Странанье», «У моря»). Вместо того, чтобы развивать нравственное чувство народа, поэт часто обращается к мещанскому примитиву, к перепеву сентиментальных вальсов и бытовых романсов XIX века. Это лишает многие песни А. Фатьянова неперемного качества народности — воспитательного воздействия. Нередко А. Фатьянов сужает мир слушателя, ограничивая его узким мещанским мирком. Не маленький человек раскрывает большой мир, а большой мир даёт повод для маленьких чувств:

Не за то ль полсвета мы
Шли, врага не милуя,
Чтобы в ночи светлые
Видеть очи милые?

Отсюда идёт лёгкость чувств, наигранная
бодрость:

Если писем милая не пишет,
Двадцать немцев уложи.
Непреренно девушка услышит,
Больше станет дорожить.

Иной раз создаётся впечатление, что
герой А. Фатьянова вступил не в после-
военную пятилетку, а... в лунные ночи.

Лирическая песня — жанр синкретиче-
ский. Особое значение в ней приобретает
ритмическая, мелодическая организация её.

«Конечно,— указывает Белинский,— ли-
рическое произведение не есть одно и то
же с музыкальным произведением, но в их
основной сущности есть нечто общее. В ли-
рическом произведении, как и во всяком
произведении поэзии, мысль выговаривает-
ся словом; но эта мысль скрывается за
ощущением и возбуждает в нас созерца-
ни», которое трудно перевести на ясный и
определённый язык сознания».¹

Являясь синкретическим жанром, песня
несёт большую эмоциональную нагрузку
по сравнению с лирической поэзией и
большую смысловую — по сравнению с му-
зыкой. Это придаёт песне особую силу эмо-
ционального воздействия на слушателей.

Взаимодействие ритма и слова приобре-
тает в песне форму соотношения между
музыкой и текстом.

Только хорошая музыка может создать
хорошую песню; песня с плохой музыкой —
не живёт.

Песня М. Исаковского «Огонёк» не имела широкого распространения (несмотря на большое количество написанных для неё мелодий) до тех пор, пока не была создана хорошая музыка балтийским моряком Никитенко. Стихотворение «Вдоль деревни» приобрело всенародную известность лишь через десять лет после своего выхода в свет, только тогда, когда композитор В. Захаров положил его на музыку. Текст песни «Где ж вы, где ж вы, очи карие» написан на готовую мелодию.

¹ В. Г. Б е л и н с к и й. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат, М. 1948, т. 2, стр. 13.

Возникает опасение, что хотя на улице и «светло, как в горнице», но в этих бесконечных ночах «кто-нибудь заблудится».

Трудно говорить об этих песнях А. Фатьянова, как о песнях массовых, народных. Ведь ещё Н. Г. Чернышевский писал, что народная поэзия «...принадлежит целому народу, потому чужда всякой мелочности и пустоты... Она вообще полна жизни, энергия, простоты, искренности, дышит нравственным здоровьем. Какое её содержание, такова и форма её: проста, безыскусственна, благородна, энергична».¹

При переделках текстов песен всегда остаётся устойчивый музыкальный остов, который в большой степени определяет характер новой песни. О важном значении музыки в песне говорил Горький: «Надо принять во внимание, что старинная мелодия, даже несколько изменённая, но наполненная новыми словами, создаёт песню, которая будет усвоена легко и быстро».²

Но «как бы ни зависели слова от музыки, их качество играет и свою самостоятельную роль, и чем выше это качество, тем лучше песня».³

В массовой песне музыкальное сопровождение делится на ряд ровных повторяющихся периодов. Однако это не создаёт монотонности. Каждый период звучит по-своему, потому что его обогащает, индивидуализирует словесное, смысловое наполнение. Слово, как носитель чувства (гармонии мысли и эмоции), принимает активнейшее участие в создании песни.

Необходимое условие лирики — единое чувство произведения — приобретает особое значение в песне, где единое чувство, намеченное музыкой, требует гармоничного раскрытия его и в тексте песни. Текст должен подчиняться этому чувству все образные и выразительные средства, не загромождать его развития, не привлекать внимания слушателя необычностью слова. К лирической песне особенно относятся слова Белинского: «Лирическое произведение, выходя из моментального ощущения,

¹ Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Полное собрание сочинений, СПб, 1906, стр. 184.

² М. Г о р ь к и й. О литературе. Гослитиздат, М. 1935, стр. 408.

³ М. И с а к о в с к и й. О современной песне. «Октябрь» № 9 за 1944 год.

не может и не должно быть слишком длинно... Длиннота лирических пьес обыкновенно происходит или оттого, что поэт, в одной и той же песне, переходит от одного ощущения к другому, и переходы эти поневоле принуждён связывать риторическими вставками, или от ложного, антипоэтического и ещё более антилирического направления — развивать дидактически какие-нибудь отвлечённые мысли¹.

Этим требованиям сохранения единого чувства должно отвечать высокое качество текста, его краткость и ясность.

Песня с хорошей музыкой, но плохим текстом может существовать некоторое время, действуя новизной и свежестью музыки, то есть действуя только на эмоциональное восприятие (таковы многие песни В. Соловьёва-Седого, например «На солнечной поляночке» — слова А. Фатьянова, и другие). Не затрагивая глубоко душевного мира людей, такие песни быстро умирают.

Глубина содержания, соответствие новым условиям действительности позволяют многим песням «воскресать», или приобретать наибольшую известность через много лет после их создания. Написанная в период боёв на Хасане, песня З. Компанейца «В бой за Родину» наибольшее распространение получила уже во время Отечественной войны; песня «Вдоль деревни» пользуется особенным успехом сейчас, в дни массовой электрификации колхозов; почти забытый в послереволюционные годы вальс «На сопках Маньчжурии» получил большое распространение в послевоенные годы.

Всё это говорит о большой роли слова, как носителя мысли, содержания песни.

Только полная гармония музыки и текста создаёт полноценную песню, создаёт живое единство слов, ритма стихов и мотива в пении.

Так, песня М. Исаковского — это поэтическое произведение, в самом себе несущее, как бы предполагающее ту мелодию, с которой ему суждено слиться и звучать вместе. В то же время она живёт и как самостоятельное произведение, а не только при наличии написанной музыки.

Большой мелодичностью и напевностью при глубоком содержании характеризуются песни В. Лебедева-Кумача («Песня о Ро-

дине», «Марш весёлых ребят», «Песня трактористов»), А. Суркова («Песня смелых», «Конармейская»), Л. Ошанина («Гимн демократической молодёжи»).

Лучшими песнями бывают обычно те, которые создаются в результате долгой совместной работы композитора и поэта. Лучшие песни на слова М. Исаковского написаны М. Блантером, на слова А. Фатьянова — В. Соловьёвым-Седым, на слова А. Жарова — К. Листовым. У композитора и поэта возникает общий неповторимый стиль, вырабатывается единое музыкальное и поэтическое мышление. Песни М. Блантера и М. Исаковского («В прифронтовом лесу», «Катюша», «Где ж вы, где ж вы, очи карие», «Легат перелётные птицы» и др.) написаны как бы единым устремлением, хотя некоторые из них были созданы сначала как стихи. Секрет успеха песни «Полюшко» (музыка Л. Книппера, слова В. Гусева) — единственной массовой песни без рифмы — в одновременном, как бы совместном написании музыки и текста.

Следует отметить, что вопросы взаимовлияния словесного и музыкального элементов песни совершенно не затрагиваются нашей критической литературой. Особенно плохо обстоит дело с разработкой теории советской массовой песни. До сих пор советская песня не имеет своего исследователя. Подобное пренебрежение явилось следствием не изжитых до конца тенденций «чистого искусства», зачёркивавших песню, которая всегда была особенно крепко связана с жизнью, с общественными и моральными стремлениями народа. Между тем назрела необходимость в специальной работе по теории современной песни. В первую очередь должны быть разрешены три основных вопроса: происхождение советской песни, связь текста и музыки, жанровое своеобразие песен.

В определении «советская массовая песня» заключены две стороны (не противоречащие, а естественно дополняющие друг друга):

Массовая песня — значит созданная для народа, принимаемая народом; но в отличие от созданных самим народом народных песен она называется массовой.

Массовая песня — значит обладающая определёнными жанровыми признаками, в отличие от романа: обязательное деление на равные повторяющиеся музыкальные пе-

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат, М. 1948. т. 2. стр. 45—46.

риоды, простота в исполнении, доходчивость и ясность музыки и стиха, лёгкость запоминания и т. д.

В советских условиях широкое распространение получила песня-марш. Рассчитанная на согласованное пение коллективом, она выражает гражданское патриотическое чувство. Она не требует создания лирического героя, а выражает свою мысль непосредственным высказыванием поющего.

Кроме непосредственного выражения чувства поющего, песня-марш может описывать общегражданские поступки героев.

В большинстве песен-маршей в качестве лирического героя выступает коллектив. Таковы «Гимн демократической молодёжи» Л. Ошанина, «Ходили мы походами» А. Жарова, «Песня молодых бойцов» В. Лебедева-Кумача. В песне-марше особенно сильно чувствуется организующее, объединяющее воздействие песни.

Лирическая песня охватывает весь диапазон чувств человека, предусматривает образно-поэтическое высказывание; как правило, она предназначена для индивидуального исполнения. Это не значит, что лирическая песня выражает только индивидуальность исполнителя. Герой лирической песни — такой же собирательный образ, как и в песне-марше, ибо наша литература показывает «общественного» человека, в котором личное и гражданское начало не противопоставлены, а дополняют друг друга. В силу этого непроходимых граней между лирической песней и песней-маршем нет и быть не может.

Такую песню, как «Где ж вы, где ж вы, очи карие», трудно, да и нет необходимости относить к какому-либо определённом жанру. Тем не менее основные тенденции поэтики двух ведущих жанров советской массовой песни отметить следует.

Советская массовая песня, включающая в себя и песню-марш и массовую лирическую песню, родилась на основе трёх песенных традиций:

- а) крестьянская бытовая лирическая песня;
- б) песенное творчество города, рабочий фольклор;
- в) массово-политическая революционная песня.

Все эти источники находились в тесной связи друг с другом, что объяснялось их историческим развитием.

Как известно, в русском песнетворчестве издавна существовала так называемая «долгая» лирическая песня, являющаяся выражением мыслей и переживаний крестьянства.

С развитием капитализма в России начала ощущаться потребность в песнях, выражающих психологию нового трудящегося класса — пролетариата. На рабочих, близко стоящих к городской культуре, не могла не оказывать влияние «культурная» песня, идущая от образованных классов.

Вместе с тем рабочий фольклор был тесно связан с крестьянской лирикой: рабочие, вышедшие из деревни, не могли не сохранять основных принципов поэтики крестьянской песни.

Основной жанр рабочего фольклора — частушка — не была каким-то внезапно появившимся жанром. По свидетельству Костомарова, в «гулевых» песнях «в большей части господствует рифма или склонность к рифме, стих сбивается на хореический».¹

Бурное развитие капитализма, отмена крепостного права, проникновение в деревню капиталистических отношений изменили в значительной степени и деревенский фольклор. Самым характерным событием являлось внедрение частушки, превращение её в широко распространённый песенный жанр.

С начала восьмидесятых годов исследователи почти повсеместно отмечают: произошла «замена старых песен новыми»².

«Пришёл фабричный в село — девки и ребята запели новомодную пощлость»³ — писали ревнители седой старины.

Кончился дворянский этап развития революционного движения в России, и на смену дворянству пришли новые революционные группы. «Пятидесятые годы и начало шестидесятых, — отмечает Ив. Розанов, — замечательны именно тем, что создаётся особенно много стихотворений, далёких от поэтики фольклора, но ставших настолько популярными песнями, что они заметно

¹ Н. И. Костомаров. Собрание сочинений. СПб, 1905, кн 5, т. XIII, стр. 528.

² Д. И. Успенский. Фабричная поэзия. «Книжка недели», сентябрь, 1895, стр. 11.

³ Н. М. Лопатин и В. П. Прокунин. Сборник русских народных лирических песен. М. 1889, ч. 1, стр. 25.

стали вытеснять подлинные песни фольклора.¹ Таковы песни «Славное море, священный Байкал», «Дубинушка», «Есть на Волге утёс».

С выходом в 1905 году на арену истории пролетариата, широко распространяется массово-политическая революционная песня. По свидетельству В. И. Симак² наибольшим успехом в деревне в 1903—1908 годах пользовались «Марсельеза», «Варшавянка», «От павших твердынь Порт-Артура», позднее — песня «Солнце всходит и заходит».

Так создались в дооктябрьском фольклоре три песенных традиции: крестьянская бытовая лирика (включавшая частушку), городской фольклор (рабочий и мещанский) и революционная песня. Все эти виды песенного творчества были выражением идеологии трудящихся классов, что обуславливало их взаимопроникновение и широкое распространение.

На этих трёх источниках и базируется современная массовая песня. Песня-марш использует, главным образом, массовую революционную песню; лирическая песня — крестьянскую бытовую лирику и, в меньшей степени, городской фольклор.

Традиции революционной песни и городского, рабочего фольклора ясно видны в песнях В. Лебедева-Кумача.

На основе плясовых песен и частушек часто строятся лирические песни А. Суркова, А. Прокофьева и других. Такова «Плясовая» А. Суркова, с богатой «плясовой» внутренней рифмой:

Чёткой чёткой,
Кваткой повадкой,
Ходкой походкой,
Гладкой присядкой.

Пыль, кипи!
Ходи, не спи!

В песнях А. Суркова — налицо большая виртуозность песенных переходов, повторов, на чём, в первую очередь, строится и народная песня.

Алым шёлком шила-вышила звезду.
Шила-вышила удалой голове..

(«Девичья печальная».)

¹ «Песни русских поэтов». Редакция, статьи и комментарии И. Н. Розанова. «Советский писатель», М. 1936, стр. 497.

² В. И. Симак. Народные песни, их составители и их варианты. М. 1929, стр. 53.

Или:

Станичные девки
Слушали заповки,
Слушали заповки
Наших заповал.

(«Армейские заповки».)

На основе бытовой крестьянской лирики выросла и лирическая песня М. Исаковского.

Использование М. Исаковским поэтики крестьянской лирики объясняется в первую очередь тем, что лирический герой М. Исаковского — народ, простой советский человек. Жизнь колхозной деревни, одна из любимых тем М. Исаковского, не может быть изображена поэтически полноценно без привлечения народной песни, полнее всего воплотившей многовековую культуру народа, выработавшей многообразное богатство поэтических средств.

В бытовой крестьянской лирике М. Исаковский использует, главным образом, поэтику частушки. Это определяется характером лирического героя его песен — открытого, общительного, жизнерадостного.

В обогащении и развитии поэтики частушки и заключается своеобразие поэтической формы песен М. Исаковского.

Метрика частушки, как и метрика всякой песни, находится в полной зависимости от музыкального её исполнения, мотива, даёт большой простор творчеству композиторов. Старые частушечные («Лучше нету того цветку») и плясовые («Вдоль деревни») напевы могут, как и всякая песня, получать различное музыкальное истолкование и, соответственно, различные мелодии. Достаточно сказать, что четыре песни М. Исаковского: «Сыновья», «Лучше нету», «Морячка», «И кто его знает» написаны одним и тем же частушечным размером — четырёхстопным хореем.

Частушка внесла в народное творчество новое содержание, а советская музыка обогатила частушку мелодическим разнообразием, основанным на использовании лучших образцов музыкальной культуры народа.

В устном народном творчестве часто намечается тенденция к превращению частушки в песню, выражающую не только мимолётное чувство, наблюдение, но и более глубокое содержание. Появляются «спевы» частушек, объединённых общей темой.

Эти «спевы» поддерживаются и формой частушек (зачин «подружка моя», вопросы и ответы и т. д.). «Спевы» являются закономерным развитием формы, соответствующей новому содержанию. Такими «переходными» песнями являются «Провожанье» М. Исаковского, «Гаданье» А. Фатьянова, «Никогда я врать не буду» В. Лебедева-Кумача и др.

Поэтому, говоря о развитии поэтики частушки в творчестве М. Исаковского, следует иметь в виду, что его песня — не повторение, а дальнейшее движение народной песни, обусловленное новым историческим содержанием. В развитии поэтики частушки М. Исаковский пользуется лучшими достижениями и других источников песни, таких, например, как классический русский романс («Мы с тобой не дружили», «Песня Зои»).

М. Исаковский в песне, как и в частушке, иногда пользуется психологическим параллелизмом русской народной песни:

Ой, цветёт калина
В поле у ручья.
Парня молодого
Полюбила я...
(«Ой, цветёт калина».)

Ветка к ветке наклоняется —
И шумит, и не шумит.
Сердце к сердцу порывается,
Песня с песней говорит.

(«Хорошо весной бродится».)

Но и здесь поэт использует традиционный приём творчески. Зачастую М. Исаковский вступает в полемику с образами психологического параллелизма: новый герой органически чужд всякой предопределённости, установленным традиционным схемам, он сам создаёт своё счастье. Поэтому — берёза завяла, а Настасья, наоборот, расцвела; поэтому —

У ручья с калины облетает цвет,
А любовь девичья не проходит, нет.

«Разложение» психологического параллелизма началось ещё в народной частушке, ибо широта новой тематики и содержания, обилие новых чувств уже не могли получить достаточного соответствия в явлениях природы.

Таким образом, изменение содержания психологического параллелизма в творчестве М. Исаковского идёт в согласии с изменением его природы в народном творчестве и, особенно, в частушке.

В поэзии М. Исаковского получили дальнейшее развитие многие особенности поэтики частушки, отличающие её и от «долгой» и от «литературной» песни.

В отличие от «долгой» песни в частушке почти не встречаются «постоянные» эпитеты. Вообще, количество эпитетов в частушке в силу быстрого развития её сюжета незначительно. Для песни М. Исаковского также характерно малое число эпитетов («литературная» песня в большей мере использует эпитеты, так как она обычно рассказывает о чувстве, а не показывает его).

Резко отличает частушку от лирической песни четырёхстрочная строфа. Свойственный всей народной поэзии принцип показа чувства в его проявлении приобретает в частушке своеобразную форму: каждое четверостишие говорит о законченности такого проявления.

Подобное построение наблюдается во многих песнях М. Исаковского: в песне «И кто его знает» каждая строфа посвящена одному такому факту проявления общего чувства — «моргает», «вздыхает», «теркает», «намекает».

Частушка всегда состоит из двух музыкальных фраз, каждая из которых включает два стиха. Первый и третий стих обычно не рифмуются, ибо они являются серединой музыкальной фразы и прочность их создаётся мелодией.

Каждой музыкальной фразе в частушке обычно соответствует фраза текста. На таких двустихиях построены многие песни М. Исаковского: «Провожанье», «Лучше нету того цвету» и т. д.

Как правило, последнее двустихие в частушке и в песне Исаковского имеет самостоятельную синтаксическую структуру, своё подлежащее и сказуемое.

Как и частушке, песне М. Исаковского свойственно вынесение наиболее значительного в смысловом отношении текста во вторую половину четверостишия.

Афористичные концовки песен М. Исаковского составляют, как правило, два стиха.

В значительной части песен (особенно «Провожанье», «И кто его знает») последние две строки, как и в частушке, несут юмористическую функцию.

Как известно, народной поэзии свойствен юмор ситуации, юмор положения. Такой юмор развивает и М. Исаковский: «На-

до влево повернуть — повернул направо». На юморе ситуации построена вся песня «И кто его знает» («в каждой строчке только точки — догадайся, мол, сама»).

Но гораздо чаще в поэзии М. Исаковского встречается лексический юмор. Лексический юмор начал появляться ещё в частушке, где наиболее распространённым видом его являлось употребление «неуместных» или малознакомых слов:

Сидит милый на крыльце
С выраженьем на лице.
Выражает на лице,
Что сидит он на крыльце.

Я сидела на лужку
Писала тайности дружку,
Растакие тайности —
Люблю тебя до крайности.

Сходны с этим у М. Исаковского: «позелуй без разрешенья», «говорить по существу».

Характер использования юмора в советской массовой песне по сравнению с народной песней изменился.

В фольклоре существовал разрыв между грустной («долгой») песней и весёлой (шутливой, хороводной.) Подневольная, тяжёлая жизнь крестьянства не могла не отразиться в большом количестве «долгих» лирических песен. Но в то же время неиссякаемые силы народа, русский размах, жизнерадостность, давшие возможность выстоять против всех угнетателей, находили своё отражение в многочисленных плясовых, хороводных, шуточных песнях. Победа революции, создавшей условия для гармонического развития человеческой личности, привела к объединению этих жанров.

В песнях М. Исаковского выразилось новое миросозерцание народа: человек стал творцом своего счастья. Так, в песнях о безответной любви («Живёт у нас в посёлке», «Ой, цветёт калина» и др.) печаль девушки, которую не любят, органически сплетается с лёгким светлым юмором, источник которого — вера в то, что человек всё равно завоеует своё счастье.

Совершенно новое — оптимистическое — звучание приобрёл мотив разлуки в «Прощанье». Эта новая интонация возникает лагодаря задушевному лёгкому юмору, крашивающему песню. И юмор этот уместен, так как на войну уходит не один герой, покидающий плачущую одинокую не-

весту,¹ а оба героя. Они видят в жизни цель, смысл — жизнь обогащается новыми перспективами, героиня не останется «один на один» со своей бедою. Новое восприятие жизни, новое общественное положение героини обусловило и совершенно новый колорит песни (невозможный в старых рекрутских песнях): если любящие будут помнить и любить друг друга, то они обязательно встретятся, и письмо, отправленное «куда-нибудь», найдёт адресат. Эта непреложная вера во всемогущество человеческих желаний и определила светлый колорит песни о разлуке.

Юмор М. Исаковского основан не просто на игре слов, а на глубоком наполнении его всем смыслом стихотворения.

Юмор помогает созданию оптимистического, жизнеутверждающего колорита, определяющего образ советского человека — «хозяина суши и морей».

Юмористическая концовка, выражающая идею песни, часто превращается в афоризм, ибо несёт большую смысловую нагрузку и создаёт богатый поэтический образ.

Юмор не снижает образ героя, а придаёт ему жизненную убедительность, делает его более человечным и близким. Такое использование юмора имеет тем большее значение, что герой М. Исаковского индивидуализируется не по портрету, а по его поступкам и характеру (то есть по внутренним качествам).

Своеобразие М. Исаковского заключается в использовании юмора как средства раскрытия образа благородного, положительного героя.

Эта черта юмора не нашла отражения в учебниках по теории литературы, опирающихся на использование юмора критическим реализмом. Смех трактуется в них только, как «форма осознания того, что явление утратило свою жизненную значимость, хотя и претендует на неё»².

Юмор, как форма показа сдержанности чувства, определяемой чистотой его, составляет поэтическое своеобразие М. Исаковского. Никто до него не смог с такой

¹ Ср. «Ой ты поехав, мене покинув, сироту, на чужини, Плачу рыдаю, ты вспоминаю в кожине сеньку годину». (Н. И. Костомаров. Собрание сочинений. СПБ, 1905, кн. 8, т. XXI, стр. 958).

² Профессор Л. И. Тимофеев. Теория литературы. Учпедгиз, М. 1948, стр. 33.

теплотой, с такой доброй улыбкой передать чувство первой любви, застенчивость и скромность влюблённых.

Лирический замысел у М. Исаковского зачастую не высказывается прямо или не досказывается, а рассчитан на развитие его чувством слушателя. В песне «Снова замерло всё до рассвета» конец текста не является концом созданного в представлении слушателя лирического образа. Слушатель «домысливает» счастливую встречу гармониста и девушки. В песне «Шёл со службы пограничник» конец текста не означает конца действия, текст лишь наталкивает на подразумеваемое продолжение разговора. Подобный же «открытый» сюжет — в песнях «Пшеница золотая», «Уезжает девушка» и других. Эта устремлённость в будущее — одна из существенных причин успеха песенного творчества М. Исаковского.

Следует отметить ещё один приём, часто встречающийся в стихах М. Исаковского: включение в текст своей песни текста другой — народной или широко известной «литературной» песни. В стихотворении «Мать» описание подвига испанской девушки Лины заканчивается словами:

«По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд».

Это сразу создаёт у слушателя ощущение параллельности, общности того, что происходит в Испании, с тем, о чём говорит песня С. Алымова: гражданская война, народность этой войны, уверенность в победе над врагом.

В «Прощальной песне» включение слов похоронного марша революционеров («Вы жертвою пали») создаёт образ соратника В. И. Ленина, старого революционера, Н. К. Крупской, хотя о том, что Надежда Константиновна — старый революционер, в песне прямо не говорится.

Поэма «Песня о Родине» полностью построена на пересечении двух планов — народной песни, вызывающей определённые героические эмоции, и преломления этих эмоций в конкретной героической действительности наших дней.

Массовая песня в большей степени, чем любой другой поэтический жанр, требует сочетания конкретного образа с типичностью чувства. Песню поют миллионы людей. Поэтому чувство, выраженное в песне, не должно быть чрезмерно индивиду-

ализовано. Именно этим объясняется широкое употребление символики в народной лирической песне. Песня должна не рассказать о чувстве, а назвать его и выразить при помощи какой-то одной важной черты.

Созданию типического чувства при сохранении конкретного образа значительно способствует язык поэзии М. Исаковского. Новый советский писатель служит народу, пишет для народа, а не для группы эстетов и «ценителей». Поэтому писать следует только простым, типичным для всего народа языком. «Крестьянин любит самый обыкновенный, хороший, нормальный русский язык», — писал М. И. Калинин¹, характеризуя ответственность, которую писатель несёт перед читателями.

Язык М. Исаковского опирается на два лексических пласта: современный русский литературный язык и «классический» язык русского фольклора.

Красивы не слова сами по себе — красиво чувство, ими выражаемое, и это чувство облагораживает, поэтизирует слова.

Слова, которые произносит девушка в «Тропинке»: «мой знакомый», «вечеринка», взятые сами по себе, могут вызвать у слушателя представление о какой-нибудь мешаночке, но облагороженные всем смыслом песни, они становятся поэтическими и «высокими». В той же песне встречаются и слова другого лексического пласта: «положеньё», «разрешеньё», употреблённые как будто и не всерьёз, но звучащие в устах девушки тепло и искренно, ибо они согреты большим чувством.

Принципом отбора слов является не их «поэтичность» или «непоэтичность», а степень их характерности. Правильное чувство жизни позволяет М. Исаковскому, придавая особую выразительность каждому слову, создавать поэтические убедительные образы. Говоря о простом, искреннем чувстве народа, рисуя простых людей, поэт пользуется их языком.

С другой стороны, не всякая народность языка свидетельствует о народности песни, — важно чувство, изображаемое посредством этого языка. Песня Акулова «За дальнею околицей» создана «на тему М. Исаковского»: о том, как девушка ждёт приезда милого, который «уехал надолго»

¹ «М. И. Калинин о литературе». Сборник статей и высказываний. Лениздат, 1949, стр. 61.

в город и пишет «я скоро возвращусь». Слушателю неизвестно, что же он делает в городе — и песня теряет общественный смысл, становится обычным романсом о разлуке двух влюблённых, которая с таким же успехом могла быть описана и двадцать и сто лет назад. И сколько бы автор не выдумывал всяких «берёзенок», «соловухек», «невестушек», сколько бы он ни повторял «милый», «любимая» — песня по-прежнему далека от народа. Употребление уменьшительных суффиксов не приближает к народу — близким народу делает большое чувство. О подобных песнях Белинский писал в своё время: «тоскливое, усиленное желание быть народным есть первый признак отсутствия способности быть народным»¹.

Всё, что останавливает внимание на самом слове песни, всякая не только неясность, но даже необычность его отвлекает внимание от содержания. Лишь прозрачность языка даёт содержанию возможность действовать легко, сильно и художественно.

Поиски простых слов, наиболее точно выражающих чувство, определяют песню М. Исаковского. Часто в стихах М. Исаковского эпитет почти неразличим от простого определения («девичье лицо», «глаза твои больше»). Есть песни вообще без определений («Урожайная», «День и ночь прядут метели» и др.).

Герой его поэзии — труженик. Поэтому руки тружеников в песнях М. Исаковского приобретают особую выразительность.

Руки труженика Степана — «толковые». При виде «мастеров земли» поэту кажется, «что руки у них золотые». Новизна нашего труда неоднократно подчёркивается «руками молодыми» («Разговор на крыльце»).

От самой души поэта звучат гордые слова о Родине:

Да здравствуют руки её трудовые,
Да светится имя её!

Так простота и немногочисленность эпитетов создают эмоционально богатый поэтический образ.

Поэтика советской массовой лирической песни определяется прежде всего требованиями наибольшей полноты и доходчивости в передаче содержания.

Приём композиционного повтора (когда первая строфа или музыкальный период повторяются в конце) придаёт особую силу и убедительность ведущей теме песни, сохраняет её единое настроение.

В песне «Летят перелётные птицы» поэт создаёт глубоко поэтическую картину: осень, пустые поля, на юг тянутся птицы. И вот человек, находящийся наедине с самим собою, раскрывает самые сокровенные свои мысли — о Родине, которую он ни на что не променяет, о своём солдатском долге, о верности... То, что герой говорит это как бы про себя, не для других, придаёт песне особую силу и убедительность. Помогает этому и композиция песни.

Картина перелёта птиц на юг естественно вызывает мысль автора:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.

Далее в песне раскрывается политический смысл этого утверждения. Поэт говорит, что свои желания и надежды он всецело связал с судьбой своей Родины. Поэтому, повторяя в конце песни первый музыкальный период, он изменяет конец его в соответствии с наполнением его новым, политическим содержанием:

Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.

Если бы это утверждение стояло в начале песни, то оно было бы риторическим, не подкреплённым жизненным содержанием. Более убедительной является композиция песни, которую избрал автор. Сначала, провожая глазами птиц, лирический герой думает о юге и лишь затем переходит к осознанию того, что это — чужая земля, где и солнце — чужое.

Таково же значение композиционного повтора в «Где ж вы, где ж вы, очи карие».

Где ж вы, где ж вы, очи карие?
Где ж ты, мой родимый край?
Впереди — страна Болгария,
Позади — река Дунай...

Вспоминаем очи карие,
Тихий говор, звонкий смех...
Хороша страна Болгария,
А Россия лучше всех!

Сохранение общего лирического настроения первой строфы соединяется с политическим выводом. Развитие темы, таким образом, органически сливается с сохранением единого чувства песни.

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат, М. 1948, т. 2, стр. 709.

Политическая острота концовок («Чужая земля не нужна!», «А Россия лучше всех!») не повисает в воздухе, а естественно вытекает из ясного реалистического раскрытия темы, и потому приобретает большую смысловую действенность.

Композиционный повтор первой строфы не является свойством, присущим песням одного голько М. Исаковского. Он широко распространён во многих песнях без припева. Но в целом ряде песен («Думка», «Хороши весной в саду цветочки» С. Алымова) повтор не развивает тему песни, не двигает вперёд её чувство. Это объясняется бессюжетностью подобных песен. Только песня сюжетная, развивающая основную тему, придаёт повтору новое, более глубокое содержание, увеличивает его значимость.

Стремление к сюжетности лирики — характерная черта поэтики социалистического реализма.

Новая, социалистическая лирика, и, в первую очередь, лирика Маяковского, всегда сюжетна. Воспроизводя простые жизненные отношения, поэзия социалистического реализма показывает, как меняется старый строй чувств и создаётся новый, глубоко человеческий. Лирический герой нашей поэзии — всегда активен, он творчески проявляет себя в делах и поступках.

Новое видение мира и новый характер героя требуют сюжетности лирики, постоянного развития её темы. Раскрывает ли поэт своё «я» или показывает «объективного» героя, — он всегда даёт характер в развитии, в движении.

Сюжетность лирики следует понимать не только как движение событий, но и как непрерывное развитие переживания, нара-

стание лирического чувства, эмоционального подтекста.

«Все, или почти все, народные песни имеют свой сюжет, они о чём-то рассказывают, и это повышает интерес к песне», — замечает М. Исаковский («О современной песне»).

Использование народной поэтики в советской массовой песне — не поэтический приём, а факт народности художественного мышления поэта.

Простота, чёткость, ясность поэтического мастерства — результат чёткости и ясности его мировоззрения.

Рамки журнальной статьи не дают возможности подробно выяснить поэтическое своеобразие хотя бы нескольких поэтов-песенников. Поэтому мы по преимуществу ограничились разбором песен М. Исаковского, наиболее характерных для раскрытия народности современной массовой песни, в создании которой значительную роль играет творчество таких поэтов, как В. Лебедев-Кумач, А. Сурков, С. Алымов, Л. Ошанин, А. Жаров и др.

Каждый из этих поэтов отличается своей тематикой, своим художественным своеобразием, но все они объединяются одним: стремлением создать подлинно народную массовую песню.

В последние годы в песенной поэзии появились новые имена: А. Коваленков, Н. Рыленков, В. Бахнов и другие.

Всё это говорит о том, что советская массовая песня расцветёт в дальнейшем ещё ярче и богаче, ибо

Нам песня строить и жить помогает,
Она на крыльях к победе ведёт.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт.



АННА АНТОНОВСКАЯ

★

ЭПОХА В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

(О романе К. Гамсахурдиа „Давид Строитель“)

Советские исторические романы заслужили любовь и признание многомиллионных масс читателей. Различные по стилю и характеру изложения, они имеют и нечто общее в своей идейной основе — в большинстве своём они говорят о героическом прошлом наших народов, повествуют об их исторической роли, о значении единства и сплочённости народа в борьбе с иноземными захватчиками.

Автор исторического романа должен строго придерживаться исторических документов, ибо других возможностей для проникновения в отображаемую эпоху у него нет.

Думается, автора исторического романа можно приравнять к исследователю-археологу. Собрав светские и церковные летописи, он сопоставляет их с записями последующих книжников, монографиями придворных льстецов, жизнеописаниями монахов, опусами буржуазных историографов, не обходя, конечно, и народный эпос, воспеваящий славу минувших лет.

Только путём сопоставления самых различных, а зачастую и противоречивых документов, писатель может установить подлинность тех или иных фактов. Затем, естественно, тщательно отобранный материал должен быть подвергнут строгому анализу с точки зрения нашей передовой марксистско-ленинской науки.

Всякая идеализация прошлого, любование мнимой патриархальностью феодалов, «приподнятое», романтизированное изображение тиранов лишает «исторический» роман познавательной ценности.

Только марксистско-ленинская философия и историческая наука могут помочь автору исторического романа войти в жи-

вую историю прошлого, представив её не в виде мёртвых схем, а во всём многообразии, во всей диалектической закономерности её развития.

Советская историческая наука уделяет большое внимание одному из самых выдающихся правителей древней Грузии — Давиду IV. Крупный национальный деятель, горячий патриот и мудрый политик, царь Давид, прозванный Строителем за восстановление Грузии, разрушенной и сожжённой иноземными захватчиками, вписал яркую, оригинальную страницу во всеобщую историю политических учреждений феодализма.

В 1080 году Грузия подверглась опустошительному нашествию турок-сельджуков, беспощадно истреблявших мирное население.

«...старцы не вдушали варварам сострадания, женщины и девицы были опозорены; дети увозились в плен... Турки рассеялись по стране подобно саранче... В один день были сожжены Кутаиси, Артануджи и множество монастырей в Кларджети... убивали тех, которые искали спасения в лесах, горах и пещерах... вместо людей обитателями страны стали дикие звери. Огонь истребил все жилища, реки окрасились человеческой кровью». Так повествует об этой эпохе грузинский летописец.

В это тяжёлое время, когда сельджуки захватили большую часть территории Грузии, а сильно урезанное грузинское царство всё-таки продолжало платить непосильную, унижительную дань султану, на престол взошёл шестнадцатилетний Давид IV (1089—1125) И не только с внеш-

ним врагом пришлось с самого начала своего царствования бороться Давиду. Душители грузинского народа — феодалы, почувствовав сильную руку нового правителя, всячески противодействовали начинаниям царя, не гнушаясь даже сговором с врагом. Лишь благодаря тому, что мужественный грузинский народ не склонился перед кровавыми захватчиками, Давиду постепенно удалось собрать силы для борьбы за освобождение и объединение Грузии.

«Давид Строитель возвысился над всеми царями земли; его левая рука держала море, а правая покоилась на реках. В битвах он был подобен льву»... — говорит летописец.

Вполне оправдан и закономерен поэтому интересный замысел талантливого романиста К. Гамсахурдиа, пожелавшего отобразить жизнь и деятельность Давида Строителя. Но, к сожалению, в книге К. Гамсахурдиа трудно обнаружить исторически-схожий портрет «царя-героя» и сколь-нибудь удовлетворительное изображение его деятельности.

Общезвестно, что самым многочисленным сословием Грузии в эпоху становления Давида Строителя как создателя централизованного государства было крестьянство. Но несвободное крестьянство задыхалось в тисках земельной зависимости от феодалов, которые всегда умели ладить с внешним врагом, в силу чего их владения страдали в значительной степени меньше государственных. Крестьяне обязаны были платить феодалу натурой или деньгами (оброк) и бесплатно работать на земле помещика (барщина). Феодалная раздробленность страны и постоянные междоусобные войны князей ещё более усугубляли тяжёлое положение крестьянства, страдавшего от кровавых набегов захватчиков — сельджуков, которые при вторжении долта разоряли прежде всего крестьян.

Естественно, что при таких обстоятельствах стремление Давида Строителя создать централизованную феодальную монархию, обороняемую сильной регулярной армией, быстро нашло отклик как в самых широких слоях несвободного крестьянства, так и среди знауров — дворян (и наследственных землевладельцев, и служилых), немало терпевших от хищниче-

ской политики крупных феодалов. Горожане, торговцы и ремесленники, в свою очередь, были недовольны феодальной знатью, не желавшей поступиться своим господствующим положением и всячески противодействовавшей усилению центральной монархической власти. В условиях феодальной розни сильно тормозилось развитие торговли, опасными стали караванные пути царства, почти прекратился народнохозяйственный рост городов.

Эти важнейшие черты внутреннего положения Грузии К. Гамсахурдиа совершенно не отразил в своём романе.

Между тем автор прежде всего должен был показать, как Давид Строитель, выражая национальные интересы грузинского народа, провёл государственные преобразования, завершившие собою длительное развитие грузинской феодальной государственности от раздроблённых княжеств, «полугосударств», до централизованной монархии во главе с самодержавным царём. Ведь по сравнению с отжившей феодальной системой это было спасительным шагом вперёд. Затушеввал К. Гамсахурдиа и то, как Давид Строитель, обуздав непокорных феодалов и усилив центральную власть, объединил силы грузинского народа, как создал регулярное войско и повёл неустанную и героическую борьбу с иноземными захватчиками — сельджуками — за освобождение грузинских земель.

Всю социальную характеристику Давида IV К. Гамсахурдиа ограничил одной фразой, сказанной в первой книге романа: «Царь нищих и обездоленных». Автор придерживается этой характеристики и во второй книге. Но почему кое унижительное определение? Разве народ, грузинское крестьянство, яростно сопротивлявшееся кровавым захватчикам, походило на нищих? Откуда же Давид черпал свою богатырскую силу? К. Гамсахурдиа должно быть известно, что, полный гнева и решимости, народ бросал города, деревни, бросал своё достояние и уходил в неприступные горы, где под водительством Давида собирался в боевые дружины для борьбы с врагом. Очевидно, К. Гамсахурдиа далёк от понимания роли народа, как реальной движущей силы истории, и это помешало ему увидеть подлинный героизм крестьянства эпохи Давида Строителя.

Совершенно не показано автором и го-

родское население — купечество, ремесленники, зодчие, игравшие огромную роль в возрождающейся экономике страны. В романе отсутствуют быт, нравы, колорит городов. В «Давиде Строителе» не нарисован даже Кутаиси, бывший в то время столицей Грузии. Нет в романе и деревень с их особым укладом. Нет изображения монастырей, подвластных «чёрным князьям», этим хитроумным «утешителям» угнетаемого народа. Не раскрыты К. Гамсахурдиа и характерные стороны жизни мелкого служилого дворянства, на которое также опирался Давид Строитель. В общем — не показана Грузия XI века.

Таким образом, эпоха, которую пытается отобразить автор, читателю не ясна — события романа происходят как бы вне исторического времени, сам Давид IV на всём протяжении книги пребывает вне конкретного исторического бытия, вне связи с представителями широких слоёв населения, и его действия лишены чёткого логического обоснования.

Перед нами возникает не яркий реалистический образ Давида Строителя, не Агмашенебели — «зиждитель», как его прозвали в народе, не мудрый государственный муж, черпающий свои силы из родной почвы, а стилизованный анемичный персонаж, окружённый пышными аксессуарами придворной жизни, бледной тенью проходящий через тягучий сюжет.

Не лучше показана и полководческая деятельность Давида Строителя. Автор сосредоточил внимание на мелких стычках царя с сельджуками и на проведении им учебных манёвров грузинских войск — одни отряды обороняют, другие берут приступом Начармагевскую крепость.

Допустим, автор во второй книге решил отобразить только подготовку царя Давида к будущим походам и войнам. Тем более необходимо было хотя бы в главе «И по когтям узнаётся львёнок»¹ через показ манёвров раскрыть те своеобразные способы ведения войны, которые в дальнейшем применял Давид Строитель в своих победоносных сражениях.

¹ Константин Гамсахурдиа. Давид Строитель. Трилогия. Книга вторая. Авторизованный перевод с грузинского Г. Цагарели и В. Эльснер. Редактор В. Мачавариани. Изд. «Заря Востока». Тбилиси, 1949. (Все цитаты, приводимые в дальнейшем в статье, взяты из этой книги.)

В романе мы не встречаем художественно выписанных образов военных сподвижников царя Давида: полководцев, воинов. Нет в нём и живого диалога, хотя бы минимальных элементов народной речи с её метким здоровым юмором. Мало живописи батальной и пейзажной. Читатель с трудом преодолевает подробный сухой перечень тактических приёмов и обстоятельное описание передвижения Давидовых дружин.

Ещё менее удовлетворителен показ одной из основных государственных реформ Давида IV, направленной против церковных феодалов. Автор уделил достаточно много места враждебному отношению к Давиду Строителю со стороны высшего духовенства (епископ Кирион Манглиский, отец Василий, архиепископ Кутатели, Пирс Урбнели). Но отрицательно характеризует представителей церкви, описывая их пороки, К. Гамсахурдиа оставляет в стороне более значительные исторические причины, в силу которых решительная схватка Давида Строителя с церковными феодалами была неизбежна. Правда, аристократия церкви была сокрушена Давидом Строителем несколько позднее, а именно — через четыре года после описываемых в романе событий. В 1103 году на Ружско-Урбнском соборе Давиду удалось отрешить от управления церковью епископов, занимавших должности в силу потомственных привилегий своего рода, а не благодаря личным качествам и заслугам; не считаясь с происхождением, он поставил на их место достойных и просвещённых лиц. Но ведь эта победа Давида IV над церковными феодалами не могла прийти сама по себе, она явилась следствием огромной подготовительной работы царя, опиравшегося на передовые для своего времени слои общества. Никаких связанных с этим сюжетных коллизий в книге К. Гамсахурдиа мы не обнаруживаем.

По данным исторических хроник, Давид Строитель скептически относился ко многому из того, что церковники считали непреложной истиной. Так, используя религиозные догмы, грузинское и армянское духовенство пыталось посеять вражду между грузинами и армянами, но натолкнулось на решительное противодействие Давида Строителя, выступившего на соборе церковников с призывом к братскому единению грузинского и армянского народов.

«Святые отцы! Вы, как философы, вошли в такую глубину непостижимых вопросов, что простые миряне никогда не поймут их, а я также, стоя во главе народа, не в состоянии понять высокие идеи ваши, и будет полезнее остаться каждой стороне спокойной в своём мнении. Но помните, что Картлос и Аос были братья и брат брату».¹

В отношении магометанских племён царь Давид проводил твёрдую политику религиозной и национальной терпимости. В романе этому историческому факту большого значения посвящено лишь одно беглое сообщение: «Царь постоянно копается в арабских рукописях, а Махара читает ему коран и потому он так благосклонен к Магомету».

Автор не счёл нужным раскрыть читателю, что такая терпимость была продиктована не только гуманизмом, присущим Давиду Строителю, но и сугубо сложным политическим положением Грузии, требовавшим величайшей осторожности и такта в отношении к иным племенам и народам.

Невольно напрашивается вывод, что взятый К. Гамсахурдиа исторический материал не осмыслен критически и не проанализирован с точки зрения марксистско-ленинской философии. А без применения этого могучего оружия история остаётся безжизненной принадлежностью архивов. Ещё великий русский критик и революционный демократ Белинский сказал, что «философия есть душа и смысл истории, а история есть живое, практическое проявление философии в событиях и фактах»².

Как следствие идейно-художественных ошибок автора, в его романе действуют не реальные исторические лица, представляющие свою родину — Грузию, не мужественные патриоты, приобщившиеся к высокой культуре раннего ренессанса и сумевшие отразить натиск могущественной сельджуковской державы, а схемы, обряжённые в исторические одеяния.

Художественно невыразительны главные действующие лица произведения: Нианиа Бакуриани, эристав Джонди и Георгий

¹ С. Баратов. «Древняя история Грузии», СПб, 1835, тетрадь IV—V, стр. 28. (Картлос и Аос — мифические предки грузинского и армянского народов. — А. А.).

² В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат, М. 1948. Том 2, стр. 227.

Чкондидели. Но ведь Джонди и Нианиа отведена в романе важная роль. Они посланы царём разведать положение дел в Византии. Никакими необходимыми для выполнения этой задачи качествами посланцы не наделены.

Нианиа Бакуриани появляется главным образом в лирических сценах (он влюблён в царицу Мариам) или в сценах рыцарских поединков. А эристав Джонди, которому царь Давид повелел прослужить год в византийских войсках, дабы обогатить свой военный опыт и одновременно сообщать царю о событиях, происходящих на западе, по воле автора не выполняет приказания царя, но почему-то берётся за поручение «прекрасной» Мариам и переправляется через Босфор, сопровождая в Никие бывшую царицу Русудан, которую автор без особых на то причин упрямо толкает в самое пекло сражений. В романе ей не отведено никакой действительной роли, но она назойливо появляется на его страницах, тормозя и без того тяжело развёртывающийся сюжет.

Бледны и второстепенные персонажи книги: эристав Гурам, спасалары Шергил, Джоджики, Бешкен, Кариман Сатиели и многие другие. Все они лишены индивидуальных черт, характеры их не раскрыты, их можно различать лишь по именам.

Коренные недостатки исторической концепции в полной мере отразились и на построении сюжета. Пренебрегая критическим исследованием социально-экономических предпосылок преобразований Давида Строителя, автор в первой половине романа всё же повествует о Давиде Строителе. Но в центре повествования здесь почему-то оказывается личная жизнь Давида.

Дедисмеди, дочь владельца Триалетского эриставства — Липарита Орбелиани и Давид любят друг друга. В первой книге К. Гамсахурдиа рассказал, что юный царь Давид должен был жениться на любимой девушке, но его неожиданно (и для читателя непонятно, когда и где) обвенчали с уродливой армянской царевной Русудан, которая после рождения сына, отвергнутая Давидом, вынуждена была уйти в монастырь.

Давид снова стал думать о Дедисмеди, но вековая вражда между царским домом и Триалетским эриставством то приближала царя к невесте, то отдаляла его.

Ещё в первой книге романа К. Гамсахурдиа подробно описал, как Липарит и сын его Рати, гостя у царя Давида Строителя в Гегути, составили со своими единомышленниками заговор против Давида. План прост: заманить Давида в Триалети якобы для обручения с Дедисимеди, убить его там и старшему Липариту объявить себя царём Грузии.

Заговор раскрыл Махара, случайно подслушавший (сидя в шкафу) весь сговор. Одновременно из перехваченного письма Давид узнал о тесной связи Липаритов с сельджуками. Эти кровавые угнетатели Грузии поддерживали план Липаритов и обещали прислать им воинскую помощь. Кроме того, султан Бархиарок намеревался для закрепления дружбы с будущим царём Грузии женить своего сына на Дедисимеди. Обо всём этом знала жена Липарита Ката, присутствовавшая на совещании заговорщиков, и вполне одобряла готовившееся преступление. Догадывалась и Дедисимеди, которая тайно поведала Давиду об угрожающей ему опасности и в слезах умоляла его не приезжать в Триалети.

Но царь Давид поступил иначе: окончательно убедившись в измене Липарита, он отправился в его владения, пленил изменника и, одев на него кандалы, бросил в темницу, а Рати бежал и заперся в крепости, осаждённой войсками Давида Строителя.

Казалось, всё ясно. Но тут-то во второй книге и начинается туман.

Прежде всего вызывает недоумение несуразное поведение Ката, жены Липарита.

Царь Давид пошёл войной на Липарита и овладел Триалетским эриставством. Победоносно войдя в резиденцию Липаритов, царь с приближёнными и частью войска расположился в замке побеждённого врага. А Ката, словно не замечая происходящего, сетует:

«— Ах, если бы императрица Марнам находилась здесь, всё бы устроилось... Я — мать девушки, батоно Гуарам, и разве мне пристойно просить Давида: «Обручись с моей дочерью!» Ты в почтенном возрасте и наш близкий родственник. Но ведь и ты не обратишься к царю с такой просьбой. Её несчастная няня, и та не находит себе места, батоно Гуарам. Я едва в силах её удержать. Она говорит: пойду, кинусь к

ногам царя и скажу: «Если считаешь, что наша любимица достойна тебя, обручись с ней. Если же нет, оставь нас и не позорь нашу семью на весь мир!»

Сейчас мой ангел болен. Если богу будет угодно, Дедисимеди скоро поправится. Что из того, что её жених — царь? Разве слыхано, чтобы под одной крышей жили необвенчанная девушка-невеста и жених? И без того имя наше на устах у злоязычников. Ко мне и так пристают: «Неужели царь ни разу не пытался навестить невесту?» Одного из них я жестоко отчитала.

Гуарам не знал, как утешить отчаявшуюся мать».

Можно подумать, что К. Гамсахурдиа вместе с Ката не понимают всего происходящего во владениях государственного преступника и ведут себя подобно хозяевам, недобровольным поведением гостя.

Приходится констатировать, что К. Гамсахурдиа никак не воспользовался им же самим избранной сюжетной коллизией, пренебрёг интересной ситуацией и упростил подлинный драматизм переживаний юного царя. Автор неоправданно заменил бурную, насыщенную страстями и страданиями личную жизнь Давида анемичными и ходульными фразами.

Таким образом, из первой части второй книги романа мы узнаём не столько о лучшей государственной деятельности героя и не столько о тех средствах, которые помогли ему усмирить непокорных «полуцарей» Триалетского эриставства, сколько о чудачествах жены Липарита и довольно остроумных проделках Махара, который, не занимая никакого официального положения при царе, из личной преданности Давиду оберегает его интересы — государственные и сердечные.

К слову сказать, образы уродливого скопца Махара, обжоры Хахутая и слепца Атанаса выписаны автором с большой тщательностью и симпатией, хотя значительные исторические личности заслуживали внимания романиста отнюдь не менее, чем эти второстепенные персонажи.

На 149-й странице повествования Давид Строитель исчезает совершенно. Таким образом, из 331 страницы только 170 (включая финальный эпизод) отведены основной теме. Начиная со второй половины книги и дальше, почти до последней главы, развёртывается архаизированное описа-

ние византийского двора, заговора против Алексея Комнена, первого крестового похода, дел и распрей в сельджукском султанате.

Здесь автору надлежало быть особенно зорким, ибо некоторые историки приписывали военные успехи Давида Строителя в значительной степени изменениям внешнеполитической обстановки в пользу Грузии — потрясениям в сельджукском султанате и его ослаблению в результате первого крестового похода. Безусловно, удачному началу военных предприятий Давида Строителя способствовали победа крестоносцев и греков в Малой Азии, занятие франками Антиохии и Иерусалима. Но сельджуки вскоре оправились от нанесённых им ударов и перешли в контрнаступление на Византию. Таким образом, как подтверждают исторические факты, основной причиной политических и военных успехов Давида IV явились объединённые им силы грузинского народа.

Отводя слишком много места и внимания крестовому походу, К. Гамсахурдиа не анализирует его с точки зрения нашей передовой исторической науки. Автор пишет, что «папы, епископы, аббаты и миссионеры неустанно напоминали в проповедях своей пастве, что христианский мир ожидают великие испытания со стороны незерных, что сельджуки разорили Иерусалим и если бы «двенадцать ангельских легионов не защищали гроб господень», турки осквернили бы и его»... и что «папа принял прибывших из Иерусалима паломников, которые рассказали ему о страданиях, причинённых им турками во время паломничества в Иерусалим».

Узнаём мы и о красноречивых призывах Урбана II: «В чьих руках сейчас храм «Успения богородицы», где покоится прах Марии? Кто осквернил церковь, построенную Соломоном?»... «Вспомните стих псалма: «Язычники завладели достоянием предков твоих». Христиане, слушайте стих псалма: «Опоясайся мечом!».

Но нигде на протяжении всего романа мы не встречаем указаний, что главной причиной крестовых походов было стремление папского престола, итальянских торговых республик (Венеция, Генуя) и государств центральной Европы нанести контрудар сельджукской империи. Причём одни из этих государств боролись за гегемонию

в Юго-Восточной Европе, другие, оснащённые итальянским торговым капиталом, стремились, в целях защиты своих торговых интересов, к обладанию Средиземноморским бассейном.

Нетерпимое обращение сельджуков с христианами-паломниками было не причиной, а лишь внешним поводом для первого крестового похода западных стран. Под предлогом обороны христианских святынь в занятой сельджуками Палестине европейские государства стремились к захвату новых территорий, к захвату богатств Ближнего Востока и обеспечению морских и сухопутных дорог для своих кораблей и для своих караванов.

Грузия, находившаяся на древнейшем магистральном западноазиатском торговом пути, естественно, повесела тяжёлый экономический урон от сельджукской агрессии. Крестовый поход способствовал не только политической и военной активизации страны, но и оживлению её дипломатической деятельности. Лишь при условии раскрытия тесной взаимосвязи всех этих явлений описание крестового похода органически вплелось бы в сюжетную ткань романа. У К. Гамсахурдиа получилась обратная картина: исторические материалы, относящиеся к Византии, западноевропейским странам и сельджукскому султанату, вытеснили основную тему повествования, а заодно — и показ деятельности Давида Строителя. Правда, в заключительной главе «О том, как фазан звал во мраке зарю» — К. Гамсахурдиа снова уделит некоторое внимание Давиду Строителю, и мы узнали, что, пока действие второй половины романа протекало в Византии, в стане крестоносцев и в сельджукском султанате, царь попрежнему находился в Липаритис-убани, владении Липарита (в Триалетии). Потом, благодаря вылетевшему из заповедника самцу-фазану, царь встречается с любимой им Дедисмеди, и из их диалога читатель узнаёт о том, о чём должен был бы поведать нам весь роман в целом: что и как пережил и сделал царь Давид в то время, как автор был занят Византией, крестоносцами и сельджуками:

«— Теперь я так или иначе спокоен. Ты знаешь, что прошло достаточно времени с тех пор, как я занял Триалети. До сих пор я, не зная ни сна, ни отдыха, обучал

войска, исправлял дороги, укреплял крепости. По ночам разъезжал с чухчами, ловил сельджукских разведчиков и лично допрашивал их.

В шалашах, в пастушьих стойбищах, на мельницах и в разрушенных церквях проводил я ночи вместе с моими чухчами и спасаларами, седло мне служило подушкой, а моя шуба — постелью.

Каждый день и каждую минуту я был готов дать отпор вторгнувшемуся врагу.

...Теперь я себя чувствую спокойнее. Как сообщают мои доверенные люди из Константинополя, Исфагачи и Багдада, я уже не одинок перед врагами нашей страны.

Я получил письмо от Ниэнии Бакуриани вчера ночью. Оно меня радует и обнадеживает. Малую Азию захватили франки, усилились неурядицы и восстания в странах, лежащих по ту сторону Каспия, в Иране и Месопотамии. Турки кормят львов в Багдаде мясом своих единоплеменников... Поэтому... — сказал царь и замолчал.

— А что «поэтому»?

— Если бы я не встретил тебя сегодня, в будущую субботу я посетил бы твою мать...».

При этом же свидании Давид Строитель, ещё сильнее полюбивший Дедисимеди, спешит обрадовать её своим решением освободить её отца Липарита и простить брата Рати.

В этот же последний вечер Махара сообщает царю о прибытии из Антиохии монаха Антимоза, посланного эриставом Джонди. И тут «под занавес» царь узнаёт о поражении атабега Кербога под стенами Антиохии и о желании своих полководцев, которым надоели манёвры, тоже вступить в войну с сельджуками.

«Давид снял доспехи, лёг и ворочался с боку на бок, не зная, на какого врага замахнуться в первую очередь мечом Багратидов...»

Во дворе замка лаяли волкодавы, не смолкали мюканье рысей и вой шакалов. Временами ночные стражи сдержанно свистели.

Наконец всё утихло. Только царь бодрствовал до самого рассвета и слышал, как во мраке фазан-самец призывал зарю.

Явно неуместная символика!

Читая роман К. Гамсахурдиа, можно подумать, что не автор владеет историческим материалом, а материал распоряжается автором. Создаётся впечатление, что писателя увлекает описание ради описания, нанизывание всё новых и новых экзотических деталей, фактов, имён.

Автор подробно излагает множество столкновений, интриг, происходящих в процессе борьбы сельджукских амиров за первенство.

За описанием восстания амиров следует подробное изложение смуты, поднятой ассасинами. Затем султан Бархиарок избивает ассасинов и кидает их тела на съедение львам. Следует приписка: «Против султана Бархиарока теперь точит меч его брат Мохамед. У нас кончилась бумага, и в следующем письме мы сообщим об его интригах».

Далее в повествовании происходит невероятная суতোлка. В чехарде имён порой совершенно невозможно разобраться. Так, автор пишет:

«Она обещала, что выйдет замуж за владельца Адарбагана Котб Эддин Исмаил бен Якута, если он выступит против Бархиарока».

Атабал Кербога, Исмаил бен Якут и остальные амиры вступили у Караджи в бой с Бархиароком.

Но Бархиарок одержал победу, и Исмаил бен Якут бежал в Исфагань. Тюркан-Хатун провозгласила в честь бен Якута в мечетях хутбу.

В конце концов амиры стали враждовать с Исмаилом бен Якутом, и он бежал из Исфагани к Бархиароку и начал просить Зобенду-ханум помирить его с ним. Но возмущённые амиры, его прежние сторонники, напали на Исмаила бен Якута ночью и задушили его тетивой.

Между тем Бархиарок взял Нисиб, привёл на свою сторону амиров Бузана и Аксонкора и двинулся на Алеппо. Тутуш отступил и засел в Дамасской крепости...»

Или:

«Кербоге подчинялись амиры — Радуан, Декак из Дамаска и Токтекин, владетель Иерусалима — Наджм Алдин Иль-Гази и брат его — Сукман, амир Эдесы — Джанад Эд-Даула, Мухаммед бен Веттаб...»

Или:

«Между тем монахи, прибывшие с горы Синай, сообщили, что в Исфагани и Баг-

даде всё ещё не улеглось восстание. Заодно монах Доримидон передал Давиду, что Нианию Бакуриани выкупили люди императрицы Мариаи. По дороге же из Багдада в Исфгань его захватил саранг Тюркан-Хатун Кербога. Но за Нианию вступился сын Низама аль-Мулька и племянницы Баграта Куропалата — Абу Абдала Гусейн...»

Или:

«В Исфгани Тюркан-Хатун щедро расплатилась с войском. Наконец, в Луристане мачеха и пасынок столкнулись. Войском Хатун предводительствовали Кербога, Омар и Комадж. На третий день сражения некоторые саранги Тюркан-Хатун заколебались, и к Бархиароку примкнули Осман Ильберди и Кумучтекин Элджандар...»

Подобных примеров можно привести множество.

Автор злоупотребляет перечислениями имён без всякой надобности. На всём протяжении романа появляются и исчезают имена военачальников, владельцев, монахов, придворных князей. Со страницы 149 начинается поток фамилий греческих. Со 163 страницы, где начинается история султана Бархиарока, идёт перечисление всё новых и новых имён, уже сельджукских. Затем следует изобилие имён рыцарей-крестоносцев (стр. 203, 212—214, 217—222). На страницах 223—228 вновь изобилие турецких имён и далее в том же роде. Многие из носителей этих имён упоминаются только один раз и исчезают бесследно, как тени. Какой же смысл загромождать ими роман?

Поговорив о сельджуках, автор (без всякой последовательности) вновь возвращается к описанию действий крестоносцев под Антиохией. Ткань произведения всё больше расползается, действие романа дробится. Следуют десятки страниц с описанием неудач и бедствий крестоносцев.

Стоит несколько задержаться на эпизоде «Христово копье», ибо, как уверяет К. Гамсахурдия, «озорство», проявленное в этом случае эриставом Джонди, способствовало исторической победе крестоносцев под Антиохией.

«Джонди достал из сундука копье, которое он отобрал у турок при стычке у «Чёртовых скал». Накинув на себя про-

стыню, он подошёл к Петрусу... Джонди коснулся старика острием копья...

— Вот то копье, которым была нанесена рана спасителю. Встань, Петрус, и извести воинство Христово, чтобы это копье извлекли из гробницы св. Петра. Пусть понесут его впереди воинства и оно обратит в бегство неверных».

Затем Джонди отнёс копье в подвал и положил его в саркофаг, выбросив из него капканы обжоры Хахутая, с помощью которых тот ловил крыс для своих ужиков.

Следует длинный и полный нелепостей рассказ о том, как благодаря «Христову копью», найденному эриставом Джонди, крестоносцы воспламенились, решили покончить с разбоем, воровством и развратом и, под командой герцога Боэмунда, разбить атабега Кербога, осадившего Антиохию.

Прежде чем перейти к рассмотрению этого эпизода с точки зрения элементарной логики, следует отметить, что К. Гамсахурдия совершенно недопустимо искажил в нём исторический факт, приведённый в своё время К. Марксом:

«Июнь 1098: ...Капеллан Раймунда Провансальского Пётр (не дуралей из Амьена) находит (?) копье, которым был пронзён Христос—очень вовремя! Под защитой этого копья, через 26 дней после начала осады, была сделана вылазка (во главе с копьем!), тяжёлая пехота дралась против турецкой конницы. Крестоносцы победили, овладели турецким лагерем и так далее. Антиохия очутилась теперь в руках Боэмунда»¹.

Таким образом, Гамсахурдия, ничтоже сумняшеся, любезно приписал своему «озорнику» Джонди дела исторических пройдох, описанных К. Марксом.

Но даже если бы в истории первого Крестового похода и не существовало данного факта и не было бы о нём высказываний К. Маркса, возможно ли поверить, чтобы такие опытные вояки первого Крестового похода, как граф Этьен де Блуа, Гуго де Вермандуа, граф Раймонд Тулузский, герцог Боэмунд, Роберт Нормандский, Готфрид Бульонский и им подобные не заметили, что подсунутое им «Христо-

¹ «Архив Маркса и Энгельса». Том V. Госполитиздат, М. 1938, стр. 124, 125.

во копьё» как две капли воды похоже на те трофейные турецкие копья, которые во множестве находились в стане крестоносцев? Ещё менее вероятно, чтобы епископы и соим священников не сумели сообщить, что это турецкое копьё отделяют от евангелического копья одиннадцать веков. Мы знаем за духовенством и не такие проделки, знаем, на какие «благочестивые» хитрости пускались иерархи церкви ради порабощения своей паствы и разжигания религиозного фанатизма, и, конечно, их этаким «озорством» не поддешь.

Если же автор, действительно не ведая о записи К. Маркса, решил использовать исторический факт, дав ему вольную интерпретацию, то было бы остроумнее и правдоподобнее построить эпизод на покаянии двойного жульничества, на изображении того, как епископы использовали обман Джонди и погнажи невежественных фанатиков на верную смерть. Вместо всего этого К. Гамсахурдиа вполне серьёзно преподносит читателю незатейливую небылицу о том, как эристав Джонди «втихомолку смеялся, радуясь тому, что его озорство принесло хорошие плоды».

Мы отнюдь не берём под защиту рыцарей-крестоносцев, этих искателей приключений, фанатиков, авантюристов, любителей лёгкой наживы — они были орудием в руках западноевропейского торгового капитала, пробивая ему прямую дорогу на богатый тогда Восток. Однако писатель не имеет никаких оснований для того, чтобы рисовать всех без исключения крестоносцев одной чёрной краской. Этот приём лежит вне реализма, вне жизненной правды. Не могут сотни тысяч людей быть наделены одинаковыми характерами, одинаковым поведением, одинаковыми мыслями и чувствами. В своей работе о крестовом походе К. Маркс так дифференцирует крестоносцев:

«Пётр Амьенский — глупый, как осёл, пустынный, нормандец по происхождению»¹, а, как указано выше, «Капеллан Раймунда Провансальского Пётр (не дуралей из Амьена)...»

К. Гамсахурдиа нивелирует всех крестоносцев:

«Неотёсаннные, грубые крестоносцы, зве-

ня шпорами, останаэливались по дороге и без всякого стеснения глаэели на неё (Мариам. — А. А.) в упор.

Пьяный франк в кольчуге кинулся к императрице с криком: «*Charmante!*»

Нияния взял обоими руками пьяного, поднял и бросил его в сторону».

И несколько дальше:

«Гнев охватил Бакуриани, смотревшего на эту сцену. Он подскочил к трём рыцарям, двух ударил в живот локтями и зачихнул их, как бурдюки, под стол.

Третий успел выхватить меч и кинулся на Бакуриани. Тот обернул руку полою кожаного кафтана, вырвал оружие у рыцаря и, как кусок льда, обломал об его голову клинок, выкованный в Ферраре».

Там, где нельзя оглушить и окарикатурить крестоносцев прямым показом, автор прибегает к приёму отражения. На площади маски изображают защитников гроба господня:

«Перед зрителями появляется Вильгельм Шарпантье — «Иосиф плотник». На нём словно с чужого плеча, латы и наколенники.

Этот неуклюжий рыцарь угловат и «словно вырезан из дерева».

«Деус ле вольт!» — орёт Иосиф плотник.

Его доспехи звенят, а из горла вырывается дикое рычание».

«А вот появляется и Вальтер Голяк. Он в крестьянских постолах. Из-под лат виднеется рваная, грязная рубашка.

Волосы у него взъерошенные, спутанные и грязные. Временами он запускает подмышку руку и извлекает оттуда вшей. Он давит их на ногте большого пальца, восклицая: «Так хочет бог!»

Затем плетётся сидящий на осле Пётр Пустынный. Глаза у него блестят по-волчьему. Волчьего же цвета борода перекрывает его нагрудник. Он сидит на обшпанном осле.

Обнажает меч невзрачный человек, сидящий на загнанном осле, крича: «Деус ле вольт», а актёр, исполняющий роль осла, испускает страшный рёв».

Зачем понадобилось автору огульное окарикатуривание всех без исключения крестоносцев?

Одной из самых крупных идейно-политических ошибок автора является полное

¹ «Архив Маркса и Энгельса». Том V. Госполитиздат, М. 1933, стр. 122.

игнорирование *тм* значения Киевской Руси. В романе нет даже намёка на то, что Русь в отображаемую автором эпоху уже завоевала себе надлежащее место во всемирной истории. Достаточно вспомнить, какое значение придавал К. Маркс киевскому периоду в истории Восточной Европы:

«Как империя Карла Великого предшествует образованию Франции, Германии и Италии, так империя Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, балтийских поселений, Турции и самого Московского государства»¹.

Так понимал Карл Маркс международное историческое значение Киевского государства. Киевский период — важнейший этап не только в истории восточного славянства, но и народов неславянских, образовавших позднее свои государства на землях, в той или иной мере входивших в состав Киевского государства.

Что касается связей Руси с Западной Европой, то они издревле были постоянными. Сношения с Германией шли уже при княгине Ольге. В 1075 году к Святославу Ярославичу приезжало посольство Генриха IV, императора германского. Русь поддерживала связи и с Чехией, и с Венгрией, и даже с отдалённой Францией, но особенно тесные отношения были с Византией и скандинавскими странами. Место Киевского государства в системе европейских государств видно и из родственных связей русского великокняжеского дома с европейскими и византийскими дворами. В частности, Всеволод, сын Ярослава Мудрого, был женат на византийской царице, дочери императора Константина Мономаха.

Ни в X, ни в XI веке Киев не был изолирован ни от европейских стран, ни от Византии и Востока.

Летописи — весьма ранние — удостоверяют сношения России с Кавказом. В частности, Изяслав I (1154 г.) женился на княжне Абазинской (абхазской).

Представляется крайне странным, почему К. Гамсахурдия с такой настойчивостью игнорирует и русско-половецко-грузинскую проблему, имевшую на том отрезке времени первостепенное значение.

¹ К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века.

Вместо разработки этой проблемы в сюжете, автор в главе «Письмо из Шарагана» устами цилканского епископа Стефана характеризует всех половцев так:

«У кипчагов (половцев. — А. А.) очень много скота, а ещё больше — насекомых. Поэтому те, кто не чешется, считаются невоспитанными»...

«Для кипчагов убедительно только множественное число, например, стадо овец и коз. Сами они тоже размножаются, как овцы».

«Длиннобородые мужчины в высоких шапках здесь в большом почёте. Думают, что длина бороды и высота шапки определяют ум человека».

Остальное — в том же роде: смесь анекдотических сведений о суевнях кипчагов с суевным ужасом перед ними доstopочтенного епископа.

«— Вот какой народ хочет переселить к нам Давид, — со злорадством сказал Георгий (отец Давида. — А. А.).

— Если мы пустим в Грузию этих кипчагов, мы загубим себя и попадём в ад: они опоганят нашу веру и развратят народ.

— Конечно, попадём в ад, имея их под божком! — злорадно подтвердил Кутатели (епископ. — А. А.).

— Отыди, дьявол, отыди, сатана! — повторял, отплёвываясь, царь Георгий».

Обрисовывая половцев — устами своих героев — только в отрицательном плане, автор, очевидно, запомнил, что из половцев Давид Строитель создал регулярное войско, которое помогло ему отвоевать у сельджукских захватчиков грузинскую землю.

Кроме неуважительных и грубых анекдотов, о кипчагах-половцах в романе нет ни одного слова. А ведь именно половцы и их история давали возможность автору осветить связи грузин и русских.

Нельзя замалчивать исторические факты. Как известно, в 1091 году Васильк Ростиславич пришёл вместе с половецкими ханами Тугорканом и Боняком на помощь Византии. Русский пятитысячный отряд помог императору Алексею Комнени разбить печенегов, чем устроил не только своих врагов, но и временных союзников — половцев. Об этом, безусловно, знал и Давид Строитель, и те грузины, которые находились в это время в Констан-

тинополе. По воле же К. Гамсахурдиа они видели представителей всех европейских стран, а представителей Киевской Руси, единой по отношению к Византии и Грузии, так и не заметили. Впрочем, очевидно отдавая дань времени, автор на 238 странице всё же мимоходом обронил:

«Народ возвращался от пристани в город — шли греки, сербы, русские, валахи, болгары и варяги».

Но в таком случае, почему же К. Гамсахурдиа не заинтересовался, зачем шли в Константинополь русские? Какие цели (торговые, политические, военные) преследовали они в столице Византии?

Позиция автора уже потому странна, что, вознамерившись использовать половцев как военную силу против сельджуков, такой государственный деятель, как Давид Строитель, не мог не повести и соответствующую военную и дипломатическую разведку. Давид внимательно следил за действиями половецких ханов не только на Северном Кавказе, но и в Византии, куда, как сказано выше, вместе с половцами пришли русские. И тем более Давид не мог не знать, что в 1096 году (в эпоху, описываемую во второй книге), когда великий князь Владимир был занят междоусобной войной с Олегом Святославичем, половцы воспользовались удобным случаем и усилили свои набеги на Киевскую Русь. Свирепый хан Боняк (тот самый, что был в Византии) разорил правый берег Днепра. Так начались защитительные победоносные войны Владимира Мономаха с половцами, часть которых под его давлением откочевала на Северный Кавказ¹.

А по мысли автора выходит, что всего этого и в помине не было.

Умалчивая о взаимной связи народов, писатель искажает историческую правду. Нельзя повествовать о Византии, о Западных странах, о странах Малой Азии так, будто за поселениями половцев на Северном Кавказе простиралась некая

¹ Как утверждает история, Давид Строитель воспользовался при этом затруднительным положением половцев, и по его инициативе часть их (45 тысяч семей) была поселена в Грузии, где и составила войско под начальством половецкого хана, на дочери которого женился Давид Строитель.

безлюдная ледяная равнина, а не Русь, где трудолюбивый и мужественный народ уже в то время развивал свою государственность.

Неправильная позиция К. Гамсахурдиа в вопросе освещения роли России в истории народов Кавказа (XI—XII вв.) привела к тому, что он в своё время упорно отрицал даже возможность постановки этого вопроса¹.

Не показав исторические связи грузинского народа с соседними кавказскими народами, автор тем самым отказался от решения одной из важнейших задач, стоявших перед ним, как перед романистом исторического жанра.

К недочётам романа следует отнести и архаичность стиля, отсутствие плавности в повествовании — оно идёт прерывисто, скачками, одна тема тутчас сменяется другой. Но динамики автор не достигает. Неоднократно перенося действие из одного места в другое без прочной сюжетной взаимосвязи основных действующих лиц, автор расслабляет сюжет. На романе лежит отпечаток аморфности, вялости, раздвоенности. Почти независимые друг от друга, части романа связаны между собой только непрочной нитью.

Заканчиваешь чтение второй книги «Давид Строитель» Константи́на Гамсахурдиа — и невольно возникает вопрос: в чём основная причина неудачи, постигшей романиста?

Безусловно в том, что, стремясь воссоздать в художественной форме великие события прошлого, он не построил работу воображения на строго научном исследовании изображаемой им эпохи. Ведь только сочетав науку и искусство, можно решить ту основную задачу, стоящую перед романистом, которую так отчётливо сформулировал Белинский:

«Задача романа, как художественного произведения, есть совлечь всё случайное с ежедневной жизни и с исторических событий, проникнуть до их сокровенного сердца — до животворной идеи, сделать сосудом духа и разума внешнее и разрозненное».

...Исторический роман есть как бы точка, в которой история, как наука, сли-

¹ См. «Новый мир», № 4—5 за 1946 год. «Ответ рецензенту», Константи́н Гамсахурдиа.

вается с искусством; есть дополнение истории, её другая сторона...»¹.

Рецензируемый русский текст романа авторизован. Приходится удивляться, как К. Гамсахурдиа мог допустить такое количество стилистических погрешностей, такую неряшливость слога.

Ограничимся несколькими иллюстрациями:

«...Царь ездит на кобыле сливовой масти, которую зовут Сквитга...», «...саранги Малик-шаха подошли к Алгети... они подошли к железной двери... ни один из них не подошёл к замку... они подошли к дубовой двери...», «...Давид выступил с маргветским отрядом, не взяв с собою Гуарама, и тот невольно подумал: «Видимо, повелитель собирается взять Тбилиси».

В тексте романа немало нелепо-эстетизированных сравнений, эпитетов и уподоблений и просто нелепых выражений: «На фоне крапчатого, как лосось, неба»; «...и иракскую парчу... цвета иволги»; «у него шлем с забралом цвета коршуна»; «...на нём был кафтан цвета фазана»; «...горы были цвета марева...». «Один потушил ночник. Второй повалил его. А третий пронзил его (ночника?—А. А.) горло мечом». У Ниании, влюблённого в императрицу, появляется четвероногий соперник: «Ниания снова стегнул своего жеребца и теперь его отделяло от соперника (коня императрицы. — А. А.) расстояние лишь в несколько локтей». Но энергичный Ниания догнал соперника и «...наклонился и поцеловал императрице шею».

¹ В. Г. В е л и н с к и й. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат. М. 1948. Том 2, стр. 38, 40.

Не способствуют красоте стиля и ультра-современные выражения, которыми нередко пользуются переводчики:

«Если спросить меня, баба и является корнем всякого зла»; «...у него начался приступ ишиаса»; «время пока работает на нас»; «видно было, что человек, давно покинувший Грузию, не разбирался в том, как там складывалась в данный момент обстановка»; «...богобоязненная и скромная тётка (это царица Мариам!); «сама тётка Мариам...»; «Дяденька, — сказал он (Царь Давид. — А. А.) седому всаднику»; «...разведчики получили задание внести панику в гарнизон...».

Таков язык романа.

К стиливым удачам романа можно отнести главу «Магомет, сидящий на льве». Выразительно написан разговор Ниании с Давидом о львах.

Попадают, разумеется, и в других эпизодах и сценах меткие сравнения и свежие фразы, но их, к сожалению, весьма мало.

Следует отметить, что в распоряжении К. Гамсахурдиа, очевидно, был обширный фактический материал. Но автор советского исторического романа не должен был этим ограничиться, ему необходимо хорошо, во всех её проявлениях, изучить эпоху, к которой относится произведение, глубоко понять исторический смысл событий, их логику.

Приходится сделать вывод, что писатель, имея все данные для того, чтобы правдиво обрисовать одну из ярчайших страниц грузинской истории, сам притузил своё перо, отразив насыщенную доблестью и трагизмом эпоху Давида Строителя в кривом зеркале архаической стилизации:



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Палладин. Наука и буржуазное общество. — З. Кедрина. Искусство простоты. — С. Ильичева. Роман о Невельском. — Кандидат исторических наук Б. Дацюк. Правда истории и литературные стилизации. — И. Арамяев. По просторам Родины. — Ю. Лукин. Творческий подвиг писателя.

ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВОЕННАЯ НАУКА

Доктор исторических наук А. Ерусалимский. Книга об исторических судьбах латышского и эстонского народов. — Р. Миллер-Будницкая. «Я обвиняю поджигателей войны». — Доктор экономических наук А. Шпирт. Борьба империалистических держав за нефть. — П. Крайнов. Возрождение фашизма и милитаризма в Японии. — Капитан 1-го ранга А. Бакоников. На морском охотнике.

ПРАВО

Кандидат юридических наук В. Тадевосян. Советское законодательство о браке и семье. — Кандидат юридических наук подполковник юстиции А. Полторак. На верном пути.

ТЕХНИКА

Профессор В. Кузнецов. Наука в помощь высотному строительству. — Кандидат биологических наук Ю. Милёнушкин. Страница истории русской науки.

ФИЛАТЕЛИЯ

Кандидат технических наук Б. Кривцов. Маленькие документы большого значения.

Литература и искусство

Наука и буржуазное общество

После двадцати лет неутраченных поисков и огромного труда профессор-бактериолог Эдвард Чьюз — гражданин Великании, пышно именуемой ещё ВДР — великой демократической республикой, сделал выдающееся открытие. Он нашёл У-лучи, «лучи жизни», позволяющие эффективнейшим образом бороться со страшным врагом человеческого рода — инфекционными болезнями.

Так начинается интересный роман писателя С. Розвала «Лучи жизни».

Подарив человечеству выдающееся открытие, Чьюз предлагает практический общегосударственный «план оздоровления» страны. Однако министр здравоохранения Великании, которому Чьюз изложил свою программу, отказался финансировать её осуществление. Группа промышленных воротил предлагает Чьюзу солидную компенсацию за отказ от реализации изобре-

тения, угрожая в противном случае расправой. Учёный обращается за содействием к первому миллиардеру Великании — всемогущему Докпуллеру, которого продажные писаки именуют «покровителем науки».

Девяностошестилетний миллиардер принимает Чьюза милостиво. Но живая мумия интересуется лишь одним: не нашёл ли профессор средства против смерти. Гениальному учёному он предлагает место... своего домашнего врача. О «плане оздоровления» он и слышать не хочет.

Главный экономический советник Докпуллера разъясняет учёному, что проект «представляет опасность» для всего общества. В стране 10 миллионов безработных. «И вот к этим миллионам вы хотите добавить ещё несколько миллионов, которые без вас были бы убраны болезнями... Вы пытаетесь идти против экономической науки, более того — против своей же науки, против биологии, против её основного закона выживания наиболее приспособленных. Вы заменяете этот ясный, суровый

С. Розвал. «Лучи жизни». Роман. Редактор Л. Левин. Издательство «Советский писатель», М. 1949.

закон своими сентиментально-моралистическими побуждениями. Это антинаучно!» — слышит потрясённый Чьюз.

Учёному за баснословное вознаграждение предлагают установить его приборы в доме и саду Докпуллера.

Чьюз едет со своим открытием к министру земледелия. Ведь У-лучи — лучший способ уничтожения вредителей полей. Лучи ускоряют рост и созревание растений, они способствуют развитию животноводства — под их воздействием животные вырастают вдвое быстрее и вдвое быстрее приносят потомство.

Но разве заинтересовано великанское министерство земледелия в открытиях Чьюза, когда конъюнктура требует сокращения посевов пшеницы на миллионы гектаров и уничтожения миллионов поросят и свиноматок, как «излишка поголовья»?

Все силы реакции обрушиваются на голову учёного, не пожелавшего продать своё открытие миллиардерам. Печать и радио истошно вопят, называя Чьюза убийцей (открытие У-лучей биржевики использовали для своих махинаций и, вызвав падение ценных бумаг, вынудили к самоубийству некоторых акционеров, разорившихся на биржевой игре). Газеты разносят выдумку подручных Докпуллера о том, что У-лучи — это лучи старости: раз под воздействием У-лучей поросята и телята растут вдвое быстрее, то и девушки, и юноши Великании в двадцать лет превратятся в дряхлых старух и стариков. Чьюз посылает в газеты письма, опровергающие эти невежественные измышления, но его опровержения не печатаются.

Чьюза объявляют врагом «великанского образа жизни». Профессора пытаются убить, установив в его автомобиле адскую машину. «Ликвидируются» те, кто пытается помочь учёному. Над Чьюзом устраивают постыдный процесс, подобный знаменитому «обезьяньему процессу», состоявшемуся в 1925 году в США.

Великий учёный затравлен, он уничтожает изобретённую аппаратуру. Но профессора не оставляют в покое — его насильно доставляют к военному министру. Министр вынашивает «собственную» доктрину мирового господства. Ему нужно сверхмощное оружие. Лучами Чьюза этот людоед замышляет произвести «дезинфекцию» всего земного шара — убить сотни миллионов

людей. Чьюз с гневом отвергает предложение военного министерства. И тогда его запирают в тюрьму.

Желая во что бы то ни стало привлечь на свою сторону Чьюза и успокоить великанцев, требующих прекратить травлю учёного, докпуллеры пускают в ход фальшивку о том, что «красным» Великании — «агентам Коммунистической державы» — дана директива: овладеть лучами, изобретёнными Чьюзом. Но вскоре весь мир узнаёт, что для Коммунистической державы секрета лучистой энергии не существует: учёные этой державы раскрыли его.

Значительную, актуальную тему поднимает С. Розвал в своём романе «Лучи жизни». Образы романа имеют прямых прототипов в реальной действительности, хотя произведение и относится к научно-фантастическому жанру. В Великании читатель узнаёт Соединённые Штаты Америки; в её хозяевах — поджигателей войны, американских империалистов.

В книге ярко показана трагическая судьба великого учёного, имеющего несчастье жить и трудиться в капиталистическом обществе.

Американский империализм рассматривает науку лишь с точки зрения пригодности её к изготовлению орудий смерти и разрушения. На это хозяева США не жалуют средств. В 1949—50 финансовом году общая сумма военных расходов Америки составит 28,4 миллиарда долларов, или более двух третей всего бюджета. В 1950—51 году, согласно посланию президента Трумэна о бюджете, на вооружённые силы США, на производство атомного и другого вооружения и на вооружение американских сателлитов предполагается затратить свыше 32 миллиардов долларов, или почти 76 процентов всего бюджета. А такая статья расхода, как здравоохранение, составит в текущем финансовом году около одного процента всего бюджета.

Наряду с темой порабощения американской науки, милитаризации её, в книге убедительно раскрывается вся иллюзорность так называемой «чистой» науки, якобы независимой от политики. К пониманию этого автор «Лучей жизни» приводит своего героя через сложные перипетии, через тяжёлые жизненные испытания.

Всю свою сознательную жизнь профессор Чьюз был далёк от политики.

«Дать всё в изобилии и уничтожить бо-

лезни может только одна наука! Не моралисты и не революционеры спасут человечество, а мы, учёные», — так думал Чьюз.

Как мы уже видели, эти заблуждения Чьюза рушатся при первом столкновении с действительностью.

Книга С. Розвала говорит о том, что в мире, которому непрерывно угрожают военной империалистические хищники, каждый честный учёный должен сделать всё от него зависящее, чтобы помешать развязыванию войны.

Учёные, рекламирующие своё нежелание прислушиваться к голосу политики, в конце концов, вольно или невольно, становятся исполнителями хищных замыслов империалистов, ибо в странах капитала любое достижение науки немедленно обращается во вред человечеству. Таков закон общества, где царствуют миллиардеры-человеконенавистники.

Служить одновременно и науке и прогрессу человечества — таково стремление честных передовых учёных, не желающих отгораживаться от борьбы за социальную справедливость.

Примкнув к движению сторонников мира, активно участвуя в этом движении, многие из них энергично протестуют против милитаризации науки.

Империалисты не гнушаются никакими средствами, чтобы подмять, затравить деятелей науки, не желающих служить поджигателям войны. Известно, какой дикой травле подвергается в маршаллизованной Франции один из самых замечательных современных учёных, испытанный боец за мир Фредерик Жолио-Кюри. По указке американских империалистов французское правительство сместило гениального физика с поста верховного комиссара по атомной энергии. Неслыханным преследованиям подвергаются прогрессивные учёные в Соединённых Штатах Америки. Охранка — Федеральное бюро расследований — преследует маститых деятелей науки, не желающих отдавать свои знания, свой опыт военным целям.

Эдвард Чьюз приходит в конце повествования к единственно правильному выводу. Убедившись, что правители Великании не посмели расправиться с ним потому, что его поддерживали все прогрессивные силы страны, Чьюз начинает понимать, как

он заблуждался, когда считал науку независимой от политики.

«...Наука не может служить человечеству в мире докпуллеров, — говорит Чьюз своим друзьям. — Этот мир надо разрушить. Я — учёный, значит, я обязан помочь в этом. Я... рядом с трудовым народом, с рабочими! Вот моё рабочее место».

Профессор Чьюз разоблачает поджигатель войн, которые совершают величайшее преступление, тратя громадные суммы на усовершенствование и производство орудий смерти и разрушения. На митинге в защиту мира великий учёный, выступая перед двадцатитысячной аудиторией, призывает воспрепятствовать докпуллерам в развязывании новой войны.

Роман С. Розвала написан живо и увлекательно. С первых же страниц автор привлекает внимание читателя к судьбе героя. С неослабевающим интересом следишь за быстро развивающимися событиями. Элементы научной фантастики удачно сочетаются в романе с элементами острого политического памфлета, с бичующей сатирой.

Именно такой разящей сатирой звучат сцены, рисующие борьбу так называемой двухпартийной системы. В Великании две политические партии — РК и КРБ. Точно расшифровать названия этих партий в стране никто не может — даже их главы, а в народе партии эти известны под кличкой РАКИ и КРАБЫ. В зависимости от конъюнктуры, РАКИ расшифровывают КРАБОВ так: либо консерваторы-рабовладельцы, либо крайние революционеры-безбожники. КРАБЫ же, в свою очередь, именуют РАКОВ: либо реакционеры-каменолобы, либо революционеры-анархисты-крикуны.

Но так или иначе вся эта нечисть неизменно находит общий язык, когда речь идёт о подавлении прогрессивного начинания, когда требуется парламентским актом отнять у Чьюза У-лучи и передать их бандитам с генеральскими погонами, для превращения «лучей жизни» в «лучи смерти».

Раки и Крабы по очереди приходят к власти в Великании. Стоит Докпуллеру заявить, что, например, Раки портят ему пищеварение, как политическое меню сейчас же обновляется, и в парламенте начинают главенствовать Крабы.

• Не всё, однако, в равной степени удалось С. Розвалу в его романе Живо и выпук-

ло даны образы отрицательные: миллиардер Докпуллер и Мак-Кенти, «мясной король» Блэйк, король бандитов Гарри Брегер, генерал Ванденкенроа и другие. Они предстают во всём своём отвратительном обличье, показаны зримо, осязательно. В ином плане — за исключением Чьюза — даны образы людей прогресса, борцов за мир. Сын профессора Эрнест Чьюз, друг Эрнеста — учёный Роун, прогрессивный деятель Рэцделл схематичны, в повествовании они играют эпизодическую роль.

Вряд ли следовало предпосылать каждой главе (а их в романе 85) эпиграф. Это во многих случаях отвлекает внимание читателя и создаёт впечатление, что автор той или иной главой желает лишь проиллюстрировать мысли великих деятелей науки и культуры.

Несмотря на отдельные недостатки, «Лучи жизни» — интересное и полезное произведение, изобличающее человеконенавистнические устремления поджигателей войны.

А. ПАЛЛАДИН.



Искусство простоты

Не будет преувеличением сказать, что Борис Полевой — один из наиболее читаемых наших писателей. Его «Повесть о настоящем человеке» пользуется равным успехом у взрослых, детей и подростков, его книга рассказов «Мы — советские люди», написанная для взрослых, не случайно издана и переиздана Детгизом. Опубликованный в журнале «Знамя» роман Б. Полевого «Золото» также сразу нашёл самого широкого читателя.

Чем же объясняется этот широкий успех Б. Полевого? Его изобразительные средства крайне просты и безыскусственны. Сюжет незатейлив, а иногда и мало организован. Язык не ярок, нередко даже шероховат и не свободен от шаблонов.

Сила, покоряющая читателя, заключается в красоте и достоверности высокого жизненного примера, который раскрывает Б. Полевой в лучших своих произведениях. Читателя привлекает положительный герой Б. Полевого, настоящий советский человек — не исключительная личность, стоящая над уровнем нравственных возможностей рядового читателя, а человек обыкновенный, такой же, как все, и тем не менее совершающий высокий патриотический подвиг. Настоящий человек, ползущий одиннадцать суток по лесу с перебитыми ногами, лишь бы не попасть в плен к фашистам, а затем с ампутированными ступнями становящийся лётчиком-ассом; женщина, ценою жизни своей и своей семьи сохраняющая знамя советской части от фашистских захватчиков; простые колхоз-

ницы, с риском для себя прячущие от гестапо еврейскую женщину; старик, повторивший в Великой Отечественной войне подвиг Ивана Сусанина; молодой солдат, пронёсший едва ли не через всю Европу патриотическую верность воинскому долгу, — все эти люди совершают у Б. Полевого не аскетический подвиг самоотречения, а естественное личное дело своей жизни.

«Вот то-то и есть, что ничего особенного, — говорит в романе Б. Полевого «Золото» секретарь обкома, узнав о подвиге героев. — Обыкновенная, ничем не примечательная девушка, обыкновенные парни, обычный случай!.. В этом самое главное».

В этом действительно и заключается самое главное у Б. Полевого. Могут сказать, что это заслуга жизни, а не художника, что «Мы — советские люди» — зарисовки с натуры; Алексей Мересьев существует в действительности. Запиши его жизнь — и успех обеспечен. Разумеется, творчество Бориса Полевого обусловлено самой советской действительностью: вне её Мересьевы и другие герои Б. Полевого просто невообразимы.

Любовь к книгам Б. Полевого делает честь не только писателю, но и читателю. То обстоятельство, что читателя привлекает именно высокий положительный пример, раскрытый художником, говорит прежде всего в пользу самого читателя, его душевных качеств, его общественных интересов. Но если успех произведений Б. Полевого обусловлен, с одной стороны, высоким уровнем советской действительности и читательских интересов, то, с другой стороны, он обеспечен особенностями таланта писателя, прежде всего его основным каче-

Б. Полевой. «Золото». Журнал «Знамя» №№ 11 и 12 за 1949 год и №№ 1 и 2 за 1950 год. (Главный редактор В. Кожевников).

ством — умением видеть и обобщать черты героического в повседневном, высокого в среднем, прекрасного в обыкновенном. Та отнюдь не лёгкая, но естественная простота, с какой Б. Полевой подводит к подвигу своего героя и своего читателя всегда нераздельными, — и составляет силу Б. Полевого, как художника. Читателю кажется, что вот писатель совсем просто и даже, может быть, слегка небрежно, списал с натуры попавшийся ему на глаза случай. Но случай этот оказался замечательным, волнующим, увлекательным — и многое из него возьмёшь для себя, потому что произошёл этот случай с такими же обыкновенными людьми, как ты сам, и ты, следовательно, можешь сделать так же много высокого и прекрасного, как эти обыкновенные настоящие советские люди, с которыми тебя познакомил автор. Нужно ли говорить, какая большая писательская работа по отбору и воплощению образов действительности стоит за такой безыскусственностью и простотой?

Сколько замечательных жизненных фактов надо было увидеть, изучить, пережить для того, чтобы найти тот, который лёг в основу романа «Золото». Два скромных советских человека, из тех, кого мы называем «винтиками», с риском для жизни несут по временно оккупированной врагом территории мешок с государственными ценностями. И старый кассир сберкассы Митрофан Ильич и молоденькая машинистка Муся до сих пор не были ничем замечательны, даже наоборот — Мусю, которая работала в сберкассе с неохотой, так как мечтала о блестящей дороге оперной певицы, считали пустой, легкомысленной девушкой. И вот вполне обыкновенные люди, оказавшись перед лицом решительного испытания, становятся замечательными героями, а их скромная жизнь — доблестным примером патриотического служения Родине. Получив в качестве служащих банка большие государственные ценности в последний час эвакуации своего городка, Митрофан Ильич и Муся не бросают их — ведь эти ценности могут попасть в руки врага, не зарывают в лесу — потому что на это золото можно построить не один самолёт и таким образом укрепить мощь Родины.

И хотя Митрофан Ильич считает, что золото нужно нести самим, вдвоём, никому не доверяя, права оказывается Муся. Этот

подвиг не под силу одиночкам, как и всякое благородное дело в нашей стране, он должен стать и становится общенародным. Доблестно погибает на посту Митрофан Ильич, не вынесший тяжести тайного перехода по лесам и болотам, но советские люди, народ, принимают золотую эстафету: колхозники и колхозники, ремесленники, железнодорожники, партизаны и партизанки, братья, сёстры и со товарищи по борьбе помогают Мусе доставить золото через фронт. Муся, её жених Николай, которого она узнала и полюбила в совместном бою, и ремесленник со странным и, правду сказать, малоудачным прозвищем «Ёлки-палки», полуживые от голода, ран и усталости, доносят своё сокровище и сдают советской воинской части.

Идея животворного советского патриотизма раскрыта в романе не только через подвиг основных его героев, но и через множество жизненно-правдивых случаев, характеров и деталей. Богатство глубоко изученных и строго отобранных фактов — одно из достоинств романа «Золото». Колхоз, переселившийся в лес, и его руководители — хромой матрос Игнат Рубцов и его невестка знатная животноводка Матрёна, отряд ребятишек-ремесленников, идущих по фашистским тылам в сторону фронта, к своим; картина обороны железнодорожной станции; история колхоза «Красный пахарь» и история семьи знатного железнодорожника Железнова — всё это и многое другое написано рукой писателя-реалиста, знающего и любящего свою замечательную страну и её доблестных граждан, рядовых социализма. Именно в этом, в правдивом описании замечательных рядовых явлений и людей нашей Родины, в богатстве и подлинности материала, каким располагает Б. Полевой, и заключены основные достоинства романа «Золото».

Однако в этом романе Б. Полевой совершил серьёзную ошибку. Он попытался уложить свои богатые жизненно-правдивые обобщения в рамки канонической литературной формы приключенческого романа. Нужно сказать, что в самом жизненном материале, взятом Б. Полевым, были заключены возможности именно приключенческого построения: путь герсев, тайно несущих драгоценности по территории, занятой врагом, исполнен опасностей, неожиданных приключений, интересных встреч.

Область приключенческого романа — широкое поле, которое предстоит поднять нашим романистам. Б. Полевой, один из немногих взявшихся за это трудное дело, успел лишь в одном: найти, как было сказано выше, органичный для приключенческого жанра материал. Организовать же этот материал в единый непрерывно-увлекательный сюжет писателю помешал чужой, не идущий к делу канон.

Канонический детектив должен быть построен на тайнах и недоразумениях — и вот автор стремится создать как можно больше тайн и недоразумений. В силу этого в начале романа Митрофан Ильич не очень-то доверяет Мусе, а Муся — Митрофану Ильичу; затем партизаны-железнодорожники принимают Мусю и Матрёну Рубцову за немецких шпионов. Митрофан Ильич и гибнет, собственно, из-за не разрешившегося при его жизни недоразумения: умирает в стороне от жилья, лишённый помощи, не желая доверить золото другим советским людям.

Канонический детектив должен всё время держать читателя в трепете, что вот-вот «всё откроется» и сорвётся, жизнь героя должна висеть на волоске, а волосок — держаться на случайности. Б. Полевой заставляет Мусю и Митрофана Ильича выносить золото из банка в присутствии немецкого патруля, спрятав ценности в мешке с торфом, причём героям по чистой случайности попадает на редкость галантный и глупый патруль; а затем, когда Муся и её новая подруга Матрёна Рубцова попадают в плен, им (опять-таки случайно) попадает уж очень наивный конвоир, которого удаётся с необыкновенной лёгкостью убрать, и т. д. и т. п.

Канонический детектив требует сюжета сложно закрученного, со множеством перипетий — и Б. Полевой, вольно или невольно приняв этот канон, «закручивает» сюжет до отказа. При этом обилие реалистического жизненного материала приводит в решительное противоречие с поэтикой детектива. Последняя требует всемерной разгрузки повествования от художественных деталей, реалистически выписанных характеров и прочих компонентов произведения, занимающих и внимание читателя и место в повествовании. Попытавшись совместить несовместимое — полноценные, реалистически мотивированные характеры, обоснован-

ные пространственными семейными предисториями, обилие жизненных деталей и вводных новелл с каноническим детективным сюжетом, Б. Полевой построил произведение громоздкое, к концу утомляющее и расхолаживающее читателя чрезмерным накоплением сугубо «приключенческих» случайностей.

Канонический детектив требует, чтобы в центре приключения стояла прелестная и беззащитная молодая красавица, наивная, неопытная — олицетворённая женственность. И вот, преступая законы жизненного правдоподобия, автор заставляет Мусю на привале «с прирождённым изяществом» нацепить на себя драгоценности из заветного мешка, войти в озеро и, любуясь своим отражением, «сверкая драгоценностями» и задорно потрясая кудрями, исполнить арию Оксаны из «Черевичек». Хотя это даже не детектив, а скорее оперетка! Насколько трогательна и достоверна Муся, поющая с девушками в лесном колхозе, настолько фальшива и невероятна она в этой насквозь искусственной ситуации.

Канонический детектив требует двух любовных линий: любви платонически-чистой, почти неземной — и роковой страсти, пересекающей путь идеальной пары. В конце повествования (неизменно счастливым) носитель греховной страсти (обычно злодей) гибнет, а чистая любовь завершается браком. То же у Б. Полевого. Мусю любит «голубой» любовью герой-партизан Николай Железнов, и тёмной страстью пылает к ней другой партизан, Мирко Чёрный. Разумеется, канонического «злодея» из партизана не сделаешь, но всё же, монотонно повествуя о чистоте чувств Николая и Муси, автор упорно подчёркивает «тяжёлую», «жаркую» и вообще всячески греховную страсть Мирко. Причём Мирко также любит Мусю серьёзно и на всю жизнь, также не помышляет о том, чтобы соблазнить или обидеть её, а мечтает на ней жениться. Всё же автор, повинувшись ложному канону, упорно окрашивает любовь Мирко в «злодейские» тона. И в конце концов «третий лишний», как и положено, гибнет, — но гибнет, как того требует жизненный материал, героически.

И наконец, канонический детектив, которому не дано раскрыть идею произведения в облегчённых схематизированных образах героев, нередко завершается авторской мо-

ралью, влагаемой в уста одного из наиболее почтенных персонажей, моралью, прямо формулирующей недостаточно раскрытую в романе идею. В «Золоте» Б. Полевого идея романа предельно выявлена через реалистические образы героев и полнокровное изображение советского образа жизни. И всё же Б. Полевой находит нужным объявить под занавес свою мораль:

«Ну, показывайте ваши сокровища, товарищ комдив, — сказал член Военного Совета, снимая папаху и приглаживая ладонью серебристый бобрник, придававший его небольшой голове угловатую, квадратную форму.

Генерал Теплов молча повёл рукой в сторону драгоценностей.

— Не туда смотрите, товарищи генералы! — звонким голосом сказал секретарь обкома.

И, как и следовало ожидать, обратил внимание генералов на Мусю и её товарищей.

Так, стремление уложить в устаревшие каноны богатый жизненный материал не только не помогает автору украсить произведение, но, наоборот, снижает его реализм, придавая повествованию то оттенок неправдоподобия, то колорит дидактизма.

Там, где Б. Полевой, не боясь, что читателю будет скучно, показывает без сугубо формальных затей высокий героизм повседневных дел рядовых советских людей, борющихся за свободу и независимость своей Родины, читатель с увлечением следит за реалистическим повествованием, покоряющим его искусством большой простоты. Там, где автор начинает заботиться о соблюдении канонических литературных форм, чуждых и даже враждебных жизненному материалу романа, читатель ощу-

щает фальшь, а иногда и испытывает досаду за недоверие художника к нему и своим собственным силам.

Право же, судьба колхозного паренька Кости, тайно переводящего через брод советских людей, стремящихся прорваться за линию фронта, и его матери, которая ежедневно, с болью и страхом за жизнь единственного ребёнка, отпускает и даже посылает его на подвиг, в тысячу раз трогательнее фальшивой «арии с драгоценностями» и увлекательнее самого затейливого детективного сюжета. А взятая из самой жизни деталь — одичавший конь убитого солдата, пасущийся в лесу, неизмеримо убедительнее и доходчивей взятой из литературы детали, будь она даже из такого превосходного источника, как гончаровский «Обрыв» (мы имеем в виду сценку, в которой Муся пришивает пуговицу Николаю, точно так же как Уленька Райскому в «Обрыве»).

Мы отнюдь не против традиции. Всякое настоящее искусство имеет свои национальные корни. И там, где роман «Золото» Б. Полевого жизненно-правдив, он напитан соками от корней русского реализма. Там же, где автор некритически воспринимает чуждый нашей литературе формальный канон, его постигает неудача.

Заслугой Б. Полевого является то, что он задался целью разработки такого нужного жанра, как приключенческий роман, и думается, что ему было бы не бесполезно призвать на помощь традиции русской классики, обратившись к таким, например, блистательным по остро-сюжетному построению образцам, как «Капитанская дочка», «Дубровский» Пушкина или «Мёртвые души» Гоголя.

З. КЕДРИНА.

★

Роман о Невельском

В августе 1848 года из Кронштадтского порта уходил в далёкое плавание парусный транспорт «Байкал». Корабль держал курс на Камчатку. Официальным его назначением была доставка грузов в один из отдалённых портов страны — Петропавловск. Но была ещё другая цель это-

Николай Задорнов. «К Тихому океану». Роман. Редактор В. Соловьёв. «Советский писатель», М. 1950.

го рейса — тайная, почти никому не известная. Эту цель ставил перед собой капитан корабля Геннадий Иванович Невельской. Истории этой экспедиции, являющейся свидетельством мужества и героизма русских исследователей — открывателей новых земель, посвящён роман писателя Н. Задорнова «К Тихому океану».

...Покинув великосветские залы Петербурга, отказавшись от открывавшейся пе-

ред ним блестящей карьеры, офицер русского морского флота капитан-лейтенант Невельской с радостью принял на себя командование маленьким грузовым судном. С этим назначением, которое в царском флоте можно было получить только в качестве наказания, но которого Невельской, однако, настойчиво добивался, была связана цель всей его жизни. Всеми своими помыслами он стремился к далёким берегам Тихого океана. Там, в устье великой сибирской реки Амур, он надеялся найти разрешение волновавшей его географической проблемы — открыть путь к Тихому океану.

После неудачных попыток французской и английской экспедиций пройти к устью Амура, считалось решённым, что река несудоходна, так как теряется якобы в песках, мелях и, следовательно, не имеет выхода в океан.

Передовые люди России, все те, кому были дороги интересы родины, кого волновали её судьбы, хорошо понимали, какую огромную роль в развитии страны могло бы сыграть открытие водного пути из Сибири к Тихому океану. Но у Невельского была и другая важная цель. Ещё в XVII веке отважные русские землепроходцы прошли всю Сибирь, проникли через Становой хребет в Приамурье, а оттуда на лодках добрались до Охотского моря. Эти богатейшие земли, открытые Хабаровым, Поярковым и другими, привлекали к себе пристальное внимание иностранцев. Охотское море бороздили американские и английские суда. С каждым годом их число увеличивалось. Пользуясь отсутствием на Дальнем Востоке русского флота, команды этих судов варварски уничтожали богатства Охотского моря. Сюда засылались шпионы. Иностранцы могли войти в воды Амура и стать хозяевами этого важного речного пути. Как подлинный патриот своей родины, Невельской настаивал также на возвращении России Амура и исконных русских земель на Дальнем Востоке, где в течение двухсот лет жили, боролись и совершали подвиги русские люди.

Казалось бы, предложение Невельского, имевшее большое государственное значение, должно было найти сочувствие в правительственных кругах. Однако все те, в чьих руках находились судьбы страны, возражали против отправки экспедиции.

Министр иностранных дел Нессельроде запугивал царя якобы неизбежными дипломатическими осложнениями. Николай I собственноручно начертил: «Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить». Но Невельской не пал духом. С прежней энергией продолжал он бороться за осуществление своей идеи.

Невельскому удалось заинтересовать своими исследованиями губернатора Восточной Сибири генерала Муравьёва. Однако хитрый и осторожный губернатор вовсе не желал рисковать своей карьерой. Он готов был оказать помощь Невельскому, но с тем, чтобы в случае неудачи вся тяжесть ответственности легла на руководителя экспедиции. Рядом с мелкими расчётами сибирского вельможи с особенной яркостью и обаятельностью выступают в романе чистые и благородные побуждения исследователя-патриота.

Доставив грузы в Петропавловск, Невельской вместе с экипажем транспорта произвёл опись лиманов Амура, посредством которой блестяще опроверг ошибочные утверждения иностранных исследователей о несудоходности Амура. Получив он сделал и другое важное географическое открытие: установил, что Сахалин — остров, а не полуостров, как это пытались доказать чужеземные мореплаватели.

Такова основная сюжетная линия романа «К Тихому океану». Параллельно ей автор развёртывает перед читателем картины, рисующие жизнь малочисленных дальневосточных народностей, подвергавшихся жестокому насилию со стороны всякого рода хищников. Маньчжурские купцы спаивали и грабили коренных жителей Приамурья. Хозяинничавшие на Сахалине японцы принуждали беззащитных людей к непосильному труду, пытали и избивали непокорных до смерти. Но самыми злейшими врагами местного населения являлись «морские разбойники» — «американцы», как здесь называли команды английских и американских китобойных судов, которые действительно разбойничали в русских территориальных водах. Русских военных гарнизонов в этих местах не было, и «американцы» могли безнаказанно грабить и убивать гиляков, увозить с собою их жён. В действиях английских китобоев и англичанина Остена, пробравшегося в Забайкалье для собирания шпионских сведений об Амуре, писатель раскрывает подлинный

характер «цивилизации», которую несли с собой империалисты-колонизаторы.

Новый роман Н. Задорнова тематически связан с его предыдущими книгами. Настойчиво работая над изучением истории родного края, писатель стремится отразить в своих произведениях наиболее выдающиеся её эпизоды. Заселение и освоение русским народом огромных пространств Сибири и Дальнего Востока составляет одну из славных страниц нашего прошлого. Тема эта, однако, долгое время не находила отражения в художественной литературе. Книги Н. Задорнова в известной мере восполняют этот пробел, и в этом несомненная заслуга писателя. Успешно разрабатывая в своих произведениях тему освоения русскими людьми Амура, Н. Задорнов убедительно показывает, что жизненные интересы народов, населявших Приамурье, были тесно связаны с приходом сюда русских людей.

В романе «К Тихому океану» писатель раздвинул географические рамки повествования. Наряду с изображением Сибири Н. Задорнов показал николаевский Петербург, где подавлялась всякая творческая мысль, где создавались бесчисленные препятствия к совершению выдающегося открытия Невельского. Н. Задорнов раскрывает своекорыстные побуждения чиновников-бюрократов, заинтересованных в провале плана Невельского, антипатриотические тенденции в деятельности министра иностранных дел Нессельроде, равнодушные царских чиновников к судьбе России.

В образах коренных сибиряков, выведенных в романе, показано отношение народа к Амурскому вопросу. Исконные сибиряки, те самые герои, трудами которых осваивались и обживались Сибирь и Дальний Восток, бережно хранили память о русских городах, основанных на берегах Амура ещё в XVII веке, хорошо знали места, где стояли эти города, и по праву считали их своими.

Н. Задорнов показывает, что поставленная Невельским задача была глубоко народной не только потому, что разрешение её должно было способствовать процветанию страны, но также и потому, что она отвечала законным стремлениям народа вернуть свои исконные земли. И читатель проникается глубокой симпатией к человеку, который готов был пожертвовать своим благополучием, своим будущим ра-

ди славы и процветания отчизны. Страницы, посвящённые героизму Невельского и его помощников — русских моряков, их мужеству и отваге — лучшие в книге.

Роман «К Тихому океану» — несомненное свидетельство творческого роста писателя. В этой книге значительно меньше ощущаются недостатки, которыми страдали его работы раньше. Так, художественная ценность одного из прежних романов Н. Задорнова — «Амур-батьюшка», повествующего о первых русских переселенцах на Амур, значительно снижалась обилием сюжетных линий и мотивов, органически не связанных между собой. Композиционная рыхлость, растянутость, схематичность в изображении характеров — таковы недостатки этой книги.

В романе «К Тихому океану» Н. Задорнов раскрыл в художественных образах большую и интересную тему, передал суровую романтику подвига русского патриота. Автор сумел добиться органической связи художественного вымысла с историческими фактами, более строгой и стройной композиции, создал увлекательный сюжет. Но всё же и на этом произведении, при всех его достоинствах, лежит печать творческой недоработки.

Прежде всего это касается образа главного героя романа. А. П. Чехов в своей книге «Остров Сахалин» дал Невельскому краткую, но чрезвычайно выразительную характеристику. «Это был, — писал Чехов, — энергичный, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нравственно».

Некоторые черты, отмеченные Чеховым, нашли своё развитие в романе. Н. Задорнов хорошо передал патриотизм Невельского, его самоотверженность, упорство, умение добиваться своего. Однако образ Невельского статичен. Невельской нарисован односторонне. Читатель не может узнать из романа, что ещё, кроме амурской проблемы, интересовало и волновало молодого учёного, не знакомится с прошлым героя, не видит, как формировалось его сознание, под влиянием каких воздействий развилась у него могучая воля, жажда подвига. Между тем биография Невельского даёт для этого богатый материал.

Ещё в детстве, зачитываясь описаниями подвигов замечательных русских мореплавателей, Невельской мечтал о кругосветном путешествии, об изучении «белого пятна» на карте родины. Особенный интерес вызывали у него рассказы о походах на реку Амур. Это было время, когда для русских моряков стало обычным совершать кругосветные путешествия, плавать по далёким морям и океанам. Мужество и отвага русских мореплавателей, вписавших своими открытиями замечательные страницы в мировую историю, вдохновляли Невельского на подвиг, и он с увлечением отдавался изучению мало исследованного Дальнего Востока и так называемого амурского вопроса. Однако кроме нескольких строк, в которых Невельской предаётся воспоминаниям о своём детстве, и короткого официального сообщения адмирала, докладывающего начальству о прошлом капитана-лейтенанта, в романе ничего об этом не сказано. Писатель здесь как бы отступает перед трудностями жанра и вместо художественного изображения ограничивается анкетной информацией о прошлом своего героя.

Информационный характер носят также некоторые диалоги Невельского и Муравьёва, Невельского и Меншикова, в которых излагается история амурского вопроса. Для раскрытия образа героя они не дают ничего.

Этот недостаток проявляется и в показе современников Невельского — передовых людей своего времени (известный полярный путешественник Литке, декабрист Лутковский, возвращённый из ссылки, и друг детства Невельского Константин Полозов). О Лутковском и Полозове в романе только упоминается. Литке появляется на его страницах всего один раз, чтобы напутствовать своего ученика и друга перед его уходом в кругосветный рейс. Создание художественно полноценных образов друзей Невельского обогатило бы характер главного героя, да и всё произведение в целом. А что это было под силу Н. Задорнову, свидетельствует яркость образа генерала Муравьёва, которому в романе уделено большое место. Муравьёв изображён человеком просвещённым, умеющим составлять смелые, прогрессивные планы, но ограниченным в своих поступках эгоистическими интересами. «Либерал и деспот». — так называл Муравьёва Гер-

цен. Противоречивость этого образа Задорнов сумел раскрыть правдиво и убедительно. Муравьёв — одна из самых ярких и запоминающихся фигур, нарисованных автором.

В портретах амурских жителей Н. Задорнов сумел найти характерные детали, выделить типические черты и вместе с тем индивидуализировать внешность человека. Читатель надолго запомнит облик гольда Чумбоки, странствующего по Амуру в поисках справедливой жизни, гильяка Тыгена, тоскующего по своей жене, увезённой пиратами-китобоями.

Этого нельзя, однако, сказать о портретах соратников Невельского — офицеров и матросов транспорта «Байкал» и некоторых других действующих лиц. О том, как автор рисует внешность своих героев, говорят такие примеры: «Его лицо с крупным носом и короткими усами, сожжённое ветрами и солнцем, было сурово». И далее: «Из-под слегка насупленных густых светлых бровей он смотрел открыто и мягко». «Светлорусый с мягким выражением лица»... Это — главный герой романа, Невельской. Как совместить эти противоречивые черты в одном портрете? И возможен ли мягкий взгляд из-под насупленных бровей?

Описывая наружность Алексея Бердышева, автор называет его «краснолицым». Тот же эпитет «краснолицый» Н. Задорнов употребляет, рисуя портрет бойца Горшкова, «большого пройдохи и ловкача». Вот его внешность: «Красные глаза, красное лицо, вздёрнутый нос, щетинистые чёрные брови. Это большой пройдоха и ловкач, но отважный моряк и сейчас спокоен» (!). Такое механическое перечисление отдельных, чисто внешних черт не помогает созданию целостного портрета, соответствующего психологической характеристике действующего лица.

Писателю надо также освободиться от употребления примелькавшихся навязчивых эпитетов, обязательно сопровождающих появление того или иного действующего лица: «светлорусый», «белокурый», «краснолицый» и т. д. Часто эти постоянные эпитеты не соответствуют психологическому облику героя, нарисованному автором.

Язык книги засорён неточными, случайными словами. «Это... нотомки первых пионеров; естественная грань русского народа на востоке». Разве может быть у на-

рода грань? Нередко в романе сказывается и бедность словаря, приводящая автора к многократному повторению одних и тех же слов, к тому же не всегда к месту. Так, например, во всех случаях, когда следовало бы сказать: «он намеревался», «он надеялся», «он рассчитывал», «он хотел», «он предполагал», «он стремился», — Н. Задорнов употребляет один и тот же глагол: «он полагал».

Чиновника-бюрократа автор называет «служака» вместо «службист». В другом месте генерал-губернатор Зарин у него говорит: «любопытствуешь Амуром»; адмирал, утвердивший назначение Невельского, «науками... любопытствует», а сам Невельской сообщает: «я весьма любопытствую Сибирью». Без таких нарочито архаических оборотов можно было легко обойтись.

Целиком неудачен конец книги. Н. Задорнов искусственно прервал подлинную историю подвига Невельского. В действительности она не закончилась описью лиманов Амура. Открытию Невельского в Петербурге не поверили, и ему грозило разжалование за самовольные действия.

Пришлось выдержать новую борьбу — теперь уже для того, чтобы отстоять своё открытие.

Когда же победа была, наконец, одержана, главная заслуга открытия пути к Тихому океану была приписана Муравьеву, впоследствии награждённому титулом «графа Амурского». Невельской же остался в тени, а некоторое время спустя был и вообще отстранён от участия в любимом деле, которому отдал лучшие годы жизни.

Эти факты не нашли отражения в первой книге романа. Будем надеяться, что увидим их во второй.

Указанные недостатки снижают, конечно, художественную ценность романа «К Тихому океану», но их можно и должно устранить. О том, что это под силу автору, свидетельствуют многие страницы книги, в которых нашли своё отражение творческий рост писателя, его крепнущее мастерство, его умение поднимать большие и сложные вопросы.

Редактору книги следовало бы обратить внимание на недочёты произведения и помочь писателю своевременно их устранить.

С. ИЛЬИЧЕВА.

★

Правда истории и литературные стилизации

Во второй половине XV столетия начался сложный процесс политической и экономической централизации России.

Это объединение русского народа в едином централизованном государстве уже в XV веке было крупнейшим событием всей мировой истории. По глубокому замечанию Маркса, Европа «была поражена внезапным появлением на её восточных границах огромного государства»¹. Русь далеко опередила в своём политическом развитии большинство стран Западной Европы. Европа долго ещё оставалась в состоянии хаотического раздробления на десятки, а то и сотни крошечных, ожесточённо дерущихся друг с другом, феодальных образований.

¹ К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века.

Валерий Язвицкий. «Иван III государь всея Руси». Исторический роман в четырёх книгах. Редактор Г. Коренев. «Московский рабочий», книга первая, 1946, книга вторая, 1947, книга третья, 1949.

Начальный период объединения русских земель падает на годы правления Московского великого князя Ивана III Васильевича (1462—1505). В княжение Ивана III были сломлены сепаратистские устремления новгородской феодальной аристократии, присоединена Тверь, подчинена Рязань. В результате трёхлетней войны Русь возвратила земли, в своё время захваченные литовскими феодалами.

В 1480 году сплывающаяся Русь сбросила давившее её более двухсот лет монголо-татарское иго.

Могучее, независимое русское государство превратилось и в важнейший фактор мировой истории, активно влиявший на весь ход её развития.

Понятно, почему яркая личность Ивана III, как и вся эпоха его правления, привлекли внимание писателя Валерия Язвицкого. Задуманный им четырёхтомный роман «Иван III государь всея Руси» является первым в нашей литературе художественным произведением на данную тему.

Валерий Язвицкий бесспорно знаток описываемой в романе эпохи. Писатель не только хорошо знает, но и горячо любит родную историю.

В. Язвицкий скрупулёзно изучил памятники древнерусской письменности и фольклора. Вряд ли можно указать и крупные музейные собрания, которые не были бы им обследованы. Автор обладает познаниями и в такой специальной области, как историческая география. Это позволяет ему развёртывать своё повествование на широком обществено-историческом фоне. События происходят попеременно — то в великокняжеской Москве, то в татарском стане, переносятся в Галич, Новгород, под стены Казани.

В. Язвицкий при этом использует и своё право на художественный вымысел. Отдельные краткие замечания наших источников, их беглые характеристики, нередко ставящие в тупик специалиста-историка, при помощи творческого воображения художника вырастают в увлекательные сюжетные линии романа, в художественно правдивые образы действующих лиц.

В качестве ведущих линий своего произведения писатель выбрал две: борьбу московской великокняжеской династии с удельным сепаратизмом и накопление сил для решительной схватки с хищными монголо-татарскими поработителями. Автор подчиняет художественному воплощению этих тем сюжетную канву произведения, обрисовку большинства действующих лиц и, прежде всего, образ главного героя — Ивана III.

Роман носит отчётливо биографический характер. Главным действующим лицом является «княжич», а затем и великий московский князь Иван III. Образ Ивана — один из самых удачных в романе. В. Язвицкому удалось раскрыть сложный процесс формирования Ивана, вырастающего в крупного государственного деятеля древней Руси. Читатель напряжённо следит, как междоусобные войны (захват Москвы Шемякой, ослепление им князя Василия и т. д.) ложатся тяжёлым грузом на детскую и юношескую психологию Ивана. Читатель ощущает, как от смутного ребяческого восприятия этих событий Иван приходит к их осмысливанию, складывается во властного правителя и грозного противника удельных князьков. Наблюдая за разви-

тием Ивана, читатель приходит к пониманию прогрессивных сторон объединительного процесса, возглавлявшегося московскими князьями. Он видит объективное содержание этого процесса — борьбу за сильное, независимое русское государство.

Путь к объединению Руси лежал через борьбу с монголо-татарскими феодалами. Интересы независимости страны требовали скорейшего преодоления феодальной раздроблённости; «...интересы обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия»¹.

В. Язвицкий посвящает многие страницы романа борьбе Руси с монголо-татарскими поработителями. В связи с этим приобретает ещё большую цельность и образ самого Ивана III.

Значительную художественную и идейную нагрузку несут в романе образы князя Василия Васильевича, его матери Софьи Витовтовны. Властные черты, которыми автор наделяет князя Василия и его мать, воспринимаются не просто как наследуемые затем Иваном субъективные стороны характера. Читатель угадывает в них художественное выражение объективной исторической тенденции. В конкретных условиях того времени великокняжеская власть была фактором прогрессивным. Она являлась «представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблённой на бунтующие вассальные государства»².

Московской великокняжеской династии противостоит галицкий князь Димитрий Шемяка и его ближайшее окружение. Вряд ли уместны споры о том, насколько строго Шемяка, созданный творческим воображением В. Язвицкого, соответствует своему историческому прототипу. Шемяка в романе — это широкий собирательный образ. В Шемяке воплощены черты уходящей, раздроблённой Руси, раздираемой и ослабляемой внутренними смутами князьков. Тоскливое одиночество Шемяки, его опустошённый внутренний мир, его душевный разлад читатель воспринимает не как черты его индивидуального характера, а как

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 34.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения Партиздат ЦК ВКП(б), 1937, т. XVI, ч. 1, стр. 445.

выражение глубокой исторической обречённости феодально-раздроблённой удельной Руси.

За сложным переплетением событий, в развитии и столкновении противоположных исторических тенденций рельефно видны контуры рождающегося могучего и независимого русского государства.

Третья книга романа посвящена началу самостоятельного правления Ивана III. Москвой достигнуты первые крупные успехи в борьбе с удельными князьями. Читатель с несомненным интересом будет ожидать следующей, заключительной книги романа.

В романе В. Язвицкого не всё, однако, в равной степени хорошо. В романе есть некоторые линии, явно недоработанные писателем, — он их лишь намечает, как бы набрасывает отдельными мазками, штрихами. К сожалению, это относится к разработке такой важной темы, как роль народных масс в описываемых событиях. Нельзя сказать, что В. Язвицкий игнорирует народные массы. В романе встречаются запоминающиеся персонажи из народа. Хорошо, например, показан богатырь Ермилка-кузнец, который «бояр да гостей богатых... в железы ковал». В повествование автор вкрапливает и ряд удачных эпизодов, рисующих тяжёлое положение крестьян, героизм народных масс в борьбе с татарами, выступления посадских людей против Шемяки и т. д. Но сцены эти, в большинстве удачные сами по себе, слабо связаны с главной сюжетной линией романа. Борьба между князьями как бы оттеснила на задний план тему народа. Этому, между прочим, способствует и недостаток композиции романа — слишком уж много места отводится автором описанию всех, в том числе и второстепенных перипетий феодальной войны середины XV века (ей почти целиком посвящены две первые книги романа). В. Язвицкий явно следует здесь за теми историками, которые склонны к односторонней переоценке борьбы, происходившей внутри господствующего феодального класса. Единство Руси создавалось через насильственную ломку обособленности феодальных полугосударств. Поэтому покорение удельных князюков, как это и показал В. Язвицкий, было прогрессивным явлением. Оно выражало новые, объективно действующие в истории закономерности.

Однако сами закономерности лежали значительно глубже, они крылись в тех экономических процессах, которые происходили тогда на Руси. Развитие производительных сил, зарождение товарно-денежных отношений, рост общественного разделения труда, развитие городских торгово-ремесленных центров — вот что подтачивало прежнюю экономическую замкнутость отдельных земель. Этим-то и создавались объективные условия, при которых московские князья смогли успешно выступить в прогрессивной роли «собирателей» Руси. В этом смысле первосоздателями возникшей в XV веке мощной русской державы были, конечно, не князья, а трудолюбивый русский народ, народные массы, непосредственные производители материальных благ. На обломках раздроблённой Руси складывалось централизованное феодально-крепостническое государство с его непримиримым классовым антагонизмом. Оно складывалось и укреплялось за счёт трудового народа, путём его закрепощения и самой нещадной эксплуатации.

Автор, видимо, ещё не полностью разобрался в сложной противоречивости этих явлений. Образы людей из народа должны были бы не возникать в романе эпизодически, а творить описываемые события. Пока же тема народа, его стихийного протеста против феодально-крепостнической эксплуатации в романе затуманена.

Перед автором всякого исторического произведения неминуемо возникает сложная задача воспроизвести колорит эпохи, передать её живое дыхание.

В. Язвицкий удачно использует народные пословицы, поговорки, прибаутки, песни и т. д. Они придают яркость отдельным страницам романа, делают его более полнокровным, приближают к описываемой эпохе.

В. Язвицкий явно стремится облечь своё произведение в форму, близкую к древнерусским литературным памятникам. Порою читатель ощущает стремление автора передать огромное обаяние памятников нашей древней письменности.

Успех такого литературного приёма во многом, конечно, обуславливается индивидуальностью художника, его знанием эпохи, степенью художественного дарования, меткостью наблюдений, словом всем тем, что характеризует его собственный творческий почерк.

Вместе с тем, перед писателем при всех условиях стоит важная задача — найти в древнерусских памятниках именно то вечно живое, чем они обладают и что по сей день составляет секрет их внутренней привлекательности. Писатель с большой требовательностью должен отбросить то давно ставшее архаическим, что неминуемо обусловлено отдалённостью эпохи, своеобразием мировоззрения тогдашних людей, обусловлено тем, что книжными людьми в древней Руси обычно бывали образованные монахи.

К сожалению, В. Язвицкому пока не удалось обнаружить именно этот живой источник. В своём явном стремлении к стилизации В. Язвицкий густо насыщает книгу мало понятными, а подчас и прямо непонятными для читателя терминами. Такие, ставшие давно архаизмами, термины, как «сеунч», «на́вис», «таймичищ», «лукно», «заспой» и многие другие, не несут художественной и тем более идейной нагрузки. В большинстве случаев автору приходится выступать в роли «переводчика», снабжая собственный текст постраничными пояснениями. Всё это отвлекает внимание читателя. Автор прибегает к ненужному коверканию русского языка («шти», «Данилка константиновичев»). Вместо обыкновенного слова «исчисление» автор даже в примечаниях пользуется надуманным «счисление». Совершенно недопустимо, когда писатель позволяет себе, слепо копируя источники, называть «погаными» народы Среднего и Верхнего Поволжья. Мало удачным приёмом является введение В. Язвицким целых иноязычных фраз, передаваемых русскими буквами и в русской транскрипции. «Бугэн миндэ, иртэгэ синдэ», — говорит, например, князь Василий Васильевич. Естественно, что автору вновь приходится выступать в несвойственной ему роли переводчика.

Ещё менее удачен другой приём, которым широко пользуется В. Язвицкий. Почти каждая глава романа начинается так: «Февраля в девятый день, в среду, на святого Никифора Сирского»; «Февраля двадцатого, в день Льва Катанского, когда на падучие звёзды глядеть нельзя»; «На говение Филиппово, в день преподобного Акакия Синайского, ноября двадцать девятого»; «На другой день после Кузьминок, курячьего праздника»; «Января же семнадцатого, в день четырёх Антониев: Ве-

ликого, Дымского, Черноризца и Римлянина» и т. д. — чуть ли не все святцы исчерпаны. Писатель явно совершил ошибку, взяв из древних источников наиболее чужое и далёкое для современного читателя. В самом деле, что могут объяснить читателю в великом прошлом нашей родины все четыре преподобных Антония вкупе с Никифором Сирским и даже сам им Акакием Синайским? Досадно, что и сам В. Язвицкий, уподобляясь некоему «мниху», впадает порой в какую-то поповщину. Он пишет в авторском тексте: «Успокоил ей душу господь», «всё тут свято и дивно, для души — исцеленье печали...» Иногда подобные увлечения приводят автора к прямой бессмыслице. Так, один из героев говорит по поводу стерляжьей ухи: «Глотнёшь ушицы — словно Христосик босой по сердцу пройдёт».

Ещё более странно читать такие авторские ремарки: «Святого мученика Власия Кисарийского чтут память 3 февраля, а другого святого, Власия Севастийского — 11 февраля. Святого исповедника Василия память чтут 28 февраля».

Недостаток формы произведения здесь явно отражается на его идейном содержании.

В романе заметны отступления писателя к натурализму. Отталкивающее впечатление производит, например, такая тирада одного из героев: «Стар вот уж ныне стал, а што греха таить, всё ещё баб люблю, хошь и не всяких. Хуже той нет, што словно курица, токмо в навозе копатца. Налетит на её петух, а ей што? Встряхнётся, будто ништо и не было, опять так же конско дермо копат. А петух-от, дурак, около неё надсажаты, кругом ходит, крылом землю чертит, и ворчит по-особому и «кукареку» кричит. А ей што?»

Подчас создаётся впечатление, что не писатель управляет материалом, а материал как бы управляет им. Автор утонул в избылии фактов, терминов, имён и не завершил ещё необходимого процесса критического освоения и обобщения собранного материала.

Следует пожелать, чтобы сам автор взглянул на своё произведение строгими глазами взыскательного редактора.

Кандидат исторических наук
Б. ДАЦЮК.

По просторам Родины

Дарование художника у И. Соколова-Микитова сочетается с пылкостью неутомимого исследователя-путешественника. Карта его писательских экскурсий по стране огромна. Он плавал на ледоколах в Белом, Баренцовом и Карском морях, бороздил воды Северного Ледовитого океана, побывал на Новой Земле, на Земле Франца Иосифа, в тундре Приполярья, взбирался с ружьём и рюкзаком за плечами на дикие горы Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, пересекал степи Украины, Киргизии, Казахстана, исходил дремучие леса Урала, Карелии, северо-восточных областей, болота и пуши Белоруссии, изучал заповедные места Ленкорани, Крыма, Аскания-Нова. Трудно сказать, где только не побывал он, этот непоседливый человек!

И. Соколов-Микитов интересен, как вдохновенный певец природы. В этом сила его дарования.

В новой книге И. Соколова-Микитова особенно отчётливо проступают достоинства и недостатки творческого метода писателя.

Вот описание среднерусской весны: «В золотой вечерний час хорошо бы стоять в пробудившемся лесу. Над берёзовой опушкой, окутанной зелёною дымкой, тихо спускается вечер. Прелым листом пряно пахнет земля, уже проросшая зелёными иглами растений. На золоте неба чеканится над головою охотника тончайшее кружево покрытых почками веток. В лесу, на вершине берёз, голосисто распевают весенние гости — дрозды; захлёбываясь, кукуют кукушки. В лучах закатного солнца, лениво перебирая позолоченными крыльями, влажно хоркая, над кружевными макушками тянет первый вальдшнеп...»

Это сказано просто и хорошо. Кажется, видишь пробудившийся весенний лес, чувствуешь этот запах прелого листа и согретой солнцем земли, слышишь весёлые голоса дроздов. Тут есть подтекст, и он даёт немало простора читательскому воображению.

А вот весна в Заполярье: «Полуночное солнце сияет в небе. Жмурясь от света, смотрю в бинокль: далеко, далеко в белом пространстве видятся крыши зимовки

И. Соколов-Микитов. «По лесам и горам». Редактор Г. Мишкевич. Издательство «Молодая гвардия», Л. 1949.

«Новый мир», № 7.

Я иду, рассыпая под ногами хрустальные кристаллы льда, изредка останавливаюсь, слушаю, наблюдаю.

Необычайные звуки рождаются в тишине.

Справа и слева раздаются эти хрустальные, чистые звуки. Сказочным кажется охотнику полуночный свет, ослепительное сияние снежной равнины. На тёмных пятнах проталин, со странным, тающим в воздухе звуком, взлетают точно снежные белые хлопья, трепеща крыльями, токуют куропатки.

По освещённым полуночным солнцем снежным просторам я иду среди бесчисленных токующих птиц.

Не обращая внимания на человека, птицы сидят, гоняются по снегу, дерутся, перелетают. При взлёте они как бы растворяются в воздухе, девственной белизною своего оперения сливаясь с ослепительной белизною снегов.

Осторожно приближаюсь к парочке птиц. В двух шагах от меня белоснежный краснотелый самец-петушок ухаживает за своей скромной подружкой. Защищая подругу, петушок отважно пытается вступить со мной в бой.

Здесь нет ничего выдуманного. Это не пейзаж, вычитанный из десятков книг других авторов и «переплавленный» по-своему. Кусок северной природы, изображённый И. Соколовым-Микитовым, непосредственно увиден автором, писан с подлинной натуры. Однако автор — не фотограф. Зарисовки живой природы у него согреты творческим дыханием художника, овеяны поэтичностью. И верность натуре, непосредственность впечатления придаёт очеркам о природе особую выразительность, которой нехватает многим и многим писателям.

Когда же писатель-путешественник начинает говорить о людских делах, о великих переменах в жизни нашей страны, он словно впадает в какую-то творческую робость, краски бледнеют, описания приобретают абстрактный характер. Жизнь становится сухой схемой. «Многое изменилось теперь и на далёком севере нашей страны, — пишет он. — Туда, где паслись олени и стояли бедные чумы охотников, пришла новая жизнь. На пустынных берегах океана, в устьях северных судоходных рек возникли многолюдные города. Ходят по рекам боль-

шие пароходы, по всем направлениям летают над тундрой самолёты.

Там, где когда-то первобытно дикарской жизнью жили охотники-оленьеводы и шаманы-колдуны обманывали простых людей, выстроены новые посёлки. В этих посёлках есть электричество, радио, школы и больницы. Дети охотников учатся в вузах, читают книги и журналы, знают далёкую славную столицу — Москву.

Всё верно! Но ведь это сплошные «общиные места». Читатель знает из газет, что жизнь на далёком Севере сказочно изменилась. От писателя требуется не скупая газетная информация, а наглядное изображение перемен. Мы хотим видеть на страницах книги образное выражение того, что давно уже почерпнуто нами из других источников.

Для описания белых медведей, тюленей, морских зайцев, гусей, уток, куропаток, трав и деревьев, океанских просторов и ледяных торосов Заполярья И. Соколов-Микитов находит яркие, запоминающиеся детали, точные и чёткие штрихи. Сцены охоты у него великолепны по чувству меры и художественного такта. О строительстве же новой жизни, о трудовых деяниях советского человека писатель пишет торопливо, штампованными фразами. И это очень досадно.

Слабость И. Соколова-Микитова — в описании человека. Образы людей, как правило, редко удаются ему. В очерках о Севере упоминаются моряки-полярники, лётчики, зимовщики дальних островов, поморы-охотники, рыбаки, зоологи, ботаники и т. д. Но только упоминаются! Мы почти не видим внешнего облика этих людей. Мы не знаем их мыслей, настроений. Внутренний мир человека, упомянутого в очерках, не раскрыт.

Несовершенство творческого метода писателя особенно бросается в глаза при чтении большого по объёму очерка «На преображённой земле». Речь идёт о Каменной степи. В очерке есть ссылки на Ломоносова, Докучаева, Л. Толстого, Менделеева, Бекетова, Тимирязева, Вильямса, Лысенко и других. Есть превосходные цитаты из книг. Но нет главного. Нет образов советских людей, покоряющих и пределывающих суровую природу Каменной степи!

Опять в духе информационной публицистической скороговорки повествуется о

том, что в Каменной степи работает множество людей различных специальностей и профессий, что всех этих людей — учёных и неучёных — объединяет, роднит общая творческая работа на благо Родины, что скоро неузнаваемо изменится степной ландшафт, разольётся широкое «докучаевское море» — огромное степное озеро, вмещающее неиссякаемые запасы влаги, необходимой для повышения плодородия, и т. д.

Но ведь такой газетно-очерковый «синтез» можно было написать и не выезжая в Каменную степь, по имеющимся в Министерстве земледелия отчётам и сводкам. И. Соколов-Микитов увидел многое на воронежской земле, но для рассказа о виденном и пережитом в Каменной степи не нашёл впечатляющих слов и красок. Большие дела преобразователей природы «утонули» в потоке сухих рассуждений, в экскурсах в далёкое прошлое, в обобщениях, не подкреплённых конкретным показом.

А какие возможности таила в себе эта поездка писателя в Каменную степь! Он побывал там, где с необычайной силой проявляется большевистская настойчивость советских людей в битве с природой, где особенно ярко сказывается торжество мичуринской науки, ставшей в наши дни могучим орудием в борьбе за высокие урожаи, за всеобщее изобилие.

Если бы И. Соколов-Микитов вместо беглого перечисления десятков имён нарисовал образы энтузиастов переделки Каменной степи, очерк «На преображённой земле» стал бы украшением книги, вызвал бы благодарные отклики читателя.

«По лесам и горам» — плод честного писательского труда, неплохая книга. Но этот сборник очерков мог стать отличной книгой о советской земле, о советском человеке.

Без глубинного показа деяний человека, без всестороннего изображения «души» героя всякая литература неполноценна. Это относится и к очерковому жанру. Почему до сих пор живут и не «стареют» очерки Глеба Успенского, Вл. Короленко? Именно потому, что в них на первом плане — человек, с его стремлениями, мечтами, радостями, горестями, повседневными заботами и нуждами.

Можно привести более близкий пример. Что создало широкую популярность краеведу-путешественнику В. К. Арсеньеву?

Люди, изображённые им, и прежде всего — образ гольда Дерсу Узала. М. Горький писал В. Арсеньеву: «Уважаемый Владимир Клавдиевич, книгу Вашу я читал с великим наслаждением. Не говоря о её научной ценности, — конечно несомненной и крупной, я увлечён и очарован был её изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе Брема и Фенимора Купера, — это, поверьте, не плохая похвала. Гольд написан Вами отлично, для меня он более живая фигура, чем «Следопыт», более художественен. Искренно поздравляю Вас».

В. Арсеньев интересен, как географ, ботаник, этнограф, археолог, историк Приморья, охотовед и экономист, но массовый чита-

тель узнал и полюбил его, как писателя за Дерсу Узала — героя высоких моральных качеств, простого и мужественного человека, органически слитого с природой края, изученной и описанной путешественником-учёным.

И. Соколов-Михитов — художник большого дарования — может и должен повысить своё мастерство. Ему следует призадуматься над недочётами последней книги, решительно отвергнуть некоторые ложные приёмы работы, пересмотреть творческий метод, уводящий его со столбовой дороги искусства на боковые тропинки.

И. АРАМИЛЕВ.

★

Творческий подвиг писателя

Многим читателям хорошо известна книга Николая Бирюкова «Чайка», посвящённая героине нашего народа, славной дочери Ленинского комсомола Лизе Чайкиной.

И в первой его книге «На хуторах», написанной около десяти лет назад, и в последующих произведениях писатель стремится запечатлеть черты характера нового, советского человека, становление и развитие социалистических отношений в труде и в борьбе, в строительстве свободного общества, в психологии людей, в их морали. Воспитанник комсомола и партии, Н. Бирюков с особенной любовью говорит о делах и думах советской молодёжи, которая растёт, трудится, сражается и одерживает победы под мудрым руководством большевистской партии, великого вождя и учителя советского народа товарища Сталина.

Новый роман Н. Бирюкова «Воды Нарына» рассказывает о том, как, переделывая природу, человек в процессе социалистического труда переделывается сам, как умножает его внутренние силы активное участие в общенародном строительстве.

Действие развёртывается в предвоенные годы в Узбекистане. Чтобы показать всепроникающую и всепобеждающую силу нового в советской жизни, автор сделал местом действия один из наиболее далёких

уголков нашей страны, один из самых стальных кишлаков, и раскрыл читателю сложный путь борьбы, преодоления многих трудностей, путь подъёма творческой деятельности советских людей. Трудовое социалистическое соревнование с передовым соседним колхозом «Ленинчи» помогает колхозу «Кара-Вади» выйти на широкую дорогу строительства счастливой жизни, сломить сопротивление тёмных сил реакции. Неизмеримо улучшаются не только материальные условия быта колхозников, вместе с трудовой социалистической культурой колхозники обретают новые взгляды, создают новые справедливые отношения между собой, навсегда отказываясь от бесчеловечных обычаев и предрассудков досоциалистического прошлого.

Книга состоит из трёх частей. В первой изображена полная противоречий жизнь кара-вадинского колхоза. Ушла в прошлое власть эмира, власть баев. Люди научились ценить человека по его труду, полезному для общества. Но умами людей, в особенности стариков — Таджибая, мираба Рахима и других, ещё владеют предрассудки прошлого, помогавшие эксплуататорам держать народ в темноте. Знатный человек колхоза, лучший кетменщик Ташпулат, казалось бы, является передовым человеком, но и его цепко держат в своей власти внушённые муллами предрассудки и он всеми силами противится тому, чтобы его молодая жена Ай-Нор сняла паранджу и стала равноправным членом социалисти-

Н. Бирюков. «Воды Нарына». Редактор В. Морозова. Издательство «Молодая гвардия», М. 1949.

ческого общества. Скрываясь под именем Мухитдина Ниязова, в колхозе орудует злобный, ожесточённый враг. Его настоящее имя Рустам-бек, он был советником бухарского эмира, а впоследствии — басмачём. Теперь он пролез на должность председателя совета урожайности. Действует он по указке бывших басмаческих главарей Мухтар-бека и Икарбая, которые состоят на службе одновременно у английских и германских империалистов. Мнимый Мухитдин подбивает кара-вадинских стариков всячески сопротивляться тому новому, что несёт народам советский строй. Он разжигает также худшие инстинкты у Ташпулата, пользуясь его нетерпимостью и горячим нравом. В борьбу с Мухитдином—Рустам-беком вступает прежде всего молодёжь. Борьба резко обостряется после того, как кара-вадинцы ближе узнают жизнь колхоза «Ленинчи», наглядно убеждаясь в чудесной преобразующей силе социалистического образа жизни.

Идейный замысел романа определяет и его композицию. Вторая часть показывает, как, соревнуясь друг с другом и с другими коллективами, кара-вадинцы и ленинчанцы участвуют в народной стройке Большого Ферганского канала. Это наиболее сильно написанная часть книги. Живое передана в ней атмосфера всеобщего подъёма — радостного, слитного труда многих тысяч людей во имя народного блага. Мысль о постройке канала для орошения извечно безводных земель встречает одобрение и поддержку товарища Сталина. Вся страна шлёт людей и машины в помощь узбекскому и таджикскому народам. Прибывают эшелоны с оборудованием — мощной современной техникой, из многих городов едут специалисты — инженеры, техники, стахановцы, несущие богатейший опыт социалистического труда. По всем дорогам, ведущим к месту будущей трассы канала, идут и едут колонны добровольцев-строителей.

Автор раскрывает судьбы своих героев в тесной связи с развёртыванием этой стройки эпического размаха. Подробно и наглядно, что свидетельствует о тщательном изучении жизненного материала, показал Н. Бирюков зарождение и развитие социалистического соревнования кетменщиков, постепенное возникновение новых ме-

тодов труда, вызванных к жизни патристическим подъёмом масс и коллективными усилиями творческой мысли. Рационализаторские усовершенствования простейших рабочих приёмов, достижение высоких результатов, перекрывающих установленные нормы более чем на тысячу процентов, показаны в процессе рождения новых методов труда в самой гуще народа. Столь же наглядно отобразён и процесс роста самих людей, идейной перedelки и социалистического воспитания их в творческом коллективном труде.

В живой конкретности изображения этого труда, в убедительном, чётком и в то же время тонком раскрытии его непосредственного преобразующего воздействия на формирование человеческого характера заключается основное художественное достоинство и основное идейное значение книги Н. Бирюкова.

В третьей, завершающей части романа, читатель возвращается в колхоз «Кара-Вади» и видит, как люди, обогащённые опытом социалистического труда на стройке канала, руководимые большевистской партией, в корне перестраивают жизнь своего кишлака. Терпят крах попытки мёртвого удерживать живое в его движении вперёд. Крепнет партийная организация, растут кадры комсомольцев в колхозе. В «Кара-Вади» строится социалистический городок.

По-новому раскрываются образы людей колхоза. И старейшие труженики кишлака, такие, как Мамед-Сали, бесповоротно становятся на сторону новой жизни. И мираб Рахим с болью и горечью осознаёт свои прошлые заблуждения и ошибки.

Поднимается молодая поросль. На равных правах с мужчинами всё более активную роль начинают играть в жизни колхоза женщины. Сменяя Мирзу Раджиби, занятого на строительстве, комсоргом в колхозе становится Мариам, дочка Мамеда-Сали.

Любовно выписаны Н. Бирюковым образы большевиков—секретаря райкома Назиры Исламовой, русского инженера Васильева. Назира Исламова, мужественно преодолевая встающие на пути трудности, умно и заботливо направляет деятельность передовых людей колхоза «Кара-Вади». Она помогает создать и сплотить в колхозе партийную и комсомольскую организации, сломить сопротивление всего косного, реак-

ционного, сделать колхоз цветущим, раскрыть перед людьми необъятные перспективы роста, подъёма и расцвета их творческих сил. Большую помощь оказывает ей в этом отношении секретарь комсомольской организации колхоза «Ленинчи» Керим Ибрагимов. Значительное развитие получает и образ Мирзы Раджиби. Одарённый парень, с порывистым характером, остро слов, шутник и в то же время мечтатель, прежде лишь ощупью искавший новых путей в жизни, превращается в одного из лучших передовиков стройки. Он совершает подвиг во время аварии на строительстве, становится душою кара-вадинцев, боевым комсоргом их колхоза, а позже — начальником строительства социалистического городка.

В реальных, жизненных противоречиях показано развитие характера Ташпулата. Вначале, благодаря своей недожинной силе и большому честолюбию, он достигает высоких результатов в труде. Но Ташпулат — человек глубоко отсталый, склонный к самоуспокоенности, не любящий новшеств и перемен. У него хорошее положение в колхозе, достаток, прекрасное здоровье, красавица жена. Чего же ещё? С течением времени резко сказываются его индивидуалистические устремления, жажда личной славы, нежелание передать свой опыт другим, отрыв от коллектива. Ташпулат больше чем кто-либо другой из кара-вадинской молодёжи прислушивается к словам Таджибая — ревнителя вековой отсталости и темноты. Этим пользуется Мухитдин Ниязов, пытается сделать Ташпулата слепым орудием в своих руках, толкнуть его на путь обмана коллектива и прямого преступления. Лишь в конце романа Ташпулат находит единственно верное решение своей судьбы. Он приходит к глубокому пониманию того, что счастье человека — в его служении Родине, советскому народу.

В образах кара-вадинских колхозниц Мариам, Ай-Нор, Амляхон, студентки Халимы и особенно Назиры Исламовой выражено торжество советских, социалистических принципов равноправия женщины и мужчины.

К тому, что уже завоёвано миллионами женщин в советской стране, Мариам, Ай-Нор, Амляхон идут путём суровой борьбы, борьбы с косностью и предрассудками в быту отсталого кишлака.

Борьба за снятие паранджи, соревнование кетменщиков, попытки врагов искусственно сохранить отсталые кишлаки и свить там себе гнёзда для борьбы против советской власти в ожидании империалистической интервенции... Не делает ли всё это тему романа несколько устарелой, отдалённой от современности? Думается, что нет. В книге Н. Бирюкова показаны конкретные исторические формы, которые в данных условиях, в данном месте и на данном отрезке пути общественного развития принимала борьба нового, передового против старого, реакционного, составляющая содержание нашей советской жизни. И хотя в социалистическом соревновании, в стахановском труде сейчас достигнуты совершенно новые, высшие этапы, эта книга ценна тем, что она в конкретном изображении, реалистически передаёт самый дух социалистического соревнования, его содержание, принимающее на различных этапах развития общества различные формы. Попытки зарубежных врагов найти себе опору в самых тёмных, отсталых элементах общества — в иных формах, иных проявлениях — также требуют от нас бдительности теперь отнюдь не в меньшей степени, чем прежде.

Таким образом, роман Н. Бирюкова «Воды Нарына» проникнут идеями нашего времени, и тема его современна.

Хотелось бы видеть в романе более развёрнутое изображение жизни и людей колхоза «Ленинчи». И прежде всего это относится к образу парторга колхоза и передовых колхозниц.

Некоторые образы кара-вадинцев стоило бы выписать более ярко: садовода-мичуринца Сабирова, его друга Халилова, комсомольца Алимджана.

Хорошо передано Н. Бирюковым своеобразие узбекского фольклора в легендах о реках Нарыне и Кара-Дарье, в отлично описанной сцене встречи студента Юнуса и Халимы с народным певцом Икрамом в горах над берегом Нарына.

Тонко выражен национальный колорит рядом народных выражений, пословиц и поговорок, применённых и в авторской речи и в речи героев книги. Однако следует указать на то, что автор злоупотребляет узбекскими словами, часть которых, бесспорно, могла быть переведена. Это довольно распространённая ошибка некото-

торых писателей, стремящихся чисто внешними средствами усилить «национальный колорит» своего повествования. В начале книга пестрит сносками, объясняющими введённые в текст узбекские слова. При этом остаются не объяснёнными слова и выражения, столь же мало знакомые русскому читателю: «бабалар», «товба», «тойбаши», «уртак», «полыан», «кыз», «хайер», «борбулинг», «яхши ми сиз», «маклаш» и другие. Лишь непереводимое слово с полным правом входит в текст произведения, написанного на другом языке.

В книге есть и другие недостатки. Композиция романа несколько громоздка, повествование местами затянато. Но при всём этом книга Н. Бирюкова — большой и серьёзный труд вдумчивого художника, умеющего видеть и отражать жизнь в её основных чертах, в её революционном развитии, полнокровной и яркой, устремлённой вперёд.

Живые характеры, интересные человеческие судьбы найдёт читатель в этой книге. В каждой её странице сказалось непосредственное жизненное наблюдение, тщательное изучение материала действительности.

Остаётся добавить, что книга написана человеком, которого тяжёлая болезнь уже семнадцать лет держит прикованным к постели или коляске. Несмотря на это, он дважды предпринял путешествие в Узбекистан. Там, в кишлаках, на хлопковых полях писатель встречался с людьми, наблюдал жизнь народа, весь материал изучил лично, на месте. Это и сделало его книгу такой убедительной и художественно цельной.

Создание романа «Воды Нарына» — трудовой подвиг писателя-патриота.

В новом произведении Николая Бирюкова, как и в прошлых его работах, ярко выражено светлое, оптимистическое мировоззрение писателя — достойного сына своей социалистической Родины, его любовь к советскому человеку и убеждённая вера в великое будущее нашей страны, умение подметить в жизни ростки новой коммунистической морали, изобразить расцвет тех лучших качеств, которые воспитывает в народе коммунистическая партия.

Ю. ЛУКИН.

★

История. Международные отношения. Военная наука

Книга об исторических судьбах латышского и эстонского народов

В знаменательные дни, когда весь советский народ отмечает десятилетие освобождения прибалтийских республик от оков капитализма и вступления их на началах полного равноправия в состав Советского Союза, нельзя не радоваться тем замечательным успехам, которые достигнуты народами Латвии, Эстонии и Литвы во всех областях их экономической, политической и культурной жизни. В частности в Латвии немалых успехов достигла историческая наука, призванная окончательно ликвидировать влияние тех реакционнейших традиций, которые в течение длительного времени упорно насаждались сначала немецко-прибалтийской историографией, а затем латышской буржуазно-националистической псевдонаукой

Задача советских историков состоит в том, чтобы решительно устранить эти традиции, искажавшие и фальсифицировавшие развитие исторического процесса в Прибалтике, создать подлинно научную, марксистско-ленинскую историю латышского, эстонского и литовского народов, вековая судьба которых самым тесным образом связана с историей великого русского народа и других народов СССР.

Латышский учёный Я. Зутис, питомец Московского университета, ныне профессор Рижского университета, немало сделал для выполнения этой задачи. Его фундаментальный труд «Остзейский вопрос в XVIII веке», удостоенный в этом году Сталинской премии, является ценным вкладом в советскую историческую науку.

«Остзейский вопрос, — пишет автор, — от немецкого названия бывших прибалтийских губерний (Ostseeprovinzen) царской

Я. З у т и с. «Остзейский вопрос в XVIII веке». Редактор А. Путныйн. Издание Академии наук Латвийской ССР, Рига, 1946.

России—является историческим продолжением целого ряда политических проблем, которые потом целиком или частично сливаются с ним, становясь его неизменными ингредиентами. Так, в качестве несомненного исторического наследства в него вошли некоторые элементы от прежнего балтийского вопроса, который в XVI—XVII веках приобрёл характер международной проблемы общеевропейского значения и только в XVIII веке в основном был решён в пользу России». Однако не эти элементы, восходящие к более отдалённому прошлому, являются основной проблемой исследования. Автор учитывает влияние этого прошлого, но основное внимание он уделяет тому периоду, когда остзейский вопрос перестал быть вопросом международной политики.

Конечно, исследователь не может и не должен игнорировать историю этих внешних отношений, но автор прав, когда в качестве центральной проблемы он выдвигает классовую и политическую борьбу латышских и эстонских народных масс против своих непосредственных поработителей — остзейского рыцарства, издавна захватившего ряд важнейших экономических и судебных привилегий и цепко, на протяжении длительного исторического периода, удерживавшего их в своих руках. Автор показывает, как на территории Латвии и Эстонии, которая в XIII—XVI веках находилась под господством Ливонского ордена, сложилась группа немецкого дворянства, обычно называемого «остзейскими баронами». Он показывает, как жизненные интересы латышского и эстонского крестьянства приносились в жертву интересам этой группы, которая, составляя совместно с городской буржуазией немецкого происхождения не более десяти процентов всего населения остзейских провинций, принадлежала к господствующему классу царской России. Он раскрывает не только происхождение и классовую сущность привилегий остзейского дворянства и буржуазии, но и ту неустанную борьбу против них, которую вели крестьянские массы латышей и эстонцев.

«Основным стержнем, вокруг которого вращается борьба в остзейском вопросе,— пишет Я. Зутис,— неизменно остаётся особое политическое положение трёх прибалтийских или «остзейских» губерний в составе царской империи. Господствовавший

в Прибалтике класс немецкого дворянства и городского патрициата был наделён только ему одному присущими правами, неизвестными ни русскому дворянству, ни городам. Постоянными участниками этой борьбы, кроме самих субъектов остзейских привилегий, являются: царское правительство, русское общество и коренное прибалтийское население, но основным фактором остзейского вопроса остаётся классовая борьба. На протяжении ряда столетий классовая борьба латышских и эстонских крестьянских масс не выходила за узкие рамки аграрных движений, хотя по местным условиям — при полном совпадении сословного деления феодально-крепостнического общества с делением национальным — даже крестьянский вопрос имел национальную окраску, но в строго научном отношении лишь позднее, к середине XIX века, можно говорить о перерастании социальной борьбы в национально-освободительную борьбу на новой основе складывающихся наций, как категорий капиталистического общества».

Таковы исходные позиции, опираясь на которые автор приступает к конкретно-историческому исследованию поставленной им проблемы — «Остзейский вопрос в XVIII веке».

В ходе исследования Я. Зутис главное внимание уделяет проблеме исторической роли латышского и эстонского народов в период их формирования, как наций. Разрабатывая материал, автор неизбежно должен был «вступить на целину» и прокладывать новые пути в историографии вопроса. В ходе исследования ему пришлось вести постоянную борьбу с традиционными взглядами различных буржуазных школ, отразившихся не только в огромной литературе по остзейскому вопросу, но и в многочисленных изданиях исторических документов, без тщательного критического изучения которых обойтись никак нельзя. Следует иметь в виду, что в течение более чем двух веков немецко-прибалтийская историография с большим размахом и настойчивостью занималась апологией привилегий остзейских баронов. С этой целью, между прочим, ею была создана широко распространённая легенда, будто остзейские бароны происходят то ли от меченосцев, то ли от рыцарей Ливонского ордена. Я. Зутис развеял эту легенду, показав её политическую роль — обосновать

остзейские привилегии ссылками на какие-то «исторические права». Он показал, что остзейские бароны — это потомки министерялов (так назывались в средние века несвободные люди, которых их господа принуждали нести военную службу). Он показал также процесс превращения этих людей в господствующий класс, экономически и политически порабовавший эстонских и латышских крестьян.

В книге нет очерка историографии остзейского вопроса. Можно только пожалеть об этом и выразить пожелание, чтобы работа, уже начатая Я. Зутисом в этом направлении, была бы завершена столь же успешно, сколь я разбираемый нами труд. Но одно уже и теперь ясно: каждая глава книги «Остзейский вопрос в XVIII веке» наносит сокрушительный удар по реакционным германским и немецко-прибалтийским концепциям, стремящимся оправдать не только господство балтийских баронов, но и завоевательные планы германского юнкерства — буржуазного империализма в Прибалтике.

Этим, однако, не ограничиваются достоинства научного труда Я. Зутиса. В каждой главе он наносит не менее сокрушительные удары и по буржуазно-националистическим школам в латышской и эстонской историографии. Вырождаясь с течением времени всё более, эта историография в конце концов встала на путь прямой поддержки остзейских привилегий, ибо, как правильно отмечает Я. Зутис, в борьбе с пережитками крепостничества и другими привилегиями немецких баронов передовые представители латышского и эстонского народа ещё в XIX веке ориентировались на русскую общественность и на русский народ. Распутывая сложный узел, завязавшийся вокруг остзейского вопроса, автор восстанавливает историческую правду, рассматривая историю латышского и эстонского народов в непосредственной связи с историей народов СССР.

С интересом читается глава «Остзейское рыцарство во время бирюзовщины». Здесь автор, несколько выходя за пределы темы, даёт яркую характеристику правления Бирона не только применительно к остзейским провинциям, но и в более широком плане общей политики России.

Период стабилизации дворянской империи являлся, как устанавливает Я. Зутис, периодом завершения процесса объедине-

ния остзейского рыцарства в замкнутые корпорации. Одновременно усилился процесс закрепощения латышского и эстонского народов. Общественное движение этих народов, нашедшее своё выражение в форме организации и деятельности гернгутерских общин, было в конце концов разгромлено остзейцами при поддержке царизма.

Значительная часть работы и посвящена детальному рассмотрению остзейского вопроса во второй половине XVIII века, собственно в период царствования Екатерины II.

Автор показывает, какую роль играла борьба Екатерины II против остзейских привилегий для её укрепления на русском престоле. Детально прослеживает он этапы этой борьбы от её подготовительной стадии в начале 60-х годов XVIII века до острой политической схватки с остзейцами в последние годы царствования Екатерины II, когда крестьянские волнения, война со Швецией в 1788—1790 гг. и французская буржуазная революция 1789 года вынуждала царское правительство оказывать давление на прибалтийских баронов.

На большом фактическом материале Я. Зутис показывает влияние крестьянского движения на общее развитие борьбы, развернувшейся вокруг остзейских привилегий. Он рисует картину крепостного права, выясняет характер и значение реформ, проведённых Екатериной II, — реформ, которые, принеся некоторые улучшения в правовом положении латышского и эстонского народов, были оплачены ими очень дорогой ценой.

В своём исследовании Я. Зутис убедительно доказал, что вся вина за столь тяжёлое положение народных масс в Прибалтике должна быть возложена на остзейское рыцарство, которое, захватив особые права, низвело крестьянство до уровня бесправных крепостных рабов. Однако, как справедливо замечает Я. Зутис, «политика царского самодержавия по своей классовой природе не могла быть фактором для окончательного решения остзейского вопроса, которое в одинаковой мере соответствовало бы государственным интересам России и историческому развитию эстонского и латышского народов». Это окончательное решение пришло много позднее, когда с помощью великого русского

народа латышский и эстонский народы взяли свою судьбу в собственные руки.

Автор убедительно показывает нам, как, несмотря на тяжёлые лишения, латышский и эстонский народы, исторически связанные с русским народом, в тяжёлой борьбе с остзейскими баронами отстаивали своё

право на самостоятельное историческое существование. Вот почему исследование Я. Зутиса является ценным вкладом в научную литературу по истории нашей Родины.

Доктор исторических наук
А. ЕРУСАЛИМСКИЙ.

★

„Я обвиняю поджигателей войны“

Семнадцать лет назад в нацистской Германии происходил знаменитый процесс о поджоге рейхстага. Товарищ Димитров бесстрашно обвинил тогда фашистских «судей», разоблачив их гнусную провокацию, направленную против коммунистов. В нынешнем году в трумэнговской Америке закончился судебный процесс двенадцати лидеров американской компартии. От имени рабочих и народа Америки «подсудимые» бросили в лицо своим обвинителям гневное слово правды, раскрывающее чёрные замыслы поджигателей новой мировой войны.

О борьбе за мир американских коммунистов с большой выразительностью и силой рассказывает книга одного из главных участников процесса — генерального секретаря ЦК американской коммунистической партии Юджина Денниса.

«Идея коммунизма — это идея мира», — такова основная мысль книги.

Книга эта, носящая название «В защиту вашей свободы», от начала до конца представляет собой обвинительный акт против нынешних правителей США, превративших свою страну в оплот реакции, фашизма и империалистической агрессии.

Автор ярко рисует ту атмосферу истерической лжи, клеветы и попирания самых элементарных демократических принципов, которая царила на процессе. Необычайно суровый приговор — десять лет тюремного заключения и десять тысяч долларов штрафа — был предпринят заранее и подготовлялся тщательно и обдуманно. Американская охранка — ФБР — полностью переняла методы гитлеровского гестапо. Из богатого арсенала реакции были извлечены и пущены в ход удушение свободы

слова, террор, фальсификация документов, вербовка «свидетелей» из среды оплачиваемых шпионов и провокаторов, нарочитый подбор присяжных, известных своими мракобесными антикоммунистическими убеждениями.

Судья Медина, рабски угодливый ставленник Уолл-стрита, сменивший бандитскую маску и балахон ку-клукс-клановца на судейскую мантию, решительно пошёл по стопам Геббельса и Гимmlера. Ему помогли реакционная пресса, требовавшая расправы над обвиняемыми, радио, изо дня в день искажавшее судебные отчёты, продажный Голливуд, травивший коммунистов и обливавший их грязью с сотен экранов, агентура Ватикана, в лице кардинала Spellмана призывавшая к всемирному походу против коммунистов. Все реакционные силы империалистического государства ополчились против двенадцати коммунистических лидеров.

В своей книге Деннис раскрывает подлинный смысл процесса, который должен был послужить «основанием» для запрещения компартии — совести американского народа.

Автор напоминает о том, что антикоммунистические процессы, подобные этому, имели место в нацистской Германии и других государствах «оси». С точки зрения философской, утверждает автор, это инквизиционный средневековый процесс, знаменующий собой гонение на свободу мысли, на марксистско-ленинское учение, которое выступает в качестве могучего оружия борьбы за мир, против преступных «теорий» расизма и космополитизма, состоящих на вооружении у американских империалистов. С точки зрения политической, этот суд — очередная провокация монополистических хозяев Америки с целью оправдать свою агрессивную антисоветскую политику. «Этот процесс, — говорит Деннис, —

Eugene Dennis. „In defense of your freedom“. New York, 1949. (Юджин Деннис. «В защиту вашей свободы». Нью-Йорк, 1949.).

попытка создать «идеологический базис» для «холодной войны», для политики Уолл-стрита, направленной против Советского Союза, для колоссальной гонки вооружений, атомной дипломатии и подготовки к новой мировой войне».

Итак, вот в чём заключается подлинное «преступление» американской компартии, приведшее её на скамью подсудимых в Трумэнвской Америке. Компартия мужественно возглавила движение за мир в своей стране, борясь против монополий с их бредовыми идеями мирового господства, с их преступными планами третьей мировой войны.

Деннис развёртывает подробный список преступлений американских монополий. Он говорит о безработице, разорении и нищете широких масс трудящихся — рабочих и фермеров, напоминает о кровавых летописьках империалистических и колониальных войн, обличает позор современной Америки — расовую дискриминацию, бичует унижительную роль науки на службе у империалистических кругов США, разрабатывающей по их указке планы атомной, химической и бактериологической войны. Он гневно называет поджигателей войны палачами народов. Эти страницы, проникнутые подлинным пафосом обличения, принадлежат к числу наиболее ярких в книге.

С фактами и документами в руках Деннис показывает, что компартия систематически обличала монополии, как фактических продолжателей дела гитлеровской Германии в стремлении воскресить пресловутый «антикоминтерновский пакт».

«Мы восставали, — пишет он, — против «плана Маршалла», экспортирующего оружие и экономический кризис, а также против злосчастного Северо-Атлантического блока... Мы предупреждали, что американские империалисты создадут новый антикоммунистический союз оси, с центром уже не в Берлине, а на Уолл-стрите. Мы предупреждали, что американские двойники круппов и тиссенов — херсты, дюпоны и рокфеллеры вновь подхватят запятнанное позором знамя антикоммунизма с начертанными на нём геббельсовскими лозунгами, чтобы поработить народы мира».

В борьбе против поджигателей войны и заключается, указывает Деннис, основной смысл деятельности американской компар-

тии в послевоенную эпоху. Автор подчёркивает, что компартия выступает здесь истинной преемницей и продолжительницей демократических традиций американского народа.

«Факты показывают, — говорит Деннис, — что нашей целью и задачей... было создать мощную и эффективную силу рабочего класса в послевоенной борьбе за мир, чтобы спасти наш народ от насилия монополий, от реакции, линчевания и атомной войны. Нашей целью было организовать партию так... чтобы она возглавила борьбу народа за мир, демократию и социализм».

Борьба за мир, красной нитью проходящая через историю американской компартии в послевоенные годы, всё более и более усиливается. Никогда ещё не было столь могучим движение за мир во всём мире.

«Благодаря этой огромной, всё растущей силе антиимпериалистического лагеря мира, демократии и социализма, — говорит Деннис, — сейчас уже становится возможным впервые в истории воспрепятствовать наступлению новой мировой войны».

Деннис напоминает о сотнях миллионов трудящихся в Америке и за её пределами, противопоставляющих свою волю к миру преступным человекоубийственным замыслам американских монополий. Он говорит о странах народной демократии, строящих новые формы государственности, экономики и культуры, об исторической победе китайского народа, о колониальных нациях, поднимающихся на борьбу. Мысль его с надеждой устремляется к несокрушимо-му оплоту борьбы за мир — стране Советов.

Советский Союз, пишет Деннис, это совесть мира, выразитель воли народов, устремлённой в будущее, против строя, порождающего войны и фашизм. Опираясь на Сталинскую идею мирного сосуществования двух систем — капиталистической и социалистической, — Деннис указывает на общность интересов советского и американского народов в борьбе за мир, призывает к сотрудничеству и дружбе с Советской Россией и к осуществлению Сталинского предложения о советско-американском Пакте Мира.

Вдохновенно и страстно, с горячей убежденностью в победе великих идей коммунизма звучат речи коммунистических лидеров перед судом. «Мы, обвиняемые, — говорит Деннис, — клятвенно свидетельствуем, что в стране социализма, Советском Союзе, нет ни эксплуатации большинства меньшинством, ни расового и национального неравенства, ни религиозных преследований, ни страха перед безработицей и социальной необеспеченностью... Там неизвестно стремление поработать другие народы и страны... так как у социалистического государства нет никаких оснований для того, чтобы вести внешнюю политику агрессии и войны. И ещё мы клятвенно свидетельствуем нашу веру в то, что мощь и укрепление социализма в стране, где он победил, — в СССР, — а также торжество социализма во всём мире навсегда устранят угрозу реакции, фашизма и войны и откроют человечеству безграничные перспективы материального изобилия, счастья и социального прогресса».

Правда о процессе, рассказанная Деннисом, его «я обвиняю», брошенное в лицо поджигателям войны, послужили толчком к новому подъёму борьбы с силами реакции, инспирировавшими этот суд. В защиту осуждённых подняли свой голос прогрессивные деятели культуры: писатель Говард Фаст, французский поэт Поль Элюкар, артист Поль Робсон, профессор Дюбуа и многие другие. Толпы народа, невзирая на резиновые дубинки и револьверы полицейских, осаждали здание Федерального суда на Фоли-сквер — эту твердыню Уолл-стрита. Конгресс вынужден был внести законопроект, воспрепятствующий демонстрации протеста на площади суда. В «Национальный беспартийный комитет для защиты прав двенадцати руководителей компартии» стекались со всех концов страны сотни тысяч писем, миллионы подписей, большие денежные средства, собранные из трудовых грошей рабочих, служащих, студентов, домохозяек, людей

из народа. Эта волна протестов, пронёсшаяся по всей Америке, влилась в могучее движение за мир, впервые в истории охватившее многомиллионные массы на всём земном шаре. Митинги и демонстрации состоялись не только в Нью-Йорке и Чикаго, но и в Париже, Гааге, Пекине, Улан-Баторе и во многих других городах мира.

Не только на всю Америку, но и на весь мир прозвучали слова защитника Крокетта, сказанные им на суде перед вынесением приговора: «Компартия — это совесть Америки. Уничтожьте её — и появится новая партия, потому что нация не может существовать без совести».

С этой речью Крокетта перекликается последнее слово «подсудимого» Денниса, которым и заканчивается его книга. Идея коммунизма победит, сказал он, ибо таковы общие законы развития человеческого общества, столь же непреложные, как законы природы. Преступные хозяева сегодняшней Америки — мировые монополии — бессильны остановить ход исторического процесса. Те же, кто, идя по стопам Гитлера и его кровавой клики, пытается повернуть вспять колесо истории, поджигатели новой мировой войны, так же как и гитлеровские военные преступники, предстанут перед судом народным и волей народов к миру будут сметены.

«И в нацистской Германии, как и в Италии под игом Муссолини, — обращается Деннис к судье, — были люди, подобные вам, которые так же облачались в торжественные чёрные одеяния, заседали в верховных трибуналах и выносили профашистские решения. Но я напоминю суду, что все их решения и приговоры были отменены властью народа, точно так же как наш народ отменит приговор этого суда и вынесет своё собственное решение за мир, за демократию и социальный прогресс!»

Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКАЯ.

Борьба империалистических держав за нефть

В конце 1948 года курс акций американских нефтяных монополий, орудующих в Венесуэле, заколебался: по распоряжению президента Венесуэлы Гальегоса доходы этих монополий были обложены 50-процентным налогом. Выдавшие виды бизнесмены говорили: «дни Гальегоса сочтены». Действительно, не прошло и нескольких недель, как демократическое правительство Гальегоса было свергнуто военной кликой, подкупленной Уолл-стритом. Немедленно после переворота новый венесуэльский министр «развития экономики» Педро Агеррезере объявил, что правительство займёт дружественную позицию в отношении американских нефтяных компаний.

В Сирии на протяжении только 1949 года имели место три «нефтяных» государственных переворота. Три полковника, один за другим захватывавшие власть, различались лишь тем, что два из них были на содержании у американцев, а один — у англичан.

Перевороты в Венесуэле и Сирии являются лишь незначительными эпизодами преступной деятельности нефтяных магнатов США и Англии. Кровавая интервенция в Индонезии, заговоры в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, террор в колониальных и зависимых странах Африки и Азии — таков далеко не полный список злодеяний, вдохновителями которых являются английские и американские нефтяные монополии.

В странах народной демократии английские и американские нефтяные концессии являлись центрами шпионажа и диверсий. На судебных процессах в Венгрии и Румынии было установлено, что уполномоченные нефтяных монополий «Стандарт Ойл Нью-Джерси» и «Ройял Дач Шелл» путём вредительства стремились задержать развитие экономики этих стран. Достопочтенные джентльмены не гнушались и чисто воровскими операциями. Например, на двадцати четырёх вышках английских концессий нефть систематически перекачивалась из соседних румынских государ-

ственных скважин путём использования разработанных в Лондоне схем наклонного бурения.

Нефть вдохновляла и многих организаторов «крестового похода» против СССР, мечтавших о захвате Советского Азербайджана. Форрестол, тесно связанный с американскими нефтяными компаниями, и другой военный министр США Ройялл открыто подстрекали к войне против Советского Союза, призывали к нанесению ударов по нефтепромыслам Баку. Генерал-лейтенант Дуллилл, занимавший во время войны крупный пост в авиации США, а ныне вице-президент нефтяной компании «Юнион Шелл», выступал с заявлениями о необходимости «моральной, физической и умственной» готовности к тому, чтобы атомными бомбами уничтожить промышленные центры Советского Союза.

Однако эти совместные выступления деятелей англо-американского блока против Советского Союза и стран народной демократии, против национально-освободительного движения, не устраняют глубоких противоречий между Англией и США, одним из которых является проблема нефти.

Нефть — кровь моторов. Без неё застынут в бездействии бомбардировщик и истребитель, танк и автомашина, линкор и катер. Без жидкого топлива современная армия будет парализована. Но нефть — не только топливо. Из нефти получают тысячи разнообразных продуктов: синтетический каучук и различные пластмассы, толуол и многие другие вещества, необходимые для военных нужд. Вот почему так велика роль нефти во внешней политике империалистических государств.

Большая часть нефтяных источников капиталистических стран, нефтеперерабатывающих заводов и танкерного флота сосредоточена в руках двух упоминавшихся уже компаний: «Ройял Дач Шелл» и «Стандарт Ойл». Четверть века назад товарищ Сталин указывал, что борьба за нефть, происходящая во всех частях света, где только нефть имеется, — это есть борьба Америки и Англии.

Используя кабальный план Маршалла, американские монополии захватили ряд нефтяных источников в колониальных владениях маршаллизованных государств и

Майкл Брукс. «Нефть и внешняя политика». Перевод с английского и вступительная статья И. Арсеньева. Редактор В. Маркина. Издательство иностранной литературы, М. 1949.

прибрали к рукам промышленность по переработке нефти во Франции, Бельгии и Италии. Англия под экономическим давлением США вынуждена была уступить серьёзные позиции не только в странах Латинской Америки, но и на Ближнем и Среднем Востоке. Эти уступки, однако, лишь разожгли аппетит американских нефтяных компаний, которые стремятся установить контроль над производством и потреблением нефтепродуктов даже в самой Англии. Попытки британских правящих кругов сократить импорт американской нефти вызывают резкое недовольство деловых кругов США, прибегающих к испытанному средству — к угрозам о прекращении «помощи» по плану Маршалла.

В рецензируемой книге английского публициста Майкла Брукса «Нефть и внешняя политика» эти усиливающиеся противоречия между Англией и США отражены недостаточно. Борьба за нефть, и то далеко не полно, показана только на Ближнем Востоке и в Индонезии. Тем не менее собранный в книге материал даёт представление о разбойничьих методах, применявшихся и применяющихся английскими и американскими монополиями для захвата нефти.

«Англо-Иранская компания», одним из организаторов которой является Черчилль, была создана путём подкупа и угроз. Эта компания сумела нажать баснословные прибыли благодаря систематическому дипломатическому и военному давлению английского правительства на Иран. Когда в декабре 1932 года иранское правительство попыталось расторгнуть концессионный договор в связи с неуплатой отчислений, Англия направила к берегам «компаньона» военные суда. Под дулами орудий иранцы стали сговорчивее, и концессия была продлена.

Лейбористское правительство нашло ещё более эффективный способ заключения соглашений. В сентябре 1949 года «бесстрашные» английские лёгчики с бреющего полёта обстреляли женщин и детей селений Йемена за отказ имама Йемена предоставить нефтяные концессии только англичанам.

Советники государственного департамента США, нахлынувшие в Иран в годы второй мировой войны, заняты были главным образом обеспечением интересов американ-

ских нефтяных компаний и превращением Ирана в плацдарм против СССР. Это делалось в то время, когда советские Вооружённые Силы один на один сражались с гитлеровскими полчищами.

Освещая советско-иранские переговоры о создании смешанного нефтяного общества, Брукс справедливо отмечает, что «Советский Союз предложил такие справедливые и выгодные для Ирана условия концессии, какие ещё никто никогда ему не предлагал», и что «принятие этих условий означало бы для Ирана развитие его промышленности и экономики при полном соблюдении его суверенитета и независимости». Срыв переговоров явился результатом давления английских и американских нефтяных монополий, использовавших дипломатический нажим. Посол США в Иране Аллен прямо указал продажным правящим кругам Ирана на «необходимость сопротивления русским требованиям».

Заслуживают внимания приведённые в книге факты подлинно изменнической деятельности нефтяных магнатов капиталистических стран. Снабжая Японию нефтепродуктами вплоть до лета 1941 года, американские дельцы отлично знали, что большая часть этих поставок пополнит стратегические резервы японских империалистов. Гитлеровская Германия вплоть до капитуляции получала американский бензин через нейтральные страны. Принадлежащие английским и американским компаниям нефтезаводы в Австрии, Венгрии и Румынии во время войны систематически увеличивали поставки жидкого горючего фашистской армии. Продолжая свою преступную политику, нефтяные магнаты США и Англии пытаются всячески разжечь в настоящее время пожар новой мировой войны.

Брукс наивно предлагает положить предел хищническим устремлениям империалистов к источникам нефти путём национализации нефтяных богатств и предоставления возможности правительствам колониальных и зависимых стран распоряжаться ими по своему усмотрению. Эти реформистские пожелания несостоятельны. При сохранении капитализма невозможно отделение интересов монополий от международной политики, так как государство в США и в Англии полностью поставлено на службу монополистическому капиталу. Само со-

бой разумеется, что «национализация», подобная той, которая проводится в Англии, служит лишь интересам капиталистов и приводит к дальнейшему усилению монополистического гнёта. Хорошо известно также, что марионеточные правительства в странах Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока являются ставленниками монополий. Лишь установление подлинно демократического строя в результате свержения империалистического ига позволит народам колониальных и зависимых стран стать хозяевами всех, в том числе и нефтяных ресурсов.

Пробелы в книге Брукса могли бы быть в известной степени восполнены во вступительной статье. Между тем автор её И. Арсенев, описывая, например, произвол и грабёж английских концессионеров в Иране, почему-то не упоминает ни о разорении и бедствиях народных масс в результате хозяйничанья американских компаний на Ближнем и Среднем Востоке и в странах Латинской Америки, ни о чудовищной эксплуатации рабочих американскими нефтяными монополиями на при-

надлежащих им концессиях. Как указывает, например, дамаская газета «Алефба», в Саудовской Аравии на строительстве нефтепровода заработной платы арабского рабочего едва хватает на пропитание самого рабочего, не говоря уже о его семье. Арабам запрещено приближаться к благоустроенным городкам, где в комфортабельных условиях живут американцы. В Венецуэле на нефтепромыслах установлен каторжный режим для туземных рабочих, три четверти которых вследствие недоедания больны туберкулёзом.

Наконец, во вступительной статье следовало отметить проявления неотвратимо нарастающего экономического кризиса и в американской нефтяной промышленности США. Это выражается не только в снижении удельного веса США в общей добыче нефти в капиталистическом мире, но и в значительном сокращении продукции нефти в США в 1949 году по сравнению с 1948 годом.

*Доктор экономических наук
А. ШПИРТ.*

★

Возрождение фашизма и милитаризма в Японии

Один из главных поджигателей войны, бывший президент США Гувер недавно выступил с предложением вывести из Совета Безопасности Советский Союз и Китай и ввести вместо них Германию и Японию. Это наглое предложение показывает, насколько далеко зашли американские империалисты в своих планах восстановления германского и японского фашизма и милитаризма, в подготовке агрессии против СССР и других демократических государств.

Генерал Макартур, которого не без основания называют «дальневосточным Черчиллем», уже превратил оккупированную американскими войсками Японию в военнопromышленный придаток Уолл-стрита и в пороховой погреб на Дальнем Востоке. Американская военщина лихорадочно восстанавливает и строит новые военные базы на японских островах, усиливает там контингенты своих войск и под видом по-

лиции возрождает японские вооружённые силы.

Свою агрессивную политику в Японии правящие круги США проводят с помощью японской реакции. Японское правительство, возглавляемое Сигеру Иосида, угожливо выполняет волю американских монополий и охотно предаёт национальные интересы своего народа в стремлении помочь своим хозяевам превратить страну в колонию США.

Кто такой Иосида?

Разоблачению его и всей японской реакционной камарильи, находящейся на службе американского капитала, посвящена изданная компартией Японии брошюра «Мы обвиняем правительство Иосида».

Премьер-министр японского правительства — личность, довольно известная ещё со времён господства японского милитаризма. До войны Иосида стяжал себе славу искусного дипломата: в 1936—1938 гг. был послом в Англии, ещё раньше — консулом в Мукдене. В 1944 году, находясь временно не у дел, Иосида предложил

«Мы обвиняем правительство Иосида». Издание компартии Японии, Токио, 1949. (На японском языке).

японской военщине свои услуги для закулисного сговора с англичанами и американцами о сепаратном мире.

Близость теперешнего премьера Японии к фашистско-милитаристским кругам уходит своими корнями в те времена, когда он в 1928 году занимал пост вице-министра иностранных дел в кабинете «отца японской агрессии» генерала Танака. Именно Иосида помогал своему принципалу разработать агрессивный план, вошедший в историю под названием пресловутого «меморандума Танака». Как известно, в этом меморандуме была провозглашена японская агрессивная политика «железа и крови», означавшая жестокий полицейский террор внутри страны и установление господства японской военщины над всей Азией, а затем и над всем миром.

Чтобы дополнить характеристику Иосиды, укажем, что он тесно связан не только с дворцовыми кругами, но и с крупнейшими японскими монополиями («дзайбацу»).

Кандидатура Иосиды оказалась генералу Макартуру весьма подходящей для замещения поста главы японского правительства. И вот Иосида возглавляет уже третий послевоенный кабинет. Он группирует вокруг себя все реакционные силы страны, стремящиеся повернуть Японию вспять, на путь политики военных авантюр. Японские поджигатели войны с полным основанием рассчитывают осуществить это под эгидой США. Преступная деятельность многочисленных фашистско-милитаристских организаций Японии, которым всячески потворствуют штаб Макартура и кабинет Иосиды, полностью раскрыта в рецензируемой брошюре.

Всего в Японии насчитывается около двух тысяч подобных милитаристских организаций. В брошюре перечисляются наиболее известные из них.

Вот «Общество друзей хризантемы». Оно существовало задолго до войны, и название ему дано в соответствии с эмблемой императорского двора. Согласно Потсдамской декларации и решениям Дальневосточной комиссии эта фашистско-милитаристская организация подлежала роспуску. Однако после войны «Общество друзей хризантемы» стало ещё более многочисленным и действует вполне легально. Оно имеет 17 филиалов в стране, издаёт свой печатный орган. Членами обще-

ства являются бывшие военнослужащие японской армии. Сейчас они ведут деятельную пропаганду за восстановление японского милитаризма. По поводу этой преступной организации даже газета «Вашингтон пост» 17 августа 1949 года писала: «Члены пресловутого «Общества друзей хризантемы» пытаются объединить все империалистические и националистические организации Японии».

Другая фашистско-милитаристская организация носит название «партия Ямато» (Ямато — древнее название Японии). До войны она занималась пропагандой «превосходства» японской расы. После войны «партия Ямато» модернизировалась: к числу «высших рас», которые должны, по её мнению, господствовать над миром, она относит теперь и англо-саксов. Лидеры этой партии беззастенчиво заявляют: «Мы должны подняться с помощью оружия американских оккупационных сил».

Не менее открыто действует фашистско-милитаристская организация «Общество спасения отечества». Её члены, состоящие в основном из бывших военнослужащих, — ярые сторонники восстановления Японии как колониальной империи. Фактически общество готовит кадры для возрождаемой американцами японской армии. Филиалы «Общества спасения отечества» построены по военному принципу, его члены сведены во взводы, батальоны и т. д.

Подобные же цели преследует «Лига любви и взаимного процветания», открыто призывающая к созданию «Федерации стран Востока» под гегемонией США и Японии. Фактически это означало бы восстановление «восточно-азиатской сферы сопроцветания», под флагом которой японские милитаристы пытались установить своё господство над народами Азии. Одним из способов проявления активности этой милитаристской организацией является вербовка «японских волонтеров» для службы в гоминдановских войсках на Тайване.

В Японии действуют также организации, объединяющие бывших офицеров-милитаристов. Особенного внимания заслуживает офицерская организация, состоящая, главным образом, из представителей высшего командования японской армии. В этой организации подвизается бывший заместитель начальника генерального штаба Дзинсабу-

ро Мадзакки, бывший генерал-лейтенант Хиотаро Сакураи, связанный с гоминдановской реакцией, бывший генерал-лейтенант Ханатани, занимавший крупный пост в штабе Квантунской армии.

Один из главарей японских фашистов Кагояма осенью 1949 года заявил, что он надеется при содействии генерала Макартура объединить все японские фашистско-милитаристские силы. Фашист Симидзу просил Макартура разрешить ему объединить молодёжные организации в военно-фашистские группы и вооружать их с помощью США.

Штаб Макартура не остаётся глух к подобным призывам. С его санкции созданы так называемые «лиги демократизации», подрывающие прогрессивные профсоюзы. Эти лиги фактически представляют собой банды гангстеров и террористов, помогают полиции совершать налёты на бастующих и демонстрантов, на помещения прогрессивных профсоюзов, организации компартии, редакции демократических газет.

Последовательно проводя свою линию восстановления фашизма и милитаризма, штаб Макартура выпускает на свободу японских военных преступников. Многие из них уже занимают важные государственные посты. Макартур издал также циркуляр, по которому главные японские военные преступники освобождаются от наказания, предусмотренного приговором Международного военного трибунала для Дальнего Востока. Не удовлетворившись этим, штаб Макартура взял под свою защиту организаторов и вдохновителей бактериологической войны во главе с императором Японии Хирохито, суда над которыми потребовал Советский Союз. Дело дошло до того, что американские оккупационные власти устроили приём для генерал-бандитов Исии, Касахара, Вакамацу и Китано, которые являются сообщниками «повелителя чумных блох» Хирохито по организации бактериологической войны. Иностранная печать указывает, что американцы привлекают их к работе по «специальности» в целях подготовки преступного смертоносного оружия, которое США собираются использовать в будущей войне.

Брошюра японской компартии подробно показывает, как идущее на поводу у аме-

риканских империалистов правительство Иосида всячески срывает выполнение решений Потсдамской конференции о демилитаризации и демократизации Японии, как клика Иосида предаёт национальные интересы страны. На это указывал и генеральный секретарь компартии Японии Кюици Токуда в своём докладе на январском пленуме ЦК компартии. «Кабинет либерально-демократической партии Иосида, — сказал Токуда, — превратился в кабинет национального предательства». Иосида принадлежат слова: «Я считаю, что некоторая часть правительственных железных дорог и табачная монополия должны быть проданы иностранным капиталистам с тем, чтобы увеличить иностранные кредиты Японии».

Тот же Иосида заявил не так давно в парламенте, что правительство не возражает против передачи японских баз в постоянное пользование американским войскам. Торговля страной оптом и в розницу — такова «деятельность» кабинета Иосида.

В тон Макартуру, Иосида — этот японский поджигатель войны, призывает к походу против СССР и Китайской Народной республики. Но идя по пути предательства, оголтелые японские империалисты наталкиваются на всё возрастающие трудности. Совесть японского народа — компартия Японии — твёрдо стоит на страже интересов страны. Вот почему Макартур и Иосида пытаются запретить компартию Японии, вот почему они стремятся подавить в народе стремление к миру, демократии и национальной независимости. Приказ генерала Макартура японскому правительству от 6 июня 1950 года объявить членов Центрального Комитета компартии Японии вне закона является фашистским актом американского диктатора. Этот приказ копирует действия милитаристских главарей времён Танака и Тодзио. Преследуя японских коммунистов, наместник Белого дома и Уолл-стрита в Токио Макартур и его холуй Иосида в то же время возрождают фашизм и милитаризм в Японии.

Брошюра компартии Японии — яркий обвинительный акт не только против правительства национальной измены. Это обви-

нительный акт и против штаба Макартура, превращающего Японию в форпост агрессии США на Дальнем Востоке.

Указывая на предательский характер кабинета Иосида, Токуда сравнивает его с продажным гоминдановским правитель-

ством Чан Кай-ши, которое ныне полностью обанкротилось и выброшено на мусорную свалку истории. «Кабинет Иосида, — говорит Токуда, — ожидает участь гоминдановского правительства Китая».

П. КРАЙНОВ.

★

На морском охотнике

Нашему читателю хорошо известны документальные книги советских офицеров — участников Великой Отечественной войны. Большинство этих книг посвящено мужественной борьбе советских воинов на сухопутных фронтах и в тылу у врага. Книга балтийского офицера-катерника И. Чернышёва знакомит читателей с эпизодами войны на море, повествуя о боевой деятельности одного из соединений катеров морских охотников Балтийского флота.

Экипажи этих небольших кораблей нашего Военно-Морского Флота снискали заслуженную славу в годы войны. Пожалуй, не было ни одной морской операции, в которой бы не принимали участия катероохотники. Они конвоировали крупные транспорты, доставлявшие технику и пополнение армии, несли дозорную службу, высаживали десантников, отражали многочисленные атаки подводных лодок и вражеской авиации.

По неделям не смыкая глаз, матросы и офицеры в суровых штормовых условиях несли боевую вахту, боролись с обледенением. Всё это закаляло людей, повышало их выносливость. В схватках с врагом росло их боевое мастерство. За годы войны небольшие экипажи морских охотников наносили ощутительные удары по врагу. «Боевая деятельность советских моряков, — указал товарищ Сталин, — отличалась беззаветной стойкостью и мужеством, высокой боевой активностью и воинским мастерством...»

На Балтийском, Чёрном и Баренцовом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил

свой долг перед Советской Родиной¹. Эта высокая оценка, данная гениальным полководцем нашему флоту, относится и к экипажам катеров-охотников.

Автор книги И. Чернышёв — офицер, окончивший военно-морское училище незадолго до начала войны. В дни, когда на западных рубежах нашей Родины развернулись ожесточённые бои, он впервые вступил на палубу своего корабля. Чернышёв и его боевые друзья принимали участие во многих операциях. Воспоминания о мужественных советских балтийских матросах, старшинах и офицерах, об их ратном труде на море и составляют основу книги «На морском охотнике», носящей характер записок.

Первый же выход в море подтвердил старое правило, что с окончанием военно-морского училища учёба молодого офицера не прекращается, а наоборот, становится особенно интенсивной. Это поняли и Чернышёв и его боевые товарищи — Амусин, Боков и Гавриков. В перерывах между боями они помогали друг другу учиться, подробно обсуждали действия того или иного экипажа катера, расспрашивали офицеров, перенимали их боевой опыт.

Всё это пригодилось им в последующих операциях — при прорыве к осаждённому Таллину, в боях с катерами и авиацией врага. «Это был тяжёлый и горький путь, — пишет И. Чернышёв о переходе из Таллина в Кронштадт, в котором морские охотники сопровождали и прикрывали корабли. — ...Атаки следовали одна за другой. Зенитчики катеров и кораблей охранения едва отгоняли одну группу «юнкеров», как появлялась новая, и снова гремели залпы».

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Госполитиздат, М. 1947, стр. 199—200.

С каждым днём фронт всё ближе и ближе подходил к Ленинграду. У стен великого города советские войска стали непреодолимой преградой на пути фашистских армий. Корабли, базировавшиеся на Кронштадт, активно помогали частям Советской Армии. Наши крейсера и эскадренные миноносцы вели огонь по батареям врага, уничтожали его живую силу и технику. Активно действовали и катера-охотники.

О мужестве экипажей этих небольших кораблей можно судить хотя бы по случаю, который произошёл с катером лейтенанта Бокова. Этот катер, в числе других, вёл ночной бой с противником. Когда победа была уже достигнута, катер неожиданно подорвался на mine. Нос охотника был оторван по самую рубку, моторы вышли из строя. Часть матросов погибла, командир был тяжело контужен. Несмотря на это, горсточка оставшихся в живых советских людей продолжала готовиться к нозой схватке с врагом. Экипаж твёрдо решил сражаться до последнего патрона, а в случае неизбежной гибели взорвать себя и катер. На рассвете героический экипаж был спасён подоспевшими советскими тральщиками.

В тяжёлых условиях блокады Ленинграда зимой 1941—1942 гг., когда Финский залив и Нева были скованы льдом, личный состав приступил к ремонту катеров. Матросы и старшины, не имевшие до этого опыта в организации сложного ремонта, часто выполняли работу в полуразрушенных цехах завода. А после трудного и утомительного дня они находили в себе силы, чтобы продолжать учёбу, повышать свои политические и военные знания.

Не менее трудной была и вторая зима в осаждённом Ленинграде. «Ремонт катеров в Кронштадте был не легче, чем в предшествующую зиму, — пишет автор. — Ленинград всё ещё находился в блокаде. Подвоза запасных частей и материалов не было. Рабочие попрежнему работали на эвакуированных заводах в тылу. Ремонт в Кронштадте был ещё труден и тем, что здесь не было мастерских, приспособленных специально для ремонта катеров. Выручал опыт наших механиков и команд, приобретших рабочую квалификацию и сноровку».

И опять, как и в первую зиму, офицерский состав в свободное от ремонта время занимался разбором боевых операций, а матросы на технических конференциях обменивались опытом по использованию механизмов и оружия в различных боевых условиях. Таким образом, учёба на катерах не прекращалась.

Но вот сошёл лёд, и катера вышли в море, чтобы начать борьбу с врагом в Финском заливе. Снова и снова вели они ожесточённые бои с противником, отбивали многочисленные атаки вражеской авиации, атаковали подводные лодки.

В вечернем сообщении Советского Информбюро от 25 мая 1943 года сообщалось следующее: «В Финском заливе 13 катеров противника напали на два наших дозорных катера. Советские моряки вступили в бой с численно превосходящими силами врага, потопили два и сильно повредили один катер противника. Остальные вражеские катера поспешно отошли под прикрытие финских береговых батарей».

Когда немецко-фашистские войска были отброшены от стен Ленинграда и Советская Армия успешно продвигалась на Запад, перед кораблями Балтийского флота встали новые задачи. Новые задачи были поставлены и перед катерами-охотниками. Если в начале войны последние покидали базы и прикрывали отход транспортов и больших кораблей, то теперь катера шли впереди и первыми врываются в освобождённые порты.

В ходе боёв росло мастерство офицеров-катерников, боевых друзей Чернышёва, матросов и старшин, с которыми он начинал войну. Они приобрели богатый боевой опыт, научились искусству побеждать врага в любых условиях. Так, И. Чернышёв и многие из его друзей, начав службу помощниками командира, стали к этому времени командирами катеров и подразделений.

Книга И. Чернышёва «На морском охотнике» написана живо и читается с интересом. Однако она не лишена и ряда существенных недостатков. Автор описывает только то, что он непосредственно видел с палубы катера или слышал от своих товарищей о действиях экипажей других катеров. А между тем книга намного выиграла бы, если бы И. Чернышёв рассказал и о воинах других родов войск, с которыми ему приходилось сталкиваться при

выполнении боевых операций, — о морских пехотинцах, солдатах и офицерах Советской Армии, об экипажах кораблей других классов. Очень скупо показана связь военных моряков с трудящимися города Ленина в период блокады.

Устранение этих недостатков позволило бы ярче нарисовать героическую борьбу нашей Армии и Флота за советскую Прибалтику.

Капитан 1-го ранга
А. БАКОВИКОВ.

★

П р а в о

Советское законодательство о браке и семье

Когда в 1948 году в возглавляемом Элеонорой Рузвельт Комитете ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам обсуждался проект декларации прав человека, советской делегации пришлось в интересах всего мира решительно отстаивать принцип равноправия женщины, уже давно осуществлённый в СССР.

Противником предложения советской делегации о том, что «мужчина и женщина должны пользоваться равными правами как во время состояния в браке, так и при его расторжении», выступила сама Элеонора Рузвельт, представлявшая «демократическую» Америку. Стремление увековечить узаконенное при капитализме рабство женщины является одной из реакционнейших черт буржуазной культуры, буржуазного права.

Иное положение в нашей социалистической стране. «Советская власть, — писал Ленин в 1920 году, — первая и единственная в мире уничтожила полностью все старые, буржуазные, подлые законы, ставящие женщину в неравноправное положение с мужчиной, дающие привилегии мужчине, например, в области брачного права или в области отношений к детям. Советская власть первая и единственная в мире, как власть трудящихся, отменила все, связанные с собственностью, преимущества, которые сохранились в семейном праве за мужчиной во всех, даже самых демократических, буржуазных республиках»¹.

Исключительная забота партии Ленина—Сталина и советского государства об ук-

реплении семьи, о счастливом материнстве и детстве находит яркое проявление в многочисленных законодательных и других мероприятиях советской власти с первых же дней Великой Октябрьской социалистической революции.

В рецензируемой книжке автор, привлекая множество примеров из жизни советской страны, показывает, как социалистическое государство уничтожило подлые буржуазные законы, ставящие женщину в неравноправное положение с мужчиной, и создало новые, нигде в мире невиданные, истинно демократические законы, написанные в защиту прав женщины, в целях укрепления советской семьи.

Читатель узнаёт из книжки Г. М. Свердлова не только о тех поистине гуманных законодательных актах, которые заложили фундамент и последовательно развили новые отношения между женщиной и мужчиной, между супругами, родителями и детьми в нашей стране, но и о реальном осуществлении революционных и демократических принципов, лежащих в основе этих законов. Как и во всех других областях социалистического строительства, в области семейного права советские законы не расходятся с делами социалистического государства.

Ещё до рождения ребёнка, в период беременности женщины, советское государство заботливо оберегает будущую мать, предоставляя ей ряд прав и гарантий. После рождения ребёнка и вплоть до его совершеннолетия государственные органы и общественные организации оказывают советской семье, детям и родителям огромную помощь в деле воспитания молодого поколения.

Особенно ярко предстают перед нами преимущества социалистического строя при

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXV, стр. 40.

Г. М. Свердлов. «Советское законодательство о браке и семье». Ответственный редактор В. Серебровский. Издательство Академии наук СССР. М. 1949.

сравнении с капиталистическим укладом жизни.

В книжке приводятся материалы, свидетельствующие об угнетённом положении женщины в буржуазной семье, о неравноправии женщины во всех областях жизни в капиталистических странах, о разложении буржуазной семьи, которая построена на основе частной собственности, на основе перенесения в брачно-семейные отношения духа торговой сделки.

Двадцать пять лет тому назад В. Маяковский, посетив Америку, рассказал о ряде фактов такого коммерческого подхода буржуазии к быту, к семейным и другим человеческим отношениям.

Миллионер Браунинг на старости лет захотел жениться.

«Так как брак старика с девушкой — вещь подозрительная, миллионер пошёл на удочерение.

Объявление в газетах:

«Желает миллионер удочерить шестнадцатилетнюю».

12 000 лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек сидело в приёмной мистера Браунинга.

Чем это не американский бизнес?

Лицемерные законы буржуазного мира часто препятствуют мужчине и женщине, резко различающимся по своему имущественному и общественному положению, вступить в официальный брак и вынуждают их жить в браке неофициальном.

Достаточно хотя бы бегло ознакомиться с законами о браке и практикой проведения в жизнь этих законов в «передовых» странах капитализма, чтобы убедиться в наличии многих юридических, политических и экономических условий, фактически сводящих на нет свободу вступления в брак. В законах тридцати одного штата Северной Америки, пишет автор, можно найти буквально драконовские правила, категорически запрещающие браки между представителями белой, «высшей», расы и представителями цветной, «низшей».

Брак в СССР, как правильно говорит автор, представляя собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, гарантирует в этом союзе личные права и достоинства каждого супруга при абсолютном равенстве мужа и жены. Это положение основано на политическом и экономическом равенстве мужчины и женщины в советской стране.

Советская семья играет значительную роль в деле коммунистического воспитания людей. Однако кое-где ещё встречаются уродливые явления, являющиеся пережитками капитализма. Они проявляются и в семейном быту — в легкомысленном отношении к семье и к родительским обязанностям.

В системе мер борьбы с этими явлениями особое место занимает новое законодательство о расторжении брака, имеющее целью предупредить легкомысленное разрушение семьи и защитить интересы женщин и детей. Много усилий проявляют советские судьи при рассмотрении дел о разводе, стремясь добиться примирения супругов. В практике работы советских судов немало примеров, когда под влиянием доводов судьи дело заканчивается публичным примирением супругов.

Правильно уделив немало места критике буржуазного законодательства и буржуазной судебной практики, автор, к сожалению, ни слова не сказал о тех больших принципиальных изменениях, которые произошли в законодательстве о семье и браке, как и в других вопросах социалистического строительства, в странах народной демократии. Советскому читателю несомненно интересно было бы узнать о тех сдвигах, которые произошли в этих странах и в области равноправия женщин и мужчин в браке, в борьбе за счастливое материнство и детство.

Книжка Г. М. Свердлова, написанная простым, доходчивым языком, является хорошим образцом научно-популярной юридической литературы.

Кандидат юридических наук
В. ТАДЕВОСЯН.

На верном пути

Один из героев романа украинского писателя А. Гончара «Знаменосцы» — бывший солдат Хома Хаецкий, с боями дошедший до Будапешта, попадает в здание Венгерского парламента.

Венгерский художник Ференц, показывая Хоме достопримечательности Палаты депутатов, собирает рассыпавшиеся тяжёлые фолианты и вытирает с них пыль.

«— Что это за книги? — спрашивает Хома.

— Законы, Хома. Наши старые законы...

— Чего ж такая пылица на них? — продолжает допытываться Хаецкий.

— Перетру, Хома!

— Перетри, перетри хорошенько, Ференц, — поучает Хома, — да не забудь перетрусить. Там, небось, уже и моль завелась. Какие добрые — оставь, какие поганые — прямо в печь. Заместо них новые поклади. Такие, чтоб войн больше не было...»

В этих словах рядового советского человека выражена глубокая заинтересованность советских людей в судьбах народов, которые обрели свою свободу и независимость в результате победы Советской Армии в Великой Отечественной войне.

Книга Н. Фарберова «Государственное право стран народной демократии» отвечает на многие вопросы, волнующие советскую общественность. Она рассказывает читателю о новом укладе жизни в народных республиках Центральной и Юго-Восточной Европы, об их новых законах, пришедших на смену классовому праву буржуазных государств.

Работа Н. Фарберова — учебник для высших юридических учебных заведений. Но эта книга читается, как интересное литературное произведение. Автор оперирует не сухими категориями и теоретическими выкладками, а повествует о самой жизни народов этих стран. Написанная по горячим следам важнейших исторических событий, книга рассказывает о конституциях стран народной демократии, в которых закреплена завоеванная трудящихся.

«Избави нас бог от засухи, от болезней и от выборов» — эта старая румынская поговорка отражала отношение народных

масс к фарсу буржуазных избирательных порядков. Понятно поэтому, что участие народа в выборах было более чем пассивным. Буржуазные правительства пытались бороться с этим. В Болгарии, например, были изданы законы, каравшие за неявку на голосование штрафами и даже тюремным заключением. Несмотря на это, в той же Болгарии на выборах 1940 года участвовало только 69 процентов избирателей, а в Румынии в 1934 году и того меньше — 14 процентов.

Народы стран, которым принесла освобождение Советская Армия, впервые в своей истории получили действительно демократическое избирательное право — всеобщее, равное, прямое, при тайном голосовании. Органы власти встали на защиту народных интересов. Не удивительно поэтому, что на последних выборах в 1948 году в Болгарии участвовало 95 процентов избирателей, и в Румынии — 91 процент.

Органы государственной власти, избранные на этих выборах, являются подлинно народными. Если в Румынском сенате в 1932 году заседали 43 помещика, 11 банкиров и 100 капиталистов, то теперь в Румынском парламенте законодательствуют 177 рабочих, 77 крестьян, 20 профессоров, военные, ремесленники, служащие.

Конституции стран народной демократии, как это хорошо показано автором, предоставляют гражданам широкие демократические права — право на труд, на отдых, на пенсию, помощь и пособие при старости, по болезни и инвалидности. В самом широком масштабе реализуется право на образование. Оно обеспечивается обязательным и бесплатным школьным образованием, развёртыванием сети школ и институтов. В довоенной Болгарии был один университет — сейчас их четыре. В Албании не было ни одного высшего учебного заведения — теперь здесь открыты педагогический и сельскохозяйственный институты.

Страны народной демократии отличаются друг от друга особенностями, обусловленными различиями в историческом развитии, уровне экономики и культуры. Но сейчас, после победы народной власти, их объединяет одна общая черта. Чехословакия и

Н. П. Фарберов. «Государственное право стран народной демократии». Редактор Г. М. Громова. Юридическое издательство. М., 1949.

Румыния, Венгрия и Албания, Болгария и Польша — всё это государства социалистического типа, в которых власть находится в руках трудящихся во главе с рабочим классом. Н. Фарберов обстоятельно исследует черты общности государственного строя этих стран, показывая, что народная республика есть одна из форм диктатуры пролетариата. Автор показывает процесс становления народно-демократического строя, в ходе которого был сломан старый и заново создан новый государственный аппарат.

До войны хозяином земли в этих странах была незначительная кучка помещиков. Так, в Чехословакии в руках крупных магнатов, составлявших один процент населения, было 80 процентов всей пахотной земли. Половина всей земли в Польше находилась во владении нескольких тысяч помещиков. Многие миллионы крестьян были лишены земли. Земельная реформа во всех этих странах была проведена по принципу: «земля принадлежит тем, кто её обрабатывает». Только в одной Польше два миллиона батраков получили в собственность землю.

Промышленность этих стран принадлежала капиталистам, в значительной мере иностранным. В Болгарии доля иностранного капитала в некоторых отраслях промышленности составляла от 60 до 95 процентов. В результате национализации подавляющая часть фабрик и заводов стала всенародным достоянием. Уже в 1948 году в результате национализации 94 процента промышленности принадлежало болгарскому народу. Банки в странах народной демократии стали орудием восстановления разрушенной войной экономики.

Трудящиеся стран народной демократии с глубокой благодарностью неоднократно отмечали, что торжество сил прогресса стало возможно в их странах благодаря братской помощи Советского государства и лично товарища Сталина.

Советский Союз неуклонно и последовательно защищает интересы стран народной демократии на международной арене, отражая все попытки англо-американского империализма и его агентуры подорвать их политические и экономические основы.

«Болгары, будьте спокойны,— обратился товарищ В. М. Молотов к болгарскому народу через головы поборников новой

версальской системы,— ваша граница останется непоколебимой»¹. Советский Союз не допустил удовлетворения тех кабальных требований, которые предъявили Болгарии представители англо-американского блока и их греческие марионетки на Парижской конференции 1946 года.

Советский Союз не допустил решения Дунайской проблемы в духе англо-американских предложений, имевших целью сделать Дунай «окном в Восточную Европу, в которое можно будет заглядывать и из которого можно будет выглядывать», как цинично писала английская газета «Обсервер».

Советский Союз пресекает вмешательство англо-американских империалистов во внутренние дела стран народной демократии. Достаточно вспомнить энергичные действия советской дипломатии против реакционных попыток создания «международных» органов по наблюдению и контролю за выборами в странах народной демократии, выступления советской делегации в организации Объединённых наций против стремления США и Англии оказать нажим на Болгарию, Венгрию и Румынию, клеветнически обвинив их в «нарушении основных прав и свобод»,— в связи с осуждением англо-американской агентуры в этих странах и т. д.

В книге Н. Фарберова рассказывается о договорах дружбы и взаимопомощи с Советским Союзом, как о важнейшей гарантии государственного суверенитета республик народной демократии. На примере предательства клики Тито, продавшей независимость страны англо-американским империалистам, автор показывает, что представляет собой предательский путь буржуазного национализма, приведший Югославию к фашистско-гестаповскому режиму.

Обеспечивая возможность мирного созидательного труда в народных республиках, Советский Союз оказывает им огромную экономическую поддержку. Достаточно вспомнить, что в 1946 году, когда Советский Союз испытывал продовольственные затруднения, вызванные засухой, он своими зерновыми поставками спас от голода население Чехословакии, Венгрии и Болгарии, пострадавших от неурожая.

Маршаллизованные страны до сих пор

¹ В. М. Молотов. Вопросы внешней политики. Госполитиздат, М. 1948, стр. 230.

находятся в состоянии послевоенной разрухи. А в странах народной демократии превзойдён довоенный уровень производства, вырастают новые отрасли промышленности. Таков итог пяти послевоенных лет. В индустриализации этих стран решающую роль сыграла помощь Советского Союза.

Люди стран народной демократии с энтузиазмом учатся революционным методам труда у советских людей.

Каждый факт, приведённый в книге, каждая цитируемая автором статья конституции любой из стран народной демократии убеждает читателя в том, что молодые народные республики, опираясь на могучую поддержку Советского Союза, уверенно идут к светлому будущему.

*Кандидат юридических наук
подполковник юстиции
А. ПОЛТОРАК.*

★

Техника

Наука в помощь высотному строительству

С каждым днём украшается и благоустраивается Москва. Выполняя Сталинский план реконструкции столицы, московские строители возводят новые жилые дома, заливают улицы асфальтом, разбивают новые скверы.

Сравнительно недавно строители приступили к сооружению каркасов многоэтажных зданий. Эти стальные гиганты, возвышающиеся в разных районах столицы, свидетельствуют о больших достижениях отечественной техники. Строительство каркаса здания на Смоленской площади уже закончено; буквально на глазах растут стальные остовы и других домов-гигантов.

Каркас — сложная пространственная решётка из мощных стальных балок, жёстко связанных друг с другом в узлах, является ответственной частью высотного здания: каркас несёт значительную часть веса здания, противостоит давлению ветра. При этом наибольшая нагрузка падает на вертикальные колонны решётки.

Подобные решётчатые стальные конструкции или, как их называют в строительной механике, стержневые пространственные системы, уже давно и широко применяются в разнообразных отраслях строительной техники. Они соединяют в себе два важных качества: высокую прочность и сравнительно небольшой вес.

Однако широкое внедрение и развитие таких конструкций было затруднено отсутствием достаточно точных и вместе с тем простых методов расчёта. Дело в том, что трудность создания практически пригод-

ных методов расчёта заключается в неопределённости учёта не только прочности, но и устойчивости сооружения.

Что же такое устойчивость?

Если взять обыкновенную линейку длиной в 50—100 см и поставить её вертикально одним концом на стол, а на другой конец надавить рукой, то линейка изогнётся, а при сильном нажиме сломается. Это явление изгиба линейки под действием сжимающей силы представляет собой одну из форм потери устойчивости. Такая же потеря устойчивости может возникнуть в колоннах каркаса и других частях стержневых конструкций, работающих на сжатие. Опасность потери устойчивости возрастает при использовании длинных и относительно тонких стержней, применяемых для уменьшения веса конструкции и расхода металла.

Как известно, при проектировании инженерных сооружений размеры отдельных частей подбирают таким образом, чтобы напряжения материала не превосходили известных норм, установленных опытным путём. Однако практика показала, что подобный способ расчёта для современных инженерных сооружений далеко не достаточен. Необходимы дополнительные исследования устойчивости тех форм равновесия, которые приняты при расчёте как отдельных частей, так и всего проектируемого сооружения.

В первые годы внедрения стальных конструкций в строительство нередко бывали случаи разрушения сооружений из-за потери устойчивости отдельных элементов или конструкций в целом даже в тех случаях, когда сооружение вполне удовлетво-

Н. В. Корноухов. «Прочность и устойчивость стержневых систем». Редактор А. М. Афанасьев. Стройиздат, М., 1949.

ряло расчётным условиям прочности. Наученные этим опытом строители, чтобы застраховать свои сооружения от потери устойчивости, стали рассчитывать их с большими запасами прочности. Но это в свою очередь приводит к увеличению веса конструкции, к увеличению расхода металла, а следовательно, к удорожанию сооружения.

Особенно ощутительным это стало при внедрении в строительную практику новых марок сталей с повышенной прочностью. Применение старых практических норм означало бы в этих условиях перерасход высококачественной стали и излишнее утяжеление конструкций. Не нужно забывать, что социалистическое строительство требует всё новых конструкций, которых ещё не было в практике строительной техники. Ясно, что к ним старые нормы ещё менее применимы. В этом случае при постройке новых зданий пришлось бы строить либо пробные сооружения, либо модели сооружений. Такой метод, вызывающий значительные потери времени и средств, конечно неприемлем в условиях развёртывания скоростного проектирования и строительства сооружений.

Быстрое развитие строительной техники в нашей стране и новые грандиозные задачи, поставленные перед строителями Сталинским планом послевоенного развития народного хозяйства, настоятельно требовали создания теории и методов инженерного расчёта стальных строительных конструкций не только на прочность, но и на устойчивость.

Хотя проблема устойчивости сооружений привлекает внимание исследователей ещё с прошлого века, но удовлетворительного решения её мы не имели. Детально разра-

ботаны были лишь проблемы устойчивости отдельных элементов стержневых систем.

Только в советское время, в результате многочисленных исследований советских учёных, чрезвычайно сложная задача расчёта на устойчивость стержневых систем была решена. Сталинской премией в этом году отмечен выдающийся труд Н. В. Корноухова «Прочность и устойчивость стержневых систем». Этой важной и трудной проблеме советский учёный посвятил много лет упорного труда.

В работе Н. В. Корноухова даны точные методы расчёта на прочность и устойчивость пространственных стержневых систем. Для того чтобы сделать эти сложные расчёты доступными для практического использования инженерами-проектировщиками, Н. В. Корноухов разработал ряд приближённых методов расчёта, которые в настоящее время получили уже признание широких кругов советских строителей. Характерной чертой работы Н. В. Корноухова является то, что автор не только не избегает наиболее трудных вопросов, встречающихся в задачах устойчивости, а напротив, ищет их полноценные решения.

В результате появился труд, всесторонне охватывающий теорию расчёта стержневых систем на прочность и устойчивость и далеко опередивший все достижения западной науки в этой области.

Разработанные Н. В. Корноуховым теория устойчивости и методы расчёта стали важным фактором, способствующим быстрому развитию строительной техники. Передовые советские учёные, разрешая труднейшие проблемы, помогают социалистическому строительству, способствуют прогрессу техники в нашей стране.

Профессор В. КУЗНЕЦОВ.

★

Страница истории русской науки

До последнего времени в нашей литературе преобладало мнение, что история научной микроскопии и микроскопической техники в России ведёт своё начало только с 60-х годов XIX века — с периода деятельности таких крупнейших

учёных, как биологи И. И. Мечников и А. О. Ковалевский, микробиолог Л. С. Ценковский.

Ошибочность такого представления недавно доказана профессором С. Л. Соболев — автором рецензируемой книги, удостоенной в этом году Сталинской премии.

Профессор С. Л. Соболев в течение ряда лет изучает историю микроскопа и микроскопических исследований. Его работы

С. Л. Соболев. «История микроскопа и микроскопических исследований в России в XVIII веке». Редактор Е. И. Авдусина. Издательство Академии наук СССР, М. 1949.

привели к созданию в Академии наук СССР обширной «Коллекции по истории микроскопа и микроскопической техники». В этой коллекции, представляющей собой одно из наиболее крупных и ценных собраний по истории микроскопии во всём мире, содержится множество микроскопов, характеризующих развитие микроскопической техники в различные эпохи. В коллекции имеется ряд микроскопов, принадлежавших выдающимся русским учёным. В целом она отражает историю микроскопических исследований в нашей стране на протяжении свыше двухсот лет.

Инструменты, а также литературные и архивные материалы, собранные учёным, убедительно свидетельствуют о том, что микроскопия плодотворно развивалась в России начиная уже с XVIII века, то есть со времени деятельности великого русского энциклопедиста М. В. Ломоносова.

В книге С. Л. Соболя содержится много интересных и разнообразных сведений по истории русского естествознания. Характерная особенность работы в том, что она написана целиком на основании первоисточников, многие из которых не были до сих пор известны. Таковы, например, интереснейшие и подробные данные о замечательном русском учёном Мартине Матвеевиче Тереховском (1740—1796) — враче, анатоме, ботанике. Автор справедливо характеризует его, как «последовательного сторонника экспериментального исследования природы и горячего противника натурфилософских спекуляций и метафизики», как мыслителя-материалиста, близкого к А. Н. Радищеву. М. М. Тереховский был автором чрезвычайно интересного научного труда «О наливочном хаосе Линнея». Эта работа занимает видное место в истории проблемы «самопроизвольного зарождения», которая была решена русским учёным самостоятельно и вполне оригинально.

Во многом опередив Спалланцани, Тереховский показал, что микроскопические «наливочные животные» возникают только в результате размножения и способны к самостоятельному движению. Исследования Тереховского не оставляли места для признания некоей «жизненной силы», они наносили удар по идеализму в естествознании.

Автор широко использовал в своей работе рукописные источники, старинные книги, архивные материалы, в частности архивы Петровской кунсткамеры. Он показал, что начальный период истории микроскопии в нашей стране связан с основанием Российской академии наук, с деятельностью Петра I и М. В. Ломоносова.

Микроскопические открытия и теории русских учёных сыграли большую роль в борьбе материализма против идеализма. Именно они, русские учёные, были носителями передовых материалистических идей, именно им приходилось вести напряжённую борьбу с реакционными теориями, главным образом импортированными из-за границы. К числу этих выдающихся представителей русской науки принадлежат М. М. Тереховский, А. М. Шумлянский, А. Т. Болотов, Д. С. Самойлович и ряд других.

Автор справедливо отмечает, что «эта борьба имела классовый характер. В то время как подавляющее большинство русских учёных XVIII века были выходцами из трудовых слоёв народа и смотрели на науку, как на средство просвещения народных масс, развития благосостояния народа, сторонники реакционных теорий явились деятелями бюрократической верхушки и представителями дворянско-помещичьего класса, интересы которого они и отражали».

Развитие русской техники не отставало от развития науки. Представленные в рецензируемой книге материалы неопровержимо доказывают, что уже в первой половине XVIII века в Петербурге начали работать первые русские мастера-оптики, умевшие изготавливать микроскопы. В числе прославившихся своим искусством мастеров автор называет «зеркального дела и прешпективных трубок мастера» И. Е. Беляева, его сына Ивана и внука Андрея. В очень трудных условиях эти пионеры русского инструментального дела создавали, как пишет автор, «почти все научные инструменты, нередко очень тонкие и совершенно оригинальные, для академических лабораторий XVIII века». Наши мастера умели изготавливать микроскопы не только простые, но и сложные. Так, в

1744 году сложный микроскоп был сделан для М. В. Ломоносова.

Читатель узнаёт, что гениальный учёный впервые в мире применил микроскоп для практических работ в области химии, например для изучения химических реакций, строения кристаллов и т. п. Данные микроскопических исследований М. В. Ломоносов использовал и для обоснования своих материалистических взглядов. Он указывал, например, что обнаружение сложного строения тела у микроскопически малых существ подтверждает справедливость взгляда, согласно которому все тела состоят из невидимых простым глазом частиц, то есть атомов.

В работе С. Соболя много внимания уделено замечательному механику-изобретателю И. П. Кулибину (1735—1818). Кулибин самостоятельно сконструировал в шестидесятих годах XVIII века микроскоп, телескоп, электрическую машину, умел изготавливать сложные механизмы, металлические зеркала, прекрасно обтачивать стёкла для микроскопов. В эти же годы русские учёные в совершенстве разработали теорию увеличительных приборов и создали ахроматический микроскоп.

С большим интересом читаются страницы, посвящённые деятельности выдающихся учёных-микроскопистов—профессора медицины А. М. Шумлянского, эпидемиолога Д. С. Самойловича, академика Т. Е. Ловица, а также жизни и деятельности А. Т. Болотова (1738—1833). Это был один из образованнейших людей своего времени и в частности выдающийся знаток микроскопа, с помощью которого он произвёл множество наблюдений, касающихся строения растений, насекомых, различных тканей и т. п. Перу Болотова принадлежит

ряд статей, значительно содействовавших распространению в России сведений о микроскопе и микроскопических исследованиях.

Автор справедливо отмечает, что блестящее развитие русской микроскопии во второй половине XVIII века создало предпосылки для дальнейших успехов русских учёных.

«В первой половине XIX века в России,— пишет он,— появляется ряд крупных специалистов, давших превосходные работы в различных разделах микроскопии — в учении о простейших организмах, в учении о клетке, в гистологии, в эмбриологии. В середине же XIX века русские микроскописты, и прежде всего эмбриологи, становятся на первое место в мире».

Работа профессора С. Л. Соболя является ценным вкладом в нашу литературу по истории отечественной науки. Написана книга ясным и точным языком, хотя и несколько сухо. Стоит отметить, что местами книга перенасыщена ссылками на документацию, цифрами, подробностями, касающимися устройства некоторых инструментов. Подчас это затрудняет усвоение основного материала. Несмотря на это она читается с большим интересом.

Издана работа прекрасно. На книге лежит печать высокой авторской и издательской культуры.

Работа С. Соболя будет способствовать воспитанию у советских людей чувства законной гордости за нашу науку, имеющую славное прошлое, замечательное настоящее и великое будущее.

Кандидат биологических наук
Ю. МИЛЕНУШКИН.

★

Филателия

Маленькие документы большого значения

Среди людей различных профессий имеется немало коллекционеров почтовых марок—этих маленьких художественных гравюр, выпускаемых всеми государствами мира.

И. И. Д а й х е с. «О чём говорят советские почтовые марки». Редактор Л. С. Салитан. Связьиздат, М. 1949.

Коллекционирование почтовых марок — филателия — широко распространено во всём мире уже более ста лет, то есть с того времени, когда появились первые знаки почтовой оплаты. Объясняется это тем, что государства, выпуская почтовые марки, преследуют этим не только служебные цели. Серии марок в доходчивой фор-

ме отображают политическое устройство страны, её экономику, географию, состояние культурного уровня населения и многое другое.

Действительно, помимо стандартных серий марок, государства ежегодно выпускают марки, на которых изображены политические деятели страны, учёные, композиторы, писатели, художники, географические красочные пейзажи, репродукции знаменитых картин и скульптур, памятники архитектуры, эпизоды из жизни отдельных народов и даже представители флоры и фауны данного государства.

Для советского коллекционера почтовые марки являются своеобразным наглядным пособием, помогающим знакомству с государственным устройством различных стран мира и с их общественными отношениями в разные периоды и эпохи.

Интересны почтовые марки, выпущенные за последние десять лет в Венгрии, Румынии, Болгарии, Польше, Чехословакии и других странах, ныне ставших на путь строительства социализма. Эти марки отображают историю стран народной демократии — от полукOLONИАЛЬНОГО существования под эгидой западного капитала до наших дней, когда они стали свободными и цветущими государствами.

Особый и наиболее важный раздел в мировой филателии занимает собрание почтовых марок Советского Союза.

Художественно выполненная советская почтовая марка является своеобразным миниатюрным политическим плакатом, в котором нашли своё отражение наиболее значительные события в жизни советского народа, документом великой эпохи строительства социализма в нашей стране. Советская марка, пропутешествовав далеко за пределы СССР, попадает в альбомы филателистов и в каталоги марок и выполняет свою роль в благородном деле пропаганды преимуществ социалистического строя.

Трудящиеся капиталистических стран и жители угнетённых колоний бережно и любовно хранят попавшие к ним в руки советские марки — марки страны, где уничтожена эксплуатация человека человеком, где ликвидирован социальный и национальный гнёт. Марки с изображением Ленина и Сталина хранятся, как священные реликвии.

У нас, к сожалению, очень редко издаются книги и брошюры, рассказывающие о значении советской почтовой марки и вообще филателии. Поэтому следует приветствовать выход в свет интересной брошюры И. Дайхеса «О чём говорят советские почтовые марки». Брошюра кратко освещает историю почты и почтовой марки в нашей стране, рассказывает о способах изготовления почтовых марок, приводит описание различных видов и типов знаков почтовой оплаты.

Раскрывая содержание сюжетов почтовых марок, автор напоминает о причинах выпуска той или иной серии марок.

Почтовые марки, посвящённые Великой Октябрьской социалистической революции, являются яркими документами, напоминающими трудящимся всего мира о величайшем событии в истории нашего государства. На всемирном фестивале демократической молодёжи в Будапеште молодой индус филателист рассказывал, что во время собраний прогрессивных студентов у них всегда на столе лежит альбом марок, раскрытый на странице, где помещена марка, посвящённая Великой Октябрьской социалистической революции.

Автор убедительно говорит о большом значении советских почтовых марок периода Великой Отечественной войны. Вопреки нарочитой фальсификации империалистами и их прихвостнями истории войны, с целью заставить народы забыть величайший вклад Советского Союза в дело разгрома фашизма, советские почтовые марки всегда будут напоминать миллионам простых людей во всём мире о бессмертной славе Сталинграда и других городов-героев, об исторической битве за Берлин, о Дне победы — 9 мая 1945 года, завершившем грандиозное сражение, которое вёл советский народ против смертельного врага всего человечества — германского фашизма.

В главе «География в марках» автор знакомит читателей с сюжетами марок на географические темы. Эти марки дают отличное представление о богатстве и красоте природы СССР, о счастливой жизни советских людей различных национальностей. Есть марки, посвящённые ненцам, якутам и корякам, чувашам и башкирам, узбекам и абхазцам. На одной марке изображена тунгусская семья за чтением газеты. Вот туркмены на хлопковом поле. «Видовые» и «курортные» серии марок красочно расска-

зывают о солнечном Крыме, этой всесоюзной здравнице, о живописных уголках Кавказа.

Большой интерес представляют высокохудожественные марки воздушной почты с надписью «Северный полюс». Марки посвящены встрече ледокола «Малыгин» с дирижаблем во льдах Арктики. «Письма из Ленинграда в другие города СССР», — рассказывает автор, — отправленные 25 июля 1931 года (в день отлёта дирижабля к полюсу), оплаченные этими специальными марками, снабжённые штемпелем «Через Северный Полюс — «Малыгин» прошли весьма интересный и сложный путь. В Ленинграде их погрузили на воздушный корабль, снабдив конверты и марки специальным штемпелем «воздушная почта, дирижабль, Ленинград 25-VII-31», а в дальнейшей Арктике, там, где встретились дирижабль и ледокол, письма сбросили с дирижабля на «Малыгин»; «Малыгин» доставил их в Архангельск, откуда они отправились железной дорогой по назначению. Так конверты со всеми этими штемпелями и с прекрасными советскими марками стали немymi участниками и свидетелями двух арктических экспедиций (на дирижабле и на ледоколе).

В 1935 году были выпущены марки, посвящённые челюскинской эпопее, в

1938 году — марки с маршрутными картами перелётов через Северный полюс и с портретами славных сталинских соколов, совершивших эти беспримерные перелёты.

В брошюре имеется восемь цветных вклеек с изображениями 128 различных советских почтовых марок. Жаль только, что этот иллюстративный материал недостаточно систематизирован и несколько оторван от текста.

К недостаткам брошюры нужно отнести то, что автор ничего не рассказал о методике коллекционирования почтовых марок. Между тем подобный совет принёс бы значительную пользу нашим юным филателистам.

В заключение мы считаем необходимым отметить совершенно неудовлетворительное состояние дела распространения почтовых марок, предназначенных для коллекций. На весь Советский Союз имеется только одна филателическая контора Росполиграфиздата, которая, конечно, не может удовлетворить спроса коллекционеров даже в Москве, не говоря уже о филателистах из других городов Союза. А между тем соби́рание советских почтовых марок следует всячески поощрять и пропагандировать, как полезное и увлекательное занятие.

Кандидат технических наук
Б. КРИВЦОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Май — июнь 1950 года).

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Наёмный труд и капитал. 48 стр. Цена 60 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии 72 стр. Цена 1 р.

В. И. Ленин. Задачи русских социал-демократов. 40 стр. Цена 50 к.

В. И. Ленин. Крах II Интернационала. 56 стр. Цена 60 к.

В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. 352 стр. Цена 6 р. 50 к.

В. И. Ленин. О праве наций на самоопределение. 68 стр. Цена 75 к.

В. И. Ленин. Рассказ о II съезде РСДРП. 20 стр. Цена 30 к.

Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). Выпуск десятый. 27 таблиц. Цена 55 р.

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б). О ходе выполнения постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года «О плане полесаживных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». 24 стр. Цена 20 к.

В. А. Гончаров. Местная печать в борьбе за досрочное выполнение пятилетки. 76 стр. Цена 80 к.

Л. Ф. Склемин. О политическом самообразовании коммунистов. 64 стр. Цена 85 к.

Д. М. Трошин. Диалектика развития в мичуринской биологии. 160 стр. Цена 2 р. 10 к.

Н. С. Хрущёв. О некоторых вопросах дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления колхозов. 38 стр. Цена 40 к.

Г. Г. Царёв. Парторганизация завода во главе социалистического соревнования. 56 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Д. Бедный. Знакомые лица. Сатирические стихи, басни, фельетоны, эпиграммы. Составил В. Регинин. 150 стр. Цена 3 р.

Д. Давыдов. Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Вл. Орлова. 222 стр. Цена 5 р. 75 к.

Наири Зарьян. Ацаван. Роман. Авторизованный перевод с армянского Анны Иоаннисян. 362 стр. Цена 8 р. 50 к.

Э. Казакевич. Весна на Одере. Роман. 484 стр. Цена 11 р.

Леонид Леонов. Дорога на океан. Роман. 568 стр. Цена 16 р.

Габид Мусрепов. Солдат из Казахстана. Авторизованный перевод с казахского. 232 стр. Цена 6 р.

Э. Мянник. Рассказы. Перевод с эстонского. 196 стр. Цена 5 р. 50 к.

Л. Островер. На берегу Двины. Повесть. 198 стр. Цена 6 р.

Ф. Панфёров. Борьба за мир. Роман. Книги первая и вторая. 558 стр. Цена 13 р.

Н. Панов. Повесть о двух кораблях. 276 стр. Цена 7 р.

А. Плещеев. Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания А. Фёдорова. 274 стр. Цена 6 р. 50 к.

М. Слонимский. Инженеры. Роман. 218 стр. Цена 5 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 4. Повести, очерки, рассказы. 1899—1900. 446 стр. Цена 12 р.

Греческая трагедия. Эсхил. Софокл. Эврипид. Перевод с древнегреческого. 752 стр. Цена 20 р.

А. С. Новиков-Прибой. Сочинения в пяти томах. Том IV. Цусима. Книга 2. 504 стр. Цена 9 р.

Поэты советской Эстонии. Сборник стихов. 288 стр. Цена 8 р.

Л. Раковский. Генералиссимус Суворов. 588 стр. Цена 10 р.

Натан Рыбак. Переяславская рада. Роман. Авторизованный перевод с украинского. 616 стр. Цена 11 р. 50 к.

Алексей Сурков. Стихотворения. 320 стр. Цена 9 р.

Юхан Сютясте. Избранные стихотворения. Перевод с эстонского. 176 стр. Цена 7 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

О. Бедарев. Здравствуй, утро. Стихи. 96 стр. Цена 3 р. 50 к.

Золотые руки. Альманах. 132 стр. Цена 9 р. 50 к.

Комсомольская песня. Сборник. 238 стр. Цена 9 р. 50 к.

Молодёжная эстрада № 2. Сборник. 96 стр. Цена 4 р.

Е. Шевелёва. Гиви Мардалейшвили («Герои Сталинской пятилетки»). 80 стр. Цена 1 р.

Н. Шпанов. Поджигатели. Роман. Второе массовое издание. 932 стр. Цена 22 р.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

В. Р. Вильямс. Избранные сочинения. 460 стр. Цена 15 р.

Т. Иванова. Москва в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. 188 стр. Цена 9 р. 50 к.

Садоводы-мичуринцы. 162 стр. Цена 6 р. 50 к.

А. М. Филиппов. О воспитании школьника в семье. 82 стр. Цена 2 р.

ПРОФИЗДАТ

М. Басин, А. Гуцкевич. Справочник по огородничеству. 5-е издание, дополненное. 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

Л. Безыменский, Н. Гусинский. Профессиональное движение в Германии после второй мировой войны. 176 стр. Цена 4 р.

Л. Давыдов. Родина трактора. 372 стр. Цена 12 р.

ДЕТГИЗ

И. Багмут. Счастливый день суворовца Криничного. Перевод с украинского М. Фресиной. 160 стр. Цена 4 р. 20 к.

О. Бедарев. Вот я какая. 16 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Г. Белинский. О классиках русской литературы. 360 стр. Цена 7 р. 30 к.

И. Винокуров и Ф. Флорич. По южному Сахалину. 160 стр. Цена 5 р. 60 к.

А. Воинов. Рассказы о генерале Ватутине. 200 стр. Цена 7 р. 80 к.

Гёте. Избранные произведения. Перевод с немецкого. Под редакцией и с предисловием А. Дейча. 480 стр. Цена 8 р. 20 к.

О. Грюнберг. Разводите кроликов. 32 стр. Цена 1 р.

И. Кожедуб. Служу Родине. Рассказы лётчика. Литературная редакция А. Худодовой. 208 стр. Цена 5 р.

В. Корчагина. Выводите мичуринский виноград и новые сорта ягодников. 48 стр. Цена 1 р. 20 к.

С. Коряков. Тропой смелых. Повесть. 240 стр. Цена 8 р.

Л. Космодемьянская. Повесть о Зое и Шуре. Литературная запись Ф. Вигдоровой. 256 стр. Цена 9 р. 60 к.

Г. Кублицкий. Енисей, река сибирская. 288 стр. Цена 9 р. 70 к.

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Емеля-охотник. 16 стр. Цена 50 к.

А. Мусатов и М. Чачко. Костры на сопках. Повесть. 270 стр. Цена 8 р. 70 к.

Г. Скребицкий. Друзья моего детства. Рассказы о животных. 48 стр. Цена 1 р. 50 к.

Сын Калева. Перевели с эстонского Вл. Державин и А. Кочетков. 166 стр. Цена 4 р. 50 к.

Н. Тихонов. Киров с нами. Поэма. 16 стр. Цена 20 к.

К. Д. Ушинский. Дети в роще. 16 стр. Цена 50 к.

Ю. Фролов. Великий физиолог И. П. Павлов. 80 стр. Цена 1 р.

Е. Юнга. Бессмертный корабль. Рассказ о краснознаменном крейсере «Аврора». 96 стр. Цена 2 р.

П. Яковлева. Колорадский картофельный жук. 24 стр. Цена 70 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Губарев. Советское войсковое товарищество. 40 стр. Цена 40 к.

Э. Казакевич. Весна на Одере. Роман. 452 стр. Цена 12 р.

К. Осипов. Герой Советского Союза Александр Коневский. 32 стр. Цена 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Американский север. Сборник переводных статей. 290 стр. Цена 16 р. 50 к.

Конституция и основные законодательные акты народной республики Болгарии. Перевод с болгарского. 368 стр. Цена 15 р.

Морис Торез. Сын народа. Предисловие Жака Дюкло. Перевод с французского. 202 стр. Цена 7 р.

Физические методы органической химии. Под редакцией А. Вайсбергера. Том 1. Перевод с английского. 582 стр. Цена 32 р. 80 к.

МАШГИЗ

А. С. Бриткин. Первые тульские строители сложных водолетствующих машин. 60 стр. Цена 2 р.

А. С. Бриткин и С. С. Видонов. Выдающийся машиностроитель XVIII века А. К. Нартов. 184 стр. Цена 9 р. 30 к.

Н. И. Мерцалов. Избранные труды в трёх томах. Том 1 Прикладная механика. 368 стр. Цена 18 р. 80 к.

Н. Н. Рубцов. В. П. Екимов и П. К. Клодт, выдающиеся мастера русского художественного литья. 58 стр. Цена 1 р. 70 к.

Л. А. Слуцкий. Творческое сотрудничество людей науки и производства. 80 стр. Цена 2 р. 60 к.

Л. Б. Януш. Русские паровозы за 50 лет. 152 стр. Цена 10 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЛАВСЕВМОРПУТН

В. М. Малыгин. Далёкие берега. 76 стр. Цена 2 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»

Женщина страны социализма. Сборник. 248 стр. Цена 9 р.

Колхозная деревня. Сборник. 302 стр. Цена 13 р. 50 к.

И. Марков, Н. Чушкин. Московский Художественный театр. 118 стр. Цена 11 р. 50 к.

С. Маршак. Двенадцать месяцев. 114 стр. Цена 5 р.

А. Н. Островский. Последняя жертва. 140 стр. Цена 3 р. 50 к.

Н. Погодин. Миссурийский вальс. 148 стр. Цена 3 р. 25 к.

А. Попов, Б. Захава, Ю. Завадский и др. Работа режиссёра над советской пьесой. 180 стр. Цена 13 р.

Репертуар юного зрителя. Том. I. 260 стр. Цена 14 р. 50 к. Том II. 400 стр. Цена 19 р. 50 к. Том III. 326 стр. Цена 16 р. 50 к.

А. А. Сидоров. Советское искусство. Графика. 150 стр. Цена 7 р. 50 к.

МУЗГИЗ

М. Брук, Мариан Коваль. 80 стр. Цена 2 р.

И. Бэлза. Русские классики и музыкальная культура западного славянства. 68 стр. Цена 2 р.

В. Городинский. Музыка духовной нищеты. 136 стр. Цена 6 р.

Л. Данилевич, П. И. Чайковский. 60 стр. Цена 1 р. 60 к.

Б. Доброхотов, А. И. Верстовский. 130 стр. Цена 2 р. 50 к.

Б. Доброхотов, Е. И. Фомин. 72 стр. Цена 2 р.

Е. Ласточкина, Осип Петров. 84 стр. Цена 2 р. 25 к.

И. Мартынов, Бедржих Сметана. 88 стр. Цена 4 р. 20 к.

А. Николаев. Фортепианное наследие П. И. Чайковского. 208 стр. Цена 10 р.

В. Протопопов, М. И. Глинка. 72 стр. Цена 2 р.

Советская музыка на подъёме. Сборник статей. 280 стр. Цена 15 р.

Л. Соловцова, Джузеппе Верди. 128 стр. Цена 4 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Е. А. Ащепков. Русское деревянное зодчество. 102 стр. Цена 6 р.

Д. Д. Барагин и И. И. Белоцерковский. Алма-Ата. 60 стр. Цена 3 р.

Я. А. Ребайн. Ростов-на-Дону. 46 стр. Цена 4 р.

ГИЗЛЕГПРОМ

Б. А. Вяземский. Оформление и производство газеты. 298 стр. Цена 14 р. 50 к.

Е. И. Хлусов. Работа на наборной строкоотливной машине. 152 стр. Цена 7 р.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

И. Р. Морозов. Ивы СССР, их использование и применение в защитном лесоразведении. 168 стр. Цена 10 р. 40 к.

А. Н. Отливанчик. Многослойная клеёная древесина, её свойства и технические применения. 52 стр. Цена 3 р. 10 к.

Л. А. Перельгин. Влияние пороков на технические свойства древесины. 164 стр. Цена 11 р. 10 к.

Д. В. Померанцев. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах Юго-Востока Европейской части СССР. 212 стр. Цена 9 р. 25 к.

ЛЕНИЗДАТ

С. Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды. Роман. 556 стр. Цена 12 р.

А. И. Баранов. Передовая технология в литейном производстве. 92 стр. Цена 2 р.

Л. Бородкин. Социалистическое соревнование за технический прогресс (из опыта организации соревнования на предприятиях Ленинграда). 150 стр. Цена 2 р.

Георгий Гуля. Добрый город. Повесть. 160 стр. Цена 4 р.

М. Догадова. Мастера высоких скоростей. 78 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Лифанов. Превосходство коммунистической морали над растленной моралью буржуазного общества. 94 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Маршак. Стихи для детей. 336 стр. Цена 14 р.

Сергей Михалков. Стихотворения. 70 стр. Цена 7 р. 50 к.

А. Моисеев. Технический совет завода. 72 стр. Цена 1 р. 50 к.

П. Павленко. Степное солнце. Повесть. 96 стр. Цена 4 р. 50 к.

Г. Пагирев и А. Чепуров. Великие права. Стихи. 50 стр. Цена 1 р. 50 к.

Вера Панова. Ясный берег. Повесть. 294 стр. Цена 6 р.

Аркадий Первенцев. Честь смолоду. Роман. 446 стр. Цена 11 р.

Б. Полевой. Мы — советские люди. Повесть. 312 стр. Цена 9 р.

Конст. Федин. Первые радости. Необыкновенное лето. Романы. 822 стр. Цена 22 р. 50 к.

Н. Г. Чернышевский. Избранные литературно-критические статьи. 482 стр. Цена 12 р.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. Д. Кривополенова. Былины, скоморошины, сказки. 176 стр. Цена 6 р. 60 к.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Банькин. Рассказы о Чапаеве. 150 стр. Цена 3 р. 60 к.

В. Беспалов. Путешественники. 40 стр. Цена 3 р.

Н. В. Борисов. Дочь трудового народа. 24 стр. Цена 60 к.

И. Горюнов. Золотинка. 82 стр. Цена 1 р. 75 к.

С. Кошечкин. Простор. Стихи. 44 стр. Цена 85 к.

С. Кошечкин и С. Эйдли. У нас в Куйбышеве. 38 стр. Цена 3 р. 70 к.

Опыт новаторов нефтяной промышленности. 68 стр. Цена 1 р. 10 к.

КРЫМИЗДАТ

И. Василенко. Звёздочка. Повесть. 92 стр. Цена 3 р. 75 к.

Ф. Киселёв. Записки натуралиста. 96 стр. Цена 4 р.

Песенник. Сборник песен советских композиторов и русских народных песен. 222 стр. Цена 5 р.

Е. Поповкин. Семья Рубанюк. Роман. Книга первая. 430 стр. Цена 16 р.

В. Рыбин. Способ укоренения саженцев цитрусовых культур. 22 стр. Цена 4 р.

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНЫЙ СЕВЕР»

А. Власов. Басни. 20 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Гарновский. Полесники у костра. Рассказы. 44 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. Дементьев. Друзья. Стихи. 16 стр. Цена 1 р.

С. Орлов. Светлана. Поэма. 50 стр. Цена 2 р. 50 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Алтын-тууды. Алтайский героический эпос. Стихи. Перевод с алтайского А. Смердова. 108 стр. Цена 6 р. 75 к.

А. Газукина. Чёрная молния. Маленькие рассказы о зверях для детей младшего возраста. 56 стр. Цена 1 р. 25 к.

Юрий Гордиенко. Вчера и сегодня. Стихи и поэма о Востоке. 140 стр. Цена 6 р. 10 к.

Е. Дубецкой, К. Сапожников, В. Краснов. В помощь радиотехнику и радиолителю. 120 стр. Цена 3 р.

Лев Кондырев. Лучшему другу. Стихи и песни. 80 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. С. Крымский. Алтайская новая порода тонкорунных овец. 160 стр. Цена 4 р. 45 к.

ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. К. Арсеньев. Дерсу Узала. 306 стр. Цена 9 р. 80 к.

Трофим Борисов. Сказки. (Сказки для детей о мире морских животных). 50 стр. Цена 2 р. 80 к.

Сергей Диковский. Приключения катера «Смелый». Сборник рассказов о морских пограничниках. 138 стр. Цена 6 р.

П. Комаров. Родная земля. Стихи. 120 стр. Цена 4 р.

Василий Кучерявенко. В Америке. Записки советского моряка. 100 стр. Цена 4 р. 25 к.

Г. И. Невельской. Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России 1849—1855 гг. 494 стр. Цена 15 р.

Приморский край. Краткий очерк. 38 стр. Бесплатно.

САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Боровиков. Родник. 46 стр. Цена 1 р.

А. Голубева. Мальчик из Уржума. 190 стр. Цена 6 р. 35 к.

Литературный Саратов. Альманах Саратовского отделения Союза советских писателей. Книга XI. 190 стр. Цена 6 р. 55 к.

Теремок. Русские народные сказки. 120 стр. Цена 4 р. 75 к.

И. Г. Чернышевский. Что делать? 386 стр. Цена 11 р.

ЧКАЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Коновалов. Степной маяк. Роман. 230 стр. Цена 8 р.



Главный редактор А. Т. Твардовский
Редколлегия: М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 1/VI-50 г.
A05017

Объём 18 печ. л.

Подписано к печати 25/VI-50 г.
Тираж 104.000 Заказ № 1392.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

